Б. Г. МОГИЛЬНИЦКИЙ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ РУССКОЙ ЛИБЕРАЛЬНОЙ МЕДИЕВИСТИКИ

СЕРЕДИНЫ 70-х ГОДОВ XIX в.—НАЧАЛА 900-х ГОДОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Томск — 1969

Б. Г. МОГИЛЬНИЦКИЙ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ РУССКОЙ ЛИБЕРАЛЬНОЙ МЕДИЕВИСТИКИ

СЕРЕДИНЫ 70-х ГОДОВ XIX в.—НАЧАЛА 900-х ГОДОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Томск — 1969

В монографии рассматриваются идейные позиции, а также теоретические и общеисторические воззрения крупнейших представителей социально-экономического направления в русской либеральной медиевистике П. Г. Виноградова, М. М. Ковалевского, И. В. Лучицкого, Н. И. Кареева, Д. М. Петрушевского, А. Н. Савина, Р. Ю. Виппера, В. К. Пискорского. Автор исследует отражение русской действительности в политических взглядах этих медиевистов как идеологов пореформенного либерализма, их отношение к позитивизму и марксизму, теоретические основы их общеисторических взглядов и главные моменты созданной ими концепции западноевропейского феодализма.

Книга рассчитана на научных работников, аспирантов и студентов старших курсов, специализирующихся в области методологии истории, историографии, а также истории СССР и всеобщей истории.

Ответственный редактор — профессор *А. И. Данилов*

Индекс 1-6-3.

ВВЕДЕНИЕ

Место науки в обществе в конечном итоге зависит от того, насколько эффективно она способствует удовлетворению тех или иных общественных потребностей. Эта истина, верная для всех отраслей человеческого знания, особенно справедлива в отношении общественных наук. Науки, по самой своей природе призванные изучать человеческое общество в различных его аспектах, могут претендовать на определенное значение в этом обществе лишь в том случае, если их результаты отвечают актуальным общественным интересам своего времени. Всякая общественная наука должна быть современна в высоком смысле этого слова. Не отрицая специфических внутренних законов развития науки, необходимо в то же время подчеркнуть, что именно современность, современные общественные отношения, задачи, стоящие в данный момент перед определенными общественными классами, являются могущественным стимулом в развитии науки, определяют существенные ее черты, оказывают решающее влияние на самое ее проблематику.

В первом ряду таких наук находится история. Весь путь ее развития неопровержимо свидетельствует о неразрывной связи исторического исследования с живой жизнью, с запросами современности. Изучение взаимоотношения исторической науки и современности является одной из интереснейших историографических проблем. Только через раскрытие многообразных влияний современности на историческую науку возможно подлинное понимание ее действительного развития. Каждый новый большой шаг вперед в поступательном движении исторической мысли генетически связан с происходящими в обществе переменами, и чем эти перемены основательнее, тем значительнее они отражаются на развитии исторической науки. Новые условия общественной жизни порождают и новые исторические теории, обусловливают преимущественный интерес ученых к тем или иным сторонам исторического процесса. Не случайно поэтому, что радикаль-

ные общественные сдвиги всегда открывают новую главу в развитии исторической науки.

Однако связь между исторической наукой и современностью нельзя понимать упрощенно-механистически. Современность не просто обусловливает развитие науки в том или ином направлении. Под ее влиянием происходят сложные перемены в историографии: теряют свое значение одни направления и возникают другие, в науке развертывается острая борьба, в которой в конечном счете победу одерживают направления, в наибольшей степени удовлетворяющие потребностям общественного развития. Происходит переоценка ценностей и в области методики исторического исследования. Новые задачи, встающие перед наукой, требуют разработки и применения новых приемов и средств, с помощью которых осуществляется изучение прошлого.

Должны быть современными не только задачи исторического познания, но и методы их решения; и от того обстоятельства, насколько эти последние соответствуют задачам времени, в немалой степени зависит эффективность исторической науки, ибо в противном случае научное исследование прошлого подменяется голыми декларациями. В известной мере можно даже утверждать, что сама действительность вооружает историка современными методами исследования прошлого. Так, широкое использование в XIX в. статистического метода в обработке исторических источников не может быть объяснено только внутренней логикой развития самой исторической науки, оно находится в непосредственной связи с успехами естествознания в прошлом веке, послужившими стимулом для попыток распространения естественнонаучных методов на исследование общественных явлений. С другой стороны, само обращение ученых к статистическим исследованиям стало возможным только вследствие появления таких отраслей исторической науки, как изучение экономики, социальных отношений, где эти исследования были возможны и необходимы, т. е. в конечном счете опять-таки под воздействием современной им действительности.

Определяющее влияние современности на историческую науку с особой силой проявляется в переломные эпохи общественного развития, когда вместе со старыми экономическими и социальными формами рушатся и отслужившие свой век общественные теории, уступая место новым, выражающим интересы выходящих на арену истории новых социальных сил, порожденных новыми потребностями жизни общества. Это — эпохи, когда жизнь особенно властно вторгается в сферу науки, заставляя ее служить своим потребностям, когда под ее напором идет ломка господствовавших ранее

исторических представлений и формирование новых, когда происходит глубокое переосмысление методологических основ исторической науки. Именно такие эпохи являются поворотными в судьбах исторической науки, определяя на многие десятилетия ее развитие, накладывая неизгладимый отпечаток на существенные черты ее ведущих направлений. Такие эпохи представляют большой историографический интерес, ибо в них лежит ключ к пониманию всего развития исторической науки, вне их невозможно понять закономерности этого развития.

В истории русской буржуазной историографии важное место занимает период с 60-х годов XIX до начала XX вв. Падение крепостного права явилось крупным историческим переломом, отразившимся на всех сторонах жизни русского общества. Русь феодальная превращалась в Россию буржуазную. Это был период серьезных сдвигов в экономике и социальной структуре страны. Ломка, пусть неполная и непоследовательная, но тем не менее необратимая, крепостнических отношений в деревне, совершавшиеся параллельно с ней буржуазные реформы в различных сферах общественной жизни выбивали почву из-под ног старого феодального дворянства. Господствующие позиции в русской экономике переходили к буржуазии, начинавшей претендовать на определенную роль и в политической жизни страны. А с конца XIX в. все увереннее стал звучать голос рабочего класса, превращавшегося в крупнейшую политическую силу своего времени.

Так, в острой борьбе старого и нового проходила вторая половина XIX в. «Период 1862—1904 годов, — писал В. И. Ленин, — был именно такой эпохой ломки в России, когда старое бесповоротно, у всех на глазах, рушилось, а новое только укладывалось, причем общественные силы, эту укладку творящие, впервые показали себя на деле в широком общенациональном масштабе, в массовидном, открытом действии на самых различных поприщах лишь в 1905 году»[1]).

Эта эпоха глубоких экономических сдвигов и острых социальных потрясений, эпоха, когда старые общественные отношения разлагались, а новые еще не успели сложиться, приобрести устойчивые формы, создавала благоприятные возможности для развития исторической науки. В числе других ее отраслей несомненный расцвет в последней четверти XIX — начале XX вв. переживала медиевистика. Созданная в эти годы в русской либеральной историографии концепция западноевропейского феодализма в целом ряде моментов

[1]) В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 102—103.

оказала плодотворное влияние на развитие мировой исторической науки, содействовала обогащению и углублению понимания характера и закономерностей средневекового развития.

В настоящей работе предпринимается попытка осветить идейно-методологические основы исторической концепции, господствовавшей в русской либеральной медиевистике середины 70-х годов XIX в. — начала 900-х гг. Мы рассматриваем взгляды ученых, занимавшихся изучением различных разделов истории западноевропейского феодализма, в том числе и тех,которые хронологически выходят за рамки средних веков. Вследствие этого самое понятие «русская медиевистика» употребляется нами расширительно. В него включаются не только историки, специализировавшиеся в области изучения аграрных отношений западноевропейского средневековья (П. Г. Виноградов, Д. М. Петрушевский, А. Н. Савин, В. К. Пискорский), но и ученые, в узком смысле слова медиевистами не являвшиеся, но в то же время на протяжении всей своей научной деятельности глубоко интересовавшиеся проблемами западноевропейского феодализма, оставив в этой области оригинальные исследования, являющиеся, по существу, их лучшими конкретно-историческими трудами (Н. И. Кареев, М. М. Ковалевский, И. В. Лучицкий, Р. Ю. Виппер).

При этом надо иметь в виду, что всех названных ученых объединяет широта их научных интересов. В полном смысле слова они являлись всеобщими историками. Даже те из них, кто подобно Виноградову или Петрушевскому известен главным образом своими исследованиями в области средневековой истории, успешно выступали и в других областях исторического знания: их внимание привлекали историография и методология истории, античность и история нового времени[2]). Вследствие этого всякая локализация научной специа-

[2]) Сошлемся на Виноградова. В Московском университете он наряду с историей средних веков читал лекцию по истории древней Греции и Французской революции конца XVIII в., причем опубликованные литографированные курсы этих лекций позволяют говорить об их высокой научной ценности. Ему принадлежит ряд интересных историографических работ, выходящих за пределы истории средних веков («Очерки западноевропейской историографии». — «Журнал Министерства народного просвещения» (в дальнейшем цитируется как ЖМНП), 1883, № 8—12; 1884, № 1—2, 6—8, 11; Ранке и его школа». — «Русская мысль», 1888, № 4 и др.), а также статьи, посвященные методологии истории («Влияние рек на происхождение цивилизации». — «Северный вестник», 1892, № 6), античному источниковедению («Развитие демократии в трактате Аристотеля о государстве Афинском». — «Историческое обозрение», т. V, 1892), позднему Риму («Аграрный кризис Римской империи». — «Научное слово», 1904, № 7). Вместе с тем в Оксфордском университете он читал ряд лекций по истории русского общественного движения XIX в. и т. п. Почти такой же диапазон научных интересов обнаруживают и другие «собственно медиевисты».

лизации ученых такого масштаба всегда будет носить в известной степени условный характер.

В то же время при этой разносторонности научных интересов рассматриваемых историков всем им присуща одна черта, позволяющая говорить о них как о медиевистах, — в научном наследии каждого из них решение проблемы западноевропейского феодализма не только занимает выдающееся место, но и во многом определяет его значение как историка. В самом деле, даже Кареев, автор нескольких сот работ, посвященных самым разнообразным сюжетам — от истории древнего Востока до современной педагогики, — преимущественно занимавшийся вопросами философии истории и истории нового времени, ученый, который с формальной точки зрения меньше всего может быть назван медиевистом, создал себе имя в истории науки в первую очередь как автор исследования о феодальном французском крестьянстве[3]). В еще большей степени сказанное относится к Ковалевскому или Лучицкому.

Наконец, нам представляется принципиально важным следующее обстоятельство. В системе политических и исторических взглядов рассматриваемых ученых выводам, вытекавшим из изучения истории западноевропейского феодального общества, принадлежит особенно значительная роль. В силу своеобразных условий пореформенного развития России многие аспекты истории западноевропейского феодализма приобретали большую научную и политическую актуальность. Не удивительно поэтому, что в творчестве крупнейших представителей историографии всеобщей истории широта и многоплановость научных интересов закономерно сочетались с углубленным вниманием к проблемам феодализма, являвшимся стержневым моментом всей их исторической концепции. Что же касается «всеобщности» их научных интересов, то она лишь способствовала более глубокому осмыслению места феодализма в историческом процессе, более четкому пониманию его движущих сил и тенденций.

Таковы основания, в силу которых мы считаем возможным говорить о всех вышеназванных ученых как о медиевистах, понимая под медиевистикой отрасль исторической науки, занимающуюся изучением судеб феодализма от его возникновения до гибели в передовых странах Западной Европы[4]).

---

[3]) См.: Н. И. Кареев. Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века. М., 1879.

[4]) Названные выше ученые рассматриваются как медиевисты и рядом других советских авторов. См., в частности, Е. А. Косминский. Изучение истории западного средневековья.—В кн.: Е. А. Косминский. Проб-

В настоящей работе мы не ставим своей целью характеризовать идейно-теоретический уровень всей русской медиевистики последней четверти XIX — начала XX вв., которая, конечно, не исчерпывается вышеназванными именами. Наш выбор определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, общность методологических принципов. Предметом нашего изучения являются методологические идеи ученых, чьи научные интересы сосредоточивались в сфере изучения социально-экономических отношений в западноевропейском феодальном обществе. Во-вторых, общность политических взглядов. Рассматриваемые в монографии ученые по своим политическим убеждениям принадлежали к левому крылу русского пореформенного либерализма, а их произведения играли, как правило, определенную роль в общественной борьбе того времени, обосновывая и развивая либеральную идеологию и тактику. Все это позволяет говорить об известной внутренней целостности идейно-методологических взглядов рассматриваемой группы ученых, которую мы определяем как социально-экономическое направление в русской либеральной медиевистике.

Вне нашего рассмотрения остается влиятельная в русской либеральной историографии последней четверти XIX в. школа В. И. Герье, которая в области истории западноевропейского средневековья разрабатывала главным образом сюжеты религиозно-политического характера, получавшие при этом сугубо идеалистическую интерпретацию[5]). Правда, несколько в ином плане лежала сфера научных интересов ближайшего ученика Герье М. С. Корелина — крупнейшего в русской дореволюционной историографии исследователя итальянского Возрождения. Однако по исходным методологическим посылкам Корелин, подобно своему учителю, был крайним идеалистом, усматривавшим в развитии идей решающую силу общественного прогресса.

По аналогичным соображениям в настоящей работе не рассматриваются идейно-методологические взгляды византи-

---

лемы английского феодализма и историографии средних веков. М., 1963; О. Л. Вайнштейн. Историография средних веков. М.-Л., 1940; М. А. Алпатов. Кризис русской буржуазной медиевистики в начале XX века. — «Проблемы историографии», Воронеж, 1960; П. Ф. Лаптін. Історичні погляди М. М. Ковалевського. — «Український історичний журнал», 1962, № 1.

[5]) Сошлемся на работы самого Герье. — «Виллигиз архиепископ Майнцский 975—1011» (М., 1869); «Средневековое миросозерцание» («Вестник Европы», 1891, № 1—4; «Торжество теократического начала на Западе» (Там же, 1892, № 1—2); «Франциск Ассизский, апостол нищеты». Там же, 1892, № 5, 6); «Катарина Сиенская» (Там же, 1892, № 9, 10); «Григорий VII и Августин» (Там же, 1898, № 8); «Св. Елизавета» (Сборник «Помощь голодающим», М., 1892). Все эти работы проникнуты безудержной апологетикой средневековых «святых» и деятелей католической церкви. В средне-

нистов, хотя крупнейшие представители русского буржуазного византиноведения серьезно интересовались и проблемами западноевропейского средневековья, сделав ряд ценных наблюдений главным образом в сфере сопоставления социального развития Византии и средневекового Запада[6]). Не говоря уже о политических взглядах[7]), их методологические принципы существенно отличаются от тех, которые получили распространение среди представителей социально-экономического направления в либеральной медиевистике. Несмотря на то, что рассматривая те или иные сюжеты средневековой истории, они, как правило, уделяли известное внимание изучению социальных отношений, ведущей линией в их интерпретации истории западноевропейского средневековья явля-

---

вековых религиозных идеях, политике и судьбах католицизма Герье усматривает существенное содержание всей эпохи средних веков, источник непреходящего интереса к ней.

[6]) Достаточно сказать, что признанный глава русского буржуазного византиеведения В. Г. Васильевский в течение целого ряда лет читал курс по истории средних веков в Петербургском университете и на Высших женских курсах. Дошедшие до нас литографированные издания его лекций свидетельствуют, что и в этой области ученый выступал оригинальным исследователем. Нередко в его трудах по социальной истории Византии встречаются интересные сопоставления общественных отношений и форм в Византии и на Западе. См., в частности, его постановку вопроса о влиянии свободной сельской общины на характер социальных отношений в Западной Европе и Византии (В. Г. Васильевский. Материалы для внутренней истории византийского государства (ст. 1). Меры в защиту крестьянского землевладения. — «Труды В. Г. Васильевского», т. IV, Л., 1930, стр. 250-251), об особенностях борьбы крупной поземельной собственности с мелким землевладением на Западе и в Византии (там же, стр. 256—257), о соответствии византийской пронии западноевропейским феодальным учреждениям (В. Г. Васильевский. Материалы для внутренней истории византийского государства (ст. 2). Властели, монастыри и сборщики податей в XI и XII веках. — ЖМНП, 1879, № 4, стр. 415). Это последнее положение нашло свое дальнейшее развитие в трудах Ф. И. Успенского, весьма определенно сближавшего пронию с бенефицием (См.: Ф. И. Успенский. Значение византийской и южнославянской пронии. — Сборник статей по славяноведению, составленный и изданный учениками В. И. Ламанского по случаю 25-летия его ученой и профессорской деятельности, СПб., 1883, стр. 30). В более широком плане постановка вопроса об аналогичности социально-политического развития Византии и Западной Европы содержится в статье Успенского «Значение византийских занятий в изучении средневековой истории» («Записки Новороссийского университета», т. XVI, Одесса, 1875, стр. 18—19). Наконец, Успенскому принадлежат специальные работы в области истории западноевропейского средневековья: «История крестовых походов» (СПб., 1900) и «Сельская община в Англии» (ЖМНП, 1885, № 10).

[7]) Своеобразие политических взглядов русских буржуазных византинистов рельефно выражает небольшая работа Успенского «Как возник и развивался в России восточный вопрос» (СПб., 1887), представляющая собою попытку «научного» обоснования восточной политики русского царизма, которая неправомерно объявляется политикой национальной. Бездоказательно заявляя, что восточный вопрос является «главным рычагом и стимулом нашего общественного развития», олицетворяя собою эволюцию русского

лась линия религиозно-политическая. Не случайно, давая характеристику источников по истории раннего средневековья, В. Г. Васильевский на первый план выдвигает «Жития святых». С его точки зрения, они занимают «первое и главнейшее место между источниками»[8]). Показательна и структура его лекционных курсов с их исключительным вниманием к проблемам религии, чем они так отличаются от известных нам курсов Виноградова, Петрушевского, Кареева. В сфере религиозных переживаний и церковной политики Васильевский ищет объяснение крупнейших событий раннего западноевропейского средневековья[9]). В то же время он подчеркивает значение политической истории как главного стержня, вокруг которого должно строиться все изложение средневекового развития[10]).

В монографии рассматриваются политические и методологические идеи русской либеральной медиевистики в промежуток времени от середины 70-х годов XIX в. до начала 900-х годов, так как именно в этих хронологических рамках происходит становление и расцвет социально-экономического направления в изучении западноевропейского феодализма в русской либеральной историографии. Вторая половина 70-х годов прошлого столетия явилась в определенном смысле переломным моментом в развитии русской буржуазной медиевистики. На эти годы падает начало систематического изучения в нашей стране социально-экономических, прежде всего аграрных проблем западноевропейского феодализма, в основе которого лежало признание их важности для понимания общих закономерностей исторического развития[11]).

национального самосознания (стр. 2), Успенский доходит до утверждения, будто царизм не решил этот вопрос потому, что внес в него «политику сердца на место политики холодного расчета» (стр. 12).

[8]) В. Г. Васильевский. Лекции по средней истории. СПб., 1880—1881, стр. 1.

[9]) Так, например, он объясняет возвышение Каролингов (см.: В. Г. Васильевский. История средних веков, СПб., 1883—1884, стр. 403).

[10]) См.: В. Г. Васильевский. Лекции по средней истории, стр. 394. На аналогичных позициях в освещении средневековой истории стоял и Успенский, что особенно ярко сказалось в его трактовке крестовых походов. С его точки зрения, крестоносное движение потерпело неудачу вследствие того, что главные массы крестоносцев, побуждаемые религиозными мотивами, не обладали достаточным политическим сознанием для утверждения христианства в Малой Азии (см.: Ф. И. Успенский. История крестовых походов, в особенности, стр. 167 — 168).

[11]) См. вышедшие во второй половине 70-х — начале 80-х годов работы, возвестившие о возникновении нового направления в изучении всеобщей истории: М. М. Ковалевский. Очерк истории распадения общинного землевладения в кантоне Ваадт. Лондон, 1876; его же. Общинное землевладение, причины, ход и последствия его разложения, ч. 1, М., 1879; Н. И. Кареев. Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века. М., 1879; его же. Очерк истории французских крестьян с древнейших времен до 1879 года. Варшава, 1881

Так возникло социально-экономическое направление, которое уже в следующем десятилетии стало ведущим в русской либеральной медиевистике. Естественным рубежом, завершающим период восходящего развития русской либеральной медиевистики, является революция 1905—1907 годов, после которой развертывается глубокий кризис русской буржуазной историографии, в полной мере отразившийся и на медиевистике. При этом мы считаем возможным в отдельных случаях привлекать труды, опубликованные во время революции, поскольку выражавшиеся в них взгляды не несли с собою качественно новых по сравнению с предшествующим периодом моментов.

Начало историографического изучения социально-экономического направления в русской либеральной медиевистике было положено еще в буржуазной науке. Не говоря уже о многочисленных, подчас весьма обстоятельных и серьезных рецензиях, которыми отмечался выход в свет трудов представителей этого направления[12]), предпринимались попытки обобщающего освещения исторических взглядов отдельных ученых, к нему принадлежавших. Такие попытки, как правило, не отличались особой глубиной, к тому же в большинстве случаев они были связаны с той или иной памятной датой, вследствие чего носили более или менее ярко выраженный апологетический характер. Тем не менее было бы ошибочно отрицать за ними всякое позитивное значение в освещении интересующих нас вопросов.

В частности, следует подчеркнуть, что уже в русской буржуазной историографии получило распространение представление о тесной связи, имевшей место между русской действительностью и обращением тех или иных ученых к исследованию социально-экономических отношений западноевропейского феодального общества, а отчасти и направлением, в котором это исследование осуществлялось[13]). Определенную ценность представляют работы, посвященные изучению отдель-

---

П. Г. Виноградов. Происхождение феодальных отношений в Лангобардской Италии, СПб., 1880; И. В. Лучицкий. История крестьянской реформы в Западной Европе с 1789 г. — «Университетские известия», Киев, 1878, № 10—12; 1879, № 2; 1880, № 11; 1881, № 2, 3.

[12]) Отметим в числе их рецензии, опубликованные в зарубежных научных журналах. Такой характер, в частности, носят рецензии на книгу Петрушевского «Восстание Уота Тайлера», принадлежавшие перу Савина («English Historical Review», 1902, v. XVII; «Vierteljahrschrift für Sozial— und Wirtschaftsgeschichte», 1903, Bd. I. H. 4) и Виноградова («Deutsche Literaturzeitung», 1902, № 8).

[13]) См.: А. Н. Савин. М. М. Ковалевский как историк. — «Исторические известия», 1916, № 1, стр. 175 — 176; Н. И. Кареев. Памяти двух историков. — «Анналы», 1922, № 1, стр. 167. Ср. N. Kareev. Russia. — «Histoire et historiens depuis cinquante ans». Paris, 1927, vol. I, p. 341, где подчеркивается влияние реформ 60-х гг. на быстрое развитие русской исторической науки.

ных проблем социально-экономической истории западноевропейского феодализма в русской историографии[14]). Наконец, необходимо отметить книгу В. П. Бузескула «Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX века» (ч. 1—2, Л., 1929—1931), являющуюся единственной в буржуазной науке попыткой систематического изложения истории изучения в России различных разделов всеобщей истории. Заслуживают внимание отдельные указания Бузескула на связь развития русской исторической мысли с условиями и потребностями общественной жизни страны, на идейно-методологические основы исторических взглядов отдельных ученых[15]). Однако эти указания отнюдь нельзя считать характерными для всей историографической концепции Бузескула. Его освещение исторических взглядов русских исследователей всеобщей истории, как правило, сводилось к анализу их отдельных трудов и указаниям на место последних в развитии отечественной и мировой науки.

Книга Бузескула является в известном смысле показательной для уровня историографической критики в русской буржуазной науке, характерной чертой которой являлся отрыв методологических позиций ученого, к тому же рассматриваемых, как правило, очень поверхностно, от его историографической практики. Исключение составляют некоторые статьи о Ковалевском, в которых был поставлен вопрос о влиянии марксизма на его исторические взгляды[16]). Однако даже в этих статьях их авторы, по существу, не идут далее постановки вопроса и тем более не дают развернутого анализа идейно-методологических взглядов Ковалевского в связи с его историографической практикой.

Лишь отдельные аспекты идейно-методологических взглядов Ковалевского стали предметом специального рассмотрения в дореволюционной литературе. Так, Питирим Сорокин посвятил статью анализу эволюции взглядов Ковалевского на движущие силы исторического развития, подчеркивая

[14]) В первую очередь здесь должны быть названы работы Кареева, посвященные изучению социально-экономической истории Франции XVIII в. в русской исторической науке. Принадлежащие перу основоположника русской школы в изучении аграрных отношений предреволюционной Франции, насыщенные богатым фактическим материалом, эти работы и сегодня сохраняют известное познавательное значение. См. его «Беглые заметки по экономической истории Франции в эпоху революции». Серия первая, СПб., 1913; Серия вторая, СПб., 1915, а также его «Историки Французской революции», тт. I — III, Л., 1924 — 1925.

[15]) См.: В. П. Бузескул. Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX века. Ч. 1, Л., 1929, стр. 137, 153, 204 и др.

[16]) См.: А. Н. Савин. М. М. Ковалевский как историк — «Исторические известия», 1916, №1, стр. 176 — 177; П. Г. Виноградов. Максим Максимович Ковалевский. Некролог. Оттиск из Известий Академии наук. М., 1916, стр. 1164 — 1165.

эклектизм и плюрализм как характерную черту методологии ученого на всем протяжении его научной деятельности[17]). Однако в большинстве случаев мы имеем здесь дело с простой констатацией того или иного положения, не подкрепленной серьезным научным изучением относящейся сюда всей совокупности фактов. Указывая, например, с редким единодушием на позитивизм Ковалевского[18]), никто из писавших об этом не анализировал под соответствующим углом зрения его историко-теоретические взгляды. Особенно неудовлетворительно обстояло дело в буржуазной науке с изучением политических взглядов Ковалевского. Посвященные им работы носили апологетический характер, в них совершенно отсутствовала постановка вопроса о классовой природе политических воззрений ученого[19]).

Но если идейно-методологические взгляды Ковалевского, пусть недостаточно и неглубоко, все же сделались темой специального освещения в дореволюционной историографии, то о других ученых, принадлежавших к социально-экономическому направлению в русской либеральной медиевистике, нельзя сказать и этого. С интересующей нас точки зрения их научная деятельность вообще специально никем не изучалась.

В еще меньшей степени политические и методологические идеи русской либеральной медиевистики рассматривались в зарубежной буржуазной историографии. Традиционное, продолжающееся до настоящего времени высокомерное отношение буржуазных ученых Запада к русской исторической науке, может быть, наиболее ярко проявляется в отрицании ими ее идейно-теоретической самостоятельности. Признавая в лучшем случае выдающиеся успехи отдельных ученых в изучении тех или иных конкретных проблем западноевропейского феодализма, они игнорируют объективные условия, сделавшие возможными эти успехи, полностью отрешаясь от исследования идейно-методологических принципов, которыми руководствовались эти ученые в своей работе. Сошлемся на книгу американского ученого Генри Барнеса «История историографии». Было бы неверным утверждать, что Барнес в своей книге игнорирует роль русских ученых, в частности медиевистов, в развитии мировой науки. Напротив, он чрез-

---

[17]) См.: П. Сорокин. Теория факторов М. М. Ковалевского. — Сб. «М. М. Ковалевский. Ученый, государственный и общественный деятель и гражданин», П., 1917.

[18]) См.: Ар. Фатеев. Максим Ковалевский. Харьков, 1917, стр. 72, 81; П. Милюков. М. М. Ковалевский как социолог и как гражданин.— Сб. «М. М. Ковалевский...», стр. 139; Н. Кареев. М. М. Ковалевский как историк и социолог. — Там же, стр. 172, 178 и т. д.

[19]) См., например, Я. М. Магазинер. Политическая идея М. М. Ковалевского в связи с характеристикой его личности. М., 1917.

вычайно высоко оценивает значение их трудов для понимания истории различных европейских стран[20]), рассматривает Виноградова как крупнейшего специалиста в области английского средневековья, одного из основоположников экономической и социальной интерпретации политического развития Англии[21]), подчеркивает размах и значение исследований Ковалевского по экономической истории средневековой Европы[22]). Однако тщетно было бы искать в его книге анализ общего уровня развития русской исторической науки или отдельных ее разделов. Довольно подробно излагая развитие исторической мысли в странах Запада, Барнес, переходя к русской науке, ограничивается небольшими, буквально хроникальными заметками в двух главах (из 15) в разделе «Историография в других европейских странах». Естественно, что в этих условиях не приходится говорить даже о постановке вопроса об идейно-методологических основах развития русской исторической науки, хотя применительно к исторической мысли других стран Барнес не только ставит этот вопрос, но и так или иначе пытается его решить.

Еще меньше места русской науке уделяют авторы других известных на Западе историографических трудов, которые упоминают одного Виноградова[23]) или не упоминают вообще никого из русских медиевистов[24]). К этому следует добавить работы Фюттера, М. Риттера, Србика, где отсутствует русская историография вообще.

На этом фоне выделяются немногие работы, проникнутые серьезным интересом их авторов к методологическим проблемам развития русской исторической науки. Укажем, в частности, на содержательную статью Георга Закке, в которой ставится вопрос о методологическом кризисе русской либеральной историографии в начале XX в.[25]). Однако главное внимание в такого рода работах отводится авторам, работавшим в области русской истории[26]).

Значительно больше внимания на Западе уделялось и уделяется развитию русской социологической мысли, при-

---

[20]) См.: H. E. Barnes. A History of Historical Writing. Second Revised Edition. New York, 1963, p. 257.

[21]) Ibidem, p. 254, 306.

[22]) Ibidem, p. 315, 327.

[23]) G. P. Gooch. History and Historians in the Nineteenth Century. 3. Edition. Boston, 1959.

[24]) K. Brandi. Geschichte der Geschichtswissenschaft. 2. Aufl., Bonn, 1952.

[25]) G. Sacke. Geschichte Russlands in russischer und deutscher historischer Literatur der Nachkriegszeit, in: «Archiv für Kulturgeschichte», Bd. 24. Leipzig und Berlin, 1934, S. 342.

[26]) Помимо статьи Закке см.: K. D. Grothusen. Die Historische Rechtsschule Russlands. Giesen, 1962.

чем в некоторых работах поднимаются вопросы, имеющие прямое отношение к нашей теме. И здесь мы встречаем положение о несамостоятельности развития русской теоретической мысли. Это положение, в частности, составляет ведущий методологический принцип в исследовании истории русской общественной мысли Массариком[27]). Однако такая точка зрения при всей ее распространенности не является единственной в буржуазной науке Запада. Почти одновременно с книгой Массарика была опубликована построенная на принципиально иных основаниях содержательная работа Юлиуса Геккера, интересная для нас тем, что в ней рассматриваются взгляды Ковалевского и Кареева на характер общественного развития[28]). Характерной чертой ее является стремление автора связать эволюцию русской общественной мысли с различными этапами социально-политического развития страны. «Чтобы понять и оценить русскую социологию, — пишет Геккер, — необходимо изучать ее в свете истории русского общественного и политического движения»[29]). Рассматривая под этим углом зрения развитие русской общественной мысли, он подчеркивает ее оригинальность, научную самостоятельность. Заслуживают внимания соображения Геккера о взаимоотношении общественной мысли России и Запада в конце XIX—начале XX вв. Отмечая влияние различных течений западной науки на тех или иных представителей общественной мысли России, он в то же время указывает, что в ряде вопросов русская общественная мысль опережала развитие буржуазной теоретической мысли Запада[30]). Вместе с тем в своем анализе развития русской социологии Геккер по существу элиминируется от ее классовых основ, вследствие чего его характеристика различных направлений общественной мысли приобретает некоторый абстрактный оттенок. Вне рассмотрения американского ученого осталась и классовая природа социологических воззрений Ковалевского и Кареева, что, естественно, отразилось на глубине их трактовки.

Подлинно научное изучение идейно-методологических основ русской либеральной медиевистики стало возможным лишь в советской историографии. Его основоположником по праву должен быть назван Е. А. Косминский. Уже в 1926 г. в статье, посвященной исследованиям Савина по истории

[27]) См.: Th. G. Massaryk. Zur russischen Geschichts — und Religionsphilosophie. Bd. I. Jena, 1913, в особенности, S., 127, 128, 185, где вся русская общественная мысль XIX в. выводится из различных западных влияний.

[28]) J. F. Hecker. Russian sociologie. A contribution to the history of sociological thought and theory. New York, 1915.

[29]) Ibidem, p. 19.

[30]) Ibidem, p. 202, 287.

Англии, Е. А. Косминский поставил вопрос об идейных истоках русской историографии западноевропейского, в частности английского, феодализма. «В историческом прошлом западноевропейских народов, — указывал он, — русские ученые искали ответа на актуальные вопросы русского настоящего»[31]). В русской пореформенной действительности он усматривает решающую причину сосредоточения Виноградовым и его школой научных интересов главным образом на социально-экономических факторах общественного развития. При этом заслуживает внимания его попытка проследить, как изменение исторической обстановки в России влияло на направление научных интересов этой школы, способствуя перемещению их центра тяжести из области раннего и развитого английского средневековья на позднее[32]). Уже в этой статье Е. А. Косминский ставит вопрос о классовой природе русской медиевистики, подчеркивая ее тесную связь с идеологией русского пореформенного либерализма[33]).

Рассматриваемая статья Е. А. Косминского положила начало марксистскому изучению истории русской либеральной медиевистики. Несмотря на то, что в этой статье Е. А. Косминский, естественно, не ставил перед собой цели всестороннего освещения идейно-методологических позиций русских исследователей английского феодализма, в ней был намечен несомненно плодотворный путь изучения вопроса. Однако вплоть до начала 40-х годов в советской исторической науке этот вопрос практически специально не рассматривался[34]).

Характерное для 40-х годов повышение интереса к прошлому русской науки нашло свое отражение и в оживлении историографических исследований в области медиевистики. В первую очередь здесь должны быть отмечены содержательные статьи Е. А. Косминского, посвященные изучению русскими учеными истории западноевропейского, в особенности английского, средневековья, в которых был широко показан выдающийся вклад русской науки в исследование кардиналь-

---

[31]) Е. А. Косминский. Исследования А. Н. Савина по истории Англии. В кн.: Е. А. Косминский. Проблемы английского феодализма и историографии средних веков, стр. 37.

[32]) Там же, стр. 37—39.

[33]) Там же, стр. 39.

[34]) За исключением отдельных замечаний, высказанных в отношении методологических позиций Петрушевского в первый период его научной деятельности в связи с критикой его позднейших взглядов (см.: М. Н. Покровский. Новые течения в русской исторической литературе. — «Историк-марксист», 1928, № 7, стр. 5, 10; А. Д. Удальцов. От редакции.— В кн.: Д. М. Петрушевский. Очерки из истории английского государства и общества в средние века. Изд. 3-е, М.—Л., 1930, стр. 3), а также биографических статей, помещенных в первом издании БСЭ.

ных проблем западноевропейского феодализма[35]). Первую попытку синтетического освещения с марксистских позиций истории русской дореволюционной медиевистики предпринял О. Л. Вайнштейн[36]). Однако несомненной слабостью историографических исследований в области истории средних веков в 40-е годы являлось недостаточное внимание к изучению идейно-методологических основ исторических взглядов ученых. Уделяя главное внимание историческим взглядам выдающихся русских медиевистов, их месту в развитии отечественной и мировой науки, советские историки в то же время недооценивали необходимость глубокого анализа идейно-методологических принципов этих ученых. Вследствие этого стали возможны ошибки объективистского характера, особенно отчетливо обнаружившиеся в статьях, посвященных памяти Петрушевского и опубликованных во втором выпуске сборника «Средние века» (М., 1946), где, по существу, смазывалось принципиальное различие между русской буржуазной и марксистской историографией.

Резкая критика этих ошибок в партийной и научной печати[37]) положила начало новому этапу в изучении истории русской либеральной медиевистики, одной из характерных черт которого явилось пристальное внимание к исследованию ее идейно-методологических основ. Уже в 1949 г. Ф. Я. Полянский указывал на актуальность и большое политическое значение критической оценки методологических основ и идейных тенденций школы Виноградова—Петрушевского[38]). Естественно, что в одной статье такая задача не могла быть решена, тем более, что сам автор ее не избежал ошибок в оценке методологических позиций отдельных представителей этой школы[39]). Настоятельной задачей советской историографии в области изучения прошлого своей науки становилось всестороннее исследование всей совокупности исторических, ме-

---

[35]) См. его опубликованные в 1941—1947 гг. и собранные в цитированной книге статьи «Роль русских историков в разработке истории Англии», «Изучение истории западного средневековья», «Аграрная история Англии и русская историческая школа», «Изучение истории крестьянства и аграрных отношений в Англии».

[36]) См.: О. Л. Вайнштейн. Историография средних веков (М.—Л., 1940), где отдельная глава была посвящена русской дореволюционной медиевистике. В несколько переработанном виде эта глава была опубликована также в журнале «Историк-марксист», 1940, № 9 под заглавием «Развитие историографии средних веков в царской России».

[37]) См.: З. Мосина. Некритическое отношение к буржуазной историографии. — «Культура и жизнь», 1947, № 6; Против объективизма в исторической науке. — «Вопросы истории», 1948, № 12, стр. 6.

[38]) Ф. Я. Полянский. О русских буржуазных историках английской деревни. — «Вопросы истории», 1949, № 3, стр. 93.

[39]) Так, он без достаточных оснований утверждал, что в ранний период своей научной деятельности Петрушевский «стоял на почве материализма» (Там же, стр. 102).

тодологических и политических взглядов ученого в их взаимосвязи и взаимозависимости как необходимой предпосылки воссоздания общей картины развития русской медиевистики. Ее решение могло быть достигнуто совместными усилиями всех советских историков, работающих в этой области.

За последние 15—20 лет изучение истории русской либеральной медиевистики интересующего нас периода значительно продвинулось вперед. В течение этого времени было защищено несколько кандидатских диссертаций, посвященных творческому пути крупнейших русских медиевистов, появилось значительное число статей, в которых рассматриваются различные аспекты их исторических и идейно-методологических воззрений. Необходимо особенно отметить выход в свет первой монографии в советской историографии вопроса — содержательного исследования Б. Г. Сафроновым социологических взглядов Ковалевского[40]). Общий уровень состояния изучения вопроса в современной советской историографии нашел свое отражение в «Очерках истории исторической науки в СССР» (тт. II—III, М., 1960—1963), где известное место уделено русской либеральной медиевистике последней четверти XIX в. — начала 900-х годов. В соответствующих разделах «Очерков...» была предпринята попытка создания общей картины развития исторических представлений русской либеральной медиевистики в связи с эволюцией ее идейно-методологических принципов.

В итоге проделанной советскими учеными работы был не только собран богатый фактический материал по истории русской либеральной медиевистики, но и установлены некоторые общие принципы подхода к изучению ее идейно-методологических основ. Общее признание получило положение о том, что эти последние целиком находятся в рамках буржуазной идеологии, органически связаны с классовыми позициями русской либеральной буржуазии и ее эволюцией в конце XIX — начале XX вв. Это положение стало исходной посылкой всякого научного рассмотрения исторических взглядов русских либеральных медиевистов, способствуя углублению их понимания. Было обращено внимание на сложный и противоречивый характер идейно-методологических позиций ведущих представителей русской либеральной медиевистики, не совместимый с какими бы то ни было попытками его схематического освещения.

В частности, речь идет о многообразии идейных истоков формирования теоретических представлений русских либеральных медиевистов. То обстоятельство, что эти последние по своей классовой принадлежности являлись буржуазными

---

[40]) Б. Г. Сафронов. М. М. Ковалевский как социолог. М., 1960.

учеными, отнюдь не исключало возможности влияния на их методологические взгляды идейных течений качественно иного плана, да и буржуазные влияния были слишком многообразными, чтобы их можно было рассматривать недифференцированно, вне учета их трансформации во взглядах того или иного ученого под влиянием русской действительности. На примере Ковалевского это хорошо показано Б. Г. Сафроновым.

Особенного внимания заслуживает постановка вопроса об отражении на теоретических представлениях русской либеральной медиевистики некоторых марксистских идей. Освобожденная от имевших место крайностей как смазывания качественного различия между марксистской и русской либеральной историографией, так и отрицания всякого влияния на последнюю материалистической теории исторического процесса, она, на наш взгляд, является одним из наиболее существенных достижений советской исторической науки в изучении идейно-методологических основ русской либеральной медиевистики, открывая новые плодотворные возможности в познании своеобразия ее развития.

Положение о влиянии марксизма на русскую либеральную медиевистику в последнее время с большой силой было подчеркнуто М. А. Алпатовым, справедливо связывающим с ним ее наивысшие успехи в разработке социально-экономических вопросов в области западноевропейского феодализма[41]). Применительно к методологическим взглядам отдельных медиевистов это положение высказывалось рядом других советских ученых[42]).

Несомненный научный интерес представляет постановка вопроса о влиянии на некоторых представителей русской либеральной медиевистики революционно-демократической литературы[43]). К сожалению, вплоть до настоящего времени этот вопрос остается фактически не изученным в науке, хотя его правомерность представляется бесспорной. Несколько

---

[41]) См.: Очерки истории исторической науки в СССР, т. II, М., 1960, стр. 324—327.

[42]) См. там же, стр. 471—472; И. И. Фролова. Значение исследований Н. И. Кареева для разработки истории французского крестьянства в средние века. — Сб. «Средние века», вып. VII, М., 1955, стр. 319; А. М. Соколова. Научная и педагогическая деятельность Д. М. Петрушевского. — В кн.: «Очерки социально-экономической и политической истории Англии и Франции XII—XVII вв.». М., 1960, стр. 106 и др. Наконец, является общепризнанным в советской историографии влияние марксизма на методологические и исторические взгляды Ковалевского.

[43]) Относительно Кареева такое допущение, правда с многочисленными оговорками, делает И. Е. Семенов (см. его статью «К вопросу о возникновении русской школы новой истории». — «Ученые записки исторического факультета Киргизского госуниверситета», вып. VI, Фрунзе, 1958, стр. 218—219), относительно Лучицкого—А. М. Соколова (цит. соч., стр. 99).

лучше обстоит дело с изучением вопроса о взаимоотношениях между некоторыми русскими либеральными медиевистами и идеологом революционного народничества 70-х годов П. Л. Лавровым. В трудах Б. Г. Сафронова[44]) и Б. Г. Вебера[45]) поставлен вопрос об отношении к Лаврову Ковалевского, Лучицкого, Кареева.

Заслуживает быть отмеченной обнаруживающаяся в последнее время тенденция к синтетическому освещению политических и методологических идей русской либеральной медиевистики на различных этапах ее развития. В ряде работ[46]) делается попытка выяснить определенные черты, характерные для всей русской либеральной медиевистики, раскрыть идейно-теоретические основы ее развития.

В советской исторической науке последних лет получило существенное углубление и конкретизацию положение о влиянии русской пореформенной действительности на идейно-методологические позиции и историографическую практику крупнейших наших медиевистов. Это влияние рассматривается под углом зрения преломления в их научной деятельности политических задач русской либеральной буржуазии[47]), что

---

[44]) См.: Б. Г. Сафронов. М. М. Ковалевский как социолог, стр. 24—26.

[45]) См.: Очерки истории исторической науки в СССР, т. II, стр. 441—442, 463.

[46]) Помимо «Очерков истории исторической науки в СССР», см.: М. А. Алпатов. Кризис русской буржуазной медиевистики в начале XX века. — Сб. «Проблемы историографии» (тезисы и авторефераты докладов и сообщений на межвузовской конференции), Воронеж, 1960; П. Ф. Лаптін. Соціально-економічна проблематика в російській ліберально-буржуазній медіэвістиці другої половини XIX — початку XX вв.— Кам'янець-Подільський державний педагогічний інститут. Доповіді та повідомлення на звітній науковій сессії кафедр інституту за 1962 рік (Тези). Кам'янець-Подільський, 1963; й о г о ж е. «Економізм» і проблеми держави західноевропейського середньовіччя в російській ліберально-буржуазній позитивістській історіографії (Конспект лекцій з курсу історіографії). Кам'янець-Подільський, 1965.

[47]) Хотя подчас сложная динамика влияния современности на исторические взгляды ученого неправомерно упрощается. В таком влиянии стремятся найти ключ, объясняющий не только главное направление научных интересов того или иного ученого, но и подход его к решению отдельных частных вопросов. Так, Т. Г. Лазоренко без достаточных к тому оснований пытается вывести из русской пореформенной действительности истоки известного спора между Лучицким и Ковалевским о характере крестьянской собственности во Франции перед революцией (Т. Г. Лазоренко, І. В. Лучицький як історик аграрних відносин у Франції напередодні і в час революції кінця XVIII ст. — Вісник Київського університету, № 4, серія історії та філософії, вип. 1, 1961, стр. 83). Последовательное проведение подобной точки зрения в историографическом исследовании, по существу, граничит с ликвидацией истории как науки, превращением ее в некую функцию практической политики. Подлинное влияние современности на историю обнаруживается главным образом на ее коренных идейно-теорети-

способствует обогащению понимания политических и методологических идей русской либеральной медиевистики. В этом плане важное значение имеет выдвинутое Б. Г. Вебером положение о новой фазе в развитии идеологии русского либерализма, начало которой он датирует концом 70-х годов прошлого столетия. Б. Г. Вебер подчеркивает, что в условиях незавершенности буржуазных преобразований в стране и обусловленного этим ростом демократического и революционного движения «социальное реформаторство» молодых русских либералов, вступивших в 70-е годы на арену общественной и научной деятельности, носило частично прогрессивный, антикрепостнический характер. Именно этими особенностями русского либерализма конца 70-х годов, отличавшими его как от контрреволюционного либерализма западноевропейской буржуазии последней четверти XIX в., так и от русских либералов 60-х годов с их утопией «просвещенного абсолютизма» и яростной борьбой против «безумных проявлений социализма», Б. Г. Вебер объясняет своеобразие идейно-методологических принципов его идеологов, выступавших в области исторической науки, в частности Кареева[48]).

Вместе с тем вплоть до настоящего времени в советской историографии отсутствует сколько-нибудь всестороннее исследование методологических идей как всей русской либеральной медиевистики последней четверти XIX — начала XX вв. в целом, так и отдельных ее представителей (за исключением Ковалевского и в определенной степени Петрушевского)[49]). Нередко этот вопрос рассматривается схематично, его глубокое изучение подменяется оперированием общими положениями, неспособными вскрыть существенное содержание методологических принципов того или иного ученого. Сказанное, в частности, относится к некоторым работам, посвященным изучению отдельных аспектов исторических взглядов либеральных медиевистов[50]).

ческих представлениях, что не исключает ее относительной самостоятельности, обусловливаемой внутренней логикой развития самой науки как в постановке тех или иных научных проблем, так и в их решении.

[48]) См.: «Очерки истории исторической науки в СССР», т. II, стр. 463—465.

[49]) См.: А. И. Данилов. Эволюция идейно-методологических взглядов Д. М. Петрушевского и некоторые вопросы историографии средних веков. — Сб. «Средние века», вып. VI, М., 1955; Б. Г. Могильницкий. К вопросу об идейно-методологических основах научных работ Д. М. Петрушевского. — «Труды Томского государственного университета им. В. В. Куйбышева», т. 136, Томск, 1957 и др.

[50]) В качестве примера приведем статью Г. П. Шевцовой «П. Г. Виноградов о генезисе феодализма в Италии» («Ученые записки Рязанского педагогического института», т. XVI, 1957). Касаясь мировоззрения Виноградова, она считает возможным ограничиться заявлением о том, что ученый стоял на буржуазно-либеральных позициях, «являясь, как и другие

До настоящего времени отсутствует необходимая ясность в трактовке философской природы теоретических представлений, господствовавших в русской либеральной медиевистике последней четверти XIX — начала XX вв. Правда, является общепринятым рассматривать эти представления как позитивистские. Однако, во-первых, хорошо известно, что понятие «позитивизм» выражает собою явление слишком сложное, внутренне противоречивое, включающее в себя разнообразные, нередко существенно различающиеся между собою течения, чтобы быть достаточным для адекватного определения идейно-методологических позиций того или иного историка.

Во-вторых, при безоговорочной трактовке идейно-методологических принципов русских либеральных медиевистов как позитивистских неизбежно возникают непреодолимые трудности в решении вопроса о соотношении между теоретическими взглядами ученого и его историографической практикой. В самом деле, как объяснить, что позитивизм, являвшийся безусловным шагом назад в эволюции буржуазной философской мысли, стал методологической основой направления, с которым связаны наиболее выдающиеся достижения в русской дореволюционной историографии всеобщей истории.

Неудовлетворительность такой постановки вопроса особенно наглядно выступает в следующем ходе мыслей П. Ф. Лаптина, рассматривающего методологические взгляды Ковалевского. Свою статью П. Ф. Лаптин начинает с утверждения, что в первый период своей научной деятельности Ковалевский выступает не только как передовой ученый, оставивший наряду с другими выдающимися отечественными медиевистами след в развитии мировой исторической науки, но и как представитель прогрессивной русской общественно-политической мысли, придерживавшийся антимонархических и вольнолюбивых взглядов[51]). Но вслед за этим, называя Ковалевского «типичным представителем либерально-буржуазного позитивизма», он дает уничтожающую оценку позитивистской философии как идеалистической и насквозь реакционной. «Вполне естественно, — продолжает он, — что все пороки, свойственные позитивистской философии, характерны

буржуазные историки, идеалистом, метафизиком» (стр. 252). Вряд ли такое определение методологических взглядов одного из крупнейших буржуазных ученых прошлого может действительно помочь пониманию его исторических взглядов. Не случайно, сама Г. П. Шевцова, рассматривая далее взгляды Виноградова на генезис феодализма в Италии, по существу, абстрагируется от его методологических воззрений, что, конечно, не могло не сказаться на глубине ее исследования.

[51]) См.: П. Ф. Лаптін. Історичні погляди М. М. Ковалевського. — «Український историчний журнал», 1962, № 1, стр. 91—92.

для буржуазного позитивиста-историка. С этих позиций и нужно оценивать всю либерально-позитивистскую историографию, в том числе и взгляды Ковалевского как типичного ее представителя»[52]). Правда, далее П. Ф. Лаптин признает, что «будучи типичными эклектиками», лучшие представители либерально-буржуазной науки в своей историографической практике сформулировали ряд положений, объективно способствовавших определенному развитию буржуазной исторической мысли второй половины XIX в.[53]), однако такое признание не проясняет существа дела. Читателю по-прежнему остается непонятным, как могла насквозь реакционная философия стать методологической основой «вольнолюбивых взглядов» Ковалевского, всей его плодотворной научной деятельности.

Мы остановились на взглядах П. Ф. Лаптина не потому, что они являются чем-то исключительным в историографии вопроса, а как раз вследствие того, что в них с особенной силой отразилось современное состояние изучения методологических позиций русской либеральной медиевистики[54]), обнажая его слабые стороны. Нам представляется, что путь к решению вопроса заключается не в отождествлении этих позиций с тем или иным модным в буржуазной науке второй половины XIX в. «измом», а в тщательном изучении всей совокупности идейно-методологических и общеисторических взглядов, господствовавших в русской либеральной медиевистике. Такое изучение, бесспорно, обязано в полной мере учитывать влияние на русскую науку различных философских систем, в том числе и позитивизма, но было бы явной несправедливостью только к нему сводить существо вопроса, что вольно или невольно делают те ученые, которые, рассматривая методологические принципы либеральных медиевистов, ограничиваются указанием на их позитивизм.

Наконец, необходимо остановиться на трактовке в современной советской историографии вопроса о периодизации истории русской либеральной медиевистики. На наш взгляд, является неоправданной обнаруживающаяся в последнее время у некоторых авторов тенденция к максимальному ограничению во времени восходящего периода в ее развитии. Так, М. А. Алпатов определяет расцвет русской либеральной медиевистики 70—80-ми годами XIX в.[55]). С его точки зрения, русская либеральная медиевистика вступает в полосу

---

[52]) Там же, стр. 93.

[53]) Там же.

[54]) Ср.: «Очерки истории исторической науки в СССР», т. II, стр. 323—324.

[55]) М. А. Алпатов. Кризис русской буржуазной медиевистики в начале XX века. — «Проблемы историографии», стр. 23.

кризиса с наступлением эпохи империализма, а революция 1905—1907 годов лишь усиливает его[56]). Подобный взгляд проводится и в «Очерках истории исторической науки в СССР»[57]).

Такая периодизация во многом не соответствует действительной картине развития русской либеральной медиевистики в конце XIX — начале XX вв. Не говоря уже о том, что она не оставляет места для целого поколения русских либеральных медиевистов, расцвет научной деятельности которых падает на конец 90-х — начало 900-х годов, т. е. на то время, когда, согласно этой периодизации, русская историческая наука уже вступила в полосу кризиса (Петрушевский, Пискорский, Савин), с ней трудно согласуются и некоторые факты, относящиеся к научной деятельности старшего поколения медиевистов (Виноградов, Ковалевский, Лучицкий, Кареев). В самом деле, разве не к восходящему периоду в истории русской медиевистики относятся исследования Лучицкого в области аграрных отношений Франции XVIII в., падающие на 90-е годы, или «Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства» Ковалевского? Трудно увидеть в 90-е годы резкий перелом в научной деятельности и других представителей старшего поколения русских медиевистов. Не случайно поэтому, что живая историографическая практика неизбежно выходит за рамки этой периодизации. Характерно в этой связи, что в самих «Очерках истории исторической науки в СССР» взгляды ряда медиевистов (Ковалевский, Виноградов, Петрушевский) рассматриваются как нечто цельное в идейно-методологическом отношении в хронологических рамках, включающих в себя конец XIX — начало XX вв., и соответственно общей структуре книги излагаются во II томе, посвященном восходящему развитию русской буржуазной историографии.

Для понимания природы и эволюции идейно-методологических позиций русской либеральной медиевистики принципиально важное значение имеют положения Маркса, Энгельса, Ленина, посвященные как оценке ее отдельных представителей, так и анализу общих условий пореформенного развития страны. Является поучительным сам метод, которым руководствовались классики марксизма в своем подходе к изучению различных сторон русской общественной жизни, в том числе и к развитию либеральной исторической мысли, строившийся на всестороннем тщательном учете своеобразия русской пореформенной действительности, анализировавшейся с общих позиций материалистического понимания истории.

---

[56]) Там же.

[57]) См.: «Очерки истории исторической науки», т. III, М., 1963, стр. 244.

Органически сочетая исследование общего и особенного в общественной жизни пореформенной России, классики марксизма не только показали главные социологические закономерности, определявшие характер общественного развития страны, но и вскрыли своеобразие их проявления в конкретных условиях российской пореформенной действительности.

Особенно большое значение для нас приобретают неоднократные указания В. И. Ленина о своеобразии социальных отношений в русском пореформенном обществе, создававшем относительно благоприятные условия для развития либеральной исторической мысли. В частности, речь идет о незавершенности процесса общественного размежевания в России до 1905 г.[58]), о том, что до первой революции ни в организационно-политическом, ни в идейном отношении русская буржуазия как класс еще не созрела[59]), вследствие чего и ее идеология оставалась расплывчатой, неоформившейся[60]). В этом обстоятельстве, коренившемся в особенностях исторического развития нашей страны в пореформенный период, следует искать ключ к пониманию идейно-методологических позиций русской либеральной медиевистики и их эволюции.

В свете этого следует понимать известные оценки Марксом и Энгельсом отдельных русских либеральных ученых и всей либеральной историографии в целом. Не будет преувеличением сказать, что с конца 70-х годов прошлого столетия в своем отношении к буржуазной исторической науке Маркс и Энгельс в известном смысле выделяли русских ученых, давая, как правило, высокую оценку их трудам. Хорошо известно, в частности, их отношение к трудам Ковалевского по истории общинного землевладения и книге Кареева о французских крестьянах в последней четверти XVIII в., которую Энгельс справедливо считал лучшей в историографии вопроса[61]). Не менее известна и общая оценка Энгельсом в письме к Е. Паприц русской исторической школы, по его мнению, стоявшей по своему теоретическому уровню «бесконечно выше всего того, что создано в этом отношении в Германии и Франции официальной исторической наукой»[62]).

---

[58]) В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 31, стр. 12, Ср. там же, т. 17, стр. 272.

[59]) Там же, т. 8, стр. 85; т. 16, стр. 125; т. 17, стр. 272.

[60]) Там же, т. 19, стр. 410.

[61]) См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 37, стр. 125.

[62]) Там же, т. 36, стр. 147. Из контекста письма следует, что Энгельс здесь не имеет в виду русских революционных демократов. Как показали исследования советских авторов, речь, по-видимому, идет о Ковалевском, Кареееве, Чупрове и, возможно, некоторых других либеральных ученых.

Хотя это высказывание часто цитируется в советской исторической науке, на наш взгляд, недостаточно внимания обращается на мотивы, позволившие Энгельсу прийти к такому выводу. Между тем из всего содержания рассматриваемого письма следует, что Энгельс имел в виду в первую очередь отношение исторической науки к марксизму. Вся часть письма к Е. Паприц, в которой находится цитируемое место, посвящена вопросу о распространении марксизма в России. Указывая на серьезный интерес в различных кругах русского общества к идеям Маркса, Энгельс, в частности, пишет и о русской исторической школе. Вследствие этого представляется возможным полагать, что для Энгельса источники превосходства русской исторической школы над франко-германской официальной историографией коренятся прежде всего в сфере методологии, что является принципиально важным для понимания особенностей развития русской либеральной историографии, в частности либеральной медиевистики, в интересующий нас период.

Не менее существенными для понимания идейно-методологических позиций русской либеральной медиевистики являются критические замечания основоположников марксизма по адресу отдельных ее представителей. Большое значение в данном плане имеет их оценка исторических взглядов Ковалевского, вскрывающая ограниченность методологии этого крупнейшего представителя русской либеральной медиевистики. Коренной недостаток исторического метода Ковалевского основоположники марксизма усматривали в непреодоленности русским ученым идеалистического понимания общественного развития. Энгельс писал о «юридических заблуждениях» как главном недостатке Ковалевского в исследовании социальных отношений в первобытную эпоху[63]), что имеет существенное значение и для понимания трактовки ученым некоторых важнейших явлений социальной истории западноевропейского средневековья.

Серьезный интерес для нас представляют критические замечания, сделанные Марксом при конспектировании книги Ковалевского «Общинное землевладение, причины, ход и последствия его разложения»[64]). При сочувственном в целом

См.: Н. К. Каратаев. Экономические науки в Московском университете. М., 1956, стр. 202—204; Б. Г. Сафронов. М. М. Ковалевский как социолог, стр. 23—24.

[63]) См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 37, стр. 384.

[64]) Рукопись К. Маркса отдельных глав книги Ковалевского «Общинное землевладение, причины, ход и последствия его разложения», подготовленная к печати Р. П. Конюшей, опубликована в журналах «Советское востоковедение», 1958, № 3—5; «Проблемы востоковедения», 1959, № 1; «Народы Азии и Африки», 1962, № 2. См.: Л. С. Гамаюнов. О записях Карла Маркса, сделанных им при изучении книги Максима Ковалевского «Общинное землевладение, причины, ход и последствия его разложения».—

изложении содержания книги Маркс в решительной форме указывает на присущий ее автору идеализм в объяснении отдельных существенных моментов разложения первобытных социальных порядков. Так, он выступает против утверждения Ковалевского о решающей роли упадка сознания кровного родства в разложении родовой организации[65]). Ряд замечаний Маркса направлен против слабых сторон применения Ковалевским излюбленного им сравнительно-исторического метода, в особенности при рассмотрении аграрных отношений в Индии. Маркс указывает на поверхностную или прямо ошибочную трактовку Ковалевским отдельных явлений и фактов истории Индии, подчеркивая, в частности, что, увлекшись поисками общего, русский ученый не уделяет достаточного внимания выяснению своеобразия аграрных порядков в Индии[66]).

Резкая критика политических взглядов таких видных деятелей русской либеральной медиевистики, как Виноградов, Ковалевский, Кареев, содержится в трудах В. И. Ленина[67]). Важно подчеркнуть, что В. И. Ленин рассматривает этих ученых как типичных идеологов русской либеральной буржуазии, рельефно отразивших в своей политической деятельности весь путь, пройденный их классом от робкой оппозиции самодержавию до прямой контрреволюционности. Именно в этом качестве они и привлекали его внимание. Тем самым мы приобретаем исходную методологическую позицию для анализа политических идей всей русской либеральной медиевистики, типичными представителями которой являлись Виноградов, Ковалевский и Кареев.

Положения классиков марксизма о своеобразии русского пореформенного общественного развития, их оценка методологических и политических позиций отдельных представителей русской либеральной медиевистики, равно как и весь их подход к изучению буржуазной исторической науки, обусловили и проблематику данной работы. Мы считаем необходимым, рассматривая политические и методологические идеи русской либеральной медиевистики, выяснить влияние на

«Советское востоковедение», 1958; № 2; Л. С. Гамаюнов и Р. А. Ульяновский. Труд русского социолога М. М. Ковалевского «Общинное землевладение, причины, ход и последствия его разложения» и критика его Марксом. М., 1960 (XXV Международный конгресс востоковедов. Доклады делегации СССР).

[65]) «Советское востоковедение», 1958, № 3, стр. 5.

[66]) См. там же, 1958, № 4, стр. 4—6, 18; № 5, стр. 4—8, 12.

[67]) См.: В. И. Ленин. Чего хотят и чего боятся наши либеральные буржуа? (Полное собрание сочинений, т. 11); Правительство, дума и народ (Там же, т. 13); Кадеты и националисты (Там же, т. 22); Национал-либералы (там же) и др.

формирование их современной им действительности, проследить, как эта последняя трансформировалась в историко-теоретических представлениях наших либеральных ученых, полагая, что именно в этом направлении и следует искать причины, обусловившие успехи изучения западноевропейского феодализма в русской либеральной историографии и определившие известное своеобразие ее идейно-методологических установок.

Вследствие этого в настоящей работе не ставится задача всестороннего выяснения вопроса о роли влияния зарубежной науки на русскую либеральную медиевистику. Признавая сам факт такового, мы тем не менее считаем, что сила и значение влияния зарубежной философской и исторической мысли всецело зависели от того, насколько эффективно они могли служить решению задач, выдвигавшихся перед идеологами русского либерализма самой жизнью. Именно эта последняя и определила наиболее существенные черты идейно-методологической концепции русской либеральной медиевистики.

**
*

Предлагаемая вниманию читателя книга и отдельные ее разделы неоднократно обсуждались в коллективе историко-филологического факультета Томского государственного университета, а также в Институте истории Академии наук СССР. Автор считает своим приятным долгом выразить сердечную признательность всем товарищам, принимавшим участие в этих обсуждениях. Их доброжелательная критика во многом способствовала формулировке и уточнению основных положений монографии. Особенно благодарен автор А. И. Данилову, чья неоценимая помощь сопутствовала ему на всем протяжении работы над книгой.

ГЛАВА I

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕИ РУССКОЙ ЛИБЕРАЛЬНОЙ МЕДИЕВИСТИКИ СЕРЕДИНЫ 70-х ГОДОВ XIX в. — НАЧАЛА 900-х ГОДОВ

Характеризуя политические идеи русской либеральной медиевистики, было бы недостаточным ограничиться простой констатацией того факта, что ее представители являлись идеологами либерализма. Сам либерализм не был однороден. В условиях пореформенного общественного развития с характерным для него переплетением социальных противоречий происходит известная дифференциация в либеральном лагере; уже в 70-е годы отчетливо выделяются два его крыла, которые при общности конечных целей расходились между собою в определении тактических средств их достижения. Вследствие этого представляется возможным говорить о двух течениях в идеологии русского либерализма, различавшихся как в оценке современной им действительности, так и в выводах, которые из этой оценки делались[1]).

В 70—90-е годы в русском обществе значительным влиянием по-прежнему пользовались взгляды, развивавшиеся либералами 60-х годов с характерным для них раболепством перед царизмом и органической ненавистью к любому проявлению революционной активности. В области исторической

[1]) Рассматривая идеологию русского либерализма последней четверти XIX в. — начале 900-х годов в первую очередь как продукт пореформенной действительности, оказавшей решающее влияние на ее существенные черты, мы отвергаем господствующий в современной буржуазной историографии тезис об идейной несамостоятельности русского либерализма. См., в частности, V. Leontovitsch. Geschichte des Liberalismus in Russland. Frankfurt am Main, 1957, S. VII, где утверждается, что русский либерализм является в целом «продуктом рецепций западноевропейских либеральных идей». Не случайно поэтому, что Леонтович, как и другие западные историки русского либерализма (см.: G. Fischer. Russian Liberalism. From Gentry to Intelligentsia. Harvard University Press. Cambridge Massachusetts, 1958), почти полностью игнорирует его идеологию, сосредоточивая свое внимание главным образом на его политической истории. Конечно, идеология русского либерализма отразила на себе различные идейные влияния Запада. Однако, оставаясь только в сфере этих влияний, мы не сумеем понять характерные особенности пореформенного либерализма и его идеологии, равно как и существенные моменты эволюции русской либеральной мысли.

науки эти взгляды получили наиболее всестороннее обоснование в трудах К. Д. Кавелина и Б. Н. Чичерина, печально известных в истории русской общественной мысли своей борьбой против революционной демократии.

«Один из отвратительнейших типов либерального хамства»[2]), Кавелин и в 70-е годы продолжал горячо отстаивать спасительность для России самодержавия и отсутствие в стране реальной почвы для какого бы то ни было ограничения его. Кавелин пишет в это время целую серию публицистических работ, долженствовавших не только доказать невозможность в России революции, но и указать на гибельность для страны введения в ней конституционных порядков. Пронизанные идеей об отсутствии в России классов, о единстве коренных интересов самодержавия и народа, эти работы проводили мысль о том, что стране необходима широкая административная реформа, которая бы ограничила всесилие бюрократии и вместе с тем оставила в неприкосновенности положение царизма как единственного носителя государственного суверенитета[3]).

На качественно однородных позициях стоял в это время и другой признанный лидер русского пореформенного либерализма — Чичерин. Правда, в отличие от Кавелина он в принципе не отрицал необходимость конституционного ограничения самодержавия. Однако конституционная монархия выступает в системе его политических убеждений как некий идеал, достижимый в России в неопределенном будущем при непременном наличии ряда условий, заведомо отсутствовавших в русском пореформенном обществе[4]), и уж во всяком случае — как результат доброй воли верховной власти. Со всей определенностью он говорил о себе и своих единомышленниках: «Мы не становимся в оппозиционное отношение к правительству — мы не требуем себе прав. Мы спокойно ожидаем, когда сама власть признает необходимым наше содействие»[5]).

---

[2]) В. И. Ленин. ПСС, т. 21, стр. 259.

[3]) См. опубликованные во втором томе его «Собраний сочинений» (СПб., 1898) работы: «Чем нам быть? Ответ редактору газеты «Русский мир», «Политические призраки», «Мысли о выборном начале», «Разговор».

[4]) См.: Б. Н. Чичерин. Конституционный вопрос в России. Рукопись 1878 г. СПб., 1906, стр. 8 и, в особенности, «О народном представительстве», изд. 2-е, М., 1899, гл. V, где, имея в виду состояние русского пореформенного общества, он прямо подчеркивал, что «введение конституционного порядка далеко не всегда представляется желанным... Конституционная монархия, в которой выражается идея гармонического сочетания всех элементов государственной жизни, требует гармонии в самом обществе, из которого она истекает» (стр. 255—256).

[5]) Речь Б. Н. Чичерина, Московского городского головы 16 мая 1883 г. Эпизод из истории коронации в Москве, Берлин, 1883, стр. 22.

Подобно Кавелину, Чичерин видит главного врага слева — в растущем освободительном движении в стране. Под впечатлением убийства народовольцами Александра II он пишет обширное двухтомное сочинение «Собственность и государство», посвящая его характерным образом русскому юношеству. В этой книге была сделана попытка дать едва ли не самую пространную в русской либеральной науке критику экономических и политических принципов социализма. Теряя в этой критике всякий здравый смысл[6]), уподобляя свою задачу полицейским мерам по охране порядка[7]), Чичерин с исключительной последовательностью доказывает необходимость объединения «общества» и царизма в первую очередь для подавления революционной борьбы в стране, усматривая в этом необходимую предпосылку всего продвижения по пути «прогресса и свободы».

Вместе с тем во второй половине 70-х годов под непосредственным влиянием революционного подъема в стране в русском либерализме возникает и получает преобладание другое течение, которое в большей степени обнаруживало понимание перемен, совершавшихся в русской пореформенной действительности, и стремилось к определенной модернизации всего общественного и политического строя России. Разделяя с правыми либералами убеждение в «неправомерности» революционного пути общественного развития и упование на «благоразумие» самодержавия, представители этого течения в то время в своей политической программе делали несколько иные, чем Кавелин и его единомышленники, акценты, сосредоточивая огонь своей критики против врагов справа — «бюрократов» и крепостников. И хотя эта критика не затрагивала коренных основ существовавших в стране порядков, более того, в конечном счете объективно была направлена на их укрепление, сам факт ее выдвижения на первый план придавал особое звучание их политической программе и, что особенно важно для нас, оказывал несомненно плодотворное по своему существу влияние на всю систему их идеологических представлений. Именно в русле этого течения либеральной мысли и происходило становление и

---

[6]) О чем свидетельствуют, например, многократные обвинения в защите и проповеди социалистических идей и подрыве устоев капиталистического общества таких признанных идеологов буржуазии, как Милля, Спенсера и, в особенности, немецких катедер-социалистов, на которых Чичерин возлагает прямую ответственность за подъем рабочего движения в Германии.

[7]) С той лишь разницей, что полиция охраняет порядок на улице, а себя Чичерин считал призванным водворять порядок в умах (см.: Б. Н. Чичерин. Собственность и государство, ч. I, М., 1882, стр. II).

развитие социально-экономического направления в русской либеральной медиевистике.

Политические идеи русской либеральной медиевистики, сложившиеся в конце 70-х — начале 80-х годов, не претерпели качественной эволюции вплоть до 1905 г. Конечно, период времени со второй половины 70-х годов XIX в. до начала XX столетия не был однозначным в политическом отношении. Революционная ситуация конца 70-х годов сменилась жестокой политической реакцией, за которой последовало с середины 90-х годов некоторое оживление общественной жизни, перешедшее в начале 900-х годов в новый революционный подъем. Однако, несмотря на то, что каждый из этих этапов имел свои специфические особенности, отражавшиеся на всех сторонах политической жизни страны и, в частности, на развитии историографии, оставалось на всем протяжении этого периода неизменным главное: сохранение господства полуфеодального помещичьего землевладения в экономике страны и самодержавия — в политике, и в то же время это был период окончательного разложения старой патриархальной Руси[8]). Поэтому не случайно, что В. И. Ленин в своей периодизации социально-политического развития России всегда выделяет «эпоху 1861—1905 гг.» (1862—1904 гг.) как нечто социально однородное[9]). Господствовавшие на протяжении этого периода социальные отношения определяли и политические задачи либеральной буржуазии, которые вплоть до первой русской революции оставались в своем принципиальном содержании неизменными. Вместе с тем мы попытаемся наметить известную эволюцию политических идей русской либеральной медиевистики на протяжении рассматриваемого периода, в основе которой лежала эволюция русского либерализма в обстановке обострения социальных противоречий в стране и назревания первой революции.

---

[8]) Реакция 80-х годов не могла остановить капиталистического развития страны, сопровождавшегося ростом экономического и политического значения русской буржуазии. Небезынтересно отметить, что именно на эти годы падает активизация политической деятельности в кругах крупной торгово-промышленной буржуазии. «Несомненно, — писал тогда один из первых в стране печатных органов, выражавших интересы этих кругов, — что наше третье сословие, русская буржуазия, не ограничивая свою деятельность частными экономическими интересами и предприятиями, стремится завладеть общественно-политическими делами и стать во главе местного самоуправления» («Русский курьер», 1884, № 131). Ср. П. А. Берлин. Русская буржуазия в старое и новое время. М., 1922, стр. 122—126.

[9]) См.: В. И. Ленин. ПСС, т. 20, стр. 20, 38, 101, 187, 190; т. 21, стр. 171, 220.

1. Либеральные медиевисты как идеологи русского пореформенного либерализма

Обращение русской либерально-буржуазной историографии к изучению социально-экономических отношений западноевропейского средневековья не может быть правильно понято вне связи с эволюцией русского пореформенного либерализма. Русские ученые, начинавшие в 70-х годах прошлого столетия исследование феодального строя в Западной Европе, отнюдь не были кабинетными мыслителями, устремлявшимися от треволнений и бурь современности в спокойную гавань давно прошедших времен. В их лучших произведениях средневековая тематика звучала необычайно актуально, и вопросы далекого прошлого превращались в действенное подспорье для решения самых острых проблем настоящего. «Было бы неправильно думать, — писал Кареев о Ковалевском, — что и на самом деле он был объективистом чистейшей воды... Самый выбор им вопросов, которыми он особенно много занимался, показывает, что им руководило не одно ученое любопытство..., а двигал им также интерес к совершающейся вокруг нас общественной жизни. Ковалевский был историком-политиком, если под политиком разуметь стремление к воздействию на общественную жизнь во имя определенных идеалов»[10]). Сказанное можно с полным правом отнести и к самому Карееву и к другим выдающимся представителям русской либеральной медиевистики.

Нельзя упускать из виду, что в лице Ковалевского и Кареева, Лучицкого и Виноградова мы имеем не просто ординарных ученых, в той или иной степени проводивших в своих трудах мировоззрение своего класса, а идеологов, активно формировавших это мировоззрение. Всей своей деятельностью, и прежде всего деятельностью научной и публицистической, они утверждали идеологию российского либерализма, давали ей историческое обоснование. Вот почему история русской либеральной медиевистики неразрывно связана с формированием идеологии буржуазии в нашей стране после 1861 г. В особенностях пореформенного развития русского либерализма лежит ключ к пониманию важнейших ее отличительных черт, в частности — ее политических идей.

Вся общественная жизнь пореформенной России развивалась под знаком нерешенности задач буржуазного преобразования страны. Реформы 60—70-х годов, сыгравшие определенную роль в ускорении развития капитализма, не устра-

---

[10]) Н. И. Кареев. М. М. Ковалевский как историк и социолог. Сб. «М. М. Ковалевский. Ученый, государственный и общественный деятель и гражданин», стр. 173.

нили, да и не могли устранить крупнейшие препятствия на этом пути. Царское самодержавие с его огромной разветвленной бюрократической машиной, стремившейся подавить всякую живую мысль, твердо стоявшее на страже сословных привилегий дворянства, громадные пережитки крепостничества в деревне, весь государственный и общественный строй империи Романовых делали неизбежным резкое обострение социальных противоречий в стране. Красной нитью через всю историю пореформенной России проходит нарастание революционного движения, в пламени которого в конце концов погибло и самодержавие, и все стоявшие за ним социальные силы. Но наряду с ним все это время существовало и движение другого рода — либеральная оппозиция господствовавшим в стране порядкам. Не переоценивая ее силу и значение, мы в то же время при характеристике особенностей русского либерализма в пореформенную эпоху обязаны принимать во внимание уже сам факт ее существования.

Ее отличительные черты были обусловлены той двойственностью положения русской буржуазии во второй половине XIX в., которая вытекала из всего характера пореформенного развития страны. В. И. Ленин указывал, что в течение 1861—1905 годов «следы крепостного права, прямые переживания его насквозь проникали собой всю хозяйственную (особенно деревенскую) и всю политическую жизнь страны. И в то же время именно этот период был периодом усиленного роста капитализма снизу и насаждения его сверху»[11]). Развитие капитализма в условиях, когда буржуазия была лишена командных постов в экономической и политической жизни России, создавало естественную почву для роста буржуазной оппозиции самодержавию и полуфеодальному дворянству, накладывало особый отпечаток на расстановку сил в идейно-политической борьбе того времени.

В этой связи нельзя недооценивать принципиального различия, существовавшего вплоть до 1917 г., между Россией и передовыми странами Запада. Подчеркивая это обстоятельство, В. И. Ленин предостерегал против плоских аналогий между положением русской буржуазии (даже после 1905 г.!) и буржуазии стран, где капиталистические преобразования были уже завершены. В связи со сравнениями Государственной думы с французским Законодательным корпусом последних лет Второй империи и германским рейхстагом он указывал: «Подобное сравнение есть образчик игры в исторические параллели, настолько оно не серьезно. Во Франции 60-х годов была давно уже закончена вполне эпоха буржуаз

[11]) В. И. Ленин. ПСС, т. 20, стр. 38.

ных революций, в дверь стучалась уже прямая схватка пролетариата с буржуазией... Смешно сравнивать это с современной Россией. III Дума больше похожа на Chambre introuvable 1816 года! В Пруссии 80-х годов мы видим тоже эпоху полного завершения буржуазной революции, закончившей свое дело в 1870 году, буржуазия вся, вплоть до мелкой городской и крестьянской, удовлетворена и реакционна»[12]).

В отличие от стран Запада, где в это время главным общественным противоречием являлся антагонизм между буржуазией и рабочим классом, выражавшийся, в частности, в непримиримой борьбе буржуазной идеологии и марксизма, где июнь 1848 г. и особенно март 1871 г. показали грозную силу класса — «могильщика капитализма», русская пореформенная действительность с характерным для нее причудливым переплетением старого с новым во всех сферах экономической и социальной жизни порождала своеобразную расстановку классовых сил, делала иные, чем на Западе, акценты в идейно-политической борьбе. Различие исторических условий, в которых находилась буржуазия в России и на Западе, обусловливало и определенное различие в позиции ее идеологов. Конкретная ситуация выдвигала перед ними конкретные цели, определяла конкретные пути их решения. Первоочередная задача русской буржуазии заключалась в том, чтобы достичь господствующее положение в стране, в то время как для буржуазии Запада главным являлось сохранение этого положения за собою. Соответственно этому разнились и задачи ее идеологов у нас и на Западе.

Нерешенность задач буржуазно-демократической революции в России в сочетании с относительной слабостью во второй половине XIX в. рабочего движения в стране создавала для русского либерализма объективную возможность сохранения в своем арсенале определенных прогрессивных идей, давно уже растерянных либеральной буржуазией Запада. Оппозиция самодержавию, хотя и далеко не последовательная и не решительная, ненависть к крепостникам и «бюрократам» порождали известное своеобразие политических позиций русской либеральной буржуазии. Главные свои стрелы она направляла на врагов справа, в борьбе с которыми ее идеологи не прочь были апелировать к «родным низам», претендовать на роль выразителей общенародных интересов. Здесь коренится одна из причин устойчивого интереса к жизни народных масс, проникнутого несомненным сочувствием к ним, который был столь характерен для лучших представителей русской либеральной интеллигенции и нашел свое выражение в либеральной историографии.

---

[12]) В. И. Ленин. ПСС, т. 20, стр. 406.

Мы останавливались до сих пор главным образом на тех аспектах в положении русского пореформенного либерализма, которые способствовали прогрессивному развитию буржуазной историографии в 70—90-х годах прошлого столетия. Без учета их останутся до конца непонятными многие её достижения, в частности, в исследовании западноевропейского феодализма. Но, конечно, ими одними не может быть ограничена характеристика политического облика русского либерализма этого периода. Более того, не они определяли этот облик.

Вскрывая сущность русского либерализма, В. И. Ленин писал: «Либералы были и остаются идеологами буржуазии, которая не может мириться с крепостничеством, но которая боится революции, боится движения масс, способного свергнуть монархию и уничтожить власть помещиков»[13]). Этот страх перед народной революцией доминировал как в политике, так и в идеологии либеральной буржуазии, составляя ее характернейшую черту. Недовольная существующим порядком вещей она в то же время была органически неспособна к сколько-нибудь серьезной борьбе против него. Соединенная тысячами нитей с самодержавно-помещичьим государством и его бюрократической машиной, зависевшая от его милостей, опирающаяся на его штыки, русская буржуазия навсегда оказалась прикованной к царизму, а их судьбы — неразрывно связанными.

В условиях нарастания революционной борьбы народных масс царизм и буржуазия, несмотря на все разногласия между ними, неизменно оказывались по одну сторону баррикад. Вот почему либеральная оппозиция в России, какой бы резкой критике она ни подвергала «крепостников и бюрократов», какие бы подчас ядовитые стрелы ни метала против господствующего строя и как бы временами ни кокетничала с его действительными противниками, по самой своей природе не могла никогда подняться до последовательного его отрицания. Отсюда проистекает и столь характерная для российского либерализма противоречивость его идейно-теоретических установок и вопиющая непоследовательность его политической линии, по справедливости заклейменной великим сатириком как позиция «применительно к подлости». Это была политика трусливого соглашательства, сладкоречивого пустословия, в основе которого лежал страх перед революционными действиями народа, боязнь насильственного изменения существующих порядков, какими бы несовершенными они ни были. И как раз поэтому вся деятельность либеральной оппозиции в России была фатально

[13]) В. И. Ленин. ПСС, т. 20, стр. 175.

обречена на неудачу; лишенная внутренней действенной силы, разношерстная по своему социальному составу и расплывчатая по идейному содержанию, эта оппозиция являла собою образец политической беспомощности в борьбе с царизмом даже за свои собственные классовые интересы. И тем менее она могла сыграть роль, на которую со всей серьезностью претендовали ее идеологи, — роль толкователя и выразителя народных интересов, вождя всех прогрессивных сил страны.

Формирование политических идей русской либеральной медиевистики падает на годы второй революционной ситуации в стране. Это было время героического взлета борьбы народников, потрясших своим единоборством с царизмом весь мир, новой вспышки крестьянских волнений; и вместе с тем в эти же годы делало первые свои самостоятельные шаги рабочее движение. Невиданная ранее по своему размаху и напряженности борьба, поставившая в начале 80-х годов Россию на грань революционного взрыва, оказала огромное влияние и на те слои русского общества, которые непосредственного участия в ней не принимали, но различными нитями были связаны с ее деятелями.

Значительный резонанс эта борьба получила в кругах либеральной интеллигенции. Под ее влиянием со второй половины 70-х годов начинается заметный подъем либерального движения, в ходе которого, по существу, были сформулированы главные требования либеральной оппозиции самодержавию, сохранившие свою силу на многие десятилетия[14]).

Начинавшие в это время научную деятельность предотавители старшего поколения русских либеральных медиевистов по своему воспитанию и общественному положению принадлежали к той части русской интеллигенции, которая испытала известное идейное влияние радикальных течений русской и западноевропейской общественной мысли и искренне сочувствовала страданиям народа, ненавидела самодержавие, хотя и не участвовала в революционной борьбе против него[15]). Свою научно-педагогическую деятельность

---

[14]) Характеристику подъема либерального движения во второй половине 70-х годов см. в кн.: Ш. М. Левин. Общественное движение в России в 60—70-е годы XIX века, М., 1958, стр. 481—499.

[15]) Вспоминая впоследствии свои студенческие годы, Ковалевский писал: «Характерной чертой времени было то, что все мы без различия специальностей интересовались исключительно общественными вопросами, не выходя при этом нимало из сферы чистой теории» (М. Ковалевский. Мое научное и литературное скитальчество. — «Русская мысль», 1895, № 1, стр. 66). Этот интерес к общественным вопросам своего времени, остающийся, правда, в чисто теоретической плоскости (т. е. не связанный с практической революционной борьбой) и сочетающийся с такой же отвлеченной приверженностью к свободе и равенству, о чем далее

они рассматривали как одну из форм служения обществу, видели в ней необходимое условие решения стоящих перед ним задач.

В их научной, общественной и педагогической деятельности отчетливо выступают две черты, которые являются характерными для всего политического облика русской либеральной медиевистики. 1. Признание настоятельной необходимости изменения существовавшего тогда общественного и государственного строя России в направлении конституционного ограничения самодержавия и ликвидации политического и экономического всемогущества полуфеодального дворянства, сочетавшееся с сознанием важности улучшения материальных условий жизни широких народных масс, в особенности крестьянства. 2. Твердое убеждение, что такое изменение должно быть достигнуто мирным путем, в результате реформаторской деятельности царского правительства, опирающейся на поддержку и активное сотрудничество либерального общества.

В соответствии с этим в системе политических идей русской либеральной медиевистики центральное место занимает проблема взаимоотношения государства и общества, рассматривавшаяся под углом зрения определения оптимальных условий, обеспечивающих мирный социальный прогресс. В решении этой проблемы русские либеральные медиевисты широко использовали исторический опыт Запада, пытаясь найти в нем подтверждение и обоснование своего главного политического кредо — о возможности и необходимости мирного эволюционного прогресса, основанного на солидарных действиях правительства и всех слоев общества.

В этом плане их особенно пристальное внимание привлекала история Англии. Русские либеральные медиевисты видели, конечно, говоря словами Ковалевского, и темные стороны в английской истории[16]). Однако не они определяли их отношение к этой стране. Их политическим идеалом являлась конституционная монархия в той ее форме, какая сложилась в Англии, всегда остававшейся для них «образцом для всех цивилизованных и стремящихся к цивилизации государств»[17]). Будучи не в состоянии в условиях царской цензуры открыто прокламировать свою политическую программу, они на материале английской истории достаточно

говорит ученый, и составляет один из важнейших компонентов той среды, в которой происходило формирование политических идей русской либеральной медиевистики изучаемого периода.

[16]) См.: М. М. Ковалевский. Английская конституция и ее историк. М., 1880, стр. 15.

[17]) Д. М. Петрушевский. Восстание Уота Тайлера. Ч. 1, СПб., 1897, стр. 318.

определенно выражали свои политические симпатии и антипатии, превращая ее в своеобразную школу политического воспитания русской либеральной интеллигенции. Характерным образом, приступая к чтению в Московском университете курса лекций по государственному праву Англии, Виноградов подчеркивал необходимость изучения чужого для сознательного отношения к своему прошлому и настоящему[18]).

Проецируя на английскую историю свои политические идеалы, русские либеральные медиевисты в изложении ее обращали большое внимание на доказательство существования пресловутого социального сотрудничества как главной черты политической жизни Англии, обусловившей ее притягательную силу для либералов разных стран. В их концепции социально-политической истории средневековой Англии на передний план выдвигается мотив классовой солидарности как ведущей силы общественного развития страны. Этот мотив особенно отчетливо звучит в лекционных курсах по истории средних веков, принадлежащих Виноградову.

Историю западноевропейского общества в развитое средневековье Виноградов рассматривает на материале трех стран — Англии, Франции и Германии, противопоставляя первую двум последним, в особенности Франции. Интерес к социально-политической истории Англии для него заключается в том, что «на этой почве в средние века вырабатываются начала той конституционной системы, которая в новое время сделалась главной целью политических стремлений континентальных держав Европы»[19]). Политическая физиономия русского либерала выступает особенно явственно там, где он рассматривает условия, обеспечившие, по его мнению, это превосходство Англии над континентальной Европой. С большой настойчивостью он проводит мысль о том, что солидарность интересов сословий и явилась той силой, которая привела к конституционному ограничению королевской власти в Англии, в то время как сословная рознь во Франции обусловила торжество в этой стране правительственного деспотизма[20]).

С особым удовлетворением Виноградов подчеркивает политическую мудрость английских баронов, которые в отличие от французской феодальной знати якобы выступали в политической борьбе выразителями общесословных интересов, что обеспечило успех их деятельности. С этих позиций он

---

[18]) П. Г. Виноградов. Государственное право Англии. Лекции, 1887/88 акад. год, стр. 4.

[19]) П. Г. Виноградов. История средних веков, изд. 2-е. М., 1899—1900. Добавление, стр. 3.

[20]) Там же, стр. 297; Добавление, стр. 101—102.

рассматривает значение Великой хартии вольностей. Признавая чисто средневековый характер этого документа как феодального договора, Виноградов в то же время видит его капитальное значение в том обстоятельстве, что в хартии отразились не разрозненные действия отдельных классов, как это было в аналогичных ситуациях во Франции, а «совокупное стремление общества ограничить слишком быстро и сильно развившуюся государственную власть давлением общества». Так случилось потому, убеждает Виноградов своих слушателей и читателей, что бароны выступали в 1215 г. в роли политических вождей общества, заботившихся не только о себе, но и об интересах других классов[21]).

Не менее отчетливо политическое кредо Виноградова выступает в его апологетике английского местного самоуправления, в которой явственно слышится голос русского либерала, усматривавшего в земстве «зародыш конституции». Показательно, что Виноградов в полном созвучии с чаяниями русских либералов особенно настойчиво подчеркивает политическое значение местного самоуправления. Указывая на выдающееся значение этого последнего в развитии английской свободы, он утверждает, что местная организация «сроднила сословия, связала их в общей работе, сделала из них нечто политически целое сначала в области, а потом и в стране»[22]). Нетрудно увидеть в этом высказывании не столько объективную оценку английского средневекового самоуправления, которое утрачивает свою классовую природу, сколько выражение столь едко высмеянной В. И. Лениным в его известной работе «Гонители земства и Аннибалы либерализма» иллюзии российских либералов относительно конституционного будущего земства.

Политические идеи русской либеральной медиевистики на протяжении изучаемого периода не оставались неизменными, эволюционируя вместе с эволюцией самой буржуазии. Начало научной деятельности старшего поколения русских либеральных медиевистов отмечено известной расплывчатостью их идейных позиций. В той или иной степени все они

---

[21]) Там же. Добавление, стр. 78—79. Ср. аналогичную постановку вопроса в статьях Петрушевского «Великая хартия вольностей» («Русское богатство», 1903, № 11) и «Борьба за политическое освобождение в английском обществе во второй половине XIII в.» (Там же, 1905, № 8, 9). Опубликованные накануне и в период первой русской революции, они призваны были на материале социально-политической истории Англии XIII в. обосновать излюбленный либералами тезис о том, что все оппозиционные правительству элементы должны забыть внутренние противоречия и сплотиться вокруг наиболее организованной силы, каковой в Англии XIII в. были бароны, а в России начала XX — либеральная буржуазия.

[22]) П. Г. Виноградов. Государственное право Англии, стр. 91.

испытали некоторое влияние передовых идей своего времени, выходивших за рамки буржуазного мировоззрения. Это влияние не было глубоким, основополагающим. Тем не менее следы его достаточно определенно выступают как в политических взглядах этих историков, так и в их научной деятельности. Не говоря уже о Кареве и Лучицком[23]), политический облик и других либеральных медиевистов, начинавших свою научную деятельность в 70-х годах, не может быть понят вне учета такого влияния. Показательно в этой связи, что даже применительно к Виноградову, характеризуя направление его научной деятельности, Петрушевский счел необходимым указать, как на один из источников его веры в свободную сельскую общину, на русские народнические влияния[24]).

Особенно сложным представляется нам политический облик молодого Ковалевского. Как известно[25]), Ковалевский принадлежал к числу историков, наиболее последовательно выражавших идеологию русской пореформенной либеральной буржуазии. На всем протяжении своей научной и общественной деятельности он решительно защищал коренные интересы своего класса, обосновывая и развивая его политическую программу. Отчетливее многих других он понимал несовместимость с этой последней социалистических идеалов. И в то же время хорошо известны факты, свидетельствующие об известной расплывчатости политического облика Ковалевского в первый период его научной деятельности. Оставаясь до мозга костей буржуазным либералом, он, как известно, в течение длительного времени имел контакты с деятелями русского революционного движения, оказывал определенную помощь в распространении в России революционной литературы.

Заслуживает внимание единственное дошедшее до нас письмо Ковалевского к Плеханову от 23 февраля 1895 г.[26]), свидетельствующее не только о наличии определенных лич-

---

[23]) См. характерное признание Кареева: «Как и все у нас, и я познакомился с главными произведениями Добролюбова в ранней юности, на гимназической еще скамье... Образ молодого, вдохновенного Добролюбова так и сохранился в моей душе» (Н. И. Кареев. Н. А. Добролюбов в студенческие годы. — «Литературный сборник, изданный в пользу Смоленского общества взаимопомощи учащим и учившим». Смоленск, 1904, стр. 94). Общеизвестны личные связи Кареева и Лучицкого с некоторыми деятелями революционного народничества, в частности с Лавровым.

[24]) См.: Д. М. Петрушевский. П. Г. Виноградов как социальный историк. Л., 1930, стр. 11.

[25]) О политических взглядах Ковалевского см.: Б. Г. Сафронов. М. М. Ковалевский как социолог; С. С. Лукичев. Политические и методологические позиции М. М. Ковалевского. — «Ученые записки Томского государственного университета», № 33, серия юридическая, Томск, 1958.

[26]) См.: «Летописи марксизма», т. V, 1928, стр. 56.

ных отношений между ними, но и о несомненно взаимно доброжелательном характере их, включавшем обмен трудами. Вызывает интерес содержащаяся в этом письме оценка Ковалевским известных споров между народниками и марксистами. Он опасается, «чтобы теоретические споры, поднятые по общей вине их авторов, не внесли рознь в малочисленный лагерь русских радикалов и социалистов, что, разумеется, было бы вполне на руку всем его врагам». При всей несостоятельности такой оценки борьбы русских марксистов с либеральным народничеством, она, однако, позволяет полагать, что ее автор, кстати сказать, начавший это письмо с обращения «многоуважаемый товарищ», отнюдь не относил себя к противникам лагеря «русских радикалов и социалистов».

Обострение капиталистических противоречий в России в эпоху перехода к империализму, рост рабочего и революционного движения в стране, возникновение марксистской партии рабочего класса — все это ускоряло процесс общественного размежевания, политические позиции русской либеральной буржуазии становились более определенными и четкими, соответственно чему эволюционировала и ее идеология. В системе ее политических идей на передний план все более решительно выступает борьба против назревавшего в стране революционного взрыва, стремление создать такие условия, которые обеспечивали бы его предотвращение.

В полной мере указанные сдвиги отразились и на политических идеях русской либеральной медиевистики, которые с конца 90-х годов все более утрачивают былую расплывчатость, эволюционируют вправо. Обращает на себя внимание резкое возрастание политической активности русских либеральных медиевистов во второй половине 90-х — начале 900-х годов, которое находится в прямой связи с общей активизацией политической жизни в стране накануне революции. Именно в эти годы представители русской либеральной медиевистики впервые дают развернутую формулировку своих политических взглядов, публикуют значительное число публицистических работ, посвященных различным острым вопросам современной общественной жизни, выступают с публичными лекциями, в которых находят отражение их представления о путях политического развития страны.

Характерной чертой всей этой деятельности является утверждение мысли о необходимости проведения в России серии экономических, политических и социальных реформ с целью предотвращения революции. В этом плане особый интерес представляют некоторые опубликованные за рубежом работы Виноградова и Ковалевского, в которых авто-

ры, не стесненные царской цензурой, могли свободно выражать свои взгляды по самым острым вопросам современной им русской действительности. Оба ученых рассматривали в своих работах соотношение социальных сил в русском обществе конца XIX — начала XX вв., давая оценку положению и политике различных общественных классов и групп и в первую очередь самого правительства,

Показателен в этом отношении обзор пореформенного развития России, сделанный Виноградовым в двух лекциях, прочитанных в 1902 г. в Оксфордском университете[27]). Красной нитью через этот обзор проходит мысль о необходимости союза правительства и «общества» как важнейшего условия нормального исторического развития. Блестящим примером плодотворности такого союза для Виноградова является время реформ Александра II. С его точки зрения, это — самый славный период в истории России, характеризующийся совместной деятельностью правительства страны и «преисполненного идеалами справедливости и независимой мысли» образованного меньшинства[28]). Высокая оценка Виноградовым реформ 60-х годов обусловливалась тем обстоятельством, что они, с его точки зрения, являлись мирной революцией, изменившей всю экономическую и социальную структуру русского общества[29]).

«Эре реформ» Виноградов противопоставляет современное ему состояние России, которое, по его мнению, отмечается как раз разрывом между правительственной политикой и общественными интересами и потребностями. Особенно мрачными красками он рисует экономическое и правовое положение крестьянства, отмечая его прогрессирующее обнищание и юридическое бесправие[30]). Ответственность за это возлагается на «бюрократию», «исказившую» и «испортившую» замысел реформ, и наступившую в правление Александра III правительственную реакцию.

В связи с характеристикой правительственной политики эпохи реакции Виноградов большое внимание уделяет поземельному дворянству, посвящая ему значительную часть своей второй лекции. Его отношение к дворянству представляется показательным для политических позиций идеолога либеральной буржуазии, выступавшей против экономического и политического всевластия этого класса, чреватого опас-

---

[27]) P. Vinogradoff. The Reforming work of the tzar Alexander II and the Meaning of the present development in Russia. Reprinted from the volume of Lectures on History in the Nineteenth Century given at the Summer Meeting 1902, and publisched at the Cambridge University Press.

[28]) Ibidem, pp. 1—6.

[29]) Ibidem, p. 14.

[30]) Ibidem, pp. 23—24.

ностью революционного взрыва в стране. Виноградов видит главную причину неудачи аграрной политики правительства эпохи реакции в том, что она определялась стремлением восстановить привилегированное положение земельного дворянства, которое оно имело до реформы 1861 г., подчинить его «унизительной и деспотической опеке» все земледельческое население[31]). Называя продворянскую политику правительства характерной чертой современной ему русской действительности, Виноградов видит ее существенное содержание в стремлении к реставрации дореформенных социальных порядков в стране. С позиций буржуазного либерала он осуждает правительственные контрреформы, в особенности введение института земского начальника и постоянное ограничение со стороны центральной власти деятельности земства, этой, по его выражению, «школы свободы»[32]).

Давая общую оценку социально-политического развития пореформенной России, Виноградов квалифицирует его как «вид гражданской войны — войны между колеблющимся или реакционным правительством и всякого рода истцами обанкротившихся интересов, — с одной стороны, и растущими силами национального сознания и самоуправления, — с другой»[33]). При этом все свои надежды на благополучный исход этой войны он возлагает на благоразумие самодержавия. Выражая мнение, что Россия стоит накануне новой стадии в своем развитии, идеолог трусливой русской буржуазии не мыслит себе ее наступления без доброй воли правительства как главного фактора современной ему политической жизни. Он лишь высказывает робкое пожелание, что правительство перестанет слепо сопротивляться прогрессу и поймет необходимость создания в интересах достоинства и благосостояния России сильного правового государства[34]).

Дальнейшее назревание революционного кризиса в России толкало либеральную буржуазию и ее идеологов еще дальше вправо, к попыткам прямого сговора с самодержавием. Отражением этих настроений являются «Очерки по истории политических учреждений России» Ковалевского. Эта книга, опубликованная первоначально в Англии и затем во время революции 1905 г. переведенная в России, представляет собою наиболее полное и систематическое изложение в либеральной медиевистике взглядов на политический строй России, предпринятое в канун первой русской революции, что и определяет ее значение.

---

[31]) Ibidem, p. 25.
[32]) Ibidem, pp. 25—35.
[33]) Ibidem, p. 37.
[34]) Ibidem, p. 40.

С начала и до конца «Очерки...» пронизаны резкой критикой самодержавия. Ковалевский с горечью говорит о всесилии «самодержавной бюрократии», господствующей в стране, о политическом и гражданском бесправии российских подданных, невыносимом положении печати, религиозных и национальных преследованиях и т. п. Местами его голос поднимается до настоящего обличительного пафоса — особенно там, где идет речь о деятельности жандармерии в системе политического шпионажа[35]) или нападениях казаков на мужчин и женщин «лучшего круга»[36]). Однако какой бы остроты ни достигала критика Ковалевским царских правителей, она по самой своей сущности являлась охранительной, имела целью не радикальную ломку столь ненавистной либеральному идеологу бюрократической машины, а ее модернизацию, приспособление к нуждам буржуазии, оснащение необходимыми конституционными атрибутами. Рассматриваемая нами книга интересна прежде всего потому, что она необычайно рельефно показывает, насколько убогой являлась политическая программа русского либерализма накануне 1905 г., сформулированная одним из крупнейших русских историков.

Для Ковалевского не оставалось тайной приближение революции в стране. Он пишет о «борьбе за гражданскую независимость, которую можно ожидать в недалеком будущем»[37]). Это сознание приближающейся революционной бури составляет лейтмотив книги Ковалевского, оно обусловливает его оценку как прошлого России, так и ее современного политического состояния. Резкая критика самодержавия исходит из того, что оно не в состоянии предотвратить назревание революции в стране, более того, своими неуклюжими действиями приближает ее. Ковалевский стремится показать, что всесилие бюрократии является опасным прежде всего для самого царизма. Он не останавливается перед прозрачным намеком царю на судьбу Людовика XVI — такого же, по его словам, как и Николай II, доброго, но плохо осведомленного монарха, являвшегося пленником всемогущей бюрократии, прикрывавшей его именем «самые незаконные и возмутительные действия»[38]).

---

[35]) М. М. Ковалевский. Очерки по истории политических учреждений России. СПб., (б. г.), стр. 193—196.

[36]) Там же, стр. 213—214.

[37]) Там же, стр. 197. В другой своей работе за несколько лет до революции он писал: «Как и... люди Учредительного собрания, наше молодое поколение убеждено в том, что Россия находится накануне новой социальной эры» (М. М. Ковалевский. Экономический строй России. СПб., 1899, стр. 4).

[38]) М. М. Ковалевский. Очерки по истории политических учреждений России, стр. 140.

С помощью многочисленных примеров Ковалевский пытается доказать, что неуклюжей борьбой со своими противниками царизм достигает прямо противоположных результатов. Он проводит четкую дифференциацию между либеральной оппозицией самодержавию и подлинным революционным движением, резко критикуя правительство как раз за то, что оно не усматривает такой разницы и стрижет всех под одну гребенку. С горечью рассказывает историк о некоем молодом человеке, вся вина которого заключалась в чтении и распространении среди друзей романа, проповедывавшего социалистические идеи. Под угрозой ареста он бежал за границу, а затем стал одним из виднейших террористов и умер в Петропавловской крепости. «Кто же, — спрашивает Ковалевский, — если не русская политическая полиция ответственен в создании столь опасного врага существующего порядка вещей?»[39]). При этом Ковалевский не скрывает своего отрицательного отношения к настоящим революционерам и их борьбе. Революционных народников он называет политическими преступниками, а их действия — преступлениями[40]). Настороженно смотрит он на быстрое распространение в России идей революционного марксизма, на первые шаги в стране рабочего движения. И здесь ученый видит вину царского правительства с его аракчеевскими методами подавления всякой свободной мысли.

Направляя огонь критики против бюрократической машины самодержавия, Ковалевский вместе с тем выдвигал позитивную программу политических преобразований в стране, которые могли бы поставить Россию в один ряд с передовыми государствами буржуазного Запада. Центральным пунктом этой программы являлось требование конституционной монархии, которое он пытается обосновать исторически. Он утверждает, что опирающееся на огромную бюрократическую машину самодержавие составляет лишь «перерыв в уже начатой эволюции по пути к конституционной монархии»[41]). Подтверждение этого взгляда Ковалевский ищет в прошлом России, обращая особое внимание на Земские соборы. Проводя многочисленные аналогии с французскими Генеральными штатами и английским средневековым парламентом, он подробнейшим образом анализирует функции Земских соборов, подчеркивая их благотворное влияние на всю жизнь страны, не останавливаясь перед их идеализацией. Ковалевский призывает царское правительство восстановить былую традицию первых Романовых, вернуться к созыву земских

---

[39]) Там же, стр. 195.
[40]) Там же, стр. 193—194.
[41]) Там же, стр. 5.

представителей[42]). Важнейшим шагом в этом направлении он считал реформы 60—70-х годов XIX в.[43]). И хотя последовавшая за этим реакция нанесла чувствительный удар либеральным чаяниям, Ковалевский не теряет надежды, что «Россия вернется к политике разумных и целостных реформ, с таким успехом проводившейся во времена Александра I и Александра II»[44]).

Таков был итог изучения Ковалевским политических учреждений России, являвшийся вершиной политической мудрости русских либералов. Только от «разумной» политики самодержавия ждали они осуществления своих чаяний, будучи, самое большее, способными лишь припугнуть его «ужасами» народной революции. И в этом отношении нельзя провести сколько-нибудь существенное различие между разными оттенками идеологии либерализма, что находило свое выражение, в частности, и в единстве взглядов русских медиевистов на будущее страны[45]). Это была попытка исторического обоснования политической программы, выдвинутой лидерами русского либерализма еще в конце 70-х годов[46]).

Важнейшим средством для осуществления политической программы русского либерализма его идеологи считали хорошо поставленное дело народного просвещения. Как известно, почти все они наряду с напряженными научными занятиями и университетским преподаванием вели широкую и многогранную просветительскую деятельность, характерным образом достигшую своего апогея в преддверии первой рус-

---

[42]) Там же, стр. 62.

[43]) Следует отметить единодушие русских либеральных медиевистов в оценке этих реформ, в особенности, так называемого освобождения крестьян, которое иначе как «великая реформа» не называется (там же, стр. 156), ср. Н. И. Кареев. Мысли о сущности общественной деятельности. СПб., 1895, стр. 122; И. В. Лучицкий. Крестьяне и крестьянская реформа в восточной Австрии. — «Киевская старина», 1901, № 3, стр. 322. Не продолжая примеры, отметим, что это единодушие являлось выражением общего для всех либеральных идеологов преклонения перед реформой, преклонения именно потому, что она предотвращает революцию. Недаром Ковалевский свое изложение реформ в правление Александра II начинает с рассказа о том, что крестьяне, будучи дальше не в состоянии выносить крепостной гнет, «либо восставали, либо были готовы восстать», а затем сочувственно цитирует известные слова царя, что гораздо лучше, чтобы освобождение крестьян произошло свыше, нежели снизу (М. М. Ковалевский. Очерки по истории политических учреждений России, стр. 155—156).

[44]) М. М. Ковалевский. Очерки по истории политических учреждений России, стр. 214.

[45]) Укажем в этой связи на редактировавшуюся Лучицким газету «Киевские отклики», в преддверии революции связывавшую воедино будущее России и судьбу только что родившегося наследника престола. (См.: «Киевские отклики», 1904, 31 июля).

[46]) См. об этой программе в указанной книге Ш. М. Левина, стр. 482—499

ской революции. Она проявлялась и в многочисленных публичных лекциях ученых, и в издании (под редакцией Кареева и Лучицкого) научно-популярной серии «История Европы по эпохам и странам в средние века и новое время», и в выпуске «Книги для чтения по истории средних веков» (под редакцией Виноградова), и гимназических учебников по разным разделам всеобщей истории (Виноградов, Кареев, Виппер), и, наконец, в их организаторской деятельности: Кареев, будучи инициатором создания и председателем «Исторического общества» при Петербургском университете, возглавлял в этом обществе педагогическую секцию; Виноградов был в конце 90-х годов председателем училищной комиссии при городской думе, председателем учебного отдела «Общества распространения технических знаний», по его инициативе было создано педагогическое общество при Московском университете; Ковалевский являлся создателем и руководителем так называемой Русской высшей школы общественных наук в Париже.

Вся эта деятельность, несомненно, способствовала распространению исторических знаний. Вместе с тем она была неразрывно связана с реализацией политической программы русского либерализма, отражала на себе его эволюционную тактику. Главная цель народного просвещения вообще и исторического образования в особенности усматривалась ими в способствовании мирному общественному прогрессу.

Своеобразным программным документом русского либерализма в области образования явилась большая статья Виноградова «Учебное дело в наших университетах»[47]), интересная своей постановкой вопроса о значении университетов в общественной жизни страны. Для Виноградова университет является центральным просветительным органом, от функционирования которого зависит жизненность всех остальных частей государственной воспитательной системы. «Тревожная постановка университетского вопроса для общества, — заявляет он далее, — все равно, что диагноз порока сердца для больного»[48]). Именно такое состояние констатирует Виноградов своей статьей для современного ему русского общества.

Характерным для либерала образом Виноградов указывает на две опасности, угрожающие, по его мнению, нормальной постановке университетского дела в стране, — наступление правительственной реакции, подрывающее свободный дух университетского исследования и преподавания и на-

---

[47]) П. Г. Виноградов. Учебное дело в наших университетах. — «Вестник Европы», 1901, № 10.

[48]) Там же, стр. 538.

шедшее свое наиболее яркое выражение в университетском уставе 1884 г., с одной стороны, и проникновение в студенческую среду революционных идей — с другой. Выражая свое кредо либерала-постепеновца, Виноградов решительно осуждает «увлекающихся и непримиримых», ибо, по его словам, «от этого массового движения прежде всего пострадали университеты, судьба которых связана с движением вперед, но с движением организованным»[49]). Залогом такого «организованного движения» университетов, а с ними вместе и всего общества Виноградов провозглашает университетскую автономию под сенью покровительства царизма. Он не жалеет слов для прославления «руководящей просветительной деятельности» самодержцев прошлого[50]), убеждая в то же время правительство, что университет как автономная организация, преследующая исключительно просветительные задачи, свободная от всяких партийных интересов, будет «верным помощником правительства в его культурных предначертаниях и авторитетным руководителем общественного воспитания»[51]). Нельзя не видеть, что острие этого предполагаемого альянса самодержавия и университетов в руководстве воспитанием общества в конкретных условиях России начала 900-х годов, характеризовавшихся мощным подъемом студенческого движения, было направлено как против этого движения, так и против назревающей в стране революции в целом.

Особенно большое внимание проблемам народного образования уделял Кареев — автор большого числа всевозможных учебных пособий, программ, разного рода популярных статей и брошюр, призванных содействовать распространению научных, в первую очередь исторических, в их либеральной интерпретации, знаний в массах. Не будет преувеличением сказать, что популяризация научных знаний рассматривалась Кареевым как один из важнейших аспектов его многообразной общественной деятельности, которому он придавал исключительно большое значение в борьбе за утверждение либеральной идеологии в массах.

В 1894 г. Кареев опубликовал свои известные «Письма к учащейся молодежи о самообразовании», которые за 10 с небольшим лет выдержали 9 изданий (9-е изд. СПб, 1907), а также были дополнены рядом других его работ на эту же тему[52]). В этой серии работ была предпринята попытка дат-

[49]) Там же, стр. 539.
[50]) Там же, стр. 538.
[51]) Там же, стр. 539—540.
[52]) «Беседы о выработке миросозерцания», СПб., 1895; «Мысли о сущности общественной деятельности», СПб., 1895; «Идеалы общего образования», СПб., 1901 и др.

в популярной форме развернутое изложение основ либерального мировоззрения, добиться максимально широкого его распространения в массах учащейся молодежи. Проблема самообразования была поднята Кареевым как проблема мировоззренческая. «Главной целью самообразования, — утверждает он, — должна быть выработка мировоззрения»[53]. О том, какое миросозерцание имеется здесь в виду, Кареев достаточно ясно говорит и в этой, и в других своих работах, доказывая необходимость подчинения масс буржуазной идеологии. Отмечая существование культурной пропасти между образованным меньшинством и невежественной массой, с одной стороны, и зарождение в низах движения, направленного на ее преодоление — с другой, он ставит перед «обществом» задачу возглавить это движение с тем, чтобы подчинить его своему влиянию, ибо культурные верхи «не могут быть истинно сильными, пока между ними и низами нет никакой связи»[54]).

Реализуя эту задачу в своих собственных книгах, Кареев характерным образом делает акцент на тех сторонах политической программы русского либерализма, которые с наибольшей силой выражали его политическую дряблость и бесхребетность. Эти книги содержат, конечно, немало высоких слов о личности и ее неотъемлемых правах, о народном благе, свободе и тому подобных вещах. Мы можем найти здесь и некоторую критику тех или иных аспектов правительственной политики (главным образом, в области просвещения). Однако подлинный пафос этих книг лежит в другом — в убеждении молодых читателей, к которым в первую очередь и адресуется ученый, в том, что «нормальный» культурный и общественный прогресс возможен лишь на основе классового сотрудничества под руководством мудрой государственной власти. Не случайно поэтому Кареев так настойчиво призывает молодежь стоять в стороне от страстей партийной борьбы[55]), так решительно утверждает, что «воспитание юношества должно вестись для его же собственного блага в положительном смысле..., а не в отрицательном направлении, путем критики существующей действительности»[56]).

Характерной чертой русских либеральных медиевистов как идеологов либерализма являлось то обстоятельство, что провозглашаемая ими политическая программа не просто постулировалась, а находила известное воплощение в их

[53]) Н. И. Кареев. Письма к учащейся молодежи о самообразовании. СПб., 1894, стр. 65.

[54]) См.: Н. И. Кареев. Идеалы общего образования, стр. 119, 125—127.

[55]) Там же, стр. 97—99.

[56]) Там же, стр. 112.

историографической практике, получала определенное историческое обоснование. Они были убеждены в громадном общественном и воспитательном значении исторической науки, отводили ей главную роль в выработке мировоззрения[57]). Не случайно поэтому их собственная научная и педагогическая деятельность была тесно связана с решением (с позиций политической программы русского либерализма) актуальных проблем общественного развития страны. Избирая для своих исследований, лекционных курсов и популярных работ узловые моменты средневековой и новой истории Западной Европы, либеральные ученые видели свою задачу в историческом обосновании необходимости совершения буржуазных преобразований в России мирным путем на основе планомерного органического сотрудничества государства и «общества». В их трактовке важнейших проблем истории, в самом подходе к историческому процессу и его различным этапам в полной мере сказались политические идеи либеральной буржуазии, отражавшие особенности развития капитализма в пореформенной России. Не будет преувеличением утверждать, что сама тематика исторических исследований во многом определялась потребностями общественного развития страны в этот период, была тесно связана с решением актуальных политических задач, стоявших тогда перед идеологами буржуазии. В частности, именно так и обстояло дело с изучением в русской либеральной историографии конца XIX — начала XX в. проблем западноевропейского феодализма.

2. Русская пореформенная действительность и изучение в либеральной медиевистике судеб общинного землевладения в Западной Европе

Вспоминая много лет спустя о начале своей научной деятельности, Кареев писал, что его обращение к истории французского крестьянства прямо было обусловлено значением крестьянского вопроса как центрального в жизни русского общества 70-х годов[58]). Примерно то же самое могли сказать о себе и другие русские историки, приступавшие в те годы к изучению западноевропейского феодализма. Отчетливое сознание связи, существовавшей между их учеными изысканиями и современностью, являлось характерной чертой научного облика всех выдающихся представителей отечественной науки того времени.

[57]) См.: Н. И. Кареев. Письма к учащейся молодежи о самообразовании, стр. 152 и след.

[58]) Н. И. Кареев. Памяти двух историков. — «Анналы», 1922, № 1, стр. 167.

Мы отнюдь не хотим преуменьшить чисто научное значение трудов русских медиевистов, вклад которых в изучение западноевропейского феодализма получил широкое признание далеко за пределами нашей страны. Не ставим мы под сомнение и глубокий научный интерес, который вызывали у них проблемы западноевропейского средневековья; к их решению они подходили в первую очередь как ученые, а не как политики. Ничего не будет ошибочнее представления, будто исследование западноевропейского средневековья в России 70-х—90-х годов всецело определялось политическими задачами русского либерализма, являясь своеобразным подспорьем для их решения. В действительности, для русских ученых изучение тех или иных аспектов западноевропейского феодализма имело самостоятельное значение, которое не может быть сведено к определенным политическим расчетам. Точно так же и достигнутые ими научные результаты в большинстве случаев нельзя выводить из политических соображений, которыми руководствовался тот или иной ученый в своей работе.

Однако не подлежит сомнению и другое — научный интерес к проблемам западноевропейского феодализма у русских историков был органически связан с интересами иного порядка, оплодотворялся общественными запросами своего времени, находил в них свое высшее оправдание. Вне общественно-политической борьбы последней четверти XIX в. не могут быть поняты не только политические взгляды наших медиевистов, но и направление их научной деятельности. На примере Ковалевского это хорошо показал Савин. Отмечая присущее работам Ковалевского по истории сельской общины у разных народов «бродило актуальности», Савин подчеркивал: «И как ни велика научная важность вопроса о разнообразных видах коллективного землевладения и землепользования, как ни значительно было влияние западных историков деревенской общины..., нельзя понять этой постоянной тяги к одной и той же задаче, если не принять во внимание, что Ковалевский начинал свою научно-литературную деятельность среди живых, порою страстных, московских и всероссийских ученых и неученых споров и гаданий о прошлом и будущем русского деревенского уклада... В настроениях русской и московской среды 70-х и 80-х годов приходится видеть важный источник этой прочности ученой привязанности, может быть, даже источник склонности в трудных и спорных случаях становиться на сторону ученых приверженцев общинного начала»[59]).

---

[59]) А. Н. Савин. М. М. Ковалевский как историк. — «Исторические известия», 1916, № 1, стр. 175—176.

Точно подмеченный здесь Савиным факт можно генерализировать: научная деятельность русских медиевистов находилась в неразрывной связи с потребностью времени, являясь в определенном смысле отражением этой потребности. Изучение средних веков было показателем не ухода ученого от жизни, а, напротив, его стремления научно осмыслить ее, познать ее существенные связи. История Западной Европы вообще и средневекового Запада в частности являлась для русского либерализма школой политического опыта, уроки которого имели самое непосредственное значение для выработки его практической линии поведения по целому ряду актуальных вопросов русской жизни последней четверти XIX в., в особенности по важнейшему из них — аграрному. Без учета этого обстоятельства мы не сможем правильно понять ни круг проблем, разрабатывавшихся русской медиевистикой этого периода, ни основные результаты, ею достигнутые.

В числе этих проблем совершенно исключительное положение занимало изучение судеб западноевропейского крестьянства на всем протяжении его более чем тысячелетней истории. Наряду с огромным научным значением этого изучения в ходе его решались и определенные политические задачи. История крестьянства в феодальной Европе приобретала значительный общественный интерес в пореформенной России. В преддверии назревающей в стране буржуазной революции с аграрным вопросом в качестве центрального, изучение истории крестьянства в широком плане объективно становилось одним из факторов в идейной борьбе своего времени. Оно доставляло обильный материал для этой борьбы, оказывая непосредственное влияние на выработку политической линии различных социальных сил, в ней участвующих.

С середины 70-х годов происходит заметное усиление интереса как в народнических, так и в либеральных кругах русского общества к аграрному вопросу. Неурожаи, тяжело поразившие русскую деревню в начале 70-х годов, и связанные с ними крестьянские волнения вновь, после более чем десятилетнего перерыва, привлекли широкое внимание к положению крестьянства, развеяли довольно распространенные даже среди народников иллюзии о том, что реформа 1861 г. решила в стране аграрный вопрос[60]). Снова замаячил грозн-

---

[60]) См.: Б. П. Козьмин. Из истории революционной мысли в России. М., 1961, стр. 697—698. Ср. свидетельство современника: «Никогда еще вопрос об аграрных отношениях, капитальный вопрос нашей экономической жизни, не привлекал к себе такого внимания, как теперь. Стоит только вспомнить, какая масса работ появилась в последнее время о русском землевладении и крестьянской общине...» (П. Топорин. Из русской журнальной летописи. — «Слово», 1878, № 4, стр. 134).

ный призрак крестьянской революции, заставивший либеральных публицистов лихорадочно изыскивать меры для урегулирования поземельных отношений, возлагая при этом все свои надежды на благоразумие и дальновидность царского правительства[61]). Становилась очевидной необходимость всестороннего научного исследования вопроса. При этом наряду с исследованием современного положения русского крестьянства большое значение приобретало изучение исторических судеб крестьянства как класса, особенно в странах, опередивших в своем развитии Россию.

Обосновывая необходимость такого изучения, один из популярнейших в то время либеральных публицистов народнического толка князь Васильчиков писал: «Для нас в России нет предмета более поучительного и вместе с тем более современного, как исследование тех разнородных превратностей, чрез которые прошло землевладение в Европе. Оно своевременно потому, что мы именно вступаем с освобождением крестьян в тот период общественного устройства, когда закладываются главные основы социального быта. Оно поучительно потому, что в истории европейского землевладения можно проследить и длинный ряд грубейших ошибок, насильств, несправедливостей, и правильный ход цивилизации, достигшей высшей степени культуры. Может ли таковая же высокая степень цивилизации быть достигнута другими путями, могут ли быть избегнуты ошибки и несправедливости, ознаменовавшие исторический ход аграрного положения в других странах — вот вопрос?!»[62]).

Не будет преувеличением видеть в этих словах более или менее четко сформулированную задачу, поставленную идеологами русского либерализма в области изучения западноевропейской истории. О том, насколько решение этой задачи являлось в 70-х годах настоятельно необходимым, свидетельствуют попытки реализации выдвинутой Васильчиковым программы, принадлежавшие неспециалистам в области всеобщей истории. Не ожидая, когда возьмутся за дело профессиональные историки, они стремились проследить судьбы крестьянства в странах Западной Европы главным образом

---

[61]) Много лет спустя, в разгар первой русской революции, либеральная «Русская мысль», уныло повествуя об охвативших страну аграрных беспорядках, с горечью писала: «В течение более 40 лет лучшие люди в России призывали внимание правительства к крестьянскому вопросу, но все их призывы оставались гласом вопиющего в пустыне... То, что теперь происходит, есть логический и естественный результат всей сорокалетней политики нашего правительства по отношению к народу» («Русская мысль», 1905, № 4, стр. 230—231). Таков был безрадостный итог многолетних упований русских либералов на «благоразумие» царизма.

[62]) А. И. Васильчиков. Землевладение и земледелие в России и других европейских государствах. Т. I, СПб., 1876, стр. V.

в средние века, сопоставить их с ходом аграрного развития в России. Однако попытки эти, как правило, серьезного значения не имели, представляя собою либо поверхностные, изобилующие грубыми ошибками экскурсы в западноевропейскую аграрную историю[63]), либо, в лучшем случае, изложение результатов, полученных западными учеными[64]). К тому же цель таких работ являлась чисто иллюстративной — они призваны были подтверждать взгляды их авторов на современное им положение русского крестьянства и на его судьбы в будущем. Между тем исторический опыт Запада мог стать действительно поучительным только в том случае, если он из объекта спекулятивных построений превращался в предмет глубокого самостоятельного научного изучения. Решение этой задачи и взяла на себя группа молодых ученых, избравших своей научной специальностью исследование западноевропейского феодализма, которым суждено было стать впоследствии виднейшими идеологами русского либерализма.

Из всей группы многочисленных вопросов, поднятых русской либерально-буржуазной медиевистикой, политически наиболее актуальными являлись два, в сущности тесно связанные между собою: проблема сельской общины и судьбы западноевропейского крестьянства в период перехода от феодализма к капитализму. Именно эти вопросы и являлись ключевыми во всей концепции западноевропейского феодализма, созданной русскими учеными.

В 1876 г. в Лондоне вышел небольшой «Очерк истории распадения общинного землевладения в кантоне Ваадт» Ковалевского, положивший начало в русской историографии систематическому исследованию различных форм и типов сельской общины на Западе. С этого времени общинная проблематика становится одной из центральных в русской либеральной медиевистике, отражая жаркую идейную борьбу в русском обществе 70-х — 90-х годов.

---

[63]) Разительный пример этому дает сам Васильчиков главами своей книги, посвященными развитию аграрных отношений Западной Европы. Чего стоит, например, его утверждение, что «общинная организация в Германии являлась с самых древних времен прямо противоположною русскому славянскому мирскому быту» (т. 1, стр. 195), что она с самого начала своего исторического существования являлась не равноправным союзом землевладельцев, подобным русскому миру, а учреждением, основанным на строгой внутренней иерархии различных разрядов сельского населения (т. II, стр. 705). Многочисленные примеры исторического невежества Васильчикова см. в книге В. Герье и Б. Чичерина «Русский дилетантизм и общинное землевладение», М., 1878.

[64]) Укажем здесь на содержательную работу Н. И. Зибера «Общинно-поземельные отношения владельческих крестьян Эльзаса в средние века» («Отечественные записки», 1878, № 9, 12).

Общинная тематика властно вторгается в историческую науку именно в то время, когда вопрос о судьбах русской передельной общины превратился в один из самых жгучих в общественной жизни страны. Еще задолго до известных споров между марксистами и народниками острая борьба вокруг этого вопроса развернулась в буржуазно-дворянской литературе. Не вдаваясь в ее детали, отметим лишь, что водораздел проходил по линии оценки современного состояния деревни и аграрной политики царизма. В рядах русского либерализма существовало влиятельное направление, воспринявшее некоторые народнические идеи (в их либеральной интерпретации). Его представители, вскрывая тяжелое состояние крестьянства, страдающего от податного гнета и малоземелия, видели выход из положения во всемерном развитии и государственной поддержке общинного начала.

В середине и второй половине 70-х годов появляется целый ряд исследований, пронизанных стремлением их авторов доказать, что будущность не только деревни, но и всего государства российского лежит на пути прогресса общинного землевладения. Вышедшая в 1875 г. книга А. Посникова «Общинное землевладение», в которой утверждалось, что общинная собственность не препятствует успехам сельского хозяйства, позднее была оценена как «первая серьезная попытка исследования общины фактическим путем», провозвестник нового направления в литературе вопроса, характеризующегося систематическим изучением всех сторон общественного быта[65]). Однако наибольший общественный резонанс приобрел вышедший год спустя огромный (более 1000 стр.!) уже упоминавшийся нами труд князя Васильчикова. Даже его противники вынуждены были признать, что «давно уже в русской ученой литературе не появлялось сочинения, отмеченного таким редким вниманием и со стороны журналистики и со стороны публики, как книга князя Васильчикова... Люди самых различных литературных партий, не задумавшись, приветствовали его сочинение с редким единодушием»[66]).

Широкое внимание, привлеченное книгой Васильчикова, не было случайным. С большой остротой в ней были поставлены вопросы, глубоко волновавшие либеральное общество в условиях назревания революционной ситуации в стране. Красной нитью через весь труд Васильчикова проходит мысль о том, что главная причина социальных и политических антагонизмов в обществе скрывается в условиях его

---

[65]) В. Пругавин. Русская земельная община в трудах ее местных исследователей. М., 1888, стр. 6—8.

[66]) В. Герье и Б. Чичерин. Цит., соч., стр. 1, 4.

аграрного быта. Утверждая, что под личиной рабочего вопроса в современной Европе скрывается другой, более существенный — аграрный, Васильчиков подчеркивает, что «народные смуты, волнующие современные общества, имеют свой корень в безземельном состоянии большей части народов Старого Света и что для изучения их быта нужно прежде всего вникнуть в поземельный строй этих стран и народов»[67]).

Руководствуясь этой мыслью, Васильчиков стремится на материале истории древней Греции и Рима, средних веков и нового времени убедить своих читателей в том, что преобладание крупного землевладения в аграрном строе государства в сочетании с обезземеливанием крестьянства ведет к неизбежным социальным смутам, является непосредственным вестником смертельного кризиса общества и падения государства. Не делает он исключения и для современной Западной Европы, указывая на глубокое расстройство социального быта на Западе, выражающееся в непрерывных смутах и потрясениях. Гибельному пути Запада князь противопоставляет историю своей страны, где, по его уверению, «...землевладельческий элемент никак и никогда не мог приобрести... то первенствующее и подавляющее значение, которое он имел на Западе»[68]).

Однако — и в этом как раз и состояло общественное значение его работы — Васильчиков отнюдь не удовлетворен современным ему положением дел в русской деревне. При всей своей идеализации русского мира он не мог не видеть явственных признаков упадка общинного землевладения, появления безземельного и малоземельного крестьянства. Вся его книга—страстный призыв либерала, обращенный к правительству, о необходимости предотвратить дальнейшее разложение общины со всеми связанными с этим последствиями, не допустить в России повторения тех социальных потрясений, которыми так богата новая история стран Западной Европы. «Русское общество, — утверждает Васильчиков, — в своем историческом развитии не перешло еще того рокового рубежа, когда мирные соглашения и преобразования становятся неисполнимыми... и, дай бог, чтобы мы воспользовались промежуточным периодом, когда социальные отношения у нас еще окончательно не установились, чтобы порешить по правде и справедливости аграрный вопрос, причинивший столько замешательства всем народам древнего и нового мира»[69]). Васильчиков постоянно подчеркивает, что «время уходит», «сельский пролетариат уже зарождается» и «те же самые огромные замешательства, которые проявились в Старом

[67]) А. И. Васильчиков. Цит. соч., т. I, стр. V.
[68]) Там же, стр. XXVI.
[69]) Там же, стр. XLIX—L.

Свете, могут обнаружиться и у нас». Он предупреждает, что подавление мелкого землевладения крупным чревато «реакцией, обратным движением обезземеленных классов к захвату чужих имуществ, к переделу земель...»[70]).

При всей утопичности предлагавшихся Васильчиковым мер к решению аграрного вопроса, при всех его народнических иллюзиях относительно характера социальных отношений в современном русском обществе[71]) значение его книги заключается в самом признании существования аграрного вопроса в России в такой форме, которая требовала его безотлагательного решения. Именно так и была воспринята она в либерально-народнической печати. Расходясь с Васильчиковым преимущественно в оценке мер, необходимых для подъема крестьянства, его критики были солидарны с ним в главном, в признании безотлагательности государственного вмешательства в поземельные отношения в интересах крестьян на базе укрепления и развития общинного начала в русской деревне[72]). Не было сомнений и относительно

---

[70]) Там же, т. II, стр. 1002—1003.

[71]) См., например, его утверждение о том, что интересы разных классов русского общества еще не вступили между собою в соперничество и борьбу, что Россия не знает антагонизма сословий и тем более вражды капитала и труда (там же, т. 1, стр. L).

[72]) Укажем в этой связи на статью А. А. Головачева в «Отечественных записках» (1877, № 9), являющуюся, пожалуй, наиболее содержательным откликом либеральной печати на книгу Васильчикова. «Если мы и не вполне согласны с некоторыми выводами автора, — писал известный либеральный публицист, — то это не мешает нам признать громадную его заслугу, состоящую в самой постановке вопроса... В том виде, как его поставил князь Васильчиков, он (аграрный вопрос. — *Б. М.*) представляется краеугольным камнем всего социального строя общества, и благо тому народу, в среде которого эта точка зрения усвоится и будет принята законодательством» (стр. 2). Развивая свою мысль, Головачев настойчиво подчеркивает, что значение теоретической разработки социальных вопросов, предпринятой Васильчиковым, заключается в своеобразном выборе средств перехода от старого порядка к новому без потрясений и катаклизмов, без нарушения частных интересов (стр. 6, 11). При этом он усиленно рекомендует свою (и княжескую) благонамеренность, решительно ополчаясь против социалистических теорий. «Да не подумает читатель, — спешит он оправдаться, — что мы... желаем проповедывать какие-нибудь несбыточные, утопические идеи об обеспечении бедных на счет богатых. Нет, мы совершенно далеки от этих мыслей; мы не одобряем даже английского закона о бедных, содержимых на счет приходов, находя его несправедливым» (стр. 17). Совершенно справедливо в своей полемике с публицистами из реакционного лагеря Головачев указывает, что он и его единомышленники обращением внимания правительства на тяжелое положение крестьян гораздо более служат «торжеству охранительных начал», чем их противники справа (стр. 19). Это охранительное начало в подходе к решению главного вопроса пореформенной действительности и составляет показательную черту идеологии русского либерализма. Не учитывая ее, нельзя правильно оценить существенные моменты в системе политических идей либерально-буржуазной медиевистики последней четверти прошлого века.

того, что путь решения социального вопроса в России лежал через усиление связи крестьян с землей, обеспечение ею всех нуждающихся. В этом последнем усматривалось единственное средство избежать ненавистной «язвы пролетариата», а с нею вместе и угрозы насильственного ниспровержения всего существующего общественного и государственного порядка[73]).

Однако подобный взгляд нуждался в историческом обосновании, тем более что, как известно, у него имелись серьезные противники, которые в своей полемике с защитниками общины опирались именно на опыт истории, на ее законы[74]). Конечно, можно было нигилистически перечеркивать этот опыт, как поступал, например, Головачев[75]). Но вопрос являлся слишком важным, чтобы можно было так просто от него отмахнуться. За его решение необходимо должна была взяться профессиональная историография, находившаяся под влиянием либеральных идей. История была призвана ответить на главный вопрос, вокруг которого бушевали страсти — быть или не быть общине в России, совместим ли с ней прогресс в сельском хозяйстве. В борьбе с отрицателями общины справа было необходимо проследить историческую эволюцию форм общинного землевладения, их роль в общественном процессе. Возникала задача показать возможности общины в решении аграрного вопроса. Решение этой задачи в большой мере взяла на себя либеральная медиевистика.

Вопреки очевидным фактам в русской либеральной медиевистике получило широкое распространение мнение, что при наличии известных благоприятных условий община может сохранить свое социально-экономическое значение и после ликвидации феодальных отношений в деревне. Широкое хождение получил взгляд (перешедший сюда из либерально-народнической публицистики) о том, что ликвидация общинного землевладения на Западе являлась не закономерным следствием исторического развития на определенном его этапе, а просто роковым результатом неблагоприятного стечения обстоятельств. Уже в середине 70-х годов решительным сторонником такого взгляда был Кареев. «Мы твердо убеж-

---

[73]) Крестьяне, «составляющие в сущности все ядро русского населения, должны быть обеспечены землею; или в противном случае все государство рассыплется в прах». (Л. З. Слонимский. Охрана крестьянского землевладения и необходимые законодательные реформы. СПб., 1891, стр. 23—24). Это мрачное пророчество относится к несколько более позднему времени, но оно предельно четко выражает заветные мысли и либералов 70-х гг.

[74]) См., в частности, цитировавшуюся книгу Чичерина и Герье.

[75]) А. А. Головачев. Ученое невежество. — «Слово», 1878, № 7, стр. 73—74.

дены, — писал он, — что не экономическая необходимость и не непреложный закон человеческой природы разрушили общину на Западе, но что, наоборот, разрушение общины произвело вредные экономические последствия... и мы уверены, что дальнейшие исследования по этому предмету дадут новые основания для такого убеждения, что будет очень важно и для практического решения вопроса, если только historia, как говорили древние, est magistra vitae»[76]).

На аналогичных позициях стоял в начале 80-х годов, повидимому, и Лучицкий. Характерна в этом отношении его интересно задуманная большая работа, посвященная испанской общине[77]). Написанная на основе большого архивного материала, собранного автором в Испании, она в сущности являлась первой серьезной попыткой в европейской науке проследить эволюцию форм общины на Пиренеях[78]). Но значение ее этим не ограничивается. Широкие аналогии с формами общинного быта в различных уголках земного шара, постановка целого ряда принципиально важных вопросов общетеоретического порядка о формах общины, их эволюции и судьбах сближают эту работу Лучицкого с известными исследованиями Ковалевского, делают ее значительным явлением в отечественной историографии вопроса.

Рассматривая формы общинного владения как формы развития, свойственного всему человечеству, Лучицкий утверждает: «В своих многообразных проявлениях община составляет одну из фаз или, вернее, ряд фазисов этого развития, через которые неизбежно и необходимо проходят все народы, причем у одних сохраняются лишь одни первобытные формы общины, у других, в силу неблагоприятных, *главным образом, внешних условий,* исчезает почти всецело общинное владение, и только у немногих оно развивается и успевает удержаться, несмотря на часто дурную обстановку»[79]). Внимание Лучицкого привлекает именно этот последний вариант. Он видит характерную особенность аграрного строя современной ему Испании в сохранении ряда самых разнообразных форм и порядков общинного владения[80]). Цель его работы и заключалась в том, чтобы показать

---

[76]) Н. И. Кареев. Заметка о распадении поземельной общины на Западе. — «Знание», 1876, № 4, стр. 14. Аналогичные взгляды он развивает и в короткой рецензии на книгу Посникова «Общинное землевладение» (там же, 1875, № 5).

[77]) И. В. Лучицкий. Поземельная община в Пиренеях. — «Отечественные записки», 1883, № 9, 10, 12.

[78]) О научном значении этой работы см.: П. Ф. Лаптин. Проблемы общины в трудах И. В. Лучицкого. — «Средние века», вып. 23, стр. 217—219.

[79]) «Отечественные записки», 1883, № 9, стр. 58. Подчеркнуто нами.

[80]) Там же, стр. 63, 66.

на испанском материале принципиальную возможность сохранения общинного порядка владения землей в новейшее время.

Обращает на себя внимание, что эта работа была опубликована в «Отечественных записках» — журнале, систематически доказывавшем преимущества общинного землевладения и требовавшем его государственной поддержки. Лучицкий настойчиво подчеркивает созвучность своей работы общему направлению журнала, ее связь с волновавшими русское общество спорами о судьбах общины. «...То громадное практическое значение, какое приобрел у нас вопрос об общине, — пишет он, — оправдывает до некоторой степени статью об общинном землевладении у народа, правда, далеко отстоящего от России, ничем не связанного с нею, но судьбы которого, в сфере вопроса о землевладении, должны по некоторым сходным чертам своим возбудить интерес и у русского читателя[81]).

«Поземельная община в Пиренеях» была едва ли не единственной серьезной попыткой реализации сформулированной Кареевым задачи доказать на материале Западной Европы жизнеспособность общинной формы владения землей. Слишком большие трудности стояли на этом пути, слишком очевидным был разрыв между политической установкой либерализма и действительным характером общественного процесса на Западе, чтобы можно было серьезному исследователю оперировать западноевропейским материалом для утверждения идеи о том, что существование общины совместимо с общественным и экономическим прогрессом в новое время. Факты сохранения общинного порядка владения землей в тех или иных, как правило, отсталых уголках Европы еще ничего не доказывали, ибо генеральная линия аграрного развития Западной Европы в эпоху перехода от феодализма к капитализму была явно иной. Путь, на который вставали некоторые публицисты, намеренно закрывавшие глаза на исторические факты или подгонявшие их в угоду определенной схеме[82]), естественно, был неприемлемым для профессиональных историков, дороживших своей научной репутацией. Не случайно в русской либеральной историографии не было создано ни одного обобщающего труда, посвященного судьбам общины на Западе — факт, тем более достойный

---

[81]) Там же, стр. 58. Все вышесказанное делает неубедительным утверждение П. Ф. Лаптина, будто Лучицкий до революции 1905 г. «признавал историческую неизбежность разрушения общины» (см.: П. Ф. Лаптин. Цит. соч. — «Средние века», вып. 23, стр. 228).

[82]) См., например, Л. Зак. Судьбы крестьянской общины в Германии. — «Русское богатство», 1895, № 9—11.

быть отмеченным, что задача такого исследования со всей очевидностью вытекала из ее социальной функции. Между тем ученые сами понимали необходимость таких работ, о чем свидетельствовали их обещания, которые характерным образом остались неисполненными[83]). Это не означало, конечно, отказа либеральной медиевистики от своей социальной функции, но пути ее осуществления с течением времени все решительнее стали перемещаться в иную плоскость. Исторический опыт Запада все более начинал рассматриваться исключительно как кричащий аргумент в пользу необходимости государственного вмешательства в дела общины с целью ее сохранения и укрепления. Показательна в этом отношении эволюция взглядов М. М. Ковалевского.

Никто в русской либеральной историографии не высказал с такой силой свое убеждение в закономерном характере разложения общинного землевладения, обусловленном процессами, совершающимися в самой общине, как молодой Ковалевский. Разложение общинной собственности он расценивал как «мировое явление», не сводимое к тем или иным национальным (расовым) особенностям[84]). Уже в первой своей работе по этой проблематике, избирая ее сюжетом судьбы швейцарской общины, ученый рассматривает разложение общинного землевладения как внутренний органический процесс, закономерный итог имущественной дифференциации внутри общины и вызванной ею борьбы интересов состоятельных и несостоятельных ее членов[85]).

Спустя три года, Ковалевский возвращается к проблеме разложения общинного землевладения, стремясь решить ее уже не на узком локальном материале одного швейцарского кантона, а, широко применяя сравнительно-исторический ме-

---

[83]) Так, Лучицкий, рассматривая эволюцию форм пиренейской общины, пишет: «Более подробное разъяснение перехода общинных форм из одной в другую найдет место в специальном исследовании, которое я приготовляю к печати» («Отечественные записки», 1883, № 12, стр. 431). Однако этого исследования — точно так же, как и второй, главной, части книги Ковалевского «Общинное землевладение, причины, ход и последствия его разложения» — так и не появилось.

[84]) М. М. Ковалевский. Общинное землевладение, причины, ход и последствия его разложения. Ч. 1, М., 1879, стр. III.

[85]) М. М. Ковалевский. Очерки истории распадения общинного землевладения в кантоне Ваадт. Лондон, 1876. Уже тогда разложение общины в кантоне Ваадт Ковалевский рассматривал как частное проявление действия общих исторических законов. «Автор хотя и ограничил свои исследования тесной областью поземельных отношений в одном из кантонов французской Швейцарии, — пишет он в предисловии к своей работе, — но позволяет себе высказать уверенность, что те же моменты необходимо будут найдены исследователями истории поземельных отношений во всех тех странах, в которых сельская община уступила место поместью» (стр. III).

тод, во всемирном масштабе[86]). В предисловии к своему исследованию ученый прямо указывал на его связь с острой полемикой вокруг судеб общины в русском обществе, рассматривая свою работу как определенный вклад в научное решение вопроса. Отмечая, что самый вопрос об общинном землевладении был до сих пор поставлен в России на ложную почву, Ковалевский видит свою задачу в том, чтобы положить начало действительно научному изучению вопроса, перевести его из области чувств в область положительного знания, обратив при этом особое внимание на самопроизвольное разложение общины, совершенно упускавшееся из виду его предшественниками[87]).

Однако сформулированную таким образом задачу Ковалевскому решить не удалось. Как это ни парадоксально выглядит на первый взгляд, фактический материал, собранный в его книге, является в значительной степени опровержением высказанных в предисловии взглядов. Посвятив первую часть своего исследования судьбам общинного землевладения у народов, ставших жертвами колониальной агрессии европейских государств, Ковалевский необходимо должен был приводить факты, свидетельствующие о насильственном разрушении общины испанскими, английскими и французскими колонизаторами. Более того, резко осуждая антиобщинную политику колонизаторов, Ковалевский в ряде случаев показывал отрицательные социально-экономические последствия разрушения общины. Он решительно отрицает, что введение частной собственности в колониях повело за собою улучшение способа обработки земли и рост производительных сил в целом[88]). Но самое главное — Ковалевский настойчиво подчеркивает вредные социальные последствия насильственного разрушения общины. Он указывает на развитие социальных контрастов, крупного землевладения, с одной стороны, и безземельного сельского пролетариата — с другой, свободной конкуренции, приходящей на смену начала взаимной помощи и поддержки и т. д.[89]). Знаменательны слова, которыми кончается книга. Выступая против насильственного утверждения частнособственнического начала в землепользовании, он заявляет: «...Такая насильственная замена одного начала жизни другим не обходится без опас-

---

[86]) М. М. Ковалевский. Общинное землевладение, причины, ход и последствия его разложения. Ч. 1, М., 1879.
[87]) Там же, стр. 1, ср. стр. 4.
[88]) Там же, стр. 227—228.
[89]) Там же, стр. 196.

ных потрясений и во всяком случае вызывает в среде населения продолжительное и вполне законное недовольство»[90]

Не случайно один из критиков Ковалевского, обращая внимание читателей на то обстоятельство, что в этой книге нет фактов, подтверждающих провозглашенные в предисловии теоретические положения автора, зато она изобилует массой свидетельств совершенно противоположного характера, писал: «Автор как будто задался целью опровергнуть свою историческую теорию. Во всей литературе обычного права нет сочинения, в котором с такой полнотой и ясностью изложена была бы история насильственного разрушения общинного землевладения...»[91]). На наш взгляд, здесь имело место не столько противоречие между фактами и исторической теорией ученого, сколько противоречие между его теоретическими предпосылками и политической программой русского либерализма. Это противоречие нашло наиболее яркое выражение в отказе Ковалевского от продолжения работы над своей книгой. Ее вторая часть, где должны были рассматриваться судьбы общинного землевладения в Европе, так и не была написана. Вряд ли, конечно, можно с достаточной определенностью выяснить все причины, почему осталась ненаписанной центральная часть книги, которая одна только и могла служить фактическим обоснованием выдвинутых Ковалевским теоретических положений. Но не подлежит сомнению, что одна из главных, если не решающих, причин этому заключается в том, что такая работа нанесла бы сокрушительный удар по одному из основных положений русского либерализма, что отнюдь не входило в намерения историка. Справедливость этого положения подтверждает вся его последующая исследовательская практика. Не отрицая значение «самопроизвольного» разложения общины, Ковалевский все решитель-

[90]) Там же, стр. 231. В свете этих высказываний нам представляется справедливой критика Б. Г. Сафроновым тех советских историков, которые усматривают в борьбе Ковалевского против столыпинской аграрной политики показатель радикального изменения его взглядов на судьбы общинного землевладения после революции 1905 г. (См.: Б. Г. Сафронов. Цит. соч., стр. 162—166). На всем протяжении своей научной и политической деятельности Ковалевский всегда был решительным противником насильственного разрушения общины (см. дополнительные доказательства на этот счет в цитированной книге Б. Г. Сафронова, стр. 163—164). Его решительное выступление против столыпинской аграрной политики являлось ничем иным, как практическим выражением его теоретических принципов, основанных на осуждении всяких насильственных действий как снизу, так и сверху, взрывающих «нормальное» эволюционное развитие общества.

[91]) П... О причинах распадения поземельной общины. — «Слово», 1879, № 10, стр. 139. (За псевдонимом П... скрывался П. А. Соколовский — известный защитник общинного землевладения в России, автор многочисленных работ, посвященных истории и судьбам русской общины).

нее выдвигает на первый план роль государственной власти как силы, способной парализовать действие причин, разрушительно влияющих на общинное землевладение[92]).

В этой связи нельзя не учитывать следующего обстоятельства. Признавая неизбежность разложения общины, Ковалевский непосредственно связывал его с развитием капиталистического производства, торжество эры которого в России рассматривалось в 70-е годы в лучшем случае как перспектива отдаленного будущего. Не случайно, что позже, когда победоносное наступление российского капитализма развеяло всякие иллюзии на этот счет, ученый вносит существенные коррективы в свои прежние взгляды, начиная доказывать жизнеспособность общинного землевладения при наличии определенных условий (сильная государственная поддержка) и при капитализме.

Судьбы сельской общины в средневековой Европе приобретали для русских ученых особенно актуальное значение именно потому, что они давали богатый материал для решения одного из важнейших вопросов, волновавших русских либералов, — о характере и значении взаимоотношений между государством и общиной. Ратуя за активное вмешательство государства в аграрные отношения в интересах мелких производителей, за целую систему государственных мероприятий в поддержку общинного землевладения, идеологи либерализма стремились обосновать свою программу историческим опытом Запада. Это обстоятельство недвусмысленно подчеркивал Виноградов в своем объяснении причин, толкавших русских ученых к изучению английского средневековья. Отмечая, что вопросы исключительно антикварного исследования на Западе являются для русского общества злобой дня, Виноградов указывает, что ликвидация крепостничества в России выдвинула целый ряд неотложных проблем, которые предстояло решать «правительству и обществу» и которые должны быть разрешены «в свете истории». «Все такие практические проблемы, — продолжает он далее, — приближаются к главному вопросу: насколько законодательство может и должно действовать в социальном развитии аграрного мира. Я не думаю, что кто-нибудь станет утверждать в настоящее время, что, например, изучение образования и разложения сельской общины на Западе не имеет значения для политиков и мыслителей, которые ин-

---

[92]) О развитии взглядов Ковалевского на судьбы общинного землевладения в 70—90-е годы XIX в. см.: В. Т. Зонов. К вопросу об эволюции взглядов М. М. Ковалевского на сельскую общину. — Сб. «Методологические и историографические вопросы исторической науки», вып. 2, Томск, 1964.

тересуются современной жизнью сельской общины на Востоке»[93]).

О том, насколько серьезное значение придавалось в русской либеральной историографии государственной поддержке сельской общины, свидетельствуют взгляды Ковалевского. Всесторонне рассматривая причины, обусловившие разложение общины на Западе, Ковалевский в то же время, начиная с 90-х годов, уделяет особое внимание поискам средств, которые могли бы предотвратить этот процесс в России. И он находит их — в политике государственной власти. Ковалевский неоднократно подчеркивает, что на Западе государство практически ничего не сделало для спасения общины, — и тем большие надежды он возлагает в этом отношении на царское правительство. В его изображении история Западной Европы с этой точки зрения превращается в грозное предупреждение для правящих кругов России. В ряде своих работ Ковалевский нарисовал картину пагубных, по его мнению, социальных последствий разложения общинного землевладения, обращая при этом главное внимание на рост пролетариата за счет обезземеленных крестьян[94]). Во избежание этого он и призывал к сохранению сельской общины как прообраза «хорошо уравновешенного общества, не знающего крайностей богатства и нищеты»[95]).

Ковалевский усматривает важнейшее достоинство реформы 19 февраля 1861 г. в сохранении «в полном соответствии с прошлым системы общинного владения землею»[96]). И тем не менее ученый не мог не видеть, что развитие капитализма в стране и в особенности рост сельской буржуазии, с одной стороны, и аграрного пролетариата — с другой, разлагающе влияли на общину. Ковалевский выдвигает целую программу мероприятий, которая, по его мнению, могла бы спасти общинное землевладение, характерным образом адресуя ее царизму. «Правительство, — утверждает он, — может еще остановить разложение мира законодательными мерами. Оно уже вступило на этот путь, предписав периодические переделы общинных земель и запретив частичное исправление

---

[93]) P. Vinogradoff. Villainage in England. Essays in english mediaeval history. Oxford, 1892, p. VI.

[94]) См., в частности, его работы: «Общественный строй Англии в конце средних веков», М., 1880, стр. 134; «Развитие народного хозяйства в Западной Европе», СПб., 1899, стр. 166; «Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства», т. II, М., 1900, стр. 735.

[95]) М. М. Ковалевский. Развитие народного хозяйства в Западной Европе, стр. 48.

[96]) М. М. Ковалевский. Очерки по истории политических учреждений России, стр. 162.

наделов»[97]). Показательны меры, которые, по его мнению, необходимы для спасения общины. Это прежде всего уменьшение податного бремени, лежащего на крестьянстве, и уничтожение круговой поруки в уплате податей[98]), а также государственное поощрение переселений и предоставление крестьянам в долгосрочную или даже в наследственную аренду казенных земель и заложенных в государственном банке дворянских имений[99]). Такова была либеральная интерпретация исторического опыта Западной Европы. Умеренные реформы, направленные не на изменение существующего строя, а на его консервацию во избежание острых социальных потрясений в настоящем и будущем, — дальше этого Ковалевский, как впрочем и все его коллеги по либеральному лагерю, не шел[100]).

Проблема разложения общины являлась составной частью другой, более обширной — перехода от феодализма к капитализму, которая уже с конца 70-х годов становится ведущей в русской либеральной медиевистике. Все убыстряющееся развитие капитализма в России, властно вторгавшегося во все сферы жизни, настоятельно требовало научного анализа аналогичных процессов, протекавших ранее на Западе. Особенно большое внимание русских исследователей привлекал переход к капитализму в наиболее развитых странах Европы — Англии[101]) и Франции[102]). Вместе с тем

---

[97]) М. М. Ковалевский. Экономический строй России, стр. 88. Ковалевский вообще придавал в то время чрезвычайно большое значение охранительной политике самодержавия в деревне. В ней он видел причину, препятствующую прогрессирующему разложению русской общины (там же, стр. 80).

[98]) Там же, стр. 77.

[99]) Там же, стр. 87.

[100]) Для политического облика Ковалевского является характерным, что выступая с 90-х годов решительным защитником общины, он в то же время считал необходимым резко критиковать «беспочвенные рассуждения» о том, чтобы «создать царство справедливости на апроприации всех орудий труда, заводов, фабрик и т. п. общинами, более свободными и быть может лучше подобранными, чем крестьянские общины современной России» (там же, стр. 86).

[101]) См. работы Ковалевского («Общественный строй Англии в конце средних веков», М., 1880; «Общественный строй Англии в эпоху республики». — «Юридический вестник», 1891, № 12; «Родоначальники английского радикализма», — «Русская мысль», 1892, № 1—3 и др.) и Савина («Английская деревня в эпоху Тюдоров», М., 1903; «Английская секуляризация», М., 1906; «Социальная история Англии XV и XVI вв. в новой историографии». — ЖМНП, 1901, июнь; «Заметки о первоначальном накоплении в изображении Маркса». — Сб. «Помощь евреям, пострадавшим от неурожая», СПб., 1091). Сюда же сюжетно примыкает «Восстание Уота Тайлера» Петрушевского с его характерным подзаголовком «Очерки разложения феодализма в Англии».

[102]) См.: Н. И. Кареев. Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII в. М., 1879; а также работы Лучицкого «Провинциальные собрания во Франции при Людовике XVI и их полити-

в русской историографии 70-х—90-х годов были предприняты и более — менее удачные попытки синтетического освещения проблемы разложения феодализма и становления капиталистических отношений в Западной Европе в целом[103]).

С самого начала эти работы привлекали серьезное внимание широких кругов русской либеральной общественности, которая искала в них научно обоснованные ответы на вопросы, поставленные перед нею самой жизнью. Не случайно почти все они вызвали оживленные отклики в либеральной печати, становясь иногда настоящим событием в общественной жизни своего времени. Показательна в этом отношении оценка книги Кареева «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII в.». Это выдающееся произведение отечественной историографии, оказавшее серьезное влияние на научную разработку истории французского крестьянства XVIII ст. не только в России, но и за ее пределами, прежде всего в самой Франции[104]), сразу же после своего выхода в свет встретило в высшей степени сочувственный прием в народнической и либеральной печати. Не будет преувеличением, однако, сказать, что такой прием объяснял-

---

ческая роль», Киев, 1879; «Вопрос о крестьянской поземельной собственности во Франции до революции и продаже национальных имуществ (отчет о командировке за границу)», Киев, 1894; «К вопросу о крестьянском землевладении во Франции до и во время революции (ответ М. М. Ковалевскому). — «Новое слово», 1896, № 1; «Новые исследования по истории крестьян во Франции XVIII в., вып. 1, Киев, 1896; «Крестьянское землевладение во Франции накануне революции (преимущественно в Лимузене)». Киев, 1900.

[103]) М. М. Ковалевский. Происхождение современной демократии. Т. I—IV, М., 1895—1897; И. В. Лучицкий. История крестьянской реформы в Западной Европе с 1789 г. — «Университетские известия», Киев, 1878, № 10—12; 1879, № 12; 1880, № 11; 1881, № 2, 3. Это интересно задуманное исследование, к сожалению, осталось неоконченным. Однако тематически к нему примыкает цикл работ Лучицкого, посвященных ликвидации крепостнических отношений в отдельных европейских странах («Крестьяне и крестьянская реформа в Дании XVI—XVIII вв. — «Северный вестник», 1890, № 12; «Крестьяне и крестьянская реформа в Лифляндии». — Там же, 1891, № 7—9; «Попытки крестьянской реформы в Лифляндии в XVII в.—Там же, 1892, № 1, 2, 5; «Крестьяне и крестьянская реформа в восточной Австрии», — «Киевская старина», 1901, № 3, 5). Попытку синтетического освещения экономической истории Европы в эпоху перехода от феодализма к капитализму представляют известные дополнения Лучицкого к книге Э. Зеворта «История нового времени (XVI—XVIII ст.)», т. 1, Киев, 1883. Сюда же могут быть отнесены и отдельные лекционные курсы, такие как многотомная «История Западной Европы в новое время» Кареева.

[104]) См.: И. И. Фролова. Значение исследований Н. И. Кареева для разработки истории французского крестьянства в средние века. — Сб. «Средние века», вып. VII, М., 1955; С. Д. Сказкин. Спорные вопросы аграрной истории Франции накануне революции XVIII в. — «Европа в новое и новейшее время. Сборник статей памяти академика Н. М. Лукина», М., 1966, стр. 100—101.

ся не столько чисто научным значением книги Кареева, сколько тем общественным звучанием, какое приобретали ее выводы в России периода второй революционной ситуации[105]). Отмечая большую научную ценность книги, ее рецензенты в один голос подчеркивали чрезвычайную актуальность поднятых в ней вопросов. Для них эта книга «полна практического интереса»[106]), и как раз в этом они видят ее главное значение.

О том, что понималось под «практическим интересом» книги, свидетельствует содержательная рецензия на нее, опубликованная в журнале «Слово». «...Так как, — писал рецензент, — исторические явления управляются одинаковыми для всех народов законами, видоизменяемыми только индивидуальными свойствами и своеобразными условиями жизни отдельных наций, то читающая публика найдет в сочинении г. Кареева один из любопытных и поучительных уроков, данных историей»[107]).

В чем же, по мнению автора рецензии, заключается этот урок? Характерным образом он ищет его в поведении крестьянства. Тяжелое экономическое положение французского крестьянства перед революцией, отношение к нему «культурных классов» и государства, его поведение в годы революции и дальнейшие судьбы — в этих сюжетах заключался «практический интерес» книги Кареева для русского читателя, а те выводы, которые из нее вытекали, должны были, по мнению либеральных рецензентов, служить грозным предупреждением не только для царского правительства, но и для самого либерального общества[108]). Материал подобного рода,

---

[105]) Об этом прямо писали некоторые рецензенты книги Кареева. «... Для русской литературы его книга, — утверждал один из них, — имеет не столько научно-историческое, сколько общественное, публицистическое значение, что, без сомнения, не исключает ее научных достоинств. С указанной точки зрения книга г. Кареева... принадлежит к выдающимся явлениям последнего времени». А-ский (А. И. Введенский). Значение великой революции для сельского населения Франции. — «Слово», 1879, № 10, стр. 141—142.

[106]) См.: «Вестник Европы», 1879, № 5, стр. 274.

[107]) «Слово», 1879, № 10, стр. 152.

[108]) Среди других откликов на книгу Кареева следует выделить большую статью П. Л. Лаврова, укрывшегося за псевдонимом П. П-ский, «История Франции под пером новых русских исследователей» («Дело». 1879, № 4). Идеолог революционного народничества, кстати сказать, раньше других откликнувшейся на эту книгу, подобно другим рецензентам, видел ее главное достоинство в общественной значимости поднятых ею вопросов. Заслуживает внимание сделанное им в связи с оценкой книги Кареева наблюдение о специфической особенности русской исторической науки. Подчеркивая, что история является не только усвоением фактического содержания прошлого, но прежде всего его пониманием, Лавров продолжает: «Если задача понимания истории для современных мыслителей оказывается задачею о роли рабочего большинства во всеобщей истории,

в изобилии доставлявшийся исследованиями русских (и, конечно, не только русских) ученых в области всеобщей истории, использовался идеологами либерализма, но материал этот был определенным образом подобран и обработан, что мы и видим в подходе русской медиевистики к изучению проблемы перехода от феодализма к капитализму в Западной Европе.

Эта проблема получила в русской науке многоплановое освещение. Наряду с глубоким исследованием социально-экономических отношений как ведущей темой, большое внимание (особенно в трудах Ковалевского и Кареева) уделялось истории политических учреждений, а также идейно-политической борьбе в Европе XIV—XVIII вв. Весь обширный круг поднятых учеными вопросов сводился к главному — насколько неизбежными в этот период являются общественные катаклизмы, сопровождавшие разложение феодальных отношений и с особой силой ознаменовавшие торжество капитализма в Западной Европе.

Исходным моментом созданной в русской либеральной историографии концепции перехода от феодализма к капитализму являлось убеждение в закономерности смены феодальных отношений буржуазными. Эта смена рассматривалась как неизбежный итог прежде всего экономического развития средневековой Европы. В трудах Ковалевского, Лучицкого, Кареева, Петрушевского, Савина был собран и проанализирован огромный исторический материал, неопровержимо свидетельствовавший о радикальных сдвигах, происходивших в недрах феодальной экономики, в первую очередь в аграрных отношениях, которые с неумолимой логикой вели к торжеству капиталистических отношений в Западной Европе. Однако, подчеркивая неизбежность наступления капиталистической эры, русские историки отнюдь не идеализировали ее. В их концепции принципиально важное место занимало освещение социальных потрясений, вызванных развитием капитализма. Все они рассматривали переход от феодализма к капитализму как эпоху резкого обострения социальных противоречий, чреватого для общества серьезными опасностями.

В наиболее развернутом виде этот взгляд выступает в книге Петрушевского «Восстание Уота Тайлера». Он пронизывает собою всю книгу, являясь тем стержнем, вокруг которого ученый строит свою концепцию социального разви-

---

то совершенно понятно, что западный историк может лучше понять в этой задаче то, что относится к населению городскому; русские же исследователи (в силу особого значения в России крестьянского вопроса. — Б. М.) могут яснее и сочувственнее обработать в ней другую долю, которая принадлежит населению земледельческому» (стр. 3).

тия Англии в XIII—XIV вв. Конструируя пресловутую теорию социальной гармонии как определяющую черту аграрных отношений при феодализме, Петрушевский утверждает, что эта гармония исчезла вместе с вторжением в английскую деревню новых, капиталистических по своей природе хозяйственных отношений. Следствием этого явилась социальная борьба, неизвестная английскому обществу ранее[109]).

Ставя вопрос об обострении социальных противоречий как неизбежном спутнике возникающего буржуазного общества, либеральные историки попытались в то же время исторически обосновать возможность их разрешения мирным путем. В этой связи важное значение приобретало исследование аграрных отношений в переходный период. Рассматривая разложение старого аграрного строя и развитие новых форм поземельных отношений в европейской деревне, русские медиевисты стремились обнаружить такие условия, которые делали возможным утверждение капитализма без насильственной ломки старых форм. Ковалевский прямо писал о себе, что он — «принципиальный противник всякого внезапного изменения способов владения землею»[110]). С полным правом эти слова можно отнести и ко всем его коллегам. Каждый из них считал эволюционный путь единственно нормальным путем развития аграрных отношений, а всякие уклонения от него рассматривались как извращение естественного хода вещей, независимо от того, от кого они исходили — от самих крестьян, помещиков или государства. Это убеждение с большой силой выразил молодой Петрушевский. Посвятив свою первую работу изучению аграрного развития средневековой Англии, он рассматривал рабочее законодательство середины XIV в. как предпринятую господствующим классом насильственную и тем самым обреченную на провал попытку изменить естественный ход аграрной эволюции. «Мысль остановить ход органического развития исторической жизни и направить его в обратную сторону, — подводит он итог своему исследованию, — и в этом случае обнаружила всю свою несостоятельность. Река, до сих пор мерно и спокойно катившая волну за волной, забурлила, запенилась и с грозным ревом снесла поставленную на ее пути преграду: волнение утихло, вода спала и река по-прежнему потекла мерно и спокойно»[111]).

---

[109]) См.: А. И. Данилов. Эволюция идейно-методологических взглядов Д. М. Петрушевского и некоторые вопросы историографии средних веков. — Сб. «Средние века», вып. VI, М., 1955, стр. 303.

[110]) М. М. Ковалевский. Очерки по истории политических учреждений России, стр. 162.

[111]) Д. М. Петрушевский. Рабочее законодательство Эдуарда III. — «Университетские известия», Киев, 1889, № 12, стр. 42—43.

В этом образе реки, спокойно несущей свои воды, но приходящей в неистовство от всякой внешней преграды, которую она встречает на своем пути, ярко отразились заветные представления либералов об историческом процессе вообще и аграрном развитии в частности. Эти представления органически соединялись с убеждением в том, что в конечном итоге всякие препятствия, стоящие на пути эволюционного развития, будут ликвидированы. При этом многое зависело от правильной (с либеральной точки зрения) политики господствующего класса. Петрушевский видит одну из важнейших причин социальных потрясений в Англии XIV в. в ошибочной политике землевладельцев. Вместо того, заявляет он, чтобы приспособиться к новым хозяйственным обстоятельствам, созданным в стране Черной смертью, землевладельческий класс стремился законодательным путем приспособить сами обстоятельства к своим классовым интересам[112]). На наш взгляд, аграрная история средневековой Англии в значительной степени потому и привлекала постоянное внимание русских либералов, что она изобиловала подобными случаями, являясь своего рода предостережением господствующему классу и правительству России.

В частности, следует отметить стойкий научный интерес русских историков к проблеме огораживаний. Впервые в русской историографии огораживания сделались предметом обстоятельного исследования в докторской диссертации Ковалевского, где подчеркивалось, как важнейший факт аграрной истории Англии, обезземеливание всего сельского населения страны в интересах незначительного меньшинства[113]). Русский ученый указывал, что социальным результатом этого процесса, начавшегося в конце XV в., явился «целый переворот в характере прежних отношений между различными общественными слоями»[114]).

Великий переворот в аграрных отношениях Англии стал главной темой всей научной деятельности А. Н. Савина, много сделавшего для разъяснения явлений, происходивших в английской деревне XVI в. Не случайно один из главных недостатков концепции Роджерса Савин видит в отсутствии должного внимания к «самым основным явлениям общест-

---

[112]) Д. М. Петрушевский. Рабочее законодательство Эдуарда III. «Университетские известия», 1889, № 12, стр. 7.

[113]) М. М. Ковалевский. Общественный строй Англии в конце средних веков, стр. 46—49.

[114]) Там же, стр. 94. Ср. М. М. Ковалевский. Поворотный момент в истории землевладения и землевладельческих классов в Англии.—«Историческое обозрение», т. III, СПб., 1891.

венного развития», среди которых наряду с разложением общины называются огораживания[115]).

Утвердившиеся в русской либеральной историографии конца XIX — начала XX вв. взгляды на судьбы английского крестьянства в период генезиса капитализма получили особенно большой общественный резонанс несколько позже, в период столыпинской реакции, когда они широко использовались либералами для обоснования необходимости сохранения общины. В условиях развернувшейся после революции 1905 г. острой борьбы вокруг вопроса о судьбах русской деревни идеологи либеральной оппозиции охотно прибегали к историческим аналогиям и, пожалуй особенно часто — к английскому опыту. Выступая против столыпинской аграрной политики, они в числе других аргументов ссылались на судьбы английского крестьянства. Уроки английской истории вызывали страх у русских либералов, хорошо понимавших, что неизбежные следствия насильственного разрушения общины — рост пролетариата, обострение социальной борьбы — в России XX в. обнаружатся быстрее и с несравненно большей силой, чем в Англии XVI в. Характерно, что в русской либеральной историографии особенную активность в критике столыпинской аграрной реформы проявили Ковалевский и Савин, лучше других отдававшие себе отчет в опасных (для существовавшего в стране порядка) ее последствиях. Со всей определенностью, далеко не всегда свойственной его научным работам, Савин, например, утверждал, что разрушать общину — то же, что вносить порох в подвал собственного дома[116]). Не менее решительным противником столыпинской аграрной политики выступал и Ковалевский[117]).

Конечно, рассмотренными здесь вопросами далеко не исчерпывалось влияние русской пореформенной действительности на изучение в либеральной медиевистике проблем западноевропейского феодализма. Внимание наших ученых привлекал и целый ряд других сюжетов в истории средних веков, причем, нередко оно вызывалось откровенно политическими соображениями.

Однако с наибольшей полнотой политические идеи русской либеральной медиевистики нашли свое выражение в ее трактовке кардинальнейших проблем исторической науки —

---

[115]) А. Н. Савин. Социальная история Англии XV и XVI вв. в новой историографии. — ЖМНП, 1901, июнь, стр. 328.

[116]) А. Н. Савин. Русские разрушители общины и английские огораживатели. — «Московский еженедельник», 1909, № 2, стр. 38.

[117]) См.: С. С. Лукичев. Политические и методологические позиции М. М. Ковалевского. — «Ученые записки Томского госуниверситета им. В. В. Куйбышева», № 33, стр. 206—207.

государства и революции. В разработке этих вопросов ярче всего сказалась органическая связь, существующая между политическими взглядами историка и его научной деятельностью. Именно здесь мы можем особенно отчетливо проследить не только влияние политических взглядов ученого на его конкретно-исторические исследования, но и обратное влияние, показать, как изучение исторического прошлого, в частности, истории западноевропейского феодализма и его судеб, влияло на формирование идеологии русского либерализма в конце XIX — начале XX вв. Вот почему освещение либеральной медиевистикой вопроса о государстве и революции требует специального рассмотрения.

3. Государство и революция в исторической концепции русской либеральной медиевистики конца XIX — начала XX в.

Невольно бросается в глаза тот интерес, который вызвала в русской либеральной историографии проблема буржуазных революций на Западе. Многие известные русские медиевисты, в какой бы специальной области ни сосредоточивались их интересы, неизменно обращались к истории крупнейших буржуазных революций в Западной Европе — английской и французской,—делали их предметом монографического исследования либо посвящали им общие и специальные лекционные курсы. Даже Виноградов, вошедший в историю мировой науки как исследователь раннего и классического английского феодализма, счел нужным прочитать в глухую пору реакции 80-х годов специальный курс по истории французской революции[118]). История революции заняла значительное место в педагогической деятельности Кареева[119]) и Савина[120]). Глу-

[118]) П. Г. Виноградов. Лекции по истории Французской революции, читанные в 1886—1887 гг. Литографический курс. См.: М. А. Алпатов. П. Г. Виноградов как историк Французской буржуазной революции конца XVIII в. — «Французский ежегодник, 1958», М., 1959.

[119]) Издавая три первых тома «Истории Западной Европы в новое время», Кареев указывал, что они возникли из прочитанных им «общих курсов новой истории, имевших своей целью выяснить значение двух главных переворотов в жизни европейского Запада за последние четыре века, т. е. реформации и революции, — в связи с общим характером новой истории в ее отличие от средневековья» (Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время (развитие культурных и социальных отношений). Т. 1, СПб., 1892, стр. 1). Действительно, реформация и крестьянская война в Германии, буржуазные революции в Англии и, в особенности, во Франции являются узловыми пунктами всей концепции Кареева, развиваемой в первых трех томах «Истории Западной Европы в новое время».

[120]) Не будет преувеличением сказать, что после 1905 г. педагогическая деятельность Савина преимущественно сосредоточивается на изучении как хода английской и французской революции, так и их предыстории. Уже в 1907/908 учебном году он начинает читать в Московском университете

бокие исследования ее различных аспектов принадлежат Карееву, Ковалевскому и Лучицкому[121]).

Этот интерес имел, конечно, свои научные причины. Изучение западноевропейского феодализма неизбежно приводило к необходимости исследования буржуазных революций в Англии и Франции, ибо только они нанесли решающий удар по феодальным отношениям на Западе. Эти революции, особенно Французская, знаменовали собой радикальную ломку того мира социальных, экономических и политических отношений, который являлся предметом изучения русских медиевистов, и как бы подводили черту этому изучению.

Но в такой же, если не большей, мере революции на Западе привлекали внимание русских ученых как политических деятелей, идеологов либеральной оппозиции самодержавию[122]). Принципиальные противники революционного пути преобразования общества в преддверии великих классовых битв в России вынуждены были обратиться к изучению революционного движения в Западной Европе. Смысл этого обращения был предельно точно вскрыт В. И. Лениным в его известной статье «Чего хотят и чего боятся наши либеральные буржуа?», посвященной критике пресловутых «Политических писем» Виноградова. Словно подводя итоги многолетнему изучению вопроса в русской либеральной историо-

---

курс лекций по истории революции середины XVII ст. в Англии (см.: А. Н. Савин. Лекции по истории Английской революции, изд. 2-е, М., 1937). Вслед за тем его внимание привлекает история Великой французской революции конца XVIII в. (См.: А. Н. Савин. Конспект лекций по истории Французской революции. 2-е изд. М., 1917); см. также другие его курсы, посвященные в значительной степени Английской революции (А. Н. Савин. История Англии в новое время (XVI—XVIII вв.). Вып. I—II, М., 1912) и предыстории революции XVIII в. во Франции (А. Н. Савин. Век Людовика XIV, М., 1913, 2-е изд. М., 1930). Однако все эти курсы выходят за хронологические рамки нашей работы.

[121]) В советской науке живой, напряженный интерес русской либеральной историографии к Великой французской революции подчеркнул Б. Г. Вебер в своем содержательном очерке, посвященном разработке истории революции в трудах Герье и Кареева (см.: «Очерки истории исторической науки в СССР», т. II, гл. VII, раздел II). См. также: Б. Г. Вебер. Образование русской либеральной традиции в историографии Великой французской революции. — «Французский ежегодник, 1960», М., 1961.

[122]) В этой связи показательно, что научный интерес к Великой французской революции не ограничивался кругами «всеобщих» историков. В той или иной форме он имел место и среди либеральных ученых, посвятивших себя изучению отечественной истории. Помимо С. М. Соловьева, о котором писал Б. Г. Вебер в только что указанном очерке, должен быть назван В. О. Ключевский, еще в 1871/72 учебном году в курсе по всеобщей истории специально останавливавшийся на характеристике Французской революции конца XVIII в. и подчеркивавший ее «всемирный общечеловеческий характер» (см.: А. А. Зимин. Формирование исторических взглядов В. О. Ключевского в 60-е годы XIX в.» — «Исторические записки», т. 69, 1961, стр. 195).

трафии, Виноградов призывал в своих «Письмах» «употребить все усилия», чтобы Россия не вышла на «путь, избранный Францией в 1789 г.», ибо на этом пути ей грозят «неслыханные опасности, если не погибель», а пошла по пути Германии 1848 г.[123]). Называя этот призыв квинтэссенцией «Писем» и подчеркивая, что «г. Павел Виноградов с редкой рельефностью выразил интересы, тактику, психологию своекорыстной буржуазии», В. И. Ленин указывал на страх буржуа и его идеолога перед революцией, как явлением «незаконным» и «неправомерным», перед полной победой народа, на его желание неудавшейся революции. Развивая далее свою мысль, В. И. Ленин подчеркивал, что для Виноградова это неправомерное и незаконное явление «может быть в лучшем случае оправдано до известной степени неустойчивостью, «слабостью», «несостоятельностью» самодержавного правительства, представляя собою «греховный и опасный прием исправления крайностей реакции»[124]). Это ленинское указание является чрезвычайно ценным для понимания общей концепции революции в русской либеральной историографии. В частности, оно обращает наше внимание на характер связи между вопросами о революции и государстве в этой концепции.

В известном смысле слова для идеологов либерализма вопрос о революции являлся составной частью другого, более широкого, вопроса о государстве. В самом деле в либеральной концепции революция выступала как результат неспособности государства обеспечить посредством необходимых реформ единственно нормальное мирное развитие общества. Вследствие этого либеральные историки уделяли огромное внимание исследованию вопроса о государстве и его роли в обществе, изучению тех условий, которые в состоянии обеспечить решение государством возлагавшейся на него либералами миссии социального миротворца. На материале истории разных стран и эпох изучались возможности государства в разрешении социальных противоречий, шли поиски такой его формы, которая наиболее эффективно обеспечивала бы связь государства и общества, способность первого своевременно откликаться на запросы последнего и тем самым устранять всякие препятствия на мирном эволюционном пути его развития.

Политическим идеалом русских либералов, как известно, являлась конституционная монархия с двухпалатным представительством. Этот идеал нашел свое воплощение и в исторических трудах и публицистике либеральных медиевистов.

---

[123]) «Русские ведомости», 1905, 5 августа.
[124]) В. И. Ленин. ПСС, т. 11, стр. 226—228.

Было бы, конечно, ошибочным рассматривать наших историков как твердолобых монархистов — принципиальных противников иных форм государственного устройства. Их монархизм не исключал высокой оценки республиканской формы правления, которую мы можем встретить даже у самого «аристократичного» из русских либеральных медиевистов — Виноградова[125]). Однако в конкретных условиях русской действительности конца XIX — начала XX вв. конституционная монархия представлялась им единственно приемлемой для России формой государственного устройства. Перефразируя оценку политических взглядов Мирабо, сделанную Ковалевским[126]), и обращая ее к самому Ковалевскому и его единомышленникам, мы можем сказать, что русские либералы являлись монархистами по трезвому политическому расчету. В условиях назревания революции в стране они нуждались в таком правительстве, которое, гарантируя известные политические свободы, в то же время являлось бы достаточно сильным для обеспечения «порядка». Вот почему наши либеральные историки отдавали, как правило, свои симпатии таким формам государственного устройства, которые соединяли бы сильную исполнительную власть с участием «общества» в делах управления[127]).

Гарантию необходимых буржуазных свобод в таком государстве либеральные историки видели в неукоснительном соблюдении определенных правовых норм, которым должна подчиняться вся правительственная деятельность. В связи с этим в конце XIX — начале XX вв. на книжном рынке появляется целый поток отечественной и переводной литерату-

---

[125]) См. его большую статью «Американская демократия» («Русская мысль», 1890, № 11, 12), представляющую собой развернутую рецензию на книгу Д. Брайса «Американская республика». Рассматривая историю США как «опыт практического народовластия», результаты которого «с величайшим интересом» обсуждаются европейскими политическими деятелями и мыслителями разных направлений (там же, № 11, стр. 64), он указывает, что этот опыт «является, несмотря на все его неизбежные разочарования и недостатки, блестящею апологией народного управления» (там же, № 12, стр. 79).

[126]) М. М. Ковалевский. Происхождение современной демократии. Т. III, М., 1897, стр. 119: Мирабо — «монархист более по традиции, нежели по темпераменту».

[127]) Это особенно ярко сказывается в изображении ими истории буржуазных революций, прежде всего — Французской. Всякое активное выступление народных масс в революции рассматривается как результат слабости правительства. Вот почему, например, Виноградов, всегда выступавший за максимальное расширение прав местного самоуправления, вопреки собственным исходным посылкам подвергает резкой критике милых его сердцу жирондистов как раз за то, что они провели в своей конституции принцип децентрализации. Отсутствие сильной центральной власти, по его мнению, и погубило жирондистов (см.: М. А. Алпатов. П. Г. Виноградов как историк Французской буржуазной революции конца XVIII в. — «Французский ежегодник 1958», стр. 569).

ры, посвященной различным проблемам конституционной истории Запада. Обращает на себя то внимание, какое уделяли этому вопросу русские историки-медиевисты. В первую очередь это относится к Ковалевскому — юристу по образованию, в течение ряда лет читавшему курс государственного права европейских держав в Московском университете и уволенному оттуда в 1887 г. из-за «неуместного» сравнения английских порядков с русскими[128]). И в дальнейшем ученый продолжал глубоко интересоваться вопросами конституционного права на Западе, обращая особое внимание на правовые гарантии положения личности в государстве[129]). Своеобразным итогом многолетнего интереса русской либеральной историографии к государственным порядкам на Западе явилось предпринятое по инициативе и под руководством Лучицкого в годы первой русской революции издание текстов конституций целого ряда западноевропейских государств с более или менее основательными предисловиями издателя, в которых рассматривалось конституционное движение в соответствующей стране[130]).

Политические выводы из изучения конституционной жизни Запада четко сформулировал Виноградов в предисловии к книге Дайси «Основы государственного права Англии». Подчеркивая особую важность для русских читателей второй части книги, говорящей о господстве права, Виноградов рассматривает идею права как главную идею гражданского общежития, которой общество ни при каких условиях не может поступиться[131]). Апеллируя к истории Запада и прежде всего Англии, Виноградов призывает своих читателей проникнуться уважением к праву и закону как главному фундаменту всей нормальной государственной жизни. Он считает невозможным и даже нежелательным буквальное следование английским порядкам. «Но необходимо, — настаивает ученый, — чтобы образованные люди, сознательно относящиеся к политической жизни Европы, проникались убеждением, что в той или другой форме государство должно стремиться осуществить правовой порядок и что всякое уклонение от права подрывает порядок»[132]).

---

[128]) См.: Б. Г. Сафронов, цит. соч., стр. 43.

[129]) Это обстоятельство подчеркивалось уже дореволюционными исследователями. См.: П. Г. Виноградов. Памяти М. М. Ковалевского. — Сб. «М. М. Ковалевский. Ученый, государственный и общественный деятель и гражданин»; Я. М. Магазинер. Политическая идея М. М. Ковалевского в связи с характеристикой его личности.

[130]) Тексты конституций. Перевод под редакцией и с предисловием профессора И. В. Лучицкого. Киев, 1905.

[131]) А. В. Дайси. Основы государственного права Англии. М., 1891, стр. VII.

[132]) Там же, стр. VIII.

Бесспорно, что идея правового государства, выдвигавшаяся в конце прошлого столетия либеральными идеологами, звучала в русском обществе того времени чрезвычайно актуально. Она была направлена против самодержавного произвола; может быть, ярче, чем в чем-либо, в ней олицетворялось стремление либеральной оппозиции к ограничению самодержавия конституционными формами, сближавшими бы Россию со странами Запада. Вместе с тем требование правового государства в полной мере отражало классовую ограниченность русского либерализма. Это было требование буржуазного государства, объективно направленное на увековечение буржуазного «порядка», а с ним вместе и приспособленного к нему царизма.

Ограничивая государственную власть определенными конституционными формами, подчиняя ее действия твердым правовым нормам, русские либеральные историки, однако, были далеки от присущего Спенсеру стремления довести до минимума вообще всякое активное участие государства в жизни общества. Напротив, характерной чертой их политических взглядов являлось признание необходимости действенного вмешательства государственной власти в область экономических и социальных отношений, регулирование этих последних в интересах всего общества. Это было естественным следствием всей политической линии русского либерализма с его столько раз высмеянным В. И. Лениным упованием на «благоразумие» царского правительства. Подобный взгляд нашел свое законченное выражение как в теоретических представлениях русских медиевистов, так и в их историографической практике. Не ограничиваясь общим представлением о государстве как социальном миротворце, они пытались наметить оптимальные границы его вмешательства в жизнь общества и отдельных его членов, установить возможности государственной власти в руководстве экономическим и социальным развитием[133]). При этом русские медиевисты не останавливались перед признанием возможности и, при определенных условиях, необходимости вмешательства

---

[133]) В этом плане русскими медиевистами был осуществлен ряд конкретно-исторических исследований. Ограничимся одним примером. В сущности, вопрос о роли государства в развитии социальных отношений, о его возможностях в их преобразовании, условиях, облегчающих или затрудняющих реализацию этих возможностей, является центральным в работе Лучицкого «История крестьянской реформы в Западной Европе...». Лучицкого все время занимает здесь вопрос, когда и при каких условиях государственная власть может выступить в роли реформатора социальных отношений в деревне в интересах крестьянства.

государства даже в святая святых буржуазного мира — отношения собственности[134]).

В советской науке высказывалось мнение, сближающее социально-политические взгляды русских либеральных историков, в частности Ковалевского, с катедер-социализмом[135]). Действительно, можно найти немало общего между ними в оценке целого ряда явлений общественной и политической жизни своего времени. В особенности их сближало признание необходимости активной роли государства в регулировании современных социальных отношений и возлагавшиеся на такое регулирование надежды в смысле обеспечения социального мира[136]). Однако было бы ошибочным преувеличивать степень общности взглядов русских либеральных историков и катедер-социалистов, от чего, на наш взгляд, не свободен Б. Г. Сафронов. Нельзя не учитывать, что сам Ковалевский, которого Б. Г. Сафронов изображает едва ли ни как единомышленника катедер-социалистов, неоднократно печатно выражал свое отрицательное отношение к этому течению немецкой общественной мысли. Вспоминая о своем пребывании в Германии в 70-х годах, Ковалевский дает следующую убийственную характеристику катедер-социалистам: «Они искали сближения с Бисмарком, открыто проповедовали шовинистический, чисто прусский патриотизм и пристраивали к кафедрам собственных учеников и последователей». Их взгляды он называет «странной амальгамой смитовского фритредерства с идеями полицейского государства и протекционизма, окрашенного какой-то сантиментальною филантропией, каким-то архаическим пристрастием к средневековым

---

[134]) Таких взглядов придерживался, в частности, Ковалевский. Подчеркивая необходимость поставить государственную власть в такие условия, которые бы сделали невозможным для нее «отнять у личности ее прирожденные права» (М. М. Ковалевский. Происхождение современной демократии, т. II, стр. 67), и, в частности, указывая на потребность «гарантий более или менее независимых от правительства судебных инстанций» для частной собственности (М. М. Ковалевский. Опыты по истории юрисдикции налогов во Франции с XIV века до смерти Людовика XIV. М., 1876, стр. 125), он тем не менее считал принципиально необходимым государственное регулирование этой последней в современном ему обществе. Завершая курс лекций об эволюции семьи и собственности в Стокгольмском университете, Ковалевский специально остановился на «вполне актуальном» вопросе о вмешательстве государства в область собственности. Апеллируя к историческому опыту и здравому смыслу, он выразил свою надежду, что «в интересах всего класса земледельцев и рабочих» вмешательство государства в распоряжение собственностью будет со дня на день усиливаться». (М. М. Ковалевский. Очерк происхождения и развития семьи и собственности. М., 1939, стр. 173—175).

[135]) См.: Б. Г. Сафронов. Цит. соч., стр. 81—84.

[136]) Марксистскую характеристику основных теоретических принципов катедер-социалистов и их практической деятельности см.: F. Völkerling. Der deutsche Kathedersozialismus. Berlin, 1959.

общественным порядкам, к гильдиям и цехам...». И далее он подчеркивает то «самодовольное доктринерство, с которым берлинские катедер-социалисты... решали рабочий вопрос»[137]).

Эта едкая характеристика не только вполне определенно демонстрировала отрицательное отношение Ковалевского к катедер-социализму, но и указывала на ряд принципиальных моментов, делавших катедер-социалистические воззрения неприемлемыми для русской либеральной историографии. Ковалевскому и его единомышленникам была органически чуждой центральная политическая задача идеологов катедер-социализма, заключавшаяся во всемерной поддержке и укреплении бисмарковского юнкерского государства, их великогерманский шовинизм.

Идеологи катедер-социализма занимали в политической жизни Германской империи последней четверти XIX в. принципиально иное положение, чем идеологи русского либерализма в политической жизни царской России. Они не только не составляли оппозиции существовавшему общественному и государственному строю, но и прилагали все усилия к его дальнейшему упрочению. Социально-политическая программа Бисмарка и катедер-социалистов совпадала в своих главных пунктах, и не случайно многие ведущие катедер-социалисты принадлежали к ближайшему окружению «железного канцлера»[138]). Вызванный к жизни обострением классовой борьбы в Германии, бурным ростом социал-демократического движения и успехами марксизма, катедер-социализм был призван найти действенное противоядие распространению революционных настроений в стране, стать одной из важнейших идеологических опор существующего порядка. С этой целью выдвигалась программа социальных реформ под эгидой монархии Гогенцоллернов[139]).

---

[137]) М. М. Ковалевский. Мое научное и литературное скитальчество.—«Русская мысль», 1895, № 1, стр. 68. Показательна резкая критика Ковалевским взглядов катедер-социалистов, в особенности Брентано, на характер социальных отношений в средневековом городе. Он раскрывает несостоятельность их идеализации цеха как корпорации, якобы не знающей социальных противоречий (см.: М. М. Ковалевский. Развитие народного хозяйства в Западной Европе. стр. 70—75; Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства. Т. III, М., 1903, стр. 127).

[138]) См.: F. Völkerling. Op. cit., S. 71.

[139]) Показательны в этом отношении взгляды признанного главы катедер-социализма Густава Шмоллера. Убежденный защитник капиталистических порядков, воинствующий апологет реакционного пруссачества, Шмоллер всю свою деятельность посвятил борьбе с ненавистными ему и его классу идеями социализма и революции. Однако в отличие от твердолобых реакционеров типа Трейчке он считал необходимым наряду с мерами насильственного подавления рабочего движения (Шмоллер был сто-

Следовательно, в отличие от либеральной оппозиции в России, катедер-социализм с самого момента своего возникновения в конце 60-х годов прошлого века, как особого течения общественной мысли в Германии, видел главного врага слева, в рабочем движении, оплодотворенном идеями марксизма, в борьбе с которым он опирался на прусскую монархию с ее разветвленным полицейско-бюрократическим аппаратом, причем предлагавшиеся реформы имели целью не ослабление, а дальнейшее усиление значения этого аппарата. В этой связи необходимо отметить принципиальное различие в отношении к государственному чиновничьему аппарату русских либералов и катедер-социалистов. Если первые видели в бюрократии своего злейшего врага и тормоз исторического прогресса, то последние не жалели слов для ее прославления. В их изображении прусская бюрократия на всем протяжении своего существования выступает как величайшая творческая сила исторического процесса, которой Пруссия-Германия обязана своим величием[140]).

ронником «исключительного закона» против социалистов) широко использовать социальную демагогию. Защищаясь от обвинения Трейчке в «пособничестве» социализму, Шмоллер написал большую работу, посвященную обоснованию политической платформы катедер-социализма (G. Schmoller. Über einige Grundfragen der Sozialpolitik und der Volkswirtschaftslehre. Leipzig, 1898). «Чем монархичнее я себя чувствую, чем больше все мои помыслы связаны с государством Гогенцоллернов, с подъемом Германской империи и ее борьбой против антигосударственных тенденций ультракоммунизма и социал-демократии,— писал он здесь,— тем более чувствую я себя обязанным с безусловной откровенностью ратовать... за то, что на мой взгляд, только и может нам гарантировать дальнейшее нормальное развитие наших освободительных институтов, за социальную реформу» (S. 5). Развивая это положение на протяжении всей работы и всячески подчеркивая свои верноподданнические чувства, он в полемике с Трейчке стремится доказать, что прусскую монархию может спасти только целая система социальных подачек, направленных на развращение рабочего класса.

[140]) Подлинным трубадуром прусской бюрократии выступает сам Шмоллер. Как в своих теоретических и публицистических работах, так и в конкретно-исторических исследованиях он рассматривал чиновничество как важнейшую прогрессивную силу в стране, призванную обеспечить государственной власти выполнение ее миротворческой функции в обществе и в первую очередь предотвратить господство демократии. «Избежать последнего,— утверждает идеолог катедер-социализма,— можно только при условии прогрессивного развития и усиления правительственного механизма, сдерживающего в известных границах эгоистичные интересы отдельных классов...» (Г. Шмоллер. Борьба классов и классовое господство. М., 1906, стр. 16). Подчеркивая значение сильного правительственного механизма в настоящем, Шмоллер стремился дать этому взгляду историческое обоснование. Его труды, посвященные социально-экономической истории Пруссии XVII—XIX вв., являются настоящим панегириком государственной мудрости Гогенцоллернов, обеспечивших социальное и экономическое преуспевание своей страны с помощью созданного ими чиновничества. «Прусская королевская власть,— утверждает он,— имела задачу образовать из анархии феодального и локального мелкодержавия единую не-

В то время как в системе политических взглядов катедер-социалистов главное место отводилось утверждению решающей роли государства в истории и, по существу, провозглашалась его безответственность перед обществом, русская либеральная историография в своих политических идеях, напротив, выдвигала на первый план ответственность государства перед обществом[141]), рассматривая под этим углом зрения отношение между ними как центральную проблему политической истории не только сегодняшнего дня, но и далекого прошлого.

Выдвигая проблему «государство и общество» как центральную в изучении социально-политической истории, русские либеральные медиевисты обращали особое внимание на ее решение применительно к истории средних веков. Не говоря уже о специальных трудах, посвященных тем или иным аспектам в политике средневекового государства и его взаимоотношениях с «обществом», эта проблема решалась практически почти в каждом сколько-нибудь серьезном исследовании в области западноевропейского феодализма[142]). Повышенный интерес к средневековому государству в русской либеральной историографии объясняется тем, что в его формах видели истоки государства нового времени, в частности, средневековая сословная монархия рассматривалась как

мецкую государственность и обеспечить ей движение внутри и вне страны; она достигала этой цели с помощью одной только от нее зависимой и ей служащей, фактически опирающейся на свои знания и способности офицерской и чиновничьей аристократии» (G. Schmoller. Umrisse und Untersuchungen zur Verfassungs,—Verwaltungs—und Wirtschaftsgesschichte besonders des Preussischen Staates im 17. and 18. Jahrhundert. Leipzig, 1898, S. 184. Ср. S. 308—312, где подчеркивается внеклассовая природа чиновничества, формировавшегося Гогенцоллернами за счет «лучших людей» — выходцев из всех общественных классов). Но не только прусское чиновничество играло такую созидательную роль в истории. В другой своей работе Шмоллер пишет: «... Штауфены создали в лице министериалитета первое настоящее сословие чиновников..., которому Германия обязана расцветом своей мощи, хозяйства, культуры» (G. Schmoller. Uber einige Grundfragen Sozialpolitik.., S. 147). Такого культа бюрократии и опирающегося на нее государства русская либеральная историография никогда не знала.

[141]) Необходимо, однако, оговорить, что в русской либеральной медиевистике из понятия «общество» фактически исключались широкие народные массы.

[142]) Укажем, в частности, на ранние работы Ковалевского: «Опыты по истории юрисдикции налогов во Франции с XIV в. до смерти Людовика XIV» (М., 1876) и «История полицейской администрации (полиция безопасности) и полицейского суда в английских графствах с древнейших времен до смерти Эдуарда III. К вопросу о возникновении местного самоуправления в Англии» (Прага, 1877). Большой интерес в этом плане представляют оригинально задуманные труды Петрушевского «Очерки из истории английского государства и общества в средние века», ч. 1, (СПб., 1903) и «Очерки из истории средневекового общества и государства» (М., 1907).

прямая историческая предшественница современного парламентского государства[143]). Наряду с выяснением генезиса буржуазного государства идеологи русского либерализма обращались к этому сюжету и потому, что он давал обширный материал для наблюдений о роли государства в классовых конфликтах своего времени. Наблюдения эти приобретали тем более актуальное звучание, что русская пореформенная деревня являла собою дымящийся вулкан, в недрах которого таилась огромная взрывчатая сила.

Теоретической основой либеральной концепции государства в русской историографии служило типичное для буржуазной науки вообще представление о государственной власти как надклассовой силе, носительнице некоей особой «государственной» идеи, призванной заботиться об общественном благе. Ковалевский конструирует даже понятие «народной монархии», как характерного типа государства нового времени, отрешившегося от всяких сословных пристрастий и стоящего на страже народных интересов. Монарх, пишет он, «признает за собою новую миссию верховного посредника между классами и защитника интересов народных масс»[144]).

Можно приводить бесчисленные примеры, свидетельствующие, что в конкретном анализе исторического процесса русские медиевисты объясняли те или иные правительственные мероприятия с позиции их соответствия интересам определенных классов, подчеркивали классовую направленность политики государственной власти[145]). Более того, в отдельных

[143]) Ковалевский прямо подчеркивал историческую преемственность между сословной монархией средних веков и конституционным государством нового времени. «В истории развития современных нам форм политического устройства, — утверждал он, — творческая деятельность всецело выпадает на долю средних веков: они подарили мир совершенно новой, дотоле неизвестной ему государственной формой, — я разумею сословную представительную монархию» (М. М. Ковалевский. Английская конституция и ее историк. М., 1880, стр. 1). Это положение Ковалевского во многом объясняет интерес русских либералов к истории политических учреждений в средневековой Европе, которая рассматривалась как колыбель их политического идеала — конституционной монархии.

[144]) М. М. Ковалевский. Происхождение современной демократии. Т. II, М., 1895, стр. VII. В другой работе он пишет: «Заведывание народом своими судьбами... сделалось обычной формой политического устройства. Это можно сказать в равной степени и о Европе, и об Америке, независимо от монархического или республиканского устройства отдельных государств» (М. М. Ковалевский. Общий ход развития политической мысли во второй половине XIX в. СПб., 1905, стр. 13). Здесь речь идет не просто об идеализации буржуазного государства XIX в. Всем ходом своих рассуждений Ковалевский утверждает, что именно такое государство является нормальным типом правительственной власти вообще.

[145]) В особенности это относится к характеристике средневекового государства, которое сплошь и рядом рассматривается как орган, выражающий интересы класса феодалов (см. об этом в главе V настоящей работы). Но даже, рассматривая буржуазное государство в его конкретной политике, наши историки нередко отмечали его классовую природу. Показа-

случаях русские медиевисты поднимались до понимания определенной социальной обусловленности самой природы государственной власти и ее политики. Так, Савин писал: «В их глазах всякий государственный порядок в гораздо большей степени определяется подвижными сочетаниями общественных сил, нежели определяет последние»[146]). Интересные наблюдения на этот счет можно встретить у Кареева. Так, отмечая, что «у каждого государства есть своя национальная традиция, свой политический интерес», он продолжает: «Обыкновенно эти традиции, эти интересы суть традиции и интересы власть имущих лиц и правящих классов»[147]).

Есть ли здесь противоречие? Для русских либеральных историков его не было, ибо все они проводили четкую дифференциацию между идеей государства и ее воплощением в исторической действительности, в конкретной государственной практике того или иного правительства в ту или иную эпоху. В реальном историческом процессе, с их точки зрения, в силу определенных причин, как правило, связанных с личными качествами носителей государственной власти, она часто оказывается ниже своей идеи и в таком случае превращается в орудие узкоклассовых (сословных) интересов или вообще вырождается в жалкое ничтожество. В качестве примера рассмотрим взгляды Лучицкого на политику королевской власти в период гугенотских войн. Киевский ученый подвергает резкой критике французских государственных деятелей того времени, оказавшихся за исключением М. Лопиталя далеко не на высоте требований, предъявлявшихся к ним жизнью. Правда, он заявляет, что «политика правительства, несмотря на частые колебания, стремилась быть политикою государственных интересов, а не интересов одной

тельны в этом отношении IV и V тт. кареевской «Истории Западной Европы в новое время». Указывая на торжество буржуазии во Франции после июльской революции и в Англии после парламентской реформы 1832 г., Кареев рассматривает дальнейшую внутриполитическую историю этих стран под углом зрения борьбы буржуазии и рабочего класса, постоянно подчеркивая при этом классовый характер буржуазного государства. И даже Ковалевский вопреки своей идеализации буржуазного государства признает наличие в нем «политически господствующих классов», в глазах которых война «может быть предохранительным клапаном от внутренних междоусобий, порождаемых противоречием бедности и богатства» (М. М. Ковалевский. Современные социологи. СПб., 1905, стр. 378).

[146]) А. Н. Савин. Английская секуляризация. М., 1906, стр. 558. Здесь же Савин называет иллюзорными представления о самобытных творческих потенциях государственности.

[147]) Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время. Т. III, СПб., 1893, стр. 129. В данном случае речь идет о внешней политике государства, классовый характер которой решительно подчеркивается Кареевым.

только части населения»[148]). Однако ввиду очевидной слабости и неспособности тех, кто занимал тогда французский престол, и их советников эти стремления остались неосуществленными. Произошел глубокий разлад между идеей государственной власти и тем, чем она была во Франции 70-х годов XVI в. в действительности. Правительство перестало быть олицетворением всей нации, наилучшим выражением всех ее возможностей[149]). «Та сила, — заявляет Лучицкий,— которая при нормальном состоянии общественного организма и даже в случаях кризиса должна была бы сдерживать проявления неправильной деятельности общественных сил и элементов, давать им направление и сохранять материальный порядок в стране, правительство, оказывалось далеко ниже своей задачи... И тот стержень, на котором вращается общественная жизнь, оказывался расшатанным»[150]).

В обобщенном виде положение о возможном разладе между государственной идеей и ее действительным воплощением получило наиболее четкое выражение у Кареева. Приводя в своей книге о французском крестьянстве XVIII в. убедительные факты об антикрестьянской политике правительства, защищавшего классовые интересы феодалов, Кареев тем не менее вопреки логике собственного изложения считает такую политику не естественным выражением природы государства, а ее болезненным извращением. Он подчеркивает, что «историческая королевская власть во Франции и росшее параллельно с нею государство были две вещи разные»[151]). Вследствие этого и политика королевской власти могла часто не совпадать с государственной идеей или, как еще выражается русский историк, с «государственной тенденцией», и даже становиться враждебной ей — именно тогда, когда она приобретала узкоклассовый (сословный) характер. Вот почему Кареев считал недопустимым всякую попытку «низведения» государства до органа, защищающего классовые интересы по самой своей сущности. «Смотреть на королевскую власть как на гарантию злоупотреблений, как на орудие в руках привилегированных, — заявляет он, — слишком односторонне: это значило бы патологические симптомы принять за нормальное отправление органа. Нормальной функцией королевской власти было блюсти и внутри и вне страны интересы государства, заботиться о его силе и могуществе, о развитии национального богатства...»[152]).

---

[148]) И. В. Лучицкий. Католическая лига и кальвинисты во Франции. Опыт истории демократического движения во Франции во второй половине XVI в. (по неизданным источникам), т. 1, Киев, 1877, стр. 12.

[149]) Там же, стр. 458—459.

[150]) Там же, стр. 248—249.

[151]) Н. И. Кареев. Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции..., стр. 155.

[152]) Там же, стр. 159.

В этих словах — ключ к пониманию не только взглядов самого Кареева, но и всей либеральной концепции государства и революции. В сущности отсюда исходит и излюбленная в либеральной медиевистике проблема взаимоотношения государства и общества. Рассматривая государство как самостоятельную по отношению к обществу силу, русские либеральные медиевисты пытались в характере взаимоотношений между ними найти ответы на главные вопросы истории. Показательны в этом плане труды Петрушевского. Автор «Восстания Уота Тайлера» в своем университетском преподавании еще в Варшаве, а затем и в Москве на пороге первой русской революции сосредоточил свое внимание на изучении вопроса о роли государства в общественном развитии. С большой последовательностью он проводил в своих лекционных курсах мысль о необходимости обязательного соответствия государственного строя потребностям жизни общества и о неминуемых социальных катаклизмах в случае его отсутствия.

Уже в первом опубликованном лекционном курсе Петрушевского указывалось на зависимость государственных форм от экономических условий жизни общества[153]). Но особый интерес в этом отношении представляют его известные «Очерки из истории средневекового общества и государства»[154]). На примере судеб античной цивилизации Петрушевский пытается показать всю пагубность раскола между государством и обществом, несоответствия первого потребностям последнего. Историю Рима он начинает с рассмотрения процесса становления империи. Подчеркивая, что Римская республика стала государственной формой социально-политического господства аристократии над массой римского народа и над провинциями, он утверждает, что единственным способом предотвратить общий политический крах было «создание такой политической организации, которая бы выражала материальные и культурные интересы по возможности всех общественных групп как внутри Италии, так и вне ее, и хотя бы в известной мере приводила их в равновесие»[155]). Такой политической организацией, по мнению Петрушевского, могла быть только монархия. Именно ей предстояло внести мир в социальную жизнь, смягчить общественные контрасты, отняв

---

[153]) См. его «Курс всеобщей истории», Варшава, 1897/98 гг., в особенности стр. 617—619.

[154]) «Очерки...», представляющие собой переработанное и углубленное издание «Курса всеобщей истории», впервые были опубликованы в журнале «Научное слово» в 1904—1905 гг. Отдельным изданием книга вышла в 1907 г. без изменений сравнительно с журнальным текстом.

[155]) Д. М. Петрушевский. Очерки из истории средневекового общества и государства. М., 1907, стр. 46.

у аристократии социально-политическое господство над массой и подняв эту последнюю материально[156]).

Однако этого не произошло. Отмечая отдельные успехи, достигнутые империей, Петрушевский показывает, что она не решила стоявшие перед ней задачи. Более того, он подчеркивает, что империя тягчайшим бременем легла на римское общество, закрепостив все его слои. Пытаясь объяснить причины этого, Петрушевский прежде всего указывает на созданную империей бюрократическую машину, которая «сравнительно скоро вышла за пределы поставленных ей общественными потребностями задач и из блага превратилась в величайшее зло, в злейший бич общества и один из источников его погибели, совершенно утратив всякую связь с интересами общества, превратившись в самодовлеющую силу, в своих собственных... интересах поработившую общество и высасывавшую из него жизненные соки»[157]). Это перерождение бюрократии Петрушевский ставит в прямую связь с перерождением государственной власти в целом, «забывшей» свои прямые задачи и превратившейся в силу, «грозную своей организованностью не столько внешним врагам общества, сколько ему самому»[158]). Однако забвение общественных интересов, противопоставление себя обществу не прошло даром и для самой государственной власти, в конце концов погубив ее самое[159]). Таким образом, причина падения Римской империи — глубокий, неразрешимый конфликт между обществом и государством, превращение последнего в самодовлеющую, враждебную обществу силу.

Это произошло потому, утверждает Петрушевский, что общество не имело никаких гарантий против произвола правительства и его чиновников[160]). Именно поэтому он в другой своей работе с таким нескрываемым сочувствием следит за борьбой баронов и их союзников против королевской власти в Англии XIII в., усматривая ее высший смысл в обеспечении за обществом конституционных гарантий против деспотизма правительственной власти. «Закон, как выражение общественного сознания, и король, ограниченный законом, правящий для блага общества, окруженный советниками, указанными ему обществом, и созывающий представителей общества, этого представителя высшей власти в государстве»,— так Петрушевский определяет сущность политической теории сторонников Симона де Монфора, не скрывая своего сочувст-

---

[156]) Там же, стр. 48, 108.
[157]) Там же, стр. 57.
[158]) Там же.
[159]) Там же, стр. 187.
[160]) Там же, стр. 82.

венного отношения к ней[161]). Из противопоставления судеб Римской империи, ставшей добычей варваров, и Англии, сделавшейся «образцом для цивилизованного мира», и вытекал политический урок исторических построений Петрушевского, урок тем более актуальный, что приближался 1905 год.

Если в эпоху Римской империи конечным результатом антагонизма между обществом и государством была гибель последнего, то в современных условиях разлад между государственной идеей и ее конкретно-историческим воплощением, между обществом и правительственной властью в последнем счете ведет к революции. Этот тезис составляет лейтмотив всего изучения истории европейских революций в русской либеральной историографии. Едва ли не главным в этом изучении был вопрос о причинах революции. Русские либеральные историки, далекие от понимания действительного места социальной революции в антагонистическом обществе, вместе с тем не разделяли и характерного для реакционной историографии злобного осуждения всякого проявления революционной борьбы масс. Рассматривая революцию как естественное следствие «неправильно» сложившихся общественных отношений, они прилагали все усилия для того, чтобы доказать, будто изменение этих отношений в результате «разумной» политики верхов способно предотвратить революционную бурю, обеспечить спокойное эволюционное развитие общества.

В одной из своих многочисленных популярных работ Кареев специально останавливается на разъяснении своим читателям либеральной концепции революции. Последовательный идеолог либеральной буржуазии, он выступает здесь против обеих «крайностей» в понимании революции. Он резко ополчается против «абстрактного догматизма» в подходе к идее революции, «сделавшейся для многих символом прогресса, предметом суеверного обожания, почти или даже совсем религиозного культа, а для других — воплощением самого зла, предметом не менее суеверного страха, вечно грозным призраком, болезненно пугающим воображение»[162]). В противовес этому Кареев требует научного анализа исторических фактов, после чего, по его уверению, революция не будет казаться ни панацеей и универсальным средством от всех общественных недугов, ни вечным призраком или пугалом. «История может показать, — утверждает он, — что ни догматическая проповедь революций сама не в состоянии была их вызвать, ни догматическая проповедь против революций не могла их

[161]) Д. М. Петрушевский. Очерки из истории английского государства и общества. Ч. 1, СПб., 1903, стр. 210.

[162]) Н. И. Кареев. Мысли о сущности общественной деятельности, стр. 142.

остановить и предупредить. Идея совсем лишается своей заманчивости для одних и перестает внушать свой страх другим, едва ее касается научный анализ, который один только и может научить, как вести общество не непременно путем насильственных переворотов и как, с другой стороны, предупредить самую их возможность, не останавливая искусственными мерами общественного прогресса. На таком знании и понимании и может — да и должна только — основываться в мирные и спокойные времена народной жизни работа государственных людей и общественных деятелей»[163]).

Трудно представить себе более отчетливое выражение требований, предъявлявшихся русским либерализмом к изучению европейских революций. Ими руководствовался не только сам Кареев, но и все либеральные историки, так или иначе поднимавшие в своих работах этот вопрос. Здесь будет уместно сделать одно замечание. Постоянно имея в виду стремление буржуазных идеологов лишить идею революции ореола «заманчивости», мы не должны забывать, что в конкретных условиях русской жизни конца XIX — начала XX вв. главная их цель заключалась не столько в развенчивании самой революции, сколько в критике той политики государственной власти, которая делает революцию неизбежной.

Показателен в этом отношении ход мыслей Кареева, причудливо сочетающий признание при определенных ситуациях неизбежности и даже необходимости революционных потрясений общественного здания и поиски условий, позволяющих избежать эти ситуации. Кареев подчеркивает, что коренные и быстрые перевороты происходят только там, где задержано постепенное развитие, состоящее из частичных изменений, а результаты этих переворотов бывают прочны лишь тогда, когда они соответствуют действительно назревшим общественным потребностям. И хотя далее ученый отмечает, что очень часто в тех случаях, когда победа не имеет прочных корней в обществе, удачи и успехи скоро сменяются поражениями, отбрасывающими общество назад, что во всяком случае здесь бывает много риска и случайностей, он вынужден признать, что «без подобных потрясений многие культурные и социальные явления, по крайней мере в прошлом, были бы невозможны». Характерным образом тут же Кареев прибавляет, что «первыми виновниками этих потрясений были правители и правящие классы, стоявшие ниже своей задачи и не делавшие во-время уступок, что грубость и жестокость, коими сопровождались такие потрясения, были результатом

[163]) Там же, стр. 143.

векового невежества и угнетения, против коих со стороны государства и культурных классов ничего не предпринималось»[164]).

Вместе с тем либеральная природа мировоззрения Кареева и других русских медиевистов в том и состояла, что они видели весь смысл своей деятельности в предотвращении такого развития событий, когда революция становится неизбежной. Отсюда, в частности, становится понятным то большое место, какое в их политических взглядах занимало государство: именно от его благоразумия зависело, быть или не быть революции. С другой стороны, отсюда вытекали притязания либералов играть ведущую роль в политической жизни страны. Отражая эти притязания, Кареев писал, как о своем политическом идеале, о самодеятельности общества, понимая под ней участие «образованных людей» в публичной деятельности на политической арене[165]).

В рассмотренных взглядах Кареева нашло свое выражение характерное для политических позиций всей русской либеральной медиевистики решение вопроса о соотношении между реформой и революцией. В политической теории идеологов русского либерализма своевременные государственные реформы рассматривались как важнейший двигатель социального прогресса, составляющий непременное условие нормального развития общества. Не случайно Кареев прославляет преобразования Петра I и реформы 60-х годов XIX в. за то, что без них Россия рисковала пережить страшные потрясения, «из коих еще неизвестно, как и чем она могла выйти»[166]).

Особенно пристальное внимание идеологов русского либерализма привлекали те ситуации, в которых правительство не сумело своевременными реформами предотвратить революционный взрыв. Наиболее поучительной в этом отношении для них являлась предыстория Великой французской революции XVIII в., которая с конца 70-х годов становится одной из центральных тем в русской либеральной историографии. К ней обращаются не только в специальных исследованиях и университетском преподавании, но и в публичных лекциях. Показательна в этой связи публичная лекция, прочитанная Лучицким в феврале 1879 г. в Киеве на тему «Провинциальные собрания во Франции при Людовике XVI и их политическая роль», в которой рассматриваются попытки реформ, проводившихся во Франции накануне революции. Лучицкий указывает на два зла, делавших в правление Людовика XVI невыносимой жизнь французского общества. Во-первых, это

[164]) Там же, стр. 141.
[165]) Там же, стр. 62—63.
[166]) Там же, стр. 140.

финансовые тяготы, а во-вторых и главным образом, — административный строй страны, бюрократическая централизация, вытекавшая из боязни допустить общество к участию в делах управления. Настоятельная потребность в изменении существовавших порядков стала знамением времени. «А изменить административный и финансовый строй того времени было возможно лишь одним путем, — продолжает историк, — путем коренной реформы, предоставлением обществу возможно более широких прав, права самостоятельного участия в управлении, права широкого контроля»[167]).

Однако, как известно, реформаторская деятельность Тюрго и Неккера потерпела неудачу. Причину этого Лучицкий видит в слабохарактерности и безволии короля, сделавшегося орудием в руках феодальной реакции и упустившего, таким образом, возможность радикально исправить положение дел в стране. Результаты не замедлили сказаться — революция стала неотвратимой. И хотя на пороге революции правительство сделало те самые уступки общественному мнению, которые оно отвергало раньше, «было уже поздно. Король не управлял и не мог управлять более движением. Приближалась, вернее началась уже революция, унесшая в своем потоке и провинциальные собрания... и самую власть»[168]). Таким многозначительным концом завершал Лучицкий публичную лекцию (не забудем, что она читалась в период общественного подъема, падающего на время второй революционной ситуации), не оставляя у своих слушателей малейшего сомнения относительно ее общественной значимости[169]).

Менее уверенно на вопрос о возможности с помощью необходимых реформ предотвратить надвигающуюся революцию отвечает Кареев, оперируя, кстати, тем же самым материалом, что и Лучицкий: Задаваясь вопросом, «не сделали бы реформы Тюрго излишнею революцию 1789 г., если бы ему удалось осуществить свои планы», он осторожно отвечает: «Об этом можно говорить надвое: да, в том смысле, если бы при поддержке Людовика XVI реформа могла совершиться мирно, и нет, если бы, наоборот, деятельность Тюрго сама

---

[167]) И. В. Лучицкий. Провинциальные собрания во Франции при Людовике XVI и их политическая роль. Оттиск из «Университетских известий», Киев, 1879, стр. 11.

[168]) Там же, стр. 40

[169]) «Неспособность падающих правительств предотвратить свое падение своевременными реформами — таково заключение, которое читатель не вольно выносит из только что напечатанной проф. Лучицким брошюры о провинциальных собраниях во Франции при Людовике XVI», — так Ковалевский определял идейный смысл этой работы (см.: «Критическое обозрение», 1879, № 15, стр. 32).

вызвала революцию»[170]). Но как бы ни трактовал Кареев этот частный случай, в общей его концепции французской революции мы находим принципиально такое же решение вопроса, что и у Лучицкого, и в русской либеральной историографии в целом[171]). Уже в первой своей монографии, рассматривая положение французского крестьянства в последней четверти XVIII в., Кареев посвящает специальную главу отношению государственной власти к крестьянам[172]). Отмечая антикрестьянскую направленность политики королевской власти, он, однако, усматривает в этом аномалию политической жизни страны, чреватую для нее грозными последствиями. При этом Кареев не указывает объективной причины такого нарушения нормальной функции государственной власти. В его изображении королевская власть в средневековой Франции ревностно служила государственной идее, «и пока короли были в союзе с тенденцией государства, они были в силе», «идеал государства был опорой королевской власти в борьбе с феодализмом», но затем по неизвестным причинам наступает разлад между идеей государства и королевской властью. Короли становятся на сторону старого порядка, сословного разделения и пр. Тем самым они подорвали собственную силу. Только в эпоху революции с уничтожением сословных перегородок вновь соединились государственная идея и правительственная власть. Недаром Кареев называет самыми чистыми носителями государственной идеи, наряду с Ришелье, якобинцев. Весь ход рассуждений автора не оставляет сомнений в том, что если бы не произошло рокового сдвига в политике французских королей, то не было бы и революции, и ответственность за это полностью возлагается на королевскую власть[173]).

Этот вывод получил подтверждение и дальнейшее развитие в последующих работах Кареева, в том числе и в его «Истории Западной Европы в новое время». Характеризуя

---

[170]) Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время. Т. III, СПб., 1893, стр. 437—438. Впрочем, в данном случае Кареев как будто склоняется к той мысли, что деятельность Тюрго при любом ее исходе уже не могла предотвратить революционный взрыв — слишком уж наэлектризована была обстановка в стране (там же, стр. 438). Ср. аналогичную постановку вопроса в его книге «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции», стр. 301—303.

[171]) Ср. аналогичный ход мыслей Виноградова. См. указанную статью М. А. Алпатова. «Французский ежегодник, 1958», стр. 567.

[172]) Н. И. Кареев. Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции..., глава III, «Государственная власть и крестьяне».

[173]) В другой своей работе Кареев прямо пишет: «... С начала XVIII в. все более и более ощущается потребность в реформе, пока, наконец, эта потребность, не бывши удовлетворенная вовремя, не разразилась революцией» (Н. И. Кареев. Очерк истории французских крестьян с древнейших времен до 1789 г. Варшава, 1881, стр. 133).

в этой книге положение французских крестьян в позднем средневековье, ученый подчеркивает неблагоприятное отношение к ним королевской власти, объясняя это тем, что вплоть до самой революции короли продолжали смотреть на себя как на первых дворян Франции[174]). Казалось бы, Кареев прав, указывая на феодальную природу королевской власти как на причину ее антикрестьянской политики. Но все дело заключается в том, что по его твердому убеждению характер государственной власти определяется доброй (или злой) волей ее носителей, их субъективными качествами. Государственная власть во Франции потому, оказывается, сохранила свою феодальную природу, что французские короли «не забыли своего происхождения в среде феодальной аристократии и не научились смотреть на свою власть, как на нечто иное, нежели частную собственность известного аристократического рода»[175]).

Однако они могли «забыть» и «научиться». Так, например, обстояло дело с Генрихом IV. По мнению Кареева, «Генрих IV, один из наиболее замечательных королей Франции..., умел возвышаться над противоположными интересами партий, вероисповеданий, сословий и отдельных местностей, соединяя всех и вся в высшем государстве»[176]). Очевидно, что если бы все государственные деятели Франции были подобны Генриху IV (или Ришелье), никакой революции в стране не произошло бы. Недаром свое изложение истории французской революции Кареев начинает с сетований на то, что в XVIII в. в стране не явился государь, способный удовлетворить потребность общества в реформах[177]). Идеолог либерализма использует пример Франции для того, чтобы в тысячный раз провести мысль о необходимости совместной дружной деятельности правительственной власти и «общества», о великой ответственности, лежащей на правительстве как руководителе нации. Он утверждает, что даже в 70-е годы XVIII в., при воцарении Людовика XVI, королевская власть могла предотвратить революцию, если бы она поддержала прогрессивные силы страны. В ее поведении в этот период он видит главный вопрос непосредственной предыстории революции[178]). Далее Кареев направляет весь огонь критики

---

[174]) Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время. Т. I, СПб., 1892, стр. 185—186.

[175]) Там же, стр. 186.

[176]) Там же, т. II, СПб., 1893, стр. 396.

[177]) Там же, т. III, СПб., 1893, стр. 399.

[178]) Там же. Ср. точку зрения Ковалевского, утверждавшего, что только наличие плеяды «гениальнейших политиков» предотвратило революцию во Франции в XVII ст. (см.: М. М. Ковалевский. Буланжизм. — «Русские ведомости», 1889, № 38).

против французских правителей, которые оказались не на высоте своего положения, будучи не в состоянии выступить в роли инициаторов реформ. Он видит их историческую вину в том, что своею привязанностью к старым порядкам и неспособностью осуществить желания общества они посеяли недоверие к власти, носителями которой являлись. Если бы, утверждает историк, королевская власть и нация шли вместе, рука об руку, никаких социальных потрясений не произошло бы, и Франция спокойно и мирно вышла бы на новую дорогу[179]).

Таким образом, в исторической концепции русского либерализма революция выступает как закономерное следствие «неразумной» политики правительства в переходные периоды общественного развития, сопровождающиеся резким обострением социальных противоречий в стране. Неспособное к проведению своевременных реформ, правительство становится виновником революции. Такая постановка вопроса определяла и отношение либеральной историографии к самой революции, оценку ее движущих сил. Либеральные историки считали революцию правомерной именно постольку, поскольку она брала на себя решение тех задач, которые не могла или не хотела осуществить монархия, т. е. проведение верхушечных преобразований, открывающих дорогу новому через компромисс с силами старого мира. Но как только революционная буря перехлестывала через эти рамки, как только на первый план выступала борьба широких народных масс, становившихся на путь революционной расправы со своими угнетателями, так радикальным образом изменяется и отношение к революции и ее деятелям. Это было характерно для всей русской либеральной историографии, включая и тех ее представителей, кто, подобно Карееву, испытал в молодости определенное влияние радикальных идей.

Пример Кареева является для нас поучительным и в другом отношении — он позволяет показать столкновение между политическими взглядами буржуазного ученого и его конкретно-историческими исследованиями и в конечном итоге торжество первых там, где речь идет о коренных мировоззренческих проблемах. В противоположность многим зарубежным, особенно немецким, либеральным историкам»[180]), Кареев как ученый был далек от игнорирования позитивных результатов революции не только на ее ранних этапах, но и

[179]) Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время. Т. III, стр. 399—401.

[180]) См.: В. А. Гаврилычев. Великая французская революция в освещении малогерманской школы историков (50—60-е годы XIX в.). Сб. «Методологические и историографические вопросы исторической науки», вып. 2, Томск, 1964, стр. 116—120.

в период якобинской диктатуры. Более того, он убедительно показывает, что целый ряд важнейших вопросов революции, и прежде всего аграрный, получил свое решение именно в этот период. Лейтмотивом всего его исследования аграрных отношений в годы революции является мысль о решающей роли борьбы самих крестьян и поддержки ее радикальными течениями в ходе революции в решении аграрного вопроса. Уже в своей книге о французском крестьянстве в XVIII в. он показывает, что все его завоевания были достигнуты вопреки желанию захватившей на первых этапах революции власть крупной буржуазии ценою многочисленных восстаний, что окончательно крестьянский вопрос был решен только якобинским Конвентом[181]). Эта мысль получает свое развитие в его «Истории Западной Европы в новое время», где подчеркивается, что только в результате законодательства Конвента «кончил свое существование во Франции социальный феодализм»[182]). В этой работе Кареев вынужден признать и другие завоевания, достигнутые или закрепленные революцией в якобинский период, имея в виду при этом не только внешнюю политику Конвента, но и его законодательную, а также чисто практическую внутреннюю деятельность[183]). Симптоматичным также является признание либерального историка, что своим торжеством буржуазия была обязана народным восстаниям, парижской бедноте[184]).

Тем не менее, вопреки собственным оценкам, а иногда и вступая в прямое противоречие с ними[185]), Кареев в целом

---

[181]) Н. И. Кареев. Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции..., гл. VIII. «Решение крестьянского вопроса».

[182]) Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время. Т. III, стр. 548. Правда, далее Кареев указывает, что полностью крестьянский вопрос — в смысле обеспечения крестьян землей — не был удовлетворительно решен и тогда (там же, стр. 548—549).

[183]) См. интересную главу XLI (т. III): «Законодательство Конвента», где Кареев, в частности, указывает: «Рассматривая вообще деятельность Конвента, было бы односторонним (в том или другом направлении) сводить всю его историю к борьбе его партий, к организации им национальной защиты, к его деспотизму, к террористическим мерам и т. п.» (там же, стр. 624). Он подчеркивает его большую будничную практическую работу, указывая на весьма важные результаты его законодательной деятельности, специально отмечает его заботы в области развития просвещения, науки и искусства, снимая с него обвинение в «революционном вандализме», и даже, говоря о деятельности знаменитых комиссаров Конвента, он считает возможным не ограничиваться одной черной краской, отмечая с ссылками на Олара чисто деловую и полезную работу этих «командированных представителей народа» (там же, стр. 624—626).

[184]) Там же, стр. 586—587.

[185]) Например, в оценке якобинцев. Отмечая выдающиеся качества многих руководящих деятелей Конвента, возглавлявших важнейшие отрасли национальной обороны и государственного управления, и указывая, что «их преданности делу, их предусмотрительности, их энергии Франция была

характеризует якобинский период резко отрицательно, особенно ополчаясь против революционного террора. Он подчеркивает «господство разнузданных страстей, сопровождавшее народные восстания», «насилия и преступления террора»[186]), восхваляя Дантона за его стремление в 1793 г. «положить конец анархии, восстановить государственный порядок», с сожалением констатируя отказ жирондистов от союза с ним[187]). Но главное, пожалуй, даже не в этих оценках, а в общей направленности его взглядов на революцию. Красной нитью через все его изложение истории французской революции проходит страх буржуа перед восставшим народом. Этот страх определяет отношение ученого ко всем важнейшим событиям революции и, в частности, к свержению монархии и установлению республики. Вынужденный признать, что ход событий сделал республику необходимостью[188]), он тем не менее пытается убедить своих читателей в роковых последствиях свержения монархии во Франции. Кареев стремится доказать, что французский народ не был подготовлен к политической свободе, к самостоятельным политическим действиям. Отсюда — анархия, разгул страстей, ужасы террора и, в конечном итоге, — термидорианская реакция и переворот 18 брюмера. «В нации не было ни одного общественного класса, — утверждает он, — который мог бы принять на себя бремя республиканского правления»[189]).

Только «союз монархии и нации», по глубокому убеждению Кареева, мог обеспечить «нормальное» течение революции, прочное сохранение ее плодов. Вот почему он дает исключительно высокую оценку Мирабо, подчеркивая политическую мудрость его планов установления в стране конституционной монархии английского типа[190]). Он сочувственно рассматривает деятельность Мирабо в этом плане, отмечая ее невероятную трудность. «Между монархией и нацией, — пишет историк, — образовался разрыв, и нужно было очень большое искусство, чтобы соединить в одно целое монархию и нацию, не доверявшие одна другой»[191]). И Кареев не скры-

---

многим обязана в трудную пору своей жизни» (там же, стр. 624), он, однако, рабски следует за традиционным в буржуазной историографии злобным осуждением вождей якобинизма и прежде всего Марата (там же, стр. 593) и Робеспьера (там же, стр. 597—599).

[186]) Н. И. Кареев. Философия культурной и социальной истории нового времени (1300—1800). Введение в историю XIX в. СПб., 1893, стр. 162.

[187]) Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время. Т. III, стр. 606—607.

[188]) Там же, стр. 593.

[189]) Там же, стр. 578.

[190]) Там же, стр. 495, 509—510.

[191]) Там же, стр. 515.

вает своего сожаления в связи с тем, что этот разрыв так и не был преодолен. Монархия стала жертвой необузданных народных страстей, но тем самым, подчеркивает он, их жертвой стала и сама революция. Говоря о насильственном возвращении короля в Париж осенью 1789 г., он пишет: «6 октября действительно было роковым днем для монархии, но оно же было и роковым днем для самой революции:... после 6 октября парижское население овладело самим собранием, которое уже не могло считать себя свободным среди жителей столицы, терпевших от нужды, безработицы, дороговизны хлеба, веривших всем слухам, какие только возникали, всегда возбужденных, охотно слушавших страстные речи народных ораторов, читавших, наконец, зажигательные статьи и брошюры...»[192]).

Эта высокая активность народа, в особенности парижской бедноты, и является для Кареева самым неприемлемым во французской революции XVIII в. Во всем его изложении истории революции проводится мысль, что французский народ, лишенный какого-либо опыта участия в политической жизни, был неспособен разумно воспользоваться предоставившейся ему свободой. Как тут не вспомнить излюбленные рассуждения российских либералов о неподготовленности русского народа к самостоятельной политической деятельности, о необходимости постепенного приобщения его под надежным руководством либеральной буржуазии к политической свободе, о неприемлемости для нашей страны французского пути[193]).

Политическая направленность либеральной трактовки Великой французской революции особенно явственно выступает в книге Ковалевского «Происхождение современной демократии». Свое многотомное исследование Ковалевский посвящает изучению идейно-политической стороны французской революции, рассматривая возникшие в ее эпоху доктрины и учреждения в свете развития основ «правового» буржуазного государства. Отношение ученого к различным этапам революции ясно вытекает уже из самой структуры книги.

---

[192]) Там же, стр. 494.

[193]) Характерно в этой связи противопоставление в русской либеральной историографии Французской революции XVIII в. историческому пути Англии и США. Подчеркивая, что «французское общество в XVIII в. было воспитано в привычках, наименее благоприятствовавших действительному установлению свободы при новых порядках», Кареев указывал: «В Англии и в Северной Америке... то, что было целью стремлений французов, являлось результатом долгого исторического процесса, во время которого принципы свободы входили постепенно в привычки, а нравы — в жизненную практику народа и тем самым создавалось уважение к чужой свободе, без коего желание свободы только для себя не в состоянии осуществить настоящую свободу в жизни» (там же, стр. 403).

Изучение революции завершается у него принятием конституции 1791 г. и закрытием Учредительного собрания «так как дальнейшие события представляют не естественный ход вновь созданной парламентской машины, а систематическое ее разрушение зародившейся еще в эпоху Конституанты и быстро умножавшейся республиканской партией»[194]). Таким образом, важнейшие события, решавшие судьбы революции, объявляются извращением ее подлинного лица и на этом основании остаются за чертой изучения. Впрочем, Ковалевский, как и многие другие буржуазные ученые, был убежден, что решающие события революции развертывались именно в 1789—1792 гг. и не только в идейно-политической, но и в социально-экономической сфере. Так, известные августовские декреты Учредительного собрания, безвозмездно устранявшие личные повинности крестьян и церковную десятину и устанавливавшие выкуп поземельных феодальных повинностей, объявляются величайшим завоеванием революции. «Ночь 4 августа, — пишет он, — есть, разумеется, грандиознейшая из всех революций, коснувшаяся одновременно и сферы землевладения и сферы сословных отношений»[195]).

Примечательны мотивы, обусловившие такую оценку августовских декретов. Для русского либерала они являются показателем способности имущих классов своевременно отказаться от своих привилегий, возможности мирного разрешения социальных конфликтов. Не скрывая своего умиления, он пишет об этом: «Ночь 4 августа представляет собою небывалое в мире явление: в несколько часов, среди всеобщего энтузиазма, представители владетельных классов сами занесли руку на то, на чем опиралось их имущественное, социальное и политическое господство... Привилегированные сословия, еще в июне так упорно стоявшие за свое обособленное существование, за свои иммунитеты и почетные преимущества, поспешили, по-видимому, добровольно, принесть их в жертву на алтарь отечества»[196]).

Чтение книги Ковалевского невольно наводит на мысль, что главная ее цель — стремление одного из идейных вождей русского либерализма извлечь накануне грядущих социальных потрясений в России необходимые политические уро-

---

[194]) М. М. Ковалевский. Происхождение современной демократии. Т. II, стр. IX.

[195]) Там же, стр. 101.

[196]) Там же, стр. 100—101. Правда, он далее отмечает, что «ближайшим мотивом великодушного отказа дворянства от его вековых прав и преимуществ» являлась «боязнь дальнейших насилий» крестьян (стр. 108). Однако это не меняет существа дела, ибо, с точки зрения Ковалевского, заслуга и величие дворянства как раз и заключаются в том, что оно правильно оценило обстановку и вовремя приняло мудрое решение.

ки из опыта французской революции. Это особенно проявляется в его характеристике истории политических учреждений Франции первого периода революции. Как и Кареева, его больше всего страшит революционный народ. На основании опыта революции он пытается найти такую форму государственного устройства, которая служила бы надежным препятствием для всякого самостоятельного выступления народных масс, для всякого проявления столь ненавистных либералам народных «страстей». Искомую форму он видит в конституционной монархии, которая характеризовалась бы наличием сильной исполнительной власти и двухпалатной системы. «Одно несомненно доказано опытом представительных учреждений, — утверждал он, — это — та польза, какую демократия может извлечь из существования рядом с палатой народных представителей менее подвижного в своем составе и потому более стойкого в своей политической программе сената или совета»[197]).

Боязнь всемогущества представительных учреждений и тем более самого народа определяет и характер критики Ковалевским законов и учреждений, созданных революцией. Давая высокую оценку «Декларации прав человека и гражданина», он видит ее существенный недостаток в провозглашении «туманного по своему смыслу и анархического по содержанию права «сопротивления»[198]). Но особенно серьезные претензии Ковалевский предъявляет составителям конституции 1791 г., доходя при этом до утверждения, будто они оказались под влиянием поборников начала неограниченного народного суверенитета. Главный недостаток конституции он усматривает в принижении ею значения исполнительной власти, в ее якобы республиканском содержании, противоречившим монархической форме[199]). В своем анализе конституционной истории первых лет революции Ковалевский выступает как решительный сторонник сильной независимой исполнительной власти, которая в данном случае отождествляется им с королевской властью. С этих позиций ученым и подвергается критике конституция 1791 г.[200]).

[197]) М. М. Ковалевский. Происхождение современной демократии. Т. II, стр. 287. Показательно обоснование, которое Ковалевский дает этому взгляду. С характерной ссылкой на злейшего врага французской революции Берка он утверждает, что вторая палата нужна как сдерживающий центр, при отсутствии которого всемогуществу Национального собрания не будет границ (там же, стр. 287—288). Ср. с этим его критику решения Национального собрания об избрании судей на определенный срок. «Ни одному из ораторов не приходит в голову, — пишет Ковалевский, — что пожизненность — лучшая гарантия суда против народных страстей» (там же, стр. 539).

[198]) Там же, стр. 91.

[199]) Там же, стр. 93—94.

[200]) Там же, стр. 93.

Особенно непримирим Ковалевский в отношении республиканских идей и их носителей в годы революции. Собственно, в их распространении усматривается главная внутренняя опасность для революции, обусловившая в конечном счете все ее «ужасы» и «эксцессы». С присущим ему классовым чутьем Ковалевский выступает решительным противником республиканской формы государственного устройства, возникающей на гребне революционной волны в обстановке бурной активности широких слоев народа, именно потому, что она возникает как результат революционной самодеятельности масс. В этих условиях республика представляет определенные возможности для классовой организации пролетариата, создает для него лучшие (сравнительно с монархией) условия для захвата политической власти или во всяком случае для некоторого влияния на нее. В известном смысле Великая французская революция с ее якобинским периодом подтверждает этот взгляд. Как раз все свое изучение политических учреждений и доктрин 1789—1791 гг. Ковалевский подчиняет главной задаче — проследить истоки того пути, который привел к ненавистному для всех либералов «самодержавию народа» в 1793 г. Он подвергает резкой критике жирондистов за их политическую близорукость, выразившуюся, с его точки зрения, в легкомысленном заигрывании с республиканскими идеями в то время, когда объективные условия требовали сохранения монархии, обладающей сильной исполнительной властью. Он подчеркивает, что французский народ не созрел для республики, что «класс просвещенный» открыто высказывался против нее, а идеологи жирондистов, хорошо сознавая это, «заодно с демагогами стремились под именем народовластия сосредоточить всецело в руках предотавительства функции самодержавия, восстановляя, таким образом, в пользу нескольких сотен депутатов ту самую систему единовластия, с которой боролись деятели 1789 г.»[201]).

Но не только в республике, открывающей шлюзы для «народных страстей», таилась, с точки зрения Ковалевского, смертельная опасность для революции. Один из наиболее трезвых мыслителей своего класса, Ковалевский хорошо понимал, что буржуазное государство не в состоянии обеспечить себе прочное положение, не считаясь с таким могущественным фактором политической жизни, каким являлись в капиталистическом обществе народные массы и прежде всего рабочий класс. Подходя с этих позиций к французской революции, он возлагает ответственность на Национальное собрание за то, что оно не учло в должной мере это обстоятельство и тем самым в значительной степени предопределило весь

[201]) Там же, т. III, стр. 163—164.

ход последующих событий. Примечательно, что причину эту Ковалевский видит в узкобуржуазном характере проводившейся Национальным собранием политики в отношении рабочего класса. Указывая на активизацию городской бедноты в первые годы революции, ученый пишет: «Таковы были те новые социальные силы, которых Национальное собрание не только не сумело привлечь на свою сторону..., но, наоборот, всячески восстановило против себя избирательными ограничениями, отнесением их в громадном большинстве к числу... пассивных граждан... Продолжая дело ограждения вновь создаваемого им социального и политического строя от всяких попыток низвержения снизу, Национальное собрание постепенно устранило этих пассивных граждан от фактического осуществления тех функций народного самодержавия, которые, по собственному его заявлению, должны были сосредоточиться в руках всей совокупности лиц, образующих из себя нацию, и от участия в рядах гвардии, призванной к защите созданного революцией порядка»[202]). Тем самым рабочие не могли не видеть в Национальном собрании своего противника. Этим обстоятельством, продолжает Ковалевский, не замедлили воспользоваться республиканцы, нуждавшиеся в послушных орудиях для достижения своих целей[203]).

Анализируя причины, обусловившие «ненормальный», с точки зрения либерала, ход французской революции, Ковалевский обращает особое внимание на так называемое «доктринерство» ее деятелей. По его мнению, в своей законодательной деятельности они не отправлялись от реальных политических условий времени, не руководствовались историческим опытом других стран, в частности Англии и США, а исходили из абстрактных теоретических принципов[204]). Обвинение французских революционеров в «доктринерстве» не является изобретением Ковалевского. С начала XIX в. оно делается модным в устах всякого рода врагов революции, использовавших его для дискредитации как самой революции, так и идейно подготовившей ее просветительной философии XVIII в. И то обстоятельство, что либерал Ковалевский, по существу, положил эти обвинения в основу оценки законодательства революции, лишний раз доказывает, какая в сущности незначительная разница лежит в оценке революции между ее откровенным врагом — реакционером и половинчатым «защитником», а часто и ожесточенным критиком-либералом. Ковалевский не скрывает подлинного смысла своей критики «доктринеров 89 г.». Он видит их главный

---

[202]) Там же, стр. 156.
[203]) Там же, стр. 158—159.
[204]) Там же, т. II, стр. 490.

порок в том, что они в своей деятельности «отправлялись не от реформы действующих порядков, а от тех или других юридикополитических афоризмов, в жертву которым приносились эти порядки. Они делали не надстройку к существующему уже зданию, а ломали его до основания и на очищенной таким образом почве строили все снова»[205]). Правда, далее Ковалевский возлагает вину за это не столько на деятелей революции, сколько на неспособность старого французского порядка дать отправную точку для нового развития, но это не изменяет главное — опыт Французской революции идеолог русского либерализма использует для того, чтобы с новой силой предостеречь от всякой попытки крутой ломки старого, вновь и вновь подчеркнуть необходимость ограничиться «надстройкой к существующему уже зданию», воздвигнутому российским самодержавием.

Так, отношение к Великой французской революции стало фокусом, в котором сконцентрировались наиболее характерные черты политических воззрений русской либеральной историографии. Здесь с особенной силой сказались присущий ей реформизм, упования на возможность конструктивной политики царизма, основанной на союзе правительства и «общества», ее боязнь народной революции.

Причудливое сочетание сочувствия к народу и страх перед ним, осуждения феодально-абсолютистских порядков и признания возможности их мирной эволюции, критического отношения к язвам капиталистического строя, буржуазному своекорыстию и превознесение буржуазной цивилизации в целом — сочетание это, порожденное самой противоречивой русской пореформенной действительностью, оказало существенное влияние и на складывание методологических принципов либеральной медиевистики, в частности, на ее отношение к крупнейшим направлениям современной ей европейской философской мысли.

---

[205]) Там же.

ГЛАВА II

РУССКАЯ ЛИБЕРАЛЬНАЯ МЕДИЕВИСТИКА И ЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.

Политические позиции русской либеральной медиевистики во многом определяли характер методологических исканий ее выдающихся представителей. Объективные задачи, стоявшие перед русским пореформенным либерализмом и вынуждавшие его идеологов обращаться к изучению сферы социально-экономических отношений, делали настоятельной необходимостью его методологическое перевооружение. Господствовавшие в русской либеральной науке до последней четверти XIX в. гегельянские идеи в той интерпретации, которую они там получили, не могли более удовлетворять общественным потребностям времени[1]). Осмысление совершавшихся в стране сдвигов, решение вопроса о путях исторического развития России требовали отказа от обветшалых схем общественного процесса, усматривавших в истории арену деятельности выдающихся лиц или прямо сводивших ее к манифестаций божьего промысла на земле и поисков закономерностей движения истории в ней самой. В определенной степени под влиянием революционно-демократической публицистики 60—70-х годов, наиболее четко и глубоко поставившей в России того времени вопрос о высоком общественном призвании исторической науки, о ее задаче изучения материальных основ жизни общества и прежде всего жизни народных масс[2]), поколение либеральных медиевистов, вступившее в 70-е годы на арену научной и общественной деятельности,

---

[1]) Нет необходимости специально доказывать, что русское буржуазно-дворянское гегельянство в исторической науке являлось лишь слабым сколком идей гениального немецкого мыслителя, отнюдь не отражая всю их глубину. Весь его багаж состоял из отдельных положений философии истории Гегеля, причем как раз наиболее слабых, подобно признанию трансцедентального плана истории, убеждению в решающей роли идей в общественном развитии, делению народов на исторические и неисторические, обожествлению монархии как венца исторического прогресса и т. п.

[2]) См.: Б. Г. Могильницкий. У истоков социально-экономического направления в русской буржуазно-либеральной медиевистике. — Сб. «Методологические и историографические вопросы исторической науки», вып. 3, Томск, 1965, стр. 232—252.

не скрывало своего отвращения к распространенным в официальной науке абстрактно-метафизическим, проникнутым теологическим духом представлениям о природе и движущих силах общественного развития.

Оставаясь по своим исходным философским убеждениям в целом на позициях исторического идеализма, русские медиевисты в то же время решительно порывали с характерным для их предшественников в официальной науке высокомерным игнорированием материальных условий жизни общества, приходили в ряде случаев к признанию значения этих последних в истории. Уже тот факт, что круг их научных интересов преимущественно сосредоточивался на исследовании социально-экономической стороны исторического процесса, не может быть, конечно, объяснен только личными склонностями ученых и даже одной общественно-политической актуальностью этой проблематики. Очевидно, что подобная направленность научных интересов русских медиевистов вытекала из всей совокупности их идейно-методологических взглядов, отражая, в частности, их представления о характере и движущих силах исторического развития.

В своем внимании к изучению социально-экономической стороны исторического процесса русские историки, как известно, не были одиноки. Во второй половине XIX в. аналогичное направление возникает и в буржуазной историографии стран Запада. В лице своих выдающихся представителей оно достигло существенных результатов в изучении прошлого человечества, внесло немаловажный вклад в обогащение методологии и методики исторического исследования[3]).

Вместе с тем было бы ошибочно рассматривать социально-экономическое направление, возникшее в последней четверти прошлого столетия в русской либеральной медиевистике, как простое отражение аналогичных течений в западной науке, основанное на тождественных, заимствованных из западной науки методологических принципах. Крупнейшие русские медиевисты были не только оригинальными исследователями конкретного исторического материала, но и не менее самостоятельными мыслителями в сфере теоретических проблем исторической науки. Созданная ими система идейно-

---

[3]) О причинах, обусловивших возникновение в буржуазной историографии Запада социально-экономического направления и его значения см.: И. С. Кон. Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли, стр. 39—42. См. также: А. И. Данилов. Проблемы аграрной истории раннего средневековья в немецкой историографии конца XIX—начала XX вв., стр. 36—39. Е. В. Гутнова. Т. Роджерс и возникновение историко-экономического направления в английской медиевистике XIX в. 60—90-е гг.) — Сб. «Средние века», вып. XVII, М., 1960.

методологических принципов являлась не копией того или иного модного «изма», перенесенного на русскую почву, а органическим порождением этой последней. Внимательно следя за развитием западноевропейской теоретической мысли в области общественных наук, широко используя в своих построениях результаты ее работы, наши ученые при этом всегда сообразовывали эти результаты с актуальными потребностями общественной жизни страны, интерпретировавшимися с либеральных позиций. Объективные различия, имевшие место в последней четверти XIX в. в социально-политическом положении России и стран Запада и обусловившие известное своеобразие идеологии русского либерализма, сказались и в методологических исканиях русской либеральной медиевистики.

Обращает на себя внимание уже самое направление этих исканий. Историко-теоретические труды Ковалевского, Кареева, Лучицкого и их коллег свидетельствуют о хорошем знании ими современной европейской историко-философской, социологической и экономической литературы. Они свободно оперируют десятками теорий, сотнями имен. Однако из множества учений, объяснявших исторический процесс, их преимущественный и стойкий интерес вызывали два — позитивизм и исторический материализм. Фактически вокруг этих учений и концентрировались теоретические поиски русской либеральной медиевистики. В позитивистской социологии, а затем в некотором отношении и в историческом материализме ее представители видели средство преодоления философской отсталости русской историографии. Именно эти два учения, хотя и в далеко не одинаковой степени, оказали наибольшее влияние на ее методологические идеи. Более того, можно утверждать, что, как раз формулируя свое отношение к ним, русская либеральная медиевистика вырабатывала собственные методологические позиции.

В своем отношении к позитивистской социологии Конта—Спенсера и в особенности в подходе к материалистическому пониманию истории русская либеральная медиевистика не занималась простым повторением азов европейской буржуазной науки. Ее представители пытались выработать собственную точку зрения, которая, будучи в последнем счете порождением русской пореформенной действительности, именно поэтому в некоторых своих аспектах отличалась от представлений, господствовавших в последней четверти прошлого столетия в буржуазной науке Запада. В оценке социологических построений Конта и Спенсера, в отношении к исторической теории и методу Маркса особенно ярко выразилось существо идейно-методологических позиций русской либеральной медиевистики. Вот почему представляется правомер-

ным предварить анализ теоретических основ ее исторической концепции рассмотрением вопроса об отношении ее выдающихся представителей к позитивизму и марксизму.

1. Позитивизм и русская либеральная медиевистика

Вторая половина XIX столетия отмечена широким распространением в буржуазной науке позитивистской методологии. Едва замеченный при своем возникновении, позитивизм становится одним из самых распространенных направлений в буржуазной философии, оказывая серьезное влияние на развитие целого ряда конкретных наук. Под несомненным воздействием позитивистских идей находилась во второй половине прошлого века и буржуазная историческая наука. Позитивизм превращается в своего рода официальную методологию значительной части буржуазной историографии, определяя в большой мере как методы и приемы, так и самое направленность исторического исследования.

Оценка позитивизма и его места в развитии буржуазной общественной мысли до настоящего времени продолжает оставаться дискуссионной в советской историко-философской литературе. Одни ученые, признавая пороки позитивизма как идеалистической философии, вместе с тем указывают на известное положительное влияние позитивистской социологии на буржуазную историографию, связывая, в частности, с нею успехи буржуазной науки в изучении социально-экономической истории[4]). Другие, напротив, подчеркивают негативное влияние позитивизма на развитие исторической науки. В последнее время наиболее рельефно этот взгляд выразили П. Федосеев и Ю. Францев. Отмечая отрыв теоретических обобщений от изучения конкретной истории как скверную традицию буржуазной социологии, П. Федосеев и Ю. Францев указывают, что «буржуазные теоретики-позитивисты, подобные О. Конту и Г. Спенсеру, делали весьма тощие идеалистические выводы из исторического процесса, а все его многообразие, разумеется, невозможно было уложить в прокрустово ложе их идеалистических схем. Эти схемы не только

---

[4]) См.: О. Л. Вайнштейн. Историография средних веков, где прямо подчеркивается, что благодаря позитивистской методологии истории буржуазная историография второй половины XIX в. «достигла выдающихся успехов» (стр. 206). Аналогичных взглядов придерживаются И. С. Кон (см.: «Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли», стр. 42—49) и Е. В. Гутнова («Место и значение буржуазной позитивистской историографии второй половины XIX в. в развитии исторической науки». Сб. «Средние века», вып. 25, М., 1964).

не способны были указать пути конкретного исторического исследования, но и всячески его тормозили»[5]).

Очевидное разноречие в оценке позитивизма в советской науке в значительной степени, на наш взгляд, объясняется его чрезвычайной сложностью и многоплановостью. Мы имеем в виду не только хорошо известную эклектичность позитивистской философии, сосуществование в ее рамках разнородных, а иногда и прямо исключающих друг друга принципов и положений, что позволяло собираться под ее знаменем историкам, придерживавшимся различных идейно-методологических взглядов. Наряду с этим необходимо учитывать, что сложное явление в духовной жизни европейского общества XIX в., известное под термином «позитивизм», все время находилось в состоянии непрерывного движения, изменения, включало в себя различные течения и направления. Даже в период возникновения позитивизма между его основоположниками отсутствовало согласие по целому ряду важных методологических вопросов. Широко известны, например, неоднократные попытки Спенсера отмежеваться от Конта, показать принципиальное отличие своей системы взглядов от контовской[6]).

Необходимо далее иметь в виду определенное различие, всегда существовавшее между позитивистской социологией и так называемой позитивистской историографией. Прежде всего следует подчеркнуть, что буквальное следование канонам позитивной социологии вообще было невозможно для исторической науки, ставило под вопрос самое ее существование[7]). Социологические системы Конта и Спенсера, как бы они не различались между собою, сходились в одном — в откровенном агностицизме, решительно утверждая непознавае-

---

[5]) П. Федосеев, Ю. Францев. История и социология. «Коммунист», 1964, №2, стр. 64.

[6]) См., в частности, его статью «О причинах моего разногласия с О. Контом», где Спенсер, признавая величие контовской системы позитивной философии, вместе с тем выступает против многих ее принципиальных положений. В числе их он критикует одну из центральных догм Конта — о решающей роли интеллектуального развития в историческом процессе. Полемизируя с Контом, он заявляет: «Идеи не управляют миром и не вносят в него переворотов: мир управляется и изменяется через чувства...» (Огюст Конт и позитивизм. Статьи Д. С. Милля, Г. Спенсера и Л. Уорда, М., 1897, стр. 294). Таким образом, к решению вопроса о движущих силах исторического процесса — одного из главных методологических вопросов исторической науки — оба родоначальника позитивизма подходили с существенно различных позиций.

[7]) На это обстоятельство обратил внимание уже Бенедетто Кроче, справедливо указывавший, что «если бы формулы позитивизма и агностицизма воспринимались и применялись буквально, то всякий умственный свет погас бы в слепом механицизме и в пустоте, и никакая история не была бы возможна» (B. Croce. Zur Theorie und Geschichte der Historiographie. Tübingen, 1915, S. 264).

мость сущности явлений, отлучая от науки всякого, кто стремится выйти за рамки опытного знания. Согласно этим схемам, исторической науке отводилась роль унылого регистратора «положительных» фактов. Не способствовал ее развитию и воинствующий идеализм основоположников позитивизма, их неприкрытая враждебность к материалистическому пониманию истории[8]). Наконец, общеизвестен политический консерватизм основоположников позитивизма. Будучи апологетами капиталистического общества, они последовательно боролись против всяких планов революционного преобразования его, были убежденными противниками социалистических и коммунистических идей.

Неудивительна поэтому неизменно отрицательная оценка позитивизма в трудах классиков марксизма. Отмечая заимствование Контом сен-симонистских идей, Энгельс подчеркивал, что «он в то же время опошлил их, переработал их на свой собственный филистерский лад»[9]). Вскрывая реакционную сущность социальных взглядов Конта, Маркс указывал, что «Конт известен парижским рабочим как пророк режима империи (личной диктатуры) — в политике, капиталистического господства — в политической экономии...»[10]).

Буржуазная историография второй половины XIX в., известная под термином «позитивистская историография», не могла ограничиваться простым следованием канонам Конта — Спенсера. Историографическая практика необходимым образом заставляла исследователя переступить тот предел, который устанавливали ему эти каноны. Систематизация исторических фактов только тогда могла дать серьезный научный эффект, когда за нею стояло стремление ученого к осмыслению этих фактов, выяснению их внутренней связи в общественном развитии. Еще более могущественное влияние оказывала сама жизнь: изучение социально-экономических отноше-

---

[8]) Для отношения позитивизма к материализму является показательной книга последовательного ученика Конта французского позитивиста Робине. «Положительная философия Огюста Конта», СПб., 1898. Все изложение основ позитивизма в этой книге носит ярко выраженную антиматериалистическую направленность. При этом Робине сознательно противопоставляет материализм и позитивизм как два основных направления современной ему философии мысли, не останавливаясь перед самыми грубыми измышлениями по адресу материализма. Главным орудием в борьбе позитивистов с материализмом был агностицизм. Рассказывая о происхождении первой части «Основных начал» с ее характерным названием «Непознаваемое», Спенсер прямо пишет: «Я хотел, чтобы критики и читатели уверились в отрицательном моем отношении к материалистическому мировоззрению, чтобы они увидели, что я признаю непостижимость тайны, лежащей за пределами мира доступных нашему пониманию явлений» (Г. Спенсер. Автобиография. Ч. 2, СПб., 1914, стр. 27).

[9]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 39, стр. 327.

[10]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 17, стр. 560.

ний в прошлом становилось настоятельной общественной потребностью, необходимым условием решения социального вопроса, вставшего с середины XIX в. во всей своей грозной для европейской буржуазии силе, в настоящем.

Эти задачи буржуазная историография пыталась решить с помощью определенной системы представлений и методов, разработанных в позитивистской социологии[11]). Среди них следует в первую очередь назвать представление об эволюционном характере развития общества, соединенное с признанием его закономерности; эклектизм («теория факторов») в объяснении исторического процесса; сравнительно-исторический метод в изучении общественных явлений. Позитивистское требование изучения «положительных фактов» объективно содействовало обращению ученых к исследованию социально-экономической истории общества, ибо именно в этой сфере можно было оперировать относительно надежными фактами, имевшими значение объективной реальности. Именно здесь существовала возможность применения методов и приемов естественных наук, за что так горячо ратовали теоретики позитивизма, к изучению общественных явлений, возможность, нашедшая свое выражение в широком распространении статистических приемов обработки источников. Следуя по этому пути, буржуазная историография второй половины XIX в. добилась несомненных успехов в изучении различных аспектов социально-экономической истории прошлого, в частности, в освещении аграрных отношений западноевропейского средневековья.

Однако было бы преувеличением связывать безоговорочно эти успехи с позитивизмом. Принимая и развивая отдельные позитивистские принципы, буржуазная историография второй половины XIX в. в целом далеко не укладывалась в схемы, уготовленные ей позитивистской социологией. В особенности это относится к большому отряду ее, сосредоточившему свои усилия на изучении социально-экономической стороны исторического процесса. Обращение к этому сюжету значительной части буржуазных ученых не только не диктовалось основными принципами позитивистской социологии, но и в определенной степени происходило через их преодоление. В самом деле, и Конт, и Спенсер, и другие апостолы позитивизма, расходясь между собой в частностях, были едины в главном — в признании решающей роли духовного прогресса в жизни общества, независимо от того, в чем бы он

[11]) Хотя и не созданных ею. Уже неоднократно отмечалось, что едва ли не все главные компоненты позитивизма, не исключая и свойственный ему культ «положительного факта» и опытного знания, были известны науке и раньше. В позитивистской социологии они только получили свое дальнейшее развитие и обоснование.

ни выражался — в росте знаний, как утверждали Конт и Бокль, в нравственном прогрессе, как думал Спенсер, или в совершенствовании психической организации человека, как полагали некоторые другие позитивисты. Соответственно с этим позитивистская социология ориентировала историков на изучение в первую очередь духовной стороны жизни общества. Классический пример тому — «История цивилизации Англии» Генри Бокля. И хотя ученые, обратившиеся в последней трети XIX в. в различных европейских странах к изучению социально-экономической истории, в большинстве своем испытали более или менее сильное влияние позитивизма, наложившего неизгладимый отпечаток на всю их деятельность, нельзя не признать, что в своей историографической практике они далеко уклонялись от генерального пути, начертанного для них теоретиками позитивизма.

Наконец, рассматривая историографию, находившуюся под позитивистским влиянием, необходимо учитывать ее чрезвычайно разнородный характер. Когда говорят об историках-позитивистах, то в их число обычно включают ученых, весьма различающихся между собою по своим идейно-методологическим взглядам. В рядах так называемой позитивистской историографии находят свое место и либерал Бокль, и ярый реакционер, злобный противник революционной борьбы народных масс Тэн, и русские историки, подобно Лучицкому, до определенной степени сочувствовавшие этой борьбе. Не менее разнородными оказываются и методологические позиции этих ученых. Психологизм Тэна существенно отличается от боклевской концепции интеллектуального прогресса как решающего двигателя европейской цивилизации. Равным образом методологические взгляды Лучицкого (с конца 70-х — начала 80-х годов) отличны от взглядов Тэна и Бокля. Примеры подобного рода легко умножить. Именно поэтому сам термин «позитивистская историография» представляется до известной степени условным, не раскрывающим с достаточной полнотой идейно-методологические основы скрывающихся за ним течений в буржуазной исторической мысли второй половины XIX в. Чрезвычайная сложность вопроса о позитивизме вообще и о роли позитивистской методологии в развитии исторической науки в частности заставляет подходить к его решению дифференцированно. Необходимо принимать во внимание различные направления в самой положительной социологии, характер ее взаимоотношений с исторической наукой на разных этапах ее развития, специфику социально-политических условий в каждой из тех стран, где позитивизм получил распространение.

Руководствуясь этими соображениями, мы и подходим к оценке влияния позитивизма на развитие буржуазной ме-

диевистики в России. При этом, естественно, речь главным образом будет идти о влиянии учений Конта и Спенсера, ибо они с наибольшей полнотой отразили существо позитивистской социологии и получили наибольшую известность (по сравнению с другими течениями позитивистской мысли) в нашей стране.

Позитивизм оказал несомненное влияние на развитие русской исторической науки. Уже в 1847 г. на страницах «Отечественных записок» появилось первое на русском языке изложение взглядов родоначальника позитивизма О. Конта. В рецензии на книгу А. Бутовского «Опыт о народном богатстве или о началах политической экономии» выдающийся русский экономист В. А. Милютин сочувственно излагал основные положения позитивизма, рассматривая его как основу создания подлинно научной политэкономии[12]).

Однако широкое распространение позитивизма в России начинается только с конца 60-х годов. Только с этого времени у нас развертывается систематическое переиздание трудов основоположников позитивизма, особенно Д. С. Милля и Г. Спенсера, начинается широкая популяризация их идей; позитивизм становится предметом острой полемики на страницах многочисленных русских журналов. Не будет преувеличением сказать, что отношение к позитивизму в это время до известной степени сделалось лакмусовой бумажкой, определявшей идейно-методологические позиции различных течений русской общественной мысли, а сам позитивизм — одной из тех проблем, вокруг которых между ними велась острая борьба. Именно поэтому мы встречаем в России целую гамму самых разнообразных оттенков в отношении к позитивистской философии — от полного отрицания ее до такого же

---

[12]) Эта рецензия опубликована в кн. В. А. Милютина «Избранные произведения», М., 1946. О распространении позитивизма в России см.: П. С. Шкуринов. Критика позитивизма В. И. Танеевым. М., 1965. Построенное в значительной своей части на архивных материалах, впервые вводимых в научный оборот, исследование П. С. Шкуринова проливает новый свет на идейную борьбу в русском обществе второй половины XIX в. в связи с отношением различных его слоев к позитивизму. Автор, в частности, подчеркивает значение философии Конта для «борьбы против беспочвенного умозрения, мистико-идеалистических спекуляций и открыто обскурантистских идей идеологов самодержавия и православной веры» (стр. 42), хотя и несколько схематизирует расстановку социальных сил в этой борьбе. Особенно это относится к его настойчивому стремлению доказать, будто весь революционно-демократический лагерь начиная с 40-х годов XIX в. и вплоть до конца этого столетия был един в своем отношении к позитивизму, причем самое это отношение неправомерно сближается с оценкой учения Конта Марксом и Энгельсом (см. в особенности стр. 97). С другой стороны, в работе упрощенно рассматривается лагерь противников позитивизма, в числе которых неожиданно оказывается в качестве последователя воинствующего реакционера и мракобеса Гогоцкого Кареев (см. стр. 35).

безоговорочного восхваления со всеми возможными переходами.

Говоря о влиянии позитивизма на формирование теоретических основ русской либеральной медиевистики, необходимо иметь в виду, что в конкретных условиях России 60—70-х годов некоторые позитивистские идеи имели определенное прогрессивное звучание, в то время как бесспорно реакционные выводы, следовавшие из учения Конта в целом и обусловившие резко отрицательное отношение к нему классиков марксизма, в той интерпретации его, какая имела место в русской общественной и научной мысли, отступали на задний план, практически почти не влияя на его общую оценку. Лишь Н. Г. Чернышевский и П. Н. Ткачев сумели подойти к пониманию реакционной сущности политических и философских выводов позитивизма. Однако их взгляды на этот счет не являются характерными для всей русской революционно-демократической мысли 60—70-х годов.

В позитивизме видели прежде всего философскую систему, решительно порывавшую со всякой теологической и метафизической интерпретацией общественного развития, научный метод, утверждавший необходимость для ученого в исследовании мира общественных явлений исходить в своих выводах из реальных «положительных» фактов, дававший необходимые основания для превращения обществоведения в такую же точную науку, как естествознание, данные которого основоположники позитивизма широко использовали в своих построениях, создавая тем самым представление о том, что их философия является последним словом науки, построенном на достижениях всех ее областей. Конечно, такое понимание позитивизма не отражало его действительной природы, но вместе с тем оно является показательным для отношения к этой философской системе в самых различных кругах русского общества 60—70-х годов. За небольшим исключением, именно здесь лежал водораздел в оценке позитивизма в России между прогрессивными и реакционными течениями общественной мысли, именно так в большинстве случаев и воспринимался он тогда в русском обществе. Такая интерпретация позитивизма, обусловливавшаяся в конечном итоге российской пореформенной действительностью с ее незрелостью капиталистических отношений с присущими им антагонизмами, и сделала возможным на определенном этапе его плодотворное влияние на различные сферы русской общественной и научной мысли[13]).

---

[13]) Об отношении различных течений русской общественной мысли 60—70-х годов к позитивизму см. в нашей статье «У истоков социально-экономического направления в русской буржуазно-либеральной медиевисти-

Острая борьба вокруг позитивизма, развернувшаяся в 60—70-е годы прошлого столетия в русской публицистике, не могла не отразиться и на исторической науке. Официальная «профессорская» историография в своем подавляющем большинстве заняла в отношении к нему резко враждебную позицию. Вторжение позитивистских идей в историческую науку означало ломку ее старых представлений о целях и задачах историографии, о путях и средствах их решения, о самих возможностях науки в познании прошлого и предвидении будущего. Именно поэтому ее деятели обрушились на позитивизм вообще и его главного представителя в исторической науке Бокля в особенности, справедливо усматривая в его исторической методологии отрицание традиционных схем, которыми они руководствовались в своем изучении истории. Только доказав несостоятельность позитивистской трактовки исторического процесса, они могли сохранить за своей собственной господствующее значение в науке.

Не случайно поэтому, например, что С. М. Соловьев свои «Наблюдения над исторической жизнью народов» счел необходимым начать с развернутой критики концепции Бокля. В открытой полемике с ней он пытался доказать, что историю народа нельзя сводить к истории его интеллектуального развития, что на первом плане для историка всегда было, есть и будет правительство, так как в нем олицетворяется народ, что внешняя история имеет примат над внутренней, а в дипломатических отношениях выражается общественная жизнь народа[14]). Стараясь любою ценою развенчать позитивизм, Соловьев объявляет его торжество одним из главных признаков старения и умирания народа, приписывая ему всевозможные грехи и прежде всего, конечно, грубый материализм, отрицание значения духовной, т. е. религиозной жизни человека и т. п.[15]).

С аналогичных позиций подошел к книге Бокля и В. И. Герье. Справедливо выступая против простого распространения на историю методов естественных наук и указывая на недооцениваемое Боклем существенное различие между естественными и общественными науками, он, однако, обращает весь свой пафос на утверждение решающей роли в судьбах народов исторических идей, прежде всего идей, принадлежащих к области религии и политики[16]). Особенно его раздражает антитеологическая направленность книги

ке». — Сб. «Методологические и историографические вопросы исторической науки», вып. 3, стр. 210—220.

[14]) «Вестник Европы», 1868, № 12, стр. 681—687.

[15]) Там же, 1871, № 12, стр. 747.

[16]) В. И. Герье. Очерки развития исторической науки. М., 1865, стр. 104—106.

Бокля. «Постоянные уверения Бокля, что прогресс обусловливается тем, в какой мере люди вникают в причины явлений, объясняют их естественными законами и устраняют понятия о сверхъестественном, — заявляет Герье, — могут навести на мысль, что он считает цивилизацию враждебною вообще всякой религии. Надобно иметь очень грубое и неясное понятие о религии, чтобы прийти к подобному заключению»[17]).

Принципиально иным было отношение к позитивизму молодого поколения русских ученых, начинавших свой путь в науке в 70-е годы прошлого столетия. Выросшие в новых исторических условиях, испытавшие в определенной степени благотворное влияние демократических и просветительных идей, молодые ученые, формирование которых совпало с крупнейшими сдвигами в экономике и общественных отношениях пореформенной России, не могли и не хотели довольствоваться обветшалыми схемами, рушившимися под напором самой жизни, жадно следили за каждым новым словом в области методологии общественных наук. Для многих из них таким новым словом, во всяком случае на первых порах, и явился позитивизм. Он импонировал им своим осуждением абстрактных теологических и метафизических догм, культом «положительного» факта, стремлением расширить горизонты исторической науки, избавить ее от традиционной религиозно-политической проблематики, вооружить новыми приемами и методами исторического исследования, поднять ее до уровня точной науки, способной не только к объективному познанию прошлого, но и к научно-достоверному предвидению будущего.

Уже в 1869 г. появился развернутый план реформы исторической науки на позитивистской основе[18]). Автор его, А. И. Стронин, характерным образом подчеркивал «вопиющую потребность современного общества в науке общественной»[19]). Пути удовлетворения этой потребности он вслед за основоположниками позитивизма видел в усвоении общественными науками, в том числе историей, методов наук естественных. Он констатирует некое всеобъемлющее «обществоиспытание» или «обществознание», в котором растворяется историческая наука, стремясь доказать, что методы познания общественных явлений тождественны методам познания явлений естественных. Идеал историка-обществоиспытателя для Стронина — Бокль, в книге которого он видел образец изучения общества методами естествознания.

Вся большая работа Стронина проникнута характерными для лучшей части позитивистов просветительными тенденци-

[17]) Там же, стр. 110.
[18]) С. Стронин. История и метод. СПб., 1869.
[19]) Там же, стр. 19.

ями. Знание является для него решающим фактором прогресса. В утверждении этой мысли он видит великую заслугу Бокля, заявляя, что широкое распространение убеждения в том, что нравственность зависит от знания, приведет к таким последствиям, «каких не в силах было произвесть никакое открытие Коперников»[20]).

Несомненное влияние оказал позитивизм и на плеяду талантливых исследователей западноевропейского феодализма, начинавших свою деятельность в 70-х годах XIX в. Н. И. Кареев, И. В. Лучицкий, М. М. Ковалевский, П. Г. Виноградов — все они складывались как ученые под сильным воздействием позитивистской философии, оказавшей огромное влияние на их идейно-методологические и исторические взгляды.

В наибольшей мере это влияние испытали на заре своего научного пути Кареев и Лучицкий, первые работы которых целиком находились в русле позитивистской тематики. Некоторые из них представляли собою простое изложение основных положений позитивизма, их пропаганду в русском обществе. Такой характер, в частности, носит статья Кареева «Мифическое мировоззрение и положительная философия»[21]). Исходя из контовского закона трех стадий интеллектуального развития, непрестанно цитируя Конта, Спенсера и других выдающихся позитивистов, Кареев рассматривает здесь положительную философию как высшее достижение европейской мысли. В своей статье он противопоставляет позитивизм всем остальным мировоззрениям как единственно научную философскую систему[22]). Главную ее заслугу Кареев видит в преодолении в высшем синтезе «односторонностей» материализма и идеализма[23]). Как характернейший признак позитивизма Кареев сочувственно называет его ограничение области познаваемого одним миром феноменов, отрицанием возможности трансцендентного знания[24]).

Полностью в позитивистском духе написана и его первая конкретно-историческая работа — небольшая статья, посвященная итальянскому Возрождению[25]). Подчеркивая, что Возрождение стоит на рубеже средних веков и нового времени, представляя собою «отрицание средних веков и созна-

---

[20]) Там же, стр. 15—16.

[21]) См.: «Знание», 1876, № 11.

[22]) Не случайно для него понятия «положительная философия» и «научная философия» являются тождественными (см.: «Знание», 1876, № 11, стр. 7—8 и др.).

[23]) Там же, стр. 7.

[24]) Там же, стр. 32.

[25]) Н. И. Кареев. Очерки Возрождения. — «Филологические записки», 1875, вып. VI, Воронеж.

тельное стремление к новой жизни»[26]), Кареев сводит все содержание этой эпохи к грандиозному перевороту в интеллектуальной жизни Европы, секуляризации науки и искусства. Это освобождение науки и искусства из-под гнетущего влияния церкви он рассматривает как «секуляризацию всей жизни: жизнь сбросила с себя оковы средневековой церкви с ее мистическими идеалами и возвратилась к самой себе»[27]).

Восторженным почитателем контовского позитивизма в русской исторической литературе выступил молодой Лучицкий. Он объявляет учение Конта последним словом в науке, признает за ним значение критерия для определения ценности всякой исторической теории[28]). Вслед за основоположником позитивной философии он утверждает, что «порядок человеческого прогресса зависит от порядка прогресса в умственных убеждениях человечества...»[29]).

Позитивистская методология оказала решающее воздействие и на направление научных интересов молодого Лучицкого. Его внимание привлекают сюжеты, связанные с развитием европейской мысли, ее освобождением от церковного гнета. Он посвящает свое первое исследование полузабытому шотландскому философу XVII в. Фергюсону, придавая ему, как и шотландской школе в философии вообще, важное значение в умственном развитии Европы и рассматривая его как одного из предшественников Конта[30]). Несколько лет спустя на страницах позитивистского «Знания» публикуется его большой «Очерк развития скептической мысли во Франции в XVI и XVII веках»[31]). Указывая на три группы явлений, характерных для эпохи перехода от средних веков к новому времени, — органическое движение мысли (развитие науки), отрицательное движение, направлявшее свои усилия на разрушение феодально-католического строя, и реформацию, Лучицкий пишет: «...История западноевропейской умственной жизни сосредоточивается преимущественно на истории двух первых движений: органического и отрицательного, как во-

---

[26]) Там же, стр. 37.

[27]) Там же, стр. 13. Уже в этой работе Кареева мы встречаем характерное для позитивизма противопоставление Возрождения и Реформации. Называя Реформацию и Возрождение двумя движениями, отделяющими новое время от средних веков, он рассматривает их как взаимоисключающие явления (там же, стр. 15—20).

[28]) «Университетские известия», Киев, 1868, № 11, стр. 7—10. В другом месте Лучицкий, говоря об историческом методе позитивной школы, подчеркивает, что «только следуя этому методу, мы доходим до правильных и чисто научных мнений» (там же, стр. 37).

[29]) Там же, стр. 37.

[30]) И. В. Лучицкий. Адам Фергюсон и его историческая теория. — «Университетские известия», Киев, 1868, № 9, 11, 12; 1869, № 1.

[31]) См.: «Знание», 1873, № 1, 3, 8, 11.

площающих в себе дух нового времени, и даже, строго говоря, на истории последнего как преобладающего в ней, особенно в первое время»[32]).

Вся работа Лучицкого посвящена зарождению европейского свободомыслия, которое рассматривается на материале истории Франции в позднее средневековье и которому придается решающее значение в окончательной ликвидации феодально-католического строя. Шаг за шагом прослеживает он развитие скептической мысли во Франции, указывая между прочим, что «она явилась, как результат деятельности среднего сословия, выражением его индиферентизма»[33]). Значительное место в своем исследовании Лучицкий уделяет народному сатирическому творчеству, подчеркивая его антицерковную направленность и рассматривая его как исходный момент «отрицательного движения» вообще[34]).

Еще более решительно, чем Кареев, Лучицкий исключает из освободительного движения европейской мысли реформацию. Указывая на враждебные отношения между реформацией и скептицизмом, Лучицкий подчеркивает, что «они возникли из самой сущности обоих движений, взаимно противоположных и по своим целям и по своему характеру[35]). Взгляды Лучицкого на реформацию рельефнее всего выразились в его оценке кальвинизма. Посвящая много страниц этому важнейшему течению реформационной мысли, он видит в нем лишь рядовое проявление средневекового миросозерцания, препятствовавшее, подобно католической церкви, развитию европейской культуры и науки. По его словам, «кальвинизм стремился сохранить во всей неприкосновенности основные начала средневекового строя»[36]). Такая оценка реформации представляется весьма характерной для позитивиста, имеющего в истории дело главным образом с интеллектуальным развитием, рассматривавшемся к тому же, как правило, в отрыве от его социально-экономических основ. Усматривая главное содержание переходного от средних веков к новому времени периода в борьбе теологического и положительного

---

[32]) Там же, № 1, стр. 63.

[33]) Там же, № 1, стр. 80. Здесь же он говорит о среднем сословии: «Это и была именно та почва, на которой выросла и развилась скептическая мысль». В другом месте он объясняет бурное развитие скептической мысли в Италии XIV—XV веков главным образом торжеством «индустриального элемента» над феодальной системой и обострением социальной борьбы в итальянских городах (там же, № 1, стр. 90—93).

[34]) Там же, № 1, стр. 81 и след.

[35]) Там же, № 3, стр. 104.

[36]) Там же. В другой своей работе, говоря о кальвинизме, Лучицкий подчеркивает «его крайне реакционный характер» («Университетские известия», Киев, 1875, № 12, стр. 335).

миросозерцания, он, естественно, и реформационное движение сводит исключительно к борьбе против свободомыслия. Игнорируя социальную природу реформации, позитивист рассматривает ее как явление сугубо теологическое по своей сущности, которое не только по форме, но и по содержанию остается на почве чисто средневековых отношений, являясь их выражением и усерднейшим защитником. Именно поэтому Лучицкий и говорит о католицизме и реформации как о «двух важнейших проявлениях» «старого строя»[37]).

Распространение позитивистской методологии сыграло определенную положительную роль в развитии русской буржуазно-либеральной медиевистики. Под ее влиянием происходит значительное расширение проблематики исторических исследований, что способствовало известному преодолению прежней односторонности в подходе к истории средних веков и углублению понимания ее содержания. Позитивистская методология открывала перед историком новые возможности в изучении конкретно-исторического материала, позволяя ему в отдельных случаях преодолеть в какой-то степени ограниченность своих собственных исходных методологических установок.

Именно так, в частности, обстояло дело с подходом Лучицкого к проблеме религиозных войн во Франции XVI в. Заинтересовавшись первоначально их историей как одним из решающих фазисов в вековой борьбе религиозного фанатизма и свободомыслия[38]), Лучицкий уже на первом этапе их изучения сумел увидеть в этих войнах широкое социально-политическое движение, в котором за религиозными лозунгами и программами скрывались насущные материальные интересы различных слоев французского общества второй половины XVI столетия[39]).

---

[37]) «Знание», 1873, № 3, стр. 125.

[38]) См., например, его раннюю работу «Мишель Лопиталь и его деятельность по отношению к французским религиозным партиям XVI в.» (в книге И. В. Лучицкого «Две пробные лекции». Киев, 1870), где автор ставит своею целью «показать, как возникло и развилось одно из тех движений, которые обнаруживались в XVI в. в пользу освобождения человеческого ума из тех уз, которые связывали его в средние века» (стр. 1). Не случайно его внимание привлек именно Лопиталь, к деятельности которого, кстати сказать, он относился с нескрываемым сочувствием, — один из немногих французских государственных деятелей того времени, выступивших в поддержку принципа религиозной терпимости, «обеспечившего, — по словам Лучицкого, — за Францией возможность правильного прогресса» (там же).

[39]) См.: К. Б. Шустерман. Проблемы религиозных войн во Франции в XVI в. в освещении И. В. Лучицкого. — «Ученые записки Хабаровского государственного педагогического института», т. 3, Магадан, 1958; Б. Г. Вебер. Происхождение религиозных войн во Франции в освещении И. В. Лучицкого. — «Французский ежегодник, 1958». М., 1959. Центр

Позитивизм решительно содействовал в русской историографии секуляризации ее общих представлений о западноевропейском средневековье. Русская медиевистика в значительной степени освободилась от традиционных догм, препятствовавших научному изучению истории средних веков. Радикально изменился взгляд на роль религии в средневековом обществе. Исчезла прежняя ее идеализация, от которой, как известно, не был свободен даже такой выдающийся историк, каким был Грановский[40]). На первый план выступило критическое отношение к католической церкви и ее центру — папству как главному тормозу европейского общественного и культурного развития. Побеждает новое представление об истории средних веков, как об эпохе, главным содержанием которой является борьба человеческой мысли за освобождение от религиозных оков, в чем и усматривался прогресс в истории. Конечно, и в староидеалистической историографии можно было встретить резкую критику религиозного фанатизма и изуверства, сочетавшуюся с прославлением боровшегося против них человеческого разума. Но все это рассматривалось в плане критики извращений истинных принципов христианства. Принципиально новое, внесенное позитивизмом в историческую науку, заключалось в изменении самой исходной точки зрения—не христианская церковь, а свободная от всякой религиозной исключительности человеческая мысль была объявлена главным деятелем средневекового развития и соответственно этому главным предметом исторического исследования. Произошло, таким образом, переосмысление самой сущности истории западноевропейского средневековья, а это, в свою очередь, не могло не отразиться на интерпретации применительно к средним векам целого ряда теоретических проблем исторической науки.

По-новому, в частности, зазвучала проблема закономерности исторического процесса. Понятие о законах, которым подчиняется развитие человеческого общества, не было чуждо и для староидеалистической историографии. Однако эти законы рассматривались как некие вневременные и внепространственные категории сверхъестественного происхождения, в прокрустово ложе которых втискивалась живая жизнь. Закономерность исторического процесса вследствие этого понималась как реализация заранее данного божественного плана, в котором людям мог быть отведен более или менее широкий

тяжести в работах Лучицкого перемещается на исследование политической и социальной борьбы в период религиозных войн. Уже не в антагонизме религиозного фанатизма и свободомыслия, а в этой борьбе ищет он разгадку событий, совершавшихся в то время.

[40]) См.: С. А. Асиновская. Из истории передовых идей в русской медиевистике (Т. Н. Грановский). М., 1955, стр. 133—134; 142—143.

простор для их деятельности, но и главное направление этой деятельности и ее конечный результат были таинственным образом предопределены свыше.

Принципиально иным было позитивистское понимание закономерности общественного развития. Отвергая теологические и метафизические конструкции исторического процесса, позитивисты пытались дать ему рациональное толкование, стремясь установить его закономерности без привлечения сверхъестественных сил, на основании изучения и осмысления «положительных» факторов. Не вдаваясь сейчас в рассмотрение вопроса, насколько успешными были эти попытки, отметим лишь, что стремление обнаружить закономерности исторического процесса в нем самом благотворно сказалось на развитии науки, стимулируя свободное от всяких предвзятых догм изучение конкретного материала. В первую очередь это относится к истории средних веков, где влияние таких догм на ученого сказывалось с особой силой. Позитивизм открывал возможность выяснения закономерностей средневековой истории через изучение ее самой. И хотя эти закономерности зачастую познавались в процессе преодоления позитивистской методологии, за нею остается ее место в поступательном развитии науки. В значительной степени благодаря позитивизму буржуазная медиевистика последней трети XIX в. встала на путь изучения закономерностей средневекового развития, порвав с традиционными представлениями о религиозной природе этого периода истории человечества.

И все же влияние позитивизма на развитие русской либеральной медиевистики не следует преувеличивать. Позитивистские принципы сыграли немаловажную роль в разрушении традиционного образа западноевропейского средневековья, господствовавшего в русской официальной науке до начала 70-х годов прошлого столетия, и в этом состоит их бесспорное значение. Однако они не могли в своем чистом виде стать плодотворной основой для подлинно научного познания прошлого. Слишком односторонним, насквозь идеалистическим было позитивистское представление о движущих силах исторического процесса.

Причем как раз особенно примитивным было позитивистское понимание сущности средних веков. Рассматривая средневековье как эпоху засилия теологического мышления и возникновения освободительного движения человеческой мысли, основоположники позитивизма сводили, как известно, сущность социальной организации средних веков к господству военного начала. В русской медиевистике наиболее отчетливо эту точку зрения выразил Лучицкий. Для него, как и для Конта, сущность средневекового строя составляет война,

военная деятельность[41]). Естественно, что подобное определение обнаруживало свою крайнюю однобокость при первой же попытке сколько-нибудь серьезного осмысления характера средневекового развития. И уже Кареев, при всем своем сочувствии к позитивизму, вынужден был отметить совершенную неудовлетворительность контовского понимания феодализма. Характерным образом он выступил против претензий Конта понять феодальный строй, игнорируя социальные отношения, сложившиеся в Западной Европе после варварских завоеваний[42]).

Следует вообще подчеркнуть, что очевидные слабости позитивизма уже в 70-е годы не оставались секретом для большинства его русских приверженцев. Тот же Кареев, положительно оценивая позитивизм в целом, в то же время в одной из своих ранних статей счел нужным дать «беглое обозрение ошибок Конта». В этом «обозрении» он в первую очередь указывает на то, что «Конт за развитие человечества выдает один прогресс его миросозерцаний»[43]), т. е. в сущности выступает против центрального положения контовской философии истории. Бросается в глаза, что специфическая позитивистская тематика в русской медиевистике не получила сколько-набудь значительного распространения. Ничего, подобного «Истории цивилизации в Англии» Бокля или «Истории умственного развития Европы» Дрэпера, русские позитивисты не создали.

Период сильного увлечения позитивизмом в русской медиевистике оказался очень недолговременным. Уже на протяжении 70-х годов происходят любопытные сдвиги в ее отношении к позитивистской проблематике исторического исследования и к самому позитивизму. В конце 60-х годов Лучицкий, тогда еще студент Киевского университета, в своем преклонении перед Контом считал, по словам современника, главной задачей исторической науки создание фактического комментария к V и VI томам контовского «Курса положительной философии»[44]). Опубликованные в начале 70-х годов его статьи лежали в русле контовской социологии. Но уже Ковалевский и Виноградов, начинавшие свою научную деятельность несколько позже, во второй половине 70-х годов, выходят за эти рамки. Их внимание привлекают аграрные

---

[41]) «Знание», 1873, № 3, стр. 127.
[42]) Там же, 1876, № 2, стр. 52.
[43]) Там же, стр. 53.
[44]) См.: Н. И. Кареев. Памяти двух историков. — «Анналы», 1922, № 1, стр. 166—167.

отношения западноевропейского средневековья[45]). Да и отношение самого Лучицкого к позитивизму в течение 70-х годов претерпевает показательную эволюцию, восторженное почитание Конта сменяется его полным забвением.

Конечно, этим вопрос об отношении русской медиевистики к позитивизму далеко не исчерпывается. Влияние позитивистских идей, бесспорно, отразилось и на всем дальнейшем ее развитии. Оно сказалось, в частности, в прочно утвердившемся в русской буржуазно-либеральной медиевистике притязании подняться выше «обеих крайностей» — материализма и идеализма, с которым выступал едва ли ни каждый видный историк, желая сформулировать свое методологическое кредо. Такие ученые, особенно много занимавшиеся теоретико-методологическими проблемами исторической науки, как Ковалевский и Кареев, не раз в своих историко-философских построениях обращались к наследию Конта и Спенсера, беря на вооружение одни из их положений и полемизируя с другими, но всегда сохраняя при этом должный пиетет в отношении основоположников буржуазной социологии.

Наиболее обстоятельно в русской медиевистике 70—90-х годов свое отношение к позитивизму и его родоначальникам выразил Кареев. Для него значение Конта и Спенсера определяется их положением создателей буржуазной социологии, впервые прочно обосновавших мысль о возможности и необходимости теории исторического процесса и положивших начало ее систематической разработке. С позитивизмом у него ассоциируется стремление связать обществоведение с естествознанием, превратить историю в науку точную, снабдить ее более совершенными методами познания прошлого. В своих многочисленных историко-философских сочинениях Кареев берет на вооружение целый ряд важных позитивистских принципов, используя их для построения собственной социологической теории. Исходным пунктом этой последней объявляется контовская классификация наук с оговорками и дополнениями, внесенными туда Миллем и Спенсером[46]). Основываясь на ней, Кареев пытается построить теорию исторического процесса на данных двух наук — психологии и социологии. Причем сама социология рассматривается в узкопсихологическом плане, как наука, опирающаяся прежде всего на материалы психологических исследований. В коллективной

---

[45]) См.: М. М. Ковалевский. Очерк истории распадения общинного землевладения в кантоне Ваадт. Лондон, 1876; Общинное землевладение, причины, ход и последствия его разложения. Ч. 1, М., 1879; П. Г. Виноградов. Происхождение феодальных отношений в Лангобардской Италии. СПб., 1880.

[46]) Н. И. Кареев. Основные вопросы философии истории. Т. II, М., 1883, стр. 52—56.

психологии, утверждает Кареев, «можно найти истинную основу для социологии, ибо общественная организация возникает только на почве психического взаимодействия особей»[47]). Другими словами, изучающая психологическое взаимодействие людей коллективная психология, по существу, провозглашалась доминирующей среди других общественных наук, которым по отношению к ней отводится явно подчиненное место.

В ряд этих последних Кареев помещает и историю. Он настойчиво подчеркивает, что не исторические законы, существование которых он вообще отрицал, а психологические определяют развитие общества. «Историей, — утверждает он, — мы называем изменяющуюся во времени совокупность явлений духовной и общественной жизни человека, а эти явления управляются законами, которые должны исследовать психология и социология. Поэтому для научного объяснения истории достаточно законов психологических и социологических и нет надобности прибегать к открытию специально исторических законов»[48]).

Можно назвать и другие пункты, в которых обнаруживается влияние позитивизма на Кареева. Рассматривая вопрос о сущности исторического прогресса, он указывает, как на свой исходный пункт, на учение Конта о социальной статике и социальной динамике[49]). Вслед за Контом и Спенсером он повторяет, что «нашему знанию доступны только явления, никак не самая сущность вещей»[50]).

На примере Кареева особенно ясно выступает противоречивый характер позитивистского влияния на русскую либеральную историографию. Если, с одной стороны, позитивизм открывал перед ней новые возможности в познании прошлого, то с другой — нельзя упускать из виду присущий его основоположникам воинствующий антиматериализм, который в той или иной степени усваивался русскими сторонниками «положительной философии», укрепляя идеалистические основы их методологии и доставляя средства для борьбы против материалистического понимания истории. Именно так обстояло дело с Кареевым.

Один из первых в русской буржуазной историографии критиков марксизма, Кареев в своей борьбе с ним нередко использовал позитивизм как теоретическое оружие. Прежде всего на вооружение брался позитивистский агностицизм.

---

[47]) Там же, стр. 56.

[48]) Н. И. Кареев. Основные вопросы философии истории. Т. I, М., 1883, стр. 113.

[49]) Там же, т. II, стр. 276.

[50]) Н. И. Кареев. Задачи социологии и теории истории. — Собр. соч., т. 1, СПб., 1911, стр. 25. (Впервые эта статья была опубликована в 1890 г.).

«...Критическая философия, — говорит он о позитивизме, — ...разрушает материализм, уча, что сущность вещей непознаваема»[51]).

Ту же направленность обнаруживает и позитивистский принцип солидарности индивидуумов как основы общественной организации. Кареев выступает ревностным сторонником этого принципа. «Общество, — утверждает он, — есть всегда известная организация, в основе которой необходимо лежит принцип солидарности между отдельными индивидуумами, т. е. нечто такое, что устраняет или, по крайней мере, ограничивает борьбу между ними»[52]).

Позитивистские идеи оказали определенное влияние и на исторические взгляды Кареева. Оно проявилось, в частности, в несомненной переоценке значения интеллектуального развития в историческом процессе. Вслед за Контом Кареев в отдельных случаях был склонен видеть в этом развитии решающую причину важнейших перемен в общественной жизни. Именно с таких позиций рассматривает он значение эпохи Возрождения в судьбах европейской цивилизации. «Новая Европа, — заявляет он, —обязана успехами своей цивилизации, своей богатой духовной культурой, своей высокой техникой, усовершенствованиями своего гражданского быта и т. п. своей науке, получившей в последние столетия небывалое прежде развитие». И далее он утверждает, что «все результаты были плодом умственного движения, зародившегося в эпоху Возрождения, само же движение это имело непреходящий источник в духовных потребностях развитой личности, в стремлениях пытливого ума, в ищущей удовлетворения личной способности или склонности к исследованию, к творчеству и к умозрению, к благородной жажде знания»[53]).

---

[51]) Н. И. Кареев. Беседы о выработке миросозерцания. Изд. 3-е, СПб., 1895, стр. 32.

[52]) Н. И. Кареев. Введение в изучение социологии. СПб., 1897, стр. 71—72. Конечно, Кареев не мог отрицать наличия классовой борьбы в современном ему обществе, однако он относит ее лишь «на счет дурного устройства общества (там же, стр. 74). Классовая борьба, действительно, является порождением «дурного устройства общества». С этим трудно не согласиться. Но если учесть, что «дурное устройство», а вместе с ним и борьба классов, как убедительно показывает сам Кареев в своих конкретно-исторических сочинениях, является обычным состоянием человечества на всем протяжении его истории со времени разложения родового строя, то возникает законный вопрос, о какой общественной солидарности идет здесь речь. Тем более, что Кареев вместе с Лавровым подчеркивает, что «основным фактом общественной жизни является солидарность» (там же, стр. 77).

[53]) Н. И. Кареев. Философия культурной и социальной истории нового времени (1300—1800). СПб., 1893, стр. 64. На стр. 78 подчеркивается, что «главная заслуга гуманизма — в умственной эмансипации новой Европы».

Тем не менее как раз в области исторических взглядов отношение Кареева к позитивистской методологии было наиболее критическим. В своей книге «Основные вопросы философии истории», подвергая критике метафизические теории исторического процесса, он включает в их число и контовскую философию истории. После довольно обстоятельной критики контовского построения всемирной истории Кареев объявляет его, как и всю философию истории Конта, несостоятельным[54]). Важное значение имела полемика Кареева с одним из наиболее распространенных позитивистских принципов, уподобляющих общество организму. Кареев подвергает резкой критике органическую теорию Спенсера за декларируемое ею отождествление так называемого общественного организма с организмом индивидуальным. Он подчеркивает недопустимость отождествления процессов, протекающих в обществе и в индивидуальном организме, указывая на качественное своеобразие исторической жизни общества, выступая против характерных для Спенсера биологических аналогий[55]).

Показательны и другие аспекты, в которых критиковалось Кареевым позитивистское понимание истории. Он фактически отвергает излюбленную позитивистами формулу, усматривающую смысл исторического развития в переходе общества от военного типа к типу промышленному. Кареев указывает на недостатки и упущения этой формулы, подчеркивая, в частности, зависимость той или иной формы общественного устройства от экономических и политических условий места и времени[56]).

Отход Кареева от позитивистских принципов нашел свое выражение и в оценке реформации. Отводя в своем известном курсе «История Западной Европы в новое время» значительное место реформационному движению XVI в., он открыто полемизирует с контовским (и со своим собственным первоначальным) пониманием реформации. Кареев прямо выступает против точки зрения французского позитивизма, видевшего в реформационном движении скорее реакцию, чем прогрессивное явление (в его значении для умственного развития Европы)[57]). Сам Кареев смотрит на реформацию гораздо

[54]) Н. И. Кареев. Основные вопросы философии истории. Т. I, стр. 197.

[55]) Критика органической теории осуществляется в ряде работ Кареева. В качестве примера укажем на «Основные вопросы философии истории», где он отводит особую главу доказательству принципиального различия между обществом и организмом (см. т. II, гл. 2. Биологические законы в социологии).

[56]) Н. И. Кареев. Главные обобщения всемирной истории. СПб., 1903, стр. 74.

[57]) Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время. Т. II, СПб., 1893, стр. 17.

шире. Для него она является крупнейшим социально-политическим переворотом в жизни Западной Европы, открывшим новую главу в ее истории. Чем более Кареев углублялся в исследование конкретно-исторических процессов и явлений, тем более он отходил от позитивистских канонов. Показательным в этом отношении является его наиболее значительное произведение «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII в.».

Отношение Кареева к позитивизму является в значительной мере показательным для всей русской либеральной медиевистики 80—90-х годов прошлого столетия. Конечно, были и нюансы. Виноградов, например, не только принимал органическую теорию Спенсера, но и использовал ее в весьма определенных политических целях[58]). Некоторые историки, подобно Лучицкому, с конца 70-х годов вообще избегали всякого упоминания о позитивизме и его философии истории. Но представляется несомненным одно — в своих конкретно-исторических исследованиях, в трактовке важнейших проблем развития средневекового общества русские ученые в этот период выходили за рамки принципиальных установок позитивистской социологии.

Сказанное, конечно, не означает, что русская либеральная медиевистика 80-х — начала 900-х годов освободилась от влияния позитивизма или что это последнее оказывало лишь отрицательное воздействие на ее идейно-теоретические основы. По-прежнему с принципами позитивистской социологии в русской либеральной медиевистике были тесно связаны такие, несомненно, сильные стороны ее методологии, как признание закономерного прогрессивного характера общественного процесса, отказ от трансцендентального объяснения исторического развития и его движущих сил, стремление к максимально возможному приближению истории по результативности и адекватности познания к естественным наукам и т. п. Неудивительно поэтому, что, например, Ковалевский называл себя «горячим приверженцем начал позитивной философии»[59]), неоднократно отождествляя свои взгляды на характер общественного развития с позитивистскими[60]).

Для наших историков позитивизм отождествлялся с требованием всегда в своих выводах оставаться на почве реаль-

[58]) См. его работу «О прогрессе» (М., 1898), где Виноградов вслед за Спенсером использует органическую теорию для апологетики буржуазного общества.

[59]) М. М. Ковалевский. Кризис в западных конституциях. — «Вестник Европы», 1886, № 5, стр. 188.

[60]) См.: М. М. Ковалевский. Общинное землевладение, причины и ход последствия его разложения, стр. 88; Историко-сравнительный метод в юриспруденции и приёмы изучения истории права. М., 1880, стр. 70; Современные социологи. СПб., 1905, стр.288.

ных фактов, с отвращением к априорным метафизическим схемам общественного процесса. В этом последнем отношении они, можно даже сказать, были бóльшими позитивистами, нежели сами основоположники положительной философии с их склонностью к конструированию вечных и неизменных законов. В сущности, как мы видели, именно с этих позиций и велась в русской либеральной медиевистике критика отдельных положений позитивистской теории исторического процесса.

Предоставляя определенные возможности для поступательного развития исторической науки, позитивистская социология вместе с тем не могла дать в распоряжение историка достаточно удовлетворительных средств для их реализации в историографической практике. Налицо имелось противоречие между широковещательным призывом к объективному изучению всей совокупности исторических фактов и установлению на этом фундаменте закономерностей общественного развития, с одной стороны, и ведущими принципами позитивистской философии Конта—Спенсера, вследствие своей откровенно идеалистической и метафизической природы препятствовавших этому, — с другой.

Это противоречие везде решалось по-разному в соответствии с конкретными задачами, стоявшими перед буржуазной наукой в той или иной стране, и условиями, в которых она развивалась. Что касается России, то здесь на его решении сказались острота и запутанность социальных противоречий в пореформенный период. Настоятельная необходимость их преодоления в интересах либеральной буржуазии не только вынуждала ее идеологов обращаться к исследованию материальных условий жизни общества, но и приводила их к мысли о значении этих последних в системе общественных отношений.

Если русские либеральные медиевисты сумели сделать определенный шаг вперед в осмыслении действительной природы общественного развития в сравнении с канонами позитивистской социологии, то решающую причину этого следует искать в самих объективных условиях развития современного им русского общества, в характере происходившей в нем борьбы, в которой они, будучи идеологами своего класса, принимали деятельное участие. Новая жизнь, реальная русская пореформенная действительность, ставили перед ними вопросы, в решении которых оказывались бессильными все «великие законы» Конта и Спенсера, все их претендовавшие на универсальность социологические построения.

Не порывая с позитивистской социологией, русские либеральные медиевисты в то же время самой действительностью принуждены были обращаться к иным методологическим

принципам, более пригодным для объяснения исторического процесса во всей его сложности и многоплановости. Характерным образом взоры некоторых из них обращаются к материалистическому пониманию истории. На системе теоретических представлений, господствовавших в русской либеральной медиевистике, марксизм отразился в гораздо меньшей степени, чем позитивизм. Однако вопрос о значении марксистского влияния не может быть сведен лишь к выяснению его удельного веса и тем более не может определяться простыми количественными показателями. Несравненно важнее подчеркнуть здесь качественную сторону вопроса, которая состоит в самом факте обращения буржуазных ученых в своих методологических исканиях к материалистической теории исторического процесса, в том, что они пришли к признанию необходимости дополнить, а частично и пересмотреть некоторые существенные принципы позитивистской социологии под углом зрения материалистического метода истолкования общественного развития. Каким бы поверхностным ни являлось усвоение отдельными русскими либеральными медиевистами некоторых положений материалистического понимания истории, оно и в таком виде содействовало обогащению их теоретических представлений, свидетельствуя одновременно об определенном шаге вперед в развитии методологических идей русской либеральной медиевистики по сравнению с принципами, провозглашавшимися основоположниками позитивизма.

2. Отношение к марксизму в русской либеральной медиевистике в 70-е — начале 90-х годов

Представляет значительный интерес проследить различие в подходе к материалистическому пониманию истории в русской и западноевропейской буржуазной науке последней четверти прошлого столетия, ибо как раз в этой плоскости наиболее рельефно проявилось своеобразие идейно-методологических позиций русской либеральной медиевистики.

Со второй половины прошлого столетия марксизм становится одним из существенных факторов, оказывающих постоянное и все возрастающее воздействие на развитие буржуазной исторической мысли. Пути этого воздействия были многообразны. Наряду с прямым влиянием, которое шло через усвоение буржуазной историографией тех или иных марксистских положений, могущественное воздействие на буржуазную науку оказывал сам факт существования материалистической концепции исторического процесса. Можно было принимать ее отдельные положения или отвергать целиком,

относиться к ней сочувственно или быть ее яростным противником, но не считаться с ней было невозможно.

Конечно, и вне прямого или косвенного влияния марксизма возможно было появление в буржуазной историографии трудов, авторы которых объективно с материалистических позиций подходили к некоторым явлениям общественной жизни, в частности, пытались выводить социальные отношения из перемен в экономическом строе общества, выдвигали в центр своего исследования историю классов и их борьбы и т. п.[61]).

Однако работы, в которых делались попытки социально-экономической интерпретации истории, вплоть до последней четверти прошлого столетия оставались изолированным явлением в буржуазной науке, продолжавшей быть по преимуществу политической, и не оказали существенного влияния на развитие ее методологических принципов. Только после открытия и обоснования Марксом и Энгельсом материалистического понимания истории и в буржуазной науке возникает сильное и влиятельное направление, плодотворно разрабатывавшее социально-экономическую проблематику. Мы далеки от мысли видеть в марксизме единственную или даже главную причину возникновения социально-экономического направления в буржуазной историографии. Обращение буржуазных ученых к систематическому исследованию хозяйственной организации и социальных отношений, их попытки в отдельных случаях установить зависимость между социально-политическим развитием общества и изменениями в его экономическом строе не могут быть поняты вне тех радикальных сдвигов во всех сферах жизни, которые переживала Европа XIX столетия. Грандиозные социальные последствия промышленной революции, прояснение и упрощение социальной структуры общества и вместе с тем невиданное ранее обострение классовых антагонизмов, первые самостоятельные выступления пролетариата, поставившие на повестку дня

---

[61]) Не говоря уже о французских историках эпохи Реставрации, открывших классовую борьбу в истории, укажем на работы немецкого буржуазного ученого Лоренца Штейна, в особенности на его трехтомную «Историю социального движения во Франции с 1789 года до наших дней» (1850). Проповедуя идею надклассовой «социальной монархии» как надежной гарантии против революционных потрясений, Штейн тем не менее делает в этой книге немало интересных наблюдений относительно зависимости социальной структуры общества от господствующих в нем экономических отношений. Марксистскую оценку взглядов Л. Штейна см. W. Selnow. Gesellschaft—Staat—Recht. Zur Kritik der bürgerlichen Ideologien über die Entstehung von Gesellschaft, Staat und Recht (von der bürgerlichen Aufklärung bis zum deutschen Positivismus des 19. Jahrhunderts). Berlin, 1963, S. 418—422; K. Braunreuther. Lorenz von Stein und sein Platz in der Geschichte des bürgerlich—soziologischen Denkens in Deutschland, in: «Fragen der marxistischen Soziologie». Teil II. Berlin, 1964.

политической жизни грозный для господствующего класса «рабочий вопрос», — все это, с одной стороны, делало неизбежным для идеологов буржуазии обращение к изучению таких сторон жизни, которые раньше высокомерно третировались политической историографией, а с другой — облегчало для них понимание действительных связей, существующих в обществе.

Но та же самая европейская действительность XIX в., вызвавшая к жизни социально-экономическое направление в буржуазной историографии, определила в последнем счете и характер взаимоотношений этой последней с марксизмом. Марксизм как идеология революционного пролетариата и вместе с тем стройное учение, дающее материалистическое истолкование исторического процесса, сыграл роль фермента, могущественно ускорявшего процесс овладения буржуазными учеными социально-экономической проблематикой. Потребности защиты и обоснования господства буржуазии вынуждали ее идеологов серьезно заняться исследованием социально-экономических отношений не только в настоящем, но и в прошлом с тем, чтобы можно было бороться с идеологией рабочего класса на ее же почве. Полемизируя с буржуазными учеными, отрицающими связь поворота к социально-экономической проблематике в немецкой историографии с распространением марксизма, А. И. Данилов с полным основанием писал: «С равным успехом они могли бы, например, доказывать, что и социальная политика Бисмарка конца 70—80-х годов не была связана с ростом рабочего движения в Германии. Именно необходимость дать буржуазной идеологии оружие для борьбы с марксизмом толкала буржуазных историков к изучению социальных отношений»[62]). В такой же мере это положение относится и к буржуазной исторической науке в целом.

С другой стороны, решительно отвергая материалистическое понимание истории в целом, буржуазные ученые сплошь и рядом заимствовали из него сам метод подхода к изучению явлений общественной жизни. Положение о функциональной зависимости сферы социально-политических отношений от изменений в экономическом базисе общества, получившее наиболее полное и глубокое обоснование в марксистской литературе, приобретает постепенно права гражданства, конечно, с теми или иными оговорками, и в буржуазной науке. В органическую связь с распространением марксизма должно быть поставлено и стремление известной части буржуазных ученых осмыслить весь исторический процесс под углом зрения эволюции экономических и социальных институтов — пусть даже

---

[62]) А. И. Данилов. Проблемы аграрной истории..., стр. 38.

в подавляющем большинстве случаев это делалось в целях прямой или косвенной борьбы с материалистическим пониманием истории[63]).

Вопрос о конкретных формах взаимоотношения марксизма и буржуазной исторической мысли может решаться только дифференцированно, поскольку само оно существенно различалось в зависимости от политических взглядов той или иной группы ученых, уровня развития исторического мышления в данной стране, соотношения в ее социально-политической жизни борющихся классов, их расстановки на политической арене и т. п. В частности, представляется несомненным известное различие, имевшее место в отношении к марксизму в последней четверти XIX — начале XX вв. в буржуазной исторической науке капиталистически развитых стран Запада и России, коренящееся в последнем счете в различии уровня социально-экономического развития этих стран. В условиях, когда главным противоречием общественной жизни на Западе являлось противоречие между трудом и капиталом, отношение буржуазных идеологов к марксизму носило ярко выраженный негативный характер, в полной мере проявившийся и в области исторической науки. Является показательным тот факт, что признанный мастер не только немецкой, но и всей европейской историографии XIX в. Леопольд Ранке ни в одном из своих многочисленных произведений ни единым словом не упоминает о Марксе и его учении[64]). Правда, Ранке—представитель политической историографии, и круг его интересов лежит в иной плоскости, чем у Маркса, но тем более поразительно, что историки, разрабатывавшие социально-экономическую проблематику и в той или иной степени испытавшие влияние марксизма, как правило, избегали упоминать имя его основоположника даже там, где, казалось, без этого просто невозможно было обойтись.

Укажем в этой связи на Карла Лампрехта. Посвящая ряд работ обоснованию своих взглядов о необходимости изучения роли масс в истории, Лампрехт, в частности, стремится представить их как закономерный результат всего предшествую-

---

[63]) Положение о плодотворном влиянии марксизма на историческую науку получает признание и в современной буржуазной историографии. В частности, именно с Марксом связывается распространение представления о значении в историческом процессе т. н. экономических факторов и их влиянии на социальную организацию общества. См. G. P. Gooch. History and Historians in the Nineteenth Century, pp. XXXVIII—XXXIX; H. E. Barnes. A History of Historical Writing, pp. 303, 359. Ср. T. Schieder. Karl Marx und seine Stellung in der europäischen Geschichte.—«Geschichte in Wissenschaft und Unterricht,» 1964, H. 1.

[64]) См.: R. Vierhaus. Rankes Verständnis der «neuesten» Geschichte untersucht auf Grund neuer Quellen.—«Archiv für Kulturgeschichte», 1957, Bd. XXX, H. 1, S. 41.

щего развития общественной мысли. Однако в его схеме этого развития характерным образом не находится места для марксизма[65]). В тех же весьма немногочисленных случаях, когда немецкий историк все-таки упоминает о нем, он решительно отмежевывает свои взгляды от материалистической теории исторического процесса, подчеркивая ее ограниченность и односторонность и, по существу, отрицая за нею всякое позитивное значение для исторической науки[66]). Не секрет, что и лампрехтовские «культурно-исторические эпохи» направлены своим острием против марксистского учения о социально-экономических формациях[67]).

На аналогичных позициях в отношении к марксизму стоял и известный английский историк-экономист Т. Роджерс. Являясь одним из основоположников социально-экономического направления в буржуазной науке, он посвятил специальное исследование обоснованию необходимости и плодотворности «экономической интерпретации истории», в котором, однако, счел возможным совершенно игнорировать марксизм[68]).

Иногда, впрочем, ведущие буржуазные ученые прерывали молчание, возникшее в западной буржуазной историографии вокруг материалистической теории исторического процесса, посвящая ей специальные работы. Но делалось это, как правило, исключительно с целью дискредитации марксизма. Отметим в этом плане зибелевские «Учения современного социализма и коммунизма», представляющие собой публичные лекции, прочитанные историком для берлинских фабрикантов и промышленников[69]).

Решительным противником Маркса выступает один из крупнейших немецких экономистов и историков последней четверти XIX — начала XX вв. Густав Шмоллер. Для его отношения к марксизму является показательной речь «Изменяющиеся теории и прочные истины в области государственных и социальных наук и современной немецкой политэкономии», являющаяся в известном смысле программным документом

---

[65]) См.: K. Lamprecht. Die Kulturhistorische Methode. Berlin, 1900, S. 31.

[66]) K. Lamprecht. Moderne Geschichtswissenschaft. 2. Aufl, Berlin, 1909, S. 107—109.

[67]) Антиматериалистическая направленность «культурно-исторического метода» Лампрехта не оставалась тайной и для его проницательных современников. С большим удовлетворением ее подчеркивает русский рецензент немецкого историка. См.: М. Г. Старое и новое направление в исторической науке. — «Русская мысль», 1896, № 10.

[68]) См.: Th. Rodgers. The economic interpretation of history. London, 1888.

[69]) См.: H. Sybel. Die Lehren des heutigen Sozialismus und Kommunismus. Bonn, 1872.

катедер-социализма[70]). Подчеркивая исключительную важность социального вопроса в современном обществе, Шмоллер со всей страстью убежденного защитника капиталистического порядка вещей обрушивается на враждебные этому порядку силы. Он спешит убедить своих слушателей, будто социализм как определенная политическая доктрина полностью исчерпал и изжил себя в странах Запада, а «ребячески легкомысленный призыв к революции» не соответствует более громадным переменам, совершившимся за последние десятилетия во всех сферах общественной жизни[71]).

Но главный противник, с которым воюет Шмоллер, это — марксизм. Стремясь во что бы то ни стало развенчать марксизм, глава катедер-социализма тем самым пытается лишить социалистическое движение научной основы, доказать его теоретическую несостоятельность. Не случайно, свою речь он начинает с решительного отрицания общих закономерностей социального развития с тем, чтобы отсюда перейти к прямому ниспровержению марксизма. В его изображении материалистическое понимание истории состоит из одних преувеличений и карикатур, марксистская политэкономия не представляет собою ничего нового по сравнению с учением Адама Смита, и вообще марксизм, оснащенный «устаревшим реквизитом из чулана Просвещения», ничего общего с действительной наукой не имеет, являясь в методологическом отношении возвращением к схоластике[72]). Неудивительно, что после этого Шмоллеру остается только победоносно провозгласить «видимое миру полное банкротство» марксизма[73]).

Враждебное отношение буржуазной историографии Запада к марксизму органически вытекало из ее ярко выраженного политического консерватизма, непрекрытого осуждения всяких попыток изменения существовавших политических порядков. Не говоря уже об откровенно реакционных ученых, специализировавшихся на «уничтожении» социализма, даже так называемая либеральная историография в силу самого положения буржуазии в европейском обществе конца XIX — начала XX вв. целиком стояла на «охранительных» позициях. Вот почему в отношении к социализму нельзя провести сколько-нибудь существенной принципиальной грани между либеральной и реакционной историографией Запада. Покажем это на некоторых примерах, взятых из истории английской бур-

---

[70]) Эта речь была опубликована в книге: G. Schmoller. Über einige Grundfragen der Sozialpolitik und der Volkswirtschaftslehre. Leipzig, 1898.

[71]) G. Schmoller. Über einige Grundfragen..., S. 333—334.

[72]) Ibidem, S. 327—331.

[73]) Ibidem, S. 334.

жуазной исторической науки последней четверти прошлого столетия.

Одним из наиболее популярных исторических сочинений в Англии того времени была книга Ф. Сибома «Английская сельская община», первое издание которой разошлось в рекордно короткий срок (3 месяца), а за 13 лет вышло 5 изданий книги. Говоря словами русского критика Сибома, «он смело и прямо выставил политическое знамя на своем труде. Знамя это имеет особую притягательную силу в Англии. На нем написано: существующий земельный строй необходим, нынешнее экономическое положение есть процесс правильной, закономерной и постепенно прогрессирующей эволюции»[74]). Задаваясь целью опровергнуть существование свободной общины как исходного пункта аграрной истории Англии, Сибом не скрывает политической направленности своей книги. Он указывает на наличие прямой политической заинтересованности в подходе к этой теме, которая, по его словам, отнюдь не является антикварной[75]). Воюя на протяжении всей книги с материалистическим пониманием истории, Сибом приходит к выводу, что «узы коммунизма» несовместимы с экономическим прогрессом общества[76]).

Не менее определенно свое отрицательное отношение к коммунизму и коммунистическим идеям выражали и другие крупные английские историки того времени, считавшиеся либералами и в научном отношении подчас занимавшие противоположные Сибому позиции. Так, Ф. Мэтланд, прямо полемизируя с Сибомом, утверждал, что «всякая теория английской истории должна считаться со свободной, не имеющей лорда деревней, как с нормальным в 1066 г. явлением»[77]). Но, подобно Сибому, он — воинствующий противник коммунизма[78]). Не менее враждебным было отношение к коммунизму Роджерса[79]).

Аналогичные взгляды господствовали в буржуазной историографии Германии и Франции[80]).

---

[74]) Ф. И. Успенский. Сельская община в Англии. — ЖМНП, 1885, № 10, стр. 253.

[75]) F. Seebohm. The English village community. Reprinted from the 4. Edition. London, New York and Bombay, 1896, p. VII.

[76]) Ibidem, p. 439.

[77]) F. M. Maitland. Domesday Book and beyond. Three essays in the early history of England. Cambridge, 1897, p. 142.

[78]) О его антикоммунистических взглядах см.: А. Н. Савин. Памяти Мэтланда. — «Русская мысль», 1907, № 10, стр. 102.

[79]) См.: Е. В. Гутнова. Т. Роджерс и возникновение историко-экономического направления в английской медиевистике второй половины XIX в. (60—90-е гг.) — Сб. «Средние века», вып. XVII, стр. 353.

[80]) См.: А. И. Данилов. Проблемы аграрной истории..., ч. I, § 1; М. А. Алпатов. Политические идеи французской буржуазной историографии XIX в. М.—Л., 1949.

Несколько иные исходные идейные позиции русской либеральной историографии 70-х — начала 900-х годов обусловливали и известное своеобразие в ее подходе к марксистской концепции исторического процесса.

При этом следует учитывать, что научная деятельность русских либеральных медиевистов протекала в духовной атмосфере, благоприятствовавшей их знакомству с учением Маркса. Начиная с 70-х годов, после выхода в свет русского перевода т. 1 «Капитала», марксизм становится заметным явлением в идейной жизни России. На русский язык переводятся труды Маркса и Энгельса. Ни в одной стране учение Маркса, в особенности его «Капитал», не стало предметом такого серьезного и основательного научного обсуждения в буржуазно-либеральной литературе, нигде в последней четверти XIX в. к авторитету Маркса так часто не обращались в либеральной науке и публицистике при рассмотрении самых актуальных проблем современности, как в России[81]).

Конечно, и в эти годы в либеральном лагере, главным образом в его правом крыле, были непримиримые враги марксизма, подобно Чичерину, чьи работы, посвященные характеристике экономического учения Маркса, представляли собою какое-то патологическое нагромождение злобной ругани и бессильных проклятий по адресу марксизма и всей современной ему экономической литературы, в которой он усматривал злокозненное влияние ненавистных идей[82]). Имели место и попытки сознательной фальсификации марксизма, выражавшиеся в стремлении выхолостить его революционное содержание, представить его основоположников в качестве плоских реформистов — противников насильственных социально-политических переворотов[83]), или даже пытавшиеся ис-

---

[81]) См.: А. Л. Реуэль. Русская экономическая мысль 60—70-х годов XIX в. и марксизм. М., 1956; Его же. Полемика вокруг «Капитала» Карла Маркса в России 1870-х годов. — «Летописи марксизма», т. 1 (XI), 1930; О. П. Маркова. Отклики на «Капитал» в России 1870-х годов. — Там же; В. Н. Бурлак. Из истории проникновения идей марксизма в Россию в разночинский период освободительного движения. М., 1961; Б. П. Козьмин. Из истории революционной мысли в России. М., 1961; О. П. Калекина. Очерки по истории издания марксистской литературы в России (1870—1917 гг.). М., 1962; Ю. З. Полевой. Зарождение марксизма в России 1883—1894 гг. М., 1959.

[82]) См.: Б. Н. Чичерин. Немецкие социалисты. 2. Карл Маркс.— «Сборник государственных знаний», под ред. В. П. Безобразова, т. VI, СПб., 1878; Карл Маркс. — В кн.: Б. Н. Чичерин. История политических учений. Ч. 5, М., 1902. См. так же: В. И. Герье и Б. Н. Чичерин. Русский дилетантизм и общинное землевладение, стр. 162—164. В своем отношении к марксизму Чичерин смыкался с наиболее оголтелыми его критиками в буржуазной науке Запада, предваряя в известном смысле поход против Маркса, предпринятый русскими либералами после 1905 года.

[83]) См. принадлежащий А. И. Чупрову некролог К. Маркса. — «Юридический вестник», 1883, № 4, стр. 719.

пользовать «Капитал» для борьбы против самой идеи революционного переустройства общества[84]).

Не сбрасывая со счетов значение подобных взглядов для характеристики отношения пореформенного либерализма к марксизму, следует, однако, признать их нетипичность для 70-х—90-х годов. В эти годы в либеральной науке и публицистике преобладало, как правило, сочувственное отношение к экономической теории Маркса, сопровождавшееся признанием ее значения для понимания особенностей современного состояния и перспектив развития России[85]). Успешная борьба русских марксистов против либерального народничества способствовала дальнейшему усилению авторитета экономического учения Маркса, выводы которого получали блестящее подтверждение всем ходом экономического развития России.

Нам представляется недостаточной распространенная точка зрения, объясняющая популярность в России марксистских произведений, в особенности «Капитала», одной лишь актуальностью проблемы капиталистического развития страны и злободневностью «рабочего вопроса»[86]). Дело заключается не только в том, что в пореформенной России с каждым буквально годом проблема развития крупного капиталистического производства с присущим ему «рабочим вопросом» действительно становилась все более актуальной, но и в относительной неразвитости капитализма и свойственных ему социальных антагонизмов. Мы, правда, видели, что отдельные идеологи русского либерализма хорошо сознавали революционную направленность марксизма и пытались разными путями с нею бороться. Однако в конкретных условиях русской действительности того времени в либеральной интерпре-

[84]) См.: К. Д. Кавелин. Разговор. — Сочинения, т. II, стр. 1001 — 1002. Небезынтересно отметить, что попытки Кавелина и Чупрова противопоставить марксизм «крайним» революционным течениям предвосхищают главное направление фальсификации учения Маркса, предпринятой на рубеже нашего столетия Вернером Зомбартом. Подобно своим русским предшественникам, Зомбарт стремился доказать в ранних своих работах, будто суть материалистического понимания истории заключается в «социально-политическом реализме», т. е. отказе от идеи революционного переустройства общества, преклонении перед стихийной экономической эволюцией. (См.: В. Зомбарт. Социализм и социальное движение. Ростов-на-Дону, 1905; Фридрих Энгельс (1820—1895). Из истории развития социализма. СПб., 1906).

[85]) Об «огромном значении, которое в настоящее время имеет учение Карла Маркса как в теоретической экономии, так и в решении разных вопросов экономической политики» писал рецензент «Юридического вестника» В. Водовозов, приветствуя всякую попытку ознакомления русской публики с основами этого учения (см.: «Юридический вестник», 1891, № 12, стр. 621).

[86]) См.: А. Л. Реуэль. Русская экономическая мысль 60—70-х годов XIX века и марксизм, стр. 381.

тации марксизма на первый план объективно выступала иная его сторона — экономическое учение, с железной логикой и неотразимой аргументацией утверждавшее не только неотвратимость торжества крупного капиталистического производства, но и его историческую прогрессивность. Вот почему в России наибольшим влиянием пользовалось именно экономическое учение Маркса, а самым популярным произведением марксизма являлся «Капитал».

Своеобразная расстановка политических сил в пореформенной России порождала и своеобразие подхода идеологов либеральной буржуазии к общей оценке марксизма. Вскрывая причины того почтения, с которым относилась в «доброе старое время» к Марксу вся либерал-народническая профессорская наука, В. И. Ленин писал: «До 1905 года буржуазия не видела другого врага кроме крепостников и «бюрократов», поэтому и к теории европейского пролетариата она старалась относиться сочувственно, старалась не видеть «врагов слева»[87]). Отсюда и проистекала либеральная интерпретация марксизма как экономической теории, по преимуществу обосновывающей превосходство крупного капиталистического производства над мелким. В то же время намеренно закрывались глаза на революционные выводы, следовавшие из этой теории ввиду их мнимой неактуальности для полуфеодальной России.

Но тем самым буржуазная наука даже в лице лучших своих представителей, с несомненным сочувствием относившихся к марксизму, была далека от его подлинного понимания. Выделяя экономическое учение из всей совокупности марксистских идей, либеральные ученые доказывали этим не только свою неспособность осмыслить марксизм как стройную научную систему, имеющую дело с законами общественного развития в целом, но и в конечном итоге лишали себя возможности понять самое экономическое учение Маркса, находящееся в органической связи со всеми другими сторонами его системы.

Общие условия, благоприятствовавшие распространению марксистских идей в русской общественной науке 70-х—90-х годов, сказались в полной мере на отношении к этим идеям в исторической науке. Ряд крупных либеральных ученых, оставаясь по своим идейно-методологическим взглядам в целом в рамках буржуазной историографии, в определенной степени испытал на себе влияние материалистической теории исторического процесса, которое проявлялось главным образом по линии признания (хотя и далеко не последовательного) необходимости изучения экономической основы общест-

[87]) В. И. Ленин. ПСС, т. 25, стр. 34.

венного развития. Укажем, в частности, на П. Н. Милюкова, являвшегося, по словам В. И. Ленина, не только «одним из искуснейших дипломатов и политиканов либерализма», но «и одним из наиболее сведущих историков, кой-чему научившимся у исторического материализма, под явным влиянием которого был этот историк... в бытность свою историком»[88]). Милюкову принадлежит плодотворная попытка, предпринятая в 90-х годах, проследить взаимодействие между экономикой, социальными отношениями, с одной стороны, и политическим строем и культурой общества, с другой[89]). В этом же плане представляет интерес большая работа А. С. Трачевского «Московская смута XVII в. и основа социологии»[90]). Подчеркивая, что без классовой борьбы «не понять исторического развития»[91]), Трачевский отрешается от традиционного в русской дворянско-буржуазной историографии изображения так называемого смутного времени, рассматривая его как период острых социальных противоречий, в частности, борьбы закрепощенного крестьянства против своих угнетателей. При этом обращает на себя внимание его попытка провести аналогии между народными движениями начала XVII в. в России и крестьянскими восстаниями в средневековой Западной Европе.

В числе других разделов русской исторической науки влияние марксизма сказалось и на либеральной медиевистике. Не будет преувеличением сказать, что концепция западноевропейского феодализма в русской либеральной историографии формулировалась под определенным идейным воздействием материалистической теории исторического процесса. Воздействие это сказывалось не столько на оценке отдельных исторических фактов и процессов (хотя и здесь оно не может быть сбрасываемо со счетов, например, в понимании подхода наших медиевистов к таким процессам, как первоначальное накопление капитала), сколько на общетеоретических прин-

---

[88]) В. И. Ленин. ПСС, т. 19, стр. 176—177.

[89]) См. его многократно переиздававшиеся «Очерки по истории русской культуры», которые один немецкий рецензент назвал, впрочем, без достаточных к тому оснований, «марксистской историей русской культуры». (См.: B. Minzes. Eine marxistische Kulturgeschichte Russlands. — «Die Zeit», 1897, № 155). Ср. рецензию на эту же книгу в народническом «Русском богатстве», автор которой обвиняет Милюкова в стремлении вывести русскую историю из данного состояния экономики (см.: П. Б. Несколько замечаний об «Очерках по истории русской культуры» г. Милюкова. — «Русское богатство», 1898, № 8). Не будучи, конечно, марксистской историей культуры, эти «Очерки», однако, свидетельствовали о научной плодотворности сделанной Милюковым попытки экономической интерпретации истории России.

[90]) См.: «Научное Обозрение», 1900, № 1, 2, 5, 6.

[91]) Там же, стр. 126.

ципах, которыми руководствовались ученые в своем исследовании конкретных проблем средневековой истории Запада.

Представляются знаменательными дружественные отношения, связывавшие в течение многих лет крупнейшего русского либерального историка Ковалевского с основоположниками научного социализма. Этот факт, широко афишированный самим Ковалевским[92]), общеизвестен, точно так же, как ни у кого не вызывает сомнение то обстоятельство, что личная близость к Марксу не привела к радикальному перевороту в идейно-методологических позициях русского историка, оставшегося буржуазным ученым.

Однако при этом недостаточно, на наш взгляд, обращается внимание на исключительность, необычность подобного рода личных отношений между вождем революционного пролетариата и идеологом либеральной буржуазии отношений, которых у Маркса не было и принципиально быть не могло с западноевропейскими буржуазными историками. Правда, и в русской либеральной медиевистике в силу определенного стечения обстоятельств Ковалевский в своих отношениях с Марксом занимал особое место. Тем не менее мы считаем возможным характеризовать эти отношения как показательные для нее — в том смысле, что она была свободна от предвзятого отношения к Марксу и его учению, более того, в лице многих своих представителей старалась относиться к нему сочувственно. Тем самым создавались известные предпосылки, облегчавшие усвоение русской либеральной медиевистикой отдельных положений марксизма, расширявшие ее методологические горизонты.

Первые упоминания о Марксе и его учении в русской либеральной медиевистике относятся ко второй половине 70-х годов, т. е. к тому времени, когда шел процесс формирования теоретических взглядов старшего поколения ее представителей, обратившихся к изучению социально-экономических отношений западноевропейского феодализма. Другими словами, с первых же шагов становления социально-экономического направления в русской либеральной медиевистике методологические поиски ряда ее крупнейших представителей оказались связанными с исторической теорией Маркса, хотя, конечно, далеко ею не исчерпывались.

---

[92]) См. его статьи: «Мое научное и литературное скитальчество» («Русская мысль», 1895, № 1) и «Две жизни» («Вестник Европы», 1909, № 7). В советской историографии взаимоотношения Ковалевского с Марксом рассматривал С. С. Лукичев, подчеркивавший, в частности, определенную роль Ковалевского в распространении марксистской литературы в России (см.: С. С. Лукичев. Политические и методологические позиции М. М. Ковалевского. — «Ученые записки Томского государственного университета им. В. В. Куйбышева», № 33, 1957, стр. 209—210). См. также: Б. Г. Сафронов. М. М. Ковалевский как социолог, стр. 69—89.

Одним из первых русских либеральных историков, испытавших известное влияние Маркса, был Ковалевский. Уже в 1875 г., сразу же после знакомства с Марксом, Ковалевский дает восторженную оценку ему, хотя тут же обнаруживает непонимание философской природы марксизма, называя великого материалиста гегельянцем[93]). Установившиеся после этого знакомства близкие личные отношения Ковалевского с Марксом и Энгельсом оказали чрезвычайно плодотворное влияние на складывание теоретических представлений молодого ученого, даже на самое направление его научных интересов. Важные признания на этот счет содержатся в позднейших работах самого Ковалевского, в особенности в его большой статье «Две жизни»[94]). Относя Маркса к числу «умственных и нравственных вождей человечества», «самых крупных выразителей прогрессивных течений общественности», Ковалевский в этой работе писал о нем как о «дорогом учителе», общение с которым определило до некоторой степени направление его научной деятельности[95]).

Является показательным то обстоятельство, что влияние Маркса шло в том же направлении, что и требования, предъявлявшиеся к исторической науке самой русской жизнью. Вспоминая, что каждый раз он выносил из встреч с Марксом «новый стимул к научным работам в области истории экономического и общественного развития европейского Запада», Ковалевский писал: «Очень вероятно, что без знакомства с Марксом я бы не занялся ни историей землевладения, ни экономическим ростом Европы и сосредоточил бы свое внимание в большей степени на ходе развития политических учреждений, тем более, что такие темы прямо отвечали преподаваемому мной предмету»[96]).

Это признание Ковалевского представляет для нас большую ценность не только потому, что оно свидетельствует о благотворном влиянии марксизма на весь творческий путь крупнейшего русского медиевиста, но и вследствие своей общеметодологической значимости. В его сознании именно с этим влиянием оказывается связанным обращение к исследованию социально-экономических отношений как к главной проблематике всей его научной деятельности. Более того, влияние Маркса во многом определило и стремление Кова-

---

[93]) См. его письмо к И. И. Янжулу от 15 октября 1875 г. — «Вестник Академии наук СССР», 1933, № 3.

[94]) Впервые опубликована в журнале «Вестник Европы», 1909, № 7. С некоторыми сокращениями часть этой статьи, посвященная воспоминаниям о Марксе, под заглавием «Встречи с Марксом» опубликована в книге «Воспоминания о Марксе и Энгельсе», М., 1956.

[95]) «Воспоминания о Марксе и Энгельсе», стр. 316.

[96]) Там же, стр. 314.

левского рассматривать развитие социально-политических и правовых отношений под углом зрения эволюции экономической структуры общества, что с редким единодушием подчеркивали даже буржуазные ученые, писавшие о его методологических взглядах[97]). Но такая постановка вопроса верна не только в отношении Ковалевского. В известной степени она может быть применима и к ряду других представителей русской либеральной медиевистики, отчетливо связывавших с марксизмом возросший интерес к изучению материальных условий жизни общества и признание их значения для понимания других сторон общественного процесса, хотя и не всегда говоривших об этом[98]).

В первую очередь здесь должен быть назван молодой Кареев, выход в свет книги которого «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века» явился важной вехой в истории усвоения русской либеральной медиевистикой отдельных элементов материалистической теории общественного процесса. Впервые в русской либеральной историографии в этой книге мы встречаем сочувственные ссылки на «Капитал»[99]), впервые он включается в список использованной литературы. Обращение либерального ученого к крупнейшему произведению марксистской мысли в серьезном исследовательском труде, написанном к тому же в качестве магистерской диссертации, является фактом, знаменательным самим по себе. Но еще более важным является то обстоятельство, что в этой книге Кареев не просто ссылается на то или иное положение «Капитала», а в значительной сте-

---

[97]) См.: А. Н. Савин. Ковалевский как историк. — «Исторические известия», 1916, № 1, стр. 172—177; А. р. Фатеев. Максим Ковалевский. Харьков, 1917, стр. 54—55; П. Г. Виноградов. Памяти М. М. Ковалевского. — Сб. «М. М. Ковалевский. Ученый, государственный и общественный деятель и гражданин», стр. 65; В. П. Бузескул. Всеобщая история и ее представители в России в XIX — начале XX вв., ч. 1, стр. 204. Ср. аналогичную постановку вопроса в зарубежной литературе: Э. Селигман. Экономическое объяснение истории. Киев, 1906, стр. 45.

[98]) Так обстояло дело, в частности, с Виноградовым, в трудах которого мы не встречаем развернутых формулировок, отражающих его отношение к марксизму. Тем не менее будет оправданным предположение, что он был далек от отрицания значения учения Маркса для развития исторической науки. Об этом свидетельствуют отдельные его замечания, относящиеся, правда, к более позднему времени. Так, он в связи с характеристикой методологических взглядов Ковалевского писал об «общей тенденции исторического материализма, пошедшего от Маркса», усматривая ее в первоочередном изучении «столкновения и взаимодействия экономических сил и интересов» (П. Г. Виноградов. Максим Максимович Ковалевский. Некролог. Петроград, 1916, стр.1165). Из контекста следует, что такую тенденцию Виноградов считал плодотворной для исторического познания.

[99]) См.: Н. И. Кареев. Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века, прим. 13, к стр. 162, прим. 21, к стр. 163, прим. 3, к стр. 232.

пени основывает на марксистском учении о первоначальном накоплении всю свою концепцию аграрного развития предреволюционной Франции. В прямой полемике с историками, исходившими в своей оценке состояния французского крестьянства перед революцией с юридической точки зрения и тем самым его идеализировавшими, русский ученый построил книгу на выяснении реальных экономических отношений, господствовавших во французской деревне последней четверти XVIII в. и определявших действительное положение крестьян[100]). Его работа составила эпоху в историографии вопроса именно потому, что Кареев впервые в буржуазной науке отрешился от юридического подхода к истории французского феодального крестьянства, перенеся в своем исследовании центр тяжести на почву экономических отношений[101]).

Формулируя цель своей книги, Кареев прямо заявляет, что она заключается в выяснении реального экономического состояния крестьянства как решающего момента в истории так называемого крестьянского вопроса перед революцией. Указывая, что главной своей задачей он считает рассмотрение аграрных и социальных отношений, определявших положение крестьян, он продолжает: «Вся суть этого (крестьянского — *Б. М.*) вопроса — в отношениях аграрно-социальных, и как постановка его, так и способ решения обусловливались, с одной стороны, принципами, лежавшими в основе тогдашнего поземельного устройства, а с другой — потребностями, интересами и стремлениями отдельных общественных классов»[102]).

Поставленная таким образом задача находит свое воплощение во всей структуре книги. В центре внимания Кареева — судьбы предреволюционного французского крестьянства как эксплуатируемого класса общества, условия его экономического существования. В этом плане рассматриваются его взаимоотношения с другими общественными классами и государством, а главное — его отношение к земле. «Сущность истории французского крестьянства, — заявляет он, — заключается в том, что рядом с уничтожением крепостничества и ослаблением государственной власти сеньеров происходит, так сказать, закрепление сеньериальных прав на землю»[103]).

Кареев подвергает резкой критике своих предшественников во французской историографии за их юридический подход

---

[100]) Интересные соображения о влиянии Маркса на кареевскую концепцию аграрного развития Франции XVIII в. см. у Б. Г. Вебера. «Очерки истории исторической науки в СССР», т. II, стр. 472—473.

[101]) См.: И. И. Фролова. Значение исследований Н. И. Кареева для разработки истории французского крестьянства в средние века. — Сб. «Средние века», вып. VII, М., 1955, стр. 320—323.

[102]) Н. И. Кареев. Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции, стр. 480.

[103]) Там же, стр. 26.

к освещению положения крестьян. Обращая главное внимание на освобождение крестьянина от крепостной зависимости, историки, пишет он, оставили в пренебрежении вопрос о том, что сталось с его землей. «В таком результате, — подчеркивает ученый, — виновато главным образом их юридическое направление, для которого вся суть дела — в постепенном переходе от бесправности к правоспособности»[104]). Сознательно отвергая это направление как методологически несостоятельное, Кареев противопоставляет ему исследование социально-экономической действительности Франции XVIII в., определявшей реальное положение крестьянства. «Суть дела, — пишет он, — заключается именно в экономических отношениях»[105]). И вся книга убедительно показывает, как тяжелое материальное положение крестьянства, обусловленное его поземельной зависимостью от сеньеров и бременем государственных налогов, являлось причиной упадка земледелия, народной нищеты, бродяжничества, опустения деревень и переполнения городов нищими, что в свою очередь вело к резкому возрастанию социальной напряженности в обществе.

Важное место в обострении социально-экономических противоречий во Франции перед революцией Кареев отводит обезземеливанию крестьянства. В самой постановке этого вопроса представляется возможность проследить влияние 24-й главы «Капитала». Он приходит к выводу, что взгляд Токвиля о существовании до революции в значительных размерах крестьянской мелкой собственности является сильно преувеличенным[106]). Вопреки Токвилю он показывает наличие во французской деревне XVIII в. большого слоя мало- и безземельного крестьянства, отмечая, что земли крестьянам не хватало. В этом обстоятельстве Кареев видел один из наиболее существенных моментов, характеризующих положение французского крестьянства накануне революции. Вслед за Марксом он противопоставляет формально-юридической точке зрения на историю крестьян другую, рассматривающую их отношение к земле. «История, — утверждает ученый, — которая с формально-юридической точки зрения является прогрессом свободы и приобретения крестьянами собственности, с точки зрения социально-экономической получает несколько иной смысл», разъясняя который, он указывает на прогрессирующую утрату крестьянами земли, что продолжалось вплоть до революции[107]).

---

[104]) Там же, стр. 15.
[105]) Там же, стр. 219.
[106]) Там же, стр. 105.
[107]) Н. И. Кареев. Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции. Стр. 482.

Избранный Кареевым угол зрения обеспечивал не только большую научную ценность его книги, но и, как мы видели, ее общественную значимость. Таким образом, первая же серьезная попытка обращения к Марксу в исследовании проблем западноевропейского феодализма в русской либеральной историографии оказалась исключительно удачной, засвидетельствовав плодотворность такого пути в изучении истории. При этом заслуживает особенное внимание то обстоятельство, что уже здесь влияние марксизма на русскую либеральную медиевистику проявлялось главным образом по линии метода. Научная значимость книги Кареева заключается именно в том, что он предпринял попытку анализа аграрных отношений во Франции кануна революции с позиций, которые в ряде существенных пунктов были обусловлены влиянием 24-й главы «Капитала». Не случайно, в одной из более поздних работ Кареев относил взгляд Маркса на процесс первоначального накопления капитала к числу воззрений, особенно важных для исторической науки «в теоретическом отношении»[108]).

Включая в список рекомендуемой литературы к одной из глав «Истории Западной Европы в новое время» «Капитал», Кареев писал, что эта книга «заключает историю обезземеливания сельского населения в Англии»[109]). Но дело не только в том, что вслед за Марксом он видел существенное содержание аграрного развития Англии в XVI—XVIII вв. в массовом сгоне крестьян с земли. Для Кареева 24-я глава «Капитала» имеет важное социологическое значение. С позиций выдвинутых здесь Марксом положений он пытается рассматривать и явления, совершавшиеся в этот период в аграрном строе других стран Западной Европы. Характерно, что позже, в разгар своей борьбы с марксизмом, Кареев сам указывал на это обстоятельство. Заявляя, что Маркс сделал очень много для надлежащего понимания процесса первоначального накопления, он признавал, что рассматривал в различных главах «Истории Западной Европы....» «этот процесс в общем не иначе, чем это делал Маркс»[110]).

В частности, под несомненным влиянием Маркса Кареев подчеркивал качественную однородность процессов, совершавшихся в эпоху перехода от средних веков к новому времени во французской и английской деревне. Отметив, что

---

[108]) Н. И. Кареев. Разработка теоретических вопросов исторической науки. — «Русская мысль», 1890, № 3, стр. 181.

[109]) См.: Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время, т. III, СПб., 1893, прим, к стр. 95.

[110]) Н. И. Кареев. Старые и новые этюды об экономическом материализме. Материалы для истории и критики экономического материализма. СПб., 1896, стр. 58—59.

«в Англии XVIII в. можно назвать уже завершившимся процесс перехода сельского хозяйства из крестьянских рук в руки фермеров с превращением сельского населения в безземельных земледельческих рабочих», он указывал: «В сущности Франция шла в сельском своем быту по той же экономической дороге, что и Англия, но с тем различием, что аналогичные процессы, представляемые социальной историей обеих стран, совершались в Англии и раньше и полнее»[111]).

Однако уже в это время отношение Кареева к марксизму отнюдь не было однозначным. Испытав несомненное влияние учения Маркса в сфере конкретно-исторических исследований, он выступал решительным противником материалистической теории исторического процесса в целом. Не сумев понять действительной глубины материалистического понимания истории, неправомерно смешивая его с вульгарным экономизмом, Кареев, предвосхищая свою позднейшую борьбу с марксизмом, пытается доказать односторонность, а тем самым и несостоятельность материалистического объяснения общественного процесса. Он решительно полемизирует с «тем убеждением, все более и более утверждающемся среди историков, что главнейшие исторические явления имеют свою основную подкладку в экономических отношениях общественного тела, определяющих собою отношения и политические, и частно-правовые»[112]).

В борьбе с материалистическим истолкованием исторического процесса Кареев обращается за содействием к немецкой классической идеалистической философии. Не будучи приверженцем последней, он тем не менее считает, что «она принесла великую пользу», ибо выступила «против одностороннего анализа», «не умеющего возвыситься над материалистическим взглядом на жизнь», «научила нас видеть в истории не одни факты, но и идеи»[113]).

Несколько особое место в русской либеральной медиевистике в связи с ее отношением к марксизму занимает Лучицкий. Киевский профессор являлся едва ли не единственным ее крупным представителем, который не только избегал в своих научных работах всякое упоминание о материалистической теории исторического процесса и ее основоположниках, но и обнаружил разительное даже для буржуазного ученого непонимание места марксизма в развитии общественной

---

[111]) Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время, т. III, стр. 107.

[112]) Н. И. Кареев. К вопросу о свободе воли с точки зрения исторического процесса. — «Вопросы философии и психологии», 1890, № 4, стр. 120.

[113]) Н. И. Кареев. Основные вопросы философии истории. Т. 1, М., 1883, стр. 330—331.

мысли второй половины XIX в. В отличие от распространенного в русской либеральной медиевистике убеждения, Лучицкий связывал выдвижение в исторической науке на первый план изучение социально-экономических отношений как важнейшей стороны общественного процесса не с Марксом, а с некоторыми английскими и немецкими буржуазными историками и экономистами последней трети XIX в.

Выражая свою солидарность с новым направлением в исторической науке, обещающим «в близком будущем радикально изменить то, что называют научной историей, научной политической экономией», киевский историк видит его отличительную черту в выдвижении на первый план изучения «важнейшего из факторов жизни — экономического фактора» и в выяснении как главной задачи исследования «во всех деталях процесса экономических изменений, происходивших в жизни как отдельных народов, так и всей Европы... в связи с остальными явлениями и факторами жизни». Однако успехи этого направления он связывает с именами немецких буржуазных экономистов и историков — Шмоллера, Лампрехта, Инамы-Штернегга и др., а родоначальником его объявляет Роджерса[114]).

Несомненно, в такой постановке вопроса Лучицкий был одинок в русской либеральной медиевистике. Однако было бы ошибочным преувеличивать различия, существовавшие в рассматриваемый период в отношении к марксизму между Лучицким и другими либеральными медиевистами. Несмотря на то, что эти последние в той или иной степени признавали значение экономического учения Маркса для исторической науки, никто из них не сумел увидеть в марксизме качественно нового явления в развитии общественной и научной мысли. Самое имя Маркса в русской либеральной медиевистике до середины 90-х годов встречалось крайне редко, причем, как правило, в одном ряду с учеными, несоизмеримыми по своему масштабу с основоположником материалистического понимания истории. И лишь с середины 90-х годов положение стало изменяться.

3. Отношение к марксизму в русской либеральной медиевистике в середине 90-х — начале 900-х годов

Сложным и противоречивым является отношение к марксизму в либеральной медиевистике середины 90-х — начала 900-х годов. Это был период широкого распространения марк-

---

[114]) И. В. Лучицкий. Джемс Сорольд Роджерс (некролог). — «Юридический вестник», 1891, № 2, стр. 172.

сизма в России, его блестящих побед над идеалистическими концепциями исторического развития, период созревания новой революционной ситуации, происходившего в условиях соединения марксизма с рабочим движением. В эти годы имя Маркса не сходит со страниц либеральной печати, к его авторитету обращаются при анализе самых жгучих вопросов современности. Однако по мере обострения социальных противоречий в стране и назревания революционного взрыва, по мере того, как завершался процесс классового размежевания, отношение идеологов русского либерализма к марксизму претерпевало характерные изменения. Все отчетливее стала осознаваться классовая природа марксизма как идеологии рабочего класса, что обусловливало борьбу против следовавших из него революционных выводов, сочетавшуюся, однако, вплоть до 1905 г. с признанием научной значимости учения Маркса, а в известном плане и с его более глубоким пониманием.

Правда, представители старшего поколения русских либеральных медиевистов, начинавшие свой путь в науке в 70-е годы, в атмосфере сильного влияния позитивистской социологии, так и не смогли полностью освободиться от взгляда на марксизм как на одно из многочисленных научных направлений, рожденных европейской мыслью XIX в. и имеющих хотя и важное, но все-таки ограниченное значение. Даже гордившийся своей близостью к Марксу Ковалевский не составлял исключения в этом смысле. Отношение Ковалевского в рассматриваемое нами время к марксизму как к теории, объясняющей закономерности общественного развития, в наиболее развернутом виде представлено в его книге «Современные социологи». 3-й отдел книги «Экономическая школа в социологии» в большей своей части посвящен критическому анализу взглядов Маркса, Энгельса и их последователей на характер и движущие силы исторического процесса. Ковалевский сумел увидеть в учении Маркса новое слово в науке, неотъемлемое приобретение европейской научной мысли. Он связывает с именем Маркса самое возникновение экономической истории как науки. Заявляя, что еще в середине XIX в. история хозяйственного быта Европы являлась «каким-то обширным археологическим музеем, в котором всегда имелись налицо факты, доказывающие преимущество переживаемого нами экономического порядка над прошлым», Ковалевский подчеркивает, что только после работ Маркса, указавших «возможность изучить выгодные и невыгодные стороны более ранних периодов хозяйственной жизни и их тесную связь со всем современным им общественным и политическим укладом», история хозяйственного развития стала

действительной наукой[115]). Вместе с Лабриолой Ковалевский видит «главную заслугу Маркса в том, что он низвел на землю объяснение причин социальных явлений и перестал смотреть на них, подобно Гегелю, как на раскрытие какого-то всемирного духа»[116]). Требование исторического материализма искать объяснения социального строя и политических учреждений в экономических условиях жизни общества он считал научно-плодотворным, находящимся на магистральных путях развития науки, и, как мы увидим далее, успешно преломлял его в собственной исследовательской практике.

В то же время в этой книге, как и в других работах, Ковалевский демонстрирует свое непонимание подлинного существа материалистической теории общественного развития. Достаточно привести следующее его поразительное утверждение, да еще с ссылкой на Энгельса: «Родоначальники доктрины исторического материализма... придумали свою теорию для толкования одних явлений действительности или недавнего прошлого. Только чересчур ревностные ученики старались распространить это учение и на более ранние периоды развития»[117]). Он далек от действительного понимания переворота, произведенного Марксом в науке об обществе, считает возможным ставить в один ряд с марксизмом взгляды буржуазных ученых типа Штейна или даже Гнейста на том основании, что эти последние выступали за необходимость изучения социальных явлений в их связи с хозяйственной жизнью и политической организацией общества[118]). Вся глубина исторического материализма для Ковалевского сводится к экономической интерпретации исторического процесса, и его анализ этого учения заключается в определении степени правомочности такого объяснения. Ковалевский критикует материалистическое понимание истории с позиций эклектической теории факторов[119]), выступает с прямой критикой отдельных положений Маркса и Энгельса.

Особенно разительное непонимание марксизма обнаружил другой представитель старшего поколения русских либеральных медиевистов — Кареев, развернувший с середины 90-х

---

[115]) М. М. Ковалевский. Современные социологи. СПб., 1905, стр. III. Правда, Ковалевский здесь совершенно неправомерно наряду с Марксом называет Роджерса с его работами по истории экономического развития Англии.

[116]) Там же, стр. 306. В другом месте он признает за материалистической теорией исторического процесса «ту заслугу», что она приковала внимание историков к выяснению некоторых важнейших факторов в развитии человечества». (Там же, стр. 321).

[117]) Там же, стр. 282.

[118]) См. там же, стр. III, 235—239. Ср. его же «Общий ход развития политической мысли во второй половине XIX века». СПб., 1905, стр. 5.

[119]) М. М. Ковалевский. Современные социологи, стр. 288.

годов ожесточенную борьбу с позиций субъективного идеализма против материалистического понимания истории и его русских приверженцев, борьбу, стяжавшую этому серьезному исследователю западноевропейского феодализма сомнительную славу одного из самых усердных критиков марксизма в России. Кареевские упражнения по части «опровержения» марксизма получили, как известно, достойную оценку в трудах Г. В. Плеханова[120]). Давая решительную отповедь нападкам Кареева на марксизм, Плеханов вместе с тем вскрыл их специфический характер — это была либерально-народническая критика марксизма, являвшаяся составной частью известной борьбы между либеральными народниками и марксистами, развернувшейся в 80—90-х годах. Историко-философские работы Кареева были призваны дать теоретическое обоснование либерально-народнической критике марксизма. Почти не затрагивая центрального вопроса, вокруг которого шла борьба — о судьбах капитализма в России, — они должны были скомпрометировать самое оружие русских марксистов в этой борьбе. Этим обстоятельством и определяется характер отношения Кареева к марксизму. В 90-е годы Кареев публикует ряд работ, направленных против основных положений материалистического понимания истории. Сам автор не делал тайны из того, какое место должны были занять эти работы в идейной борьбе своего времени. Их главная цель заключалась в теоретическом обосновании излюбленного либерально-народнического тезиса о непригодности марксистского учения к русским условиям. «Мы думаем..., — да так оно выходит и на самом деле, — писал ученый критик марксизма, — что сторонники экономического материализма напрасно основывают свою оценку современного положения России, а с тем вместе и свои практические советы — на доктрине экономического материализма, и думаем это не потому только, что последняя сама не доказана, но и потому, что будь она даже доказана, она по существу дела не могла бы служить основой для суждения о такой сложной совокупности конкретных явлений, какую представляет из себя окружающая нас действительность»[121]).

Это заявление, взятое нами из предисловия к главному сочинению Кареева, направленному против материалистической теории исторического процесса, является ключом, в котором идет его критика учения Маркса. В первую очередь он стре-

---

[120]) См., в особенности, его работу «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» (Г. В. Плеханов. Избранные философские произведения в пяти томах, т. 1).

[121]) Н. И. Кареев. Старые и новые этюды об экономическом материализме, стр V.

мится доказать, что марксизм, как философия истории, не имеет под собою удовлетворительной научной основы, что он научно не разработан и его положения не могут быть доказаны, во всяком случае в данное время. Словно забывая о таких классических произведениях марксизма, как «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 гг.», «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», «Гражданская война во Франции», получивших даже среди некоторых буржуазных ученых признание как удачный пример приложения марксистской теории к исследованию политической истории[122]), он утверждает, будто учение Маркса о сущности исторического процесса выступает в виде аксиомы, без научных доказательств, и даже в исторических работах Энгельса оно только пропагандируется, а не обосновывается[123]). Так, предвзятая критика переходит в прямую недобросовестность. Об этом же свидетельствуют и настойчивые утверждения Кареева, будто марксисты обосновывают свои выводы на грубо материальном понимании человеческой природы и игнорировании духовной стороны жизни общества, на преклонении перед стихийностью исторического процесса и отрицании возможности сознательного вмешательства в его ход и т. д.

Нельзя не признать, что незаурядный историк оказался весьма плоским критиком Маркса, повторяя зады буржуазных ниспровергателей марксизма. Столь же мало оригинальным является стремление Кареева расчленить марксизм как единую и цельную научную систему, представить отдельные его стороны в виде органически не связанных между собою частей. С особенной настойчивостью он пытается утвердить своих читателей в мысли, что учение Маркса не имеет никакого отношения к практическим вопросам, стоящим перед русским обществом 90-х годов[124]). Теоретическим основанием этого утверждения служит многократно повторяемое положение об отсутствии какой-либо необходимой связи между экономическим учением Маркса и социологическими построениями марксистов. При этом Кареев исходит из крайне примитивного понимания марксистской социологии, которую он именует экономическим материализмом. Вся глубина материалистического понимания истории для него сводится к объяснению «всех культурных и социальных явлений одними экономическими причинами, которым приписывается значе-

---

[122]) См.: А. И. Чупров. Карл Маркс (некролог). «Юридический вестник», 1883, № 4, стр. 716; М. М. Ковалевский. Современные социологи, стр. 243.

[123]) См.: Н. И. Кареев. Старые и новые этюды..., стр. 1, 79—80, 267 и многие другие.

[124]) Там же, стр. 277.

ние единственного основания, источника и движущего начала в историческом развитии общества»[125]).

Руководствуясь таким пониманием марксистской теории исторического процесса, Кареев пытается доказать, будто ее связь с социализмом и социалистическим движением носит сугубо случайный характер[126]). Более того, он не останавливается перед отрицанием классового характера материалистического понимания истории, как и всякой иной теории развития человеческого общества. Он подвергает пространной критике Ф. Меринга за его противопоставление марксизма, как мировоззрения рабочего класса, идеализму, как буржуазному мировоззрению[127]).

Нельзя не признать, что более извращенного понимания марксизма в русской либеральной медиевистике изучаемого периода мы не имеем. Таков был закономерный логический результат усилий Кареева дать теоретическое обоснование либерально-народнической критике марксизма. Путь, по которому он пошел, оказался путем откровенной фальсификации марксизма.

Оценка материалистической теории исторического процесса, данная в «Этюдах», повторяется, а в ряде случаев и развивается в некоторых других работах Кареева. Так, он с еще большей силой подчеркивает мнимую научную отсталость марксизма[128]), утверждает, что материалистическое понимание истории не признает никакой активной роли в обществе за личностью и ее идеалами[129]), вновь отмечает «односторонность» марксистской теории общественного развития[130]) и т. д. Впрочем, появляется и нечто новое, например, заявление о том, что марксистская социология не имеет сво-

---

[125]) Там же, стр. 274. Отсюда вытекает, в частности, непонимание Кареевым места диалектического метода в марксистской социологии. Для него, как и для многих других буржуазных ученых, марксистская диалектика является лишь формальным методом, вдобавок еще устаревшим. Он утверждает, что «экономический материализм» вполне мог существовать без диалектического метода, ««так как диалектический метод относится к форме исторического процесса, а экономический материализм — к его содержанию» (там же, стр. 121).

[126]) См. там же, стр. II, 72—73. Это положение Кареев пытается проиллюстрировать на примере взаимоотношений между марксизмом и германской социал-демократией. Признавая наличие связи между ними, он подчеркивает ее формальный характер, исключающий всякую возможность взаимовлияния и взаимообогащения (см. там же, стр. 102).

[127]) Там же, стр. 106—109.

[128]) Н. И. Кареев. Введение в изучение социологии. СПб., 1897, стр. 84—86.

[129]) Н. И. Кареев. Беседы о выработке миросозерцания. Изд. 3-е, СПб., 1895, стр. 102.

[130]) Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время (Развитие культурных и социальных отношений), т. V, СПб., 1898, стр. 875—876.

ей методологии[131]), — заявление, может быть, ярче всего демонстрирующее всю глубину его непонимания марксизма.

Однако несомненно враждебное отношение Кареева к материалистическому пониманию истории не исключало признания до определенной степени ученым и в этот период его научной деятельности некоторых марксистских положений и даже использование их в своей историографической практике. Нам представляется, что возможность этого коренилась в самом характере кареевской критики материалистического понимания истории, шедшей в своих главных положениях в русле либерально-народнической полемики с марксизмом и его русскими сторонниками. Это обстоятельство, с одной стороны, не смогло не сообщить его критике определенную ожесточенность, ярко выраженную враждебность по адресу марксизма, что и заставляет говорить о его особом положении в данном отношении в русской либеральной медиевистике. Вместе с тем либерально-народническая критика при всей остроте своих нападок на марксизм была далека от огульного отрицания всякого его значения в развитии общественной мысли, характерного для буржуазной науки Запада того времени. Не меняя ее общего отношения к марксизму, это обстоятельство вместе с тем позволяло в отдельных случаях, оставаясь на ее почве, относиться сочувственно к некоторым марксистским положениям, в особенности относящимся к области экономического учения Маркса, традиционно окруженного пиететом в народнической литературе.

Характерно, что Кареев не перестает подчеркивать громадное научное значение «Капитала» даже в разгар своего «марксоедства». Для него «Капитал» является «великой книгой», оставленной Марксом в политической экономии[132]). Он называет экономическую теорию Маркса «самою верною теорией из всех существующих»[133]), признает, что в своем изображении роли введения машин в промышленной революции в т. IV «Истории Западной Европы в новое время» он «следовал исключительно замечательному анализу Маркса»[134]).

Особенно большое значение и здесь Кареев придает марксистскому учению о первоначальном накоплении капитала, фактически солидаризируясь как с марксистским определением сущности этого процесса, так и с данной в 24-й главе картиной его конкретного хода[135]). Он видит важное значение марксистского учения о первоначальном накоплении капитала для понимания существа перехода от феодального

[131]) Н. И. Кареев. Введение в изучение социологии, стр. 208.
[132]) Н. И. Кареев. Старые и новые этюды..., стр. 80.
[133]) Там же, стр. 57.
[134]) Там же, стр. 56.
[135]) Там же, стр. 58.

строя к капитализму[136]). Но не только в этом усматривает Кареев значение 24-й главы. Он подчеркивает ее роль для понимания антагонизмов современного капиталистического общества. «Своими исследованиями, — указывает он, — Маркс выясняет нам генезис того обострения экономических отношений, которое характеризует современность»[137]).

О том значении, какое Кареев придавал марксизму в развитии европейской научной мысли, свидетельствует его «Введение в изучение социологии». Написанная с откровенно антимарксистских позиций, эта книга тем не менее отражала признание ее автором того обстоятельства, что понимание современной социологии и ее дальнейшее развитие невозможны без учета материалистического объяснения истории[138]). «Самые завзятые противники Маркса признают, что он оказал огромное влияние на мысли и чувства целых поколений», — пишет Кареев[139]), и в известном смысле подтверждением этих слов является сама его книга. Автор ее называет Маркса (наряду с Дарвином и Спенсером) в числе мыслителей, оказавших наибольшее влияние на социологические теории второй половины XIX в. [140]). Более того, из дальнейших рассуждений Кареева следует, что он считает марксистскую постановку вопроса об обществе более плодотворной для развития социологии, нежели учения Спенсера и Дарвина. Он подчеркивает, что «по своему общественному содержанию экономический материализм неизмеримо ближе к социологии, чем космический эволюционизм Спенсера и биологический эволюционизм Дарвина», хотя и отрицает за ним значение философии социального прогресса[141]).

Всего полнее признание значения марксизма для исторической науки выступает в тех случаях, когда Кареев обращается к анализу конкретной исторической действительности. Особенно показателен в этом отношении т. V его «Истории Западной Европы в новое время». Не будет преувеличением сказать, что этот том, посвященный истории Западной Европы в 1830—1870-х годах, в целом ряде существенных положений основывается на работах Маркса и Энгельса, исходит из содержащегося в них анализа социально-политического развития Европы в середине XIX в. Обращает на себя внимание уже тот факт, что Кареев часто ссылается на работы

[136]) Там же.
[137]) Там же, стр. 60. Нам представляется, что сочувственное отношение Кареева к учению Маркса о первоначальном накоплении капитала имеет своим истоком народническую критику крупного капиталистического производства.
[138]) См.: Н. И. Кареев. Введение в социологию, стр. XIV—XV.
[139]) Там же, стр. 228.
[140]) Там же, стр. 285.
[141]) Там же, стр. 355.

основоположников марксизма, считает нужным приводить их взгляды на важнейшие проблемы рассматриваемого периода. Но гораздо более существенным является его стремление в той или иной степени использовать результаты марксистских исследований в собственной трактовке отдельных вопросов европейской истории середины XIX в. Так, например, обстояло дело с характеристикой социально-экономического развития Англии в 50—60-е годы[142]).

Нельзя не увидеть влияния Маркса и на подходе Кареева к изображению европейских революций 1848 г. Так, он приводит известную оценку Марксом июньского восстания 1848 г. в Париже как первой битвы между классами буржуазного общества, по существу солидаризуясь с ней[143]). Рассматривая причины поражения революции 1848 г. в Германии, он во многом следует за марксистской трактовкой их, данной в работах Блосса и Меринга, указывая, в частности, вслед за ними, что революционные выступления пролетариата напугали немецкую буржуазию[144]).

В связи с этим представляет несомненный интерес включение Кареевым в свою книгу специальной главы, посвященной рабочему движению в послереволюционной Европе, в которой значительное внимание отводится деятельности Маркса и Энгельса[145]). Однако ограниченность буржуазного либерала не позволила Карееву понять действительное значение марксистского этапа в рабочем движении, более того, он сознательно стремится принизить революционное значение марксизма. Под несомненным влиянием Зомбарта он пытается убедить своих читателей в том, что «с принципиальной точки зрения марксизм сделался даже полным отрицанием всякого революционизма, за которым необходимо скрывается какой-либо утопизм»[146]). И далее совершенно в духе Зомбарта и во многом даже его словами он пускается в рассуждения относительно того, что Маркс в этом отношении не был «последовательным марксистом» в своем образе действий, «оправдывая» его характером эпохи и условиями его эмигрантской жизни[147]).

Вместе с тем в этой книге Кареев обстоятельно рассматривает вопрос о влиянии марксизма на развитие европейской

---

[142]) Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время. Т. V, СПб., 1898, стр. 761—764. Кареев здесь называет Маркса самым проницательным наблюдателем социально-экономического развития Англии, сумевшим предсказать наступление нового этапа развития (там же, стр. 763—764).

[143]) Там же, стр. 505—506.

[144]) Там же, стр. 560—563.

[145]) См. гл. XXXI «Социальное движение в 50-х и 60-х годах».

[146]) Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время, т. V, стр. 820.

[147]) Там же, стр. 821. Ср. В. Зомбарт. Фридрих Энгельс, стр. 36—42.

общественной мысли[148]). Конечно, общая оценка исторического материализма, данная в «Этюдах...», в полной мере сохранялась и здесь. Кареев настойчиво подчеркивает «односторонность» материалистического объяснения истории, декларирует несогласие с исторической концепцией Маркса, развитой в «Капитале» и т. д. В то же время для Кареева является несомненной научная значительность материалистического понимания истории. Подчеркивая «весьма важное» значение выдвижения марксизмом на первый план изучения экономических основ социальной жизни, он видит в этом существенный шаг вперед по сравнению с господствовавшими ранее взглядами. Отметим его противопоставление в этом плане марксизма позитивизму. Он указывает, что и Конт, и Бокль одинаково сводили исторический процесс к умственному развитию, понимаемому к тому же преимущественно в смысле развития научных знаний, и видит бесспорную заслугу марксизма в преодолении этого взгляда и в обращении внимания ученых на материальные условия человеческого существования как источник существенных перемен в социальных отношениях и политическом строе общества[149]). Так, отвергая материалистическое понимание истории в целом, Кареев именно с ним, а не с позитивизмом связывает начало новой важной главы в истории исторической науки.

Наиболее зрелое в русской либеральной медиевистике отношение к марксизму обнаружило младшее поколение ее представителей. Его выступление на арену научной деятельности в 90-е годы совпало с периодом широкого распространения в стране марксизма, блестящих побед над откровенно идеалистическими концепциями исторического развития, назреванием новой революционной ситуации в России. Нельзя сказать, что отношение медиевистов новой генерации к Марксу было более теплым, чем, например, у Ковалевского. Точно так же будет ошибочным утверждение, что это поколение отличает большая близость к марксизму по принципиальным гносеологическим вопросам или большее сочувствие к революционным выводам, следовавшим из материалистической теории исторического процесса. Новым в отношении к марксизму было его более глубокое понимание, являвшееся необходимым результатом всей той духовной атмосферы, в которой происходило формирование методологических взглядов медиевистов младшего поколения. Если Лучицкий видел в Роджерсе родоначальника экономического направления

[148]) См. главу XXXII — «Умственный переворот в середине XIX века», в которой значительное место отводится материалистической теории исторического процесса.

[149]) Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время. Т. V, стр. 875—881.

в исторической науке, а Ковалевский ставил его в один ряд с Марксом, то Савин за одной 24-й главой т. 1 «Капитала» признает значение гораздо большее, чем могут дать «десять томов Роджерса» — именно вследствие ее философской и общественной значимости[150]).

Понимание марксизма как крупнейшего переворота во всех сферах общественной мысли, с которым по своему значению не может сравниться ничто, созданное буржуазной наукой 2-й половины XIX в., пожалуй, в наибольшей мере оказалось присуще молодому Петрушевскому. Для начала научной деятельности Петрушевского характерен его усиленный интерес к методологическим проблемам исторической науки, который нашел свое выражение в целом ряде теоретических работ, опубликованных в 90-е — начале 900-х годов[151]). Эти работы характеризуются настойчивыми методологическими поисками молодого ученого, их пронизывает мысль о кризисе, царящем в современной ему науке в связи с обнаружившейся несостоятельностью откровенно идеалистических схем исторического процесса. В поисках выхода из кризиса Петрушевский обращает свое внимание на исторический материализм, обнаруживая в каждой новой статье все большее понимание его действительного места в идеологической борьбе своего времени (что находит свое выражение уже в самой его терминологии: на место понятия «экономический материализм», которым он широко оперировал в первых своих статьях, неправомерно относя его к марксистской теории исторического процесса, приходит подлинно научный термин «исторический материализм»).

Излагая существо материалистической теории исторического процесса Петрушевский обращается к произведениям Маркса и Энгельса, цитируя даже (правда, без обозначения источника) отдельные положения из «Анти-Дюринга». Так, Энгельс указывает, что согласно материалистическому пониманию истории «конечных причин всех общественных изменений и политических переворотов надо искать не в головах людей, не в возрастающем понимании ими вечной истины и справедливости, а в изменениях способа производства и

---

[150]) А. Н. Савин. Заметка о первоначальном накоплении в изобретении Маркса. — «Помощь евреям, пострадавшим от неурожая», СПб., 1901, стр. 442.

[151]) «Новое исследование о происхождении феодального строя» (ЖМНП, 1892, № 12); «О задачах всеобщей истории как науки» («Образование», 1898, № 2); «Тенденции современной исторической науки» (там же, 1899, № 5—6). К этой серии статей тематически примыкает и его введение к «Очеркам из истории средневекового общества и государства», впервые опубликованное в журнале «Научное слово» (1904, № 3), а затем без изменений включенное в издание «Очерков» 1907 г., по которому оно в дальнейшем и будет цитироваться.

обмена; их надо искать не в философии, а в экономике соответствующей эпохи»[152]). Петрушевский это место из «Анти-Дюринга» цитирует таким образом: «...Коренных причин социальных перемен и политических переворотов нужно искать не в головах людей, не в более или менее ясном понимании ими вечной истины и справедливости, а в изменении способов производства и обмена, другими словами, не в философии, а в экономии данной эпохи»[153]).

В этой же работе Петрушевский пишет, что исторический материализм считает экономическую структуру общества его «реальным базисом», на котором надстроено все остальное содержание общественной жизни[154]). Терминология ученого наводит на мысль, что ему было хорошо известно знаменитое предисловие Маркса к «К критике политической экономии», где указывается, что «совокупность.... производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая надстройка...»[155]).

Если в первых своих методологических статьях Петрушевский не видел существенной разницы между историческим материализмом и историческим идеализмом, характеризуя обе теории как равным образом ненаучные и односторонние, то уже в 1899 г. он отмечает, что «несомненно исторический материализм сравнительно с историческим идеализмом является значительным шагом вперед»[156]). Наиболее зрелое для буржуазного ученого понимание материалистической теории исторического процесса Петрушевский обнаруживает в методологическом введении к «Очеркам из истории средневекового общества и государства». Обращает на себя внимание уже то, что если во всех предшествовавших «Очеркам» статьях

---

[152]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2-е, т. 20, стр. 278.

[153]) Д. М. Петрушевский. О задачах всеобщей истории как науки. — «Образование», 1898, № 2, стр. 4. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что эта статья является вступительной лекцией, прочитанной в Варшавском университете. В этой связи уместно будет отметить, что в числе тем курсовых сочинений и семинарских докладов, поставленных Петрушевским в Варшавском университете, фигурируют такие, как ««Социологические основания марксизма Бельтова», «Характеристика доктрины исторического материализма» (см.: А. М. Соколова. Научная и педагогическая деятельность Д. М. Петрушевского. — «Очерки социально-экономической и политической истории Англии и Франции XIII—XVII вв.», стр. 110). Серьезный интерес Петрушевского на рубеже нашего столетия к марксизму, таким образом, отразился и на его преподавательской деятельности, объективно способствуя распространению некоторых марксистских идей среди студенчества.

[154]) Д. М. Петрушевский. О задачах всеобщей истории как науки. — «Образование», 1898, № 2, стр. 4.

[155]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2-е, т. 13, стр. 6—7.

[156]) Д. М. Петрушевский. Тенденции современной исторической науки. — «Образование», 1899, № 5, 6, стр. 79.

центральное внимание уделялось критике исторического материализма, то здесь Петрушевский считает необходимым остановиться главным образом на его заслугах перед общественной наукой. Он подчеркивает, что в противоположность идеализму «исторический материализм отправляется от изучения вполне реальных фактов хозяйственной и социальной жизни данного общества и этим выдвигает на первый план такие стороны исторического процесса, которые до того времени не привлекали к себе надлежащего внимания историков, а между тем чрезвычайно важны для уразумения самого существа исторического процесса. В этом крупнейшая заслуга материалистического направления в общественной науке»[157]).

В «Очерках» Петрушевский приближается к материалистическому решению основного вопроса философии — о соотношении общественного бытия и общественного сознания. Если раньше, в статье «О задачах всеобщей истории как науки» ученый утверждал, что наука вообще не в состоянии решить этот вопрос, то теперь он подчеркивает исключительную плодотворность марксистского учения о происхождении общественных идей, рассматривая его как выдающееся завоевание науки, открывающее новые горизонты в ее развитии, как переворот в науке, видит в этом учении бессмертную заслугу марксизма[158]). Петрушевский подчеркивает, что исторический материализм впервые поставил изучение идей на подлинно научную почву. «Только выяснив предварительно материальную, так сказать, физиономию общества, его экономическую форму, социальные группы, из которых оно состоит, и их взаимные отношения, а также ту политическую форму, которая соединяет все общественные силы в одно государственное целое, — только при этих условиях, — утверждает ученый, — можно приступить к реальному изучению и пониманию идей и настроений данного общества. Это очень важное методологическое приобретение современной общественной науки, и мы им в весьма значительной степени обязаны материалистической историографии; это тот прочный технический результат, который оставили в общественной науке ожесточенные споры об относительном значении материальных факторов и идей в историческом процессе»[159]). Характерно указание Петрушевского на сложность изучения идейной стороны общественной жизни, на закономерную неудачу всех попыток этого изучения без глубокого знания

---

[157]) Д. М. Петрушевский. Очерки из истории средневекового общества и государства. М., 1907, стр. 11.
[158]) Там же, стр. 12.
[159]) Там же, стр. 13.

и понимания материальных условий жизни общества[160]). Под несомненным влиянием марксизма он рассматривает исторический идеализм как течение общественной мысли, безнадежно устаревшее, потерявшее в его время всякое научное значение[161]).

Однако и в этой работе Петрушевский отнюдь не объявляет себя сторонником исторического материализма. Напротив, несмотря на признание огромного плодотворного влияния его на развитие всех общественных наук, Петрушевский прямо заявляет о неприемлемости для него материалистического понимания истории, которое обвиняется в «чисто метафизическом стремлении свести к одному началу все разнообразие общественных явлений в их историческом развитии»[162]).

Аналогичных взглядов придерживался и другой ученик Лучицкого по Киевскому университету В. К. Пискорский. Подобно Петрушевскому, Пискорский подчеркивает большое и плодотворное влияние марксизма на развитие исторической мысли. «...Ни одна теория, — писал он, — не оказала таких огромных услуг исторической науке, как учение о том, что не сознание людей определяет их бытие, а напротив, их общественное бытие определяет их сознание, что во всякую эпоху господствующая форма производства и обмена служит основанием для социального, политического и умственного развития»[163]). Характерным образом именно с марксизмом связывал он возникновение социально-экономического направления в исторической науке, указывая, что учение Маркса заставило историков обратиться к изучению экономической стороны общественного развития[164]).

---

[160]) Там же. Петрушевский далее подчеркивает, что «эту участь испытали все смелые путешественники, пускавшиеся в эту манящую область без достаточных ресурсов, хотя многие из них и возвращались оттуда украшенные литературными лаврами». Может быть, сам того не желая, он выносит тем самым суровый, но вполне справедливый приговор всей буржуазной науке, занимавшейся изучением общественных идей, подчеркивая ее «полное научное фиаско».

[161]) Там же, стр. 19.

[162]) Там же, стр. 10. Показательна в этой связи критика Петрушевским марксистского учения об общественных идеях. Подчеркивая его значение для науки, он тем не менее оказывается на уровне самых вульгарных представлений буржуазной науки о марксизме как учении, отрицающем всякую самостоятельную роль общественных идей и теорий в жизни общества. По его мнению, исторический материализм низводит идеи к «роли простых показателей того, что совершается в нижнем, так сказать, этаже общественного здания, показателей тех скрытых материальных процессов, которые совершаются в глубине общественной жизни, давая ей тот или иной основной тон, то или иное направление» (там же, стр. 13).

[163]) В. К. Пискорский. О предмете, методе и задачах науки всеобщей истории. Казань, 1906, стр. 8.

[164]) Там же.

Однако, как и Петрушевский, Пискорский решительно отмежевывается от исторического материализма. Он подчеркивает его «односторонность», считая необходимым дополнить материалистическую концепцию исторического процесса учением о нравственных идеях как не менее важном факторе общественного развития, чем борьба экономических интересов[165]).

Уже это одно должно предостеречь нас от всяких иллюзий относительно характера отражения марксизма в русской либеральной медиевистике. Даже в лице Петрушевского и Пискорского, более чем кто-либо из числа их коллег, оценивших значение материалистического понимания истории для развития исторической науки, она осталась чуждой марксистской теории общественного развития в главном — в принципиальном признании необходимости руководствоваться открытыми Марксом законами в историческом исследовании.

Более того, новое поколение русских медиевистов, формирование идейно-методологических взглядов которых протекало в условиях назревавшего революционного подъема в стране, проявлявшегося, в частности, и в обострении противоречий между буржуазией и рабочим классом, решительно выступило против марксизма как учения о революционном преобразовании общества. Характерно, что Петрушевский, уделивший в своих методологических статьях столь много внимания историческому материализму, полностью игнорировал эту, главную, сторону учения Маркса. В русской либерально-буржуазной медиевистике все отчетливее выступает сознание классовой чуждости марксизма ее собственным идейно-методологическим позициям. Именно это сознание и делает для нее неприемлемым материалистическое понимание истории в целом, какую бы высокую оценку ни давали ее представители тем или иным его положениям, каким бы пиететом ни окружали они имя Маркса.

Является показательным в этом плане отношение к марксизму одного из крупнейших представителей младшего поколения русских либеральных медиевистов, ученика Виноградова — А. Н. Савина. На протяжении всей своей научной деятельности Савин относился к Марксу и его учению с несомненным уважением, никогда не позволял себе тех грубых выпадов, которые характерны для буржуазной общественной науки в целом. Для него Маркс — основоположник социал-демократии и международного рабочего движения, человек, «который видел существо истории в классовой борьбе и в этой борьбе выступал певцом труда, написал замечательную эпопею новоевропейского и особенно английского проле-

[165]) Там же, стр. 8—9.

тариата»[166]). В марксизме он видит нераздельную теорию исторического материализма и классовой борьбы[167]).

В условиях развернувшегося кризиса буржуазной философии и социологии, в обстановке широкого распространения неокантианства, по существу отрицавшего возможность объективного изучения истории, марксизм привлекал Савина, как и других передовых ученых его времени, как раз своим утверждением объективного характера общественного развития, научно обоснованным убеждением в конечной возможности познания исторических закономерностей, выдвижением на первый план значения материальной стороны исторического процесса. Савин видел в марксизме научную теорию, оказавшую большое и плодотворное влияние на развитие исторической науки. Особенно важное значение в этом плане он придавал 24-й главе т. 1 «Капитала», подчеркивая, что «несомненно Марксу принадлежит самое известное объяснение английской социальной истории нового времени», что взгляды Маркса в этом вопросе «оказали весьма существенное влияние на новейшую историографию»[168]).

И тем не менее Савин выступает одним из наиболее решительных в русской либеральной историографии критиков исторической концепции Маркса — именно потому, что он отчетливо сознает ее революционную направленность. Объектом его критики становится учение Маркса о первоначальном накоплении капитала, но значение ее далеко выходит за рамки полемики с марксизмом по одному, хотя бы принципиально важному вопросу. Фактически, выступая против основных положений марксовой теории первоначального накопления капитала. Савин ведет бой против материалистического понимания истории в целом, и бой этот ведется по главному направлению. Савин стремится не столько поставить под сомнение трактовку Марксом социальной истории Англии XV—XVI вв., сколько дискредитировать революционную сущность всей материалистической теории исторического процесса.

Говоря об отделах «Капитала», посвященных истории Англии в XV и XVI вв., Савин подчеркивает, что «они представляют большой общественный интерес, поскольку в них нашла себе яркое выражение теория исторического материализ-

---

[166]) А. Н. Савин. История Англии в XVII веке. М., 1910, стр. 61.

[167]) А. Н. Савин. Социальная история Англии XV и XVI веков в новой историографии. — ЖМНП, 1901, № 6, стр. 318.

[168]) Там же. Характерным образом это влияние он видит в широких философских перспективах, которые открывает перед исследователем социальной истории Англии 24-я глава т. 1 «Капитала» (см. его «Заметку о первоначальном накоплении в изображении Маркса». — Сб. «Помощь...», стр. 442).

ма и классовой борьбы»[169]). Это обстоятельство и привлекает особенное внимание ученого к 24-й главе, сделавшего ее предметом специального рассмотрения. В своей «Заметке о первоначальном накоплении в изображении Маркса» он прежде всего выступает против учения Маркса о первоначальном накоплении капитала как революционном перевороте в социальных отношениях Англии. Вся его статья направлена на отрицание решающей роли насилия в истории Англии вообще и в аграрной истории XVI в. в особенности.

Характерно, что сам факт наличия в аграрной истории Англии XVI в. коренных сдвигов в распределении собственности, сопровождавшихся насилием, у Савина не вызывает никакого сомнения. Он пишет: «Мы не имеем ни малейшей склонности отрицать значительную роль насилия в социальной эволюции XV—XVI вв. Совершенно несомненно, что в XV—XVI веках произошел крупный переворот в распределении средств производства, положивший основу капиталистическому порядку»[170]). Это положение Савина облекается в плоть и кровь в его «Английской деревне в эпоху Тюдоров», где убедительно показывается, что XVI в. был критическим периодом в истории английского крестьянства, порой, когда особенно тяжело для обычных держателей сказалась их правовая необеспеченность. Аграрная история Англии XVI в. для него — история исчезновения английского крестьянства, история, в которой значительное место отводится прямому насилию. Утверждая, будто «нельзя думать, что обезземеление крестьян было делом чистого насилия», он вместе с тем признает, что «быть может, еще ошибочнее полагать, что ...исчезновение крестьян есть результат мирного и прогрессивного хозяйственного развития... Если даже оставить пока в стороне многочисленные насилия крупных людей и частые нарушения обычая, если не принимать во внимание частую неясность обычая и дороговизну его выяснения, если не касаться вопроса о действительности судебной охраны копигольдеров, то и тогда невозможно вывести судьбу крестьян из одних экономических факторов»[171]). Савин подчеркивает, что XVI в. — это время резкого обострения классовой борьбы в английской деревне, борьбы напряженной и ожесточенной, порожденной новыми экономическими условиями и вызванным ими новым натиском дворянства на крестьян[172]).

---

[169]) А. Н. Савин. Социальная история Англии XV и XVI веков в новой историографии. — ЖМНП, 1901, № 6, стр. 318.

[170]) А. Н. Савин. Заметка о первоначальном накоплении..., стр. 453.

[171]) А. Н. Савин. Английская деревня в эпоху Тюдоров. М., 1903, стр. 205—206.

[172]) Там же, стр. 59, 274, 310, 311, 389 и др.

Казалось бы, подобная трактовка английской действительности XVI в. создавала определенную почву для принятия учения Маркса о первоначальном накоплении; приводившийся Савиным на страницах его книги обильный фактический материал не только не противоречил этому учению, но и в ряде существенных моментов подтверждал его. И все же Савин его решительно отвергает — именно вследствие общефилософской значимости марксистской концепции первоначального накопления, вследствие логически вытекавших из нее революционных выводов. «Есть ли первоначальное накопление простое насилие и ничего более, — спрашивает он. — Мы сталкиваемся здесь с философской стороной дела, с вопросом о правомерности эволюционной и революционной точки зрения в историческом исследовании»[173]). И далее, с сожалением отмечая преобладание «катастрофической» точки зрения в литературе по английской социальной истории XIV—XVI вв., он всем ходом своих рассуждений стремится доказать «неправомерность» революционной точки зрения, что и составляет лейтмотив всей его критики Маркса.

Характерно, что по существу Савин не оспаривает ни одного конкретного положения, выдвинутого в 24-й главе. Огонь его критики сосредоточивается на якобы присущих марксистской концепции аграрного развития Англии схематизме и односторонности. Не пытается Савин спорить с Марксом по существу вопроса даже тогда, когда он начинает говорить о судьбах английского крестьянства в XVI в. Он ни слова не говорит о том, что нарисованная Марксом картина экспроприации крестьян в Англии не соответствует действительности. Тем не менее, он считает возможным отвергнуть следующие отсюда выводы на том основании, что... Маркс не учитывает различия между чистым насилием и экспроприацией крестьян на «законных» основаниях. «И у чистого, «грубейшего» насилия было свое место в перевороте, — признает он. — Но несомненно, что в огромном большинстве случаев мы имеем дело с «организованным», юридическим насилием. В очень важных случаях это был, если угодно, «государственный переворот», т. е. резкое и быстрое уничтожение исконных, вековых юридических норм и хозяйственных отношений... Но самая важная часть процесса «экспроприации», именно обезземеление крестьян, прошла, в общем, без нарушения господствовавших правовых норм и понятий»[174]). С помощью аналогичных аргументов Савин «опровергает» и дру-

[173]) А. Н. Савин. Заметка о первоначальном накоплении..., стр. 453.
[174]) Там же. Эта точка зрения Савина получила свое развитие в «Английской деревне...», где, признавая факт широкого обезземеливания крестьянства, он объясняет его главным образом невыгодно сложившимся для крестьян обычаем.

гие положения марксистского учения о первоначальном накоплении капитала.

Так, в своей борьбе против марксизма Савин обращается, в значительной степени вопреки собственной исследовательской практике, к формально-юридическому методу интерпретации исторической действительности. Совершенно сознательно он подменяет анализ реальных социальных отношений в средневековой Англии описанием их юридических форм, демонстрируя тем самым отказ во имя борьбы с марксизмом от лучших традиций социально-экономического направления в русской либеральной историографии.

Рассмотренный материал позволяет сделать некоторые выводы. Русская либеральная медиевистика в лице своих крупнейших представителей не прошла мимо марксизма. Ее интерес к материалистическому пониманию истории, обнаружившийся в конце 70-х годов, продолжая непрерывно нарастать, достиг апогея в начале 900-х годов, накануне и во время первой русской революции[175]), когда всякое обращение ученого к вопросам методологии истории необходимо заставляло его выразить свое отношение к марксизму. Как и другие отрасли русской буржуазной общественной науки, либеральная медиевистика в силу своей классовой природы оставалась далекой от материалистической теории исторического процесса. Не говоря уже о революционных выводах, которые закономерно следовали из этой теории и были органически неприемлемы для идеологов либерализма, русская медиевистика никогда не могла принять (да и понять по-настоящему) сам материалистический принцип объяснения истории. Более того, она активно вела борьбу против этого принципа, равно как и против всего революционного содержания марксизма. Эта борьба, отразившаяся с наибольшей силой в историко-философских работах Кареева, в той или иной степени была присуща и другим нашим медиевистам, проявляясь либо в их открытой полемике с материалистическим пониманием истории, либо, чаще, в скрытом виде, в собственных методологических и общеисторических взглядах. Тем самым следует признать принципиально недопустимым всякое сближение методологических взглядов русских либеральных медиевистов с марксизмом: ни в одном сколько-нибудь существенном мировоззренческом пункте либеральная медиевистика не могла встать на позиции исторического материализма, не изменив вместе с этим своей классовой природы.

Но не менее ошибочным было бы на этом основании недооценивать значение самого факта несомненного интереса

[175]) Тем самым представляется спорным сближение ее представителей в идейно-методологическом плане с легальными марксистами, которые уже на рубеже XX в. оказались в лагере философской реакции.

наших историков к марксизму как научной теории, объясняющей закономерности общественного развития. За незначительным исключением, русские либеральные медиевисты (и в этом состоит их существенное отличие от большинства их западных коллег) подходили к марксизму как к одному из крупнейших завоеваний человеческой мысли, лежащему на магистральной дороге европейской общественной науки. Именно с марксизмом они, как правило, связывали постановку вопроса о социально-экономической обусловленности политической и идейной жизни общества. Конечно, сведение всей сущности материалистического понимания истории к пресловутой экономической подкладке исторического процесса, к тому же иногда сопровождаемое, как мы это видели на примере Ковалевского, приравнением в научном отношении Маркса к Роджерсу или Штейну, неизмеримо преуменьшало значение того переворота, который сделали Маркс и Энгельс в науке об обществе. Но даже такое поверхностное понимание марксизма, сочетавшееся с признанием научной значимости постановки вопроса об экономической основе общественного развития, объективно означало серьезный шаг вперед в теоретическом осмыслении исторического процесса по сравнению с господствовавшими в это время в буржуазной науке философско-историческими концепциями, благотворно отразившись на методологических позициях русской либеральной медиевистики в целом.

ГЛАВА III

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ФЕОДАЛИЗМА В РУССКОЙ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

За исключением Кареева и, в известной мере, Ковалевского русские либеральные медиевисты не оставили после себя развернутого систематического изложения своих взглядов на характер и движущие силы исторического процесса, его закономерности и другие теоретические вопросы исторического познания, хотя все они живо интересовались методологическими проблемами своей науки, что и нашло отражение в той или иной степени в их опубликованных работах.

В первую очередь их внимание привлекали вопросы, связанные с выяснением природы движущих сил общественного развития, определением их сравнительной роли в историческом процессе. Именно эти вопросы преимущественно становились объектом их специального изучения. Их главные методологические интересы сосредоточивались в сфере теории исторического процесса, создание которой они всегда рассматривали в качестве центральной задачи науки. Методологические искания русских либеральных медиевистов шли в плане поиска (а у некоторых из них и построения) такой исторической теории, которая могла бы обнаружить действительные пружины общественных перемен, осветить коренные закономерности исторического развития.

Поисками такой теории определяется, в частности, их отношение к марксизму, влияние идей которого, как мы видели, наложило некоторый отпечаток на их методологические взгляды. Существенное влияние на формирование их теоретических принципов оказал позитивизм. Однако ни позитивизм, в его чистом виде, ни какая-либо другая философская теория, выработанная западноевропейской буржуазной наукой, не стала безраздельно господствующей в русской либеральной медиевистике. Широко используя различные методологические положения, созданные западной наукой, русские ученые сохраняли известную идейную самостоятельность, стремясь выработать собственные теоретические принципы в освещении истории.

Не представляется, однако, возможным говорить о сложившейся в русской либеральной медиевистике самостоятельной стройной теории исторического развития. Сложный процесс выработки такой теории до 1905 г. далеко не получил своего завершения. Внешним выражением этого обстоятельства явилось отсутствие в русской медиевистике произведения, в котором нашло бы свое место систематическое освещение главных вопросов теории исторического процесса. Правда, уже в 1883 г. появилось двухтомное исследование Кареева «Основные вопросы философии истории», дополненное вскоре третьим томом, посвященным выяснению сущности исторического процесса и роли личности в истории[1]). Однако несмотря на обширные размеры этого труда и то значение, которое придавал ему сам автор, посвятивший специальную работу защите основных положений книги[2]), сколько-нибудь заметного следа в истории науки он не оставил. Объясняется это в первую очередь исходными теоретическими позициями, с которых написана книга. Будучи одним из идеологов либерально-народнической субъективной школы в социологии, Кареев и свою книгу построил на принципах этой школы. Отсюда проистекает неизбежная узость и ограниченность развивавшейся Кареевым теории исторического процесса, центральное место в которой занимала некая абстрактная внеклассовая личность с ее потребностями. Вокруг нее ученый и конструировал свои построения, что необходимо вело к очевидным диспропорциям в отборе и освещении материала. Уделяя чрезмерное внимание одним вопросам (например, так называемым субъективным элементам в философии истории, характеристике которых посвящена вся вторая книга первого тома «Основных вопросов»), он почти не касается или совершенно игнорирует другие, несравненно более важные для понимания общих закономерностей исторического процесса. Так, фактически вне рассмотрения Кареева остались условия, в которых совершается общественное развитие, его объективные закономерности, стадиальность исторического процесса.

Тяжелое впечатление производила на читателя сама манера изложения Кареева, столь отличная от его конкретно-исторических трудов. Бесконечные обширные цитаты (подчас на несколько страниц) из других авторов и самого себя, постоянные повторения, рассмотрение самых различных точек

---

[1]) См.: Н. И. Кареев. Сущность исторического процесса и роль личности в истории (Основные вопросы философии истории, ч. III). СПб., 1890.

[2]) См.: Н. И. Кареев. Моим критикам. Варшава, 1884.

зрения, длиннейшие доказательства общеизвестных истин[3]) — все это также не способствовало популярности книги.

Что касается многочисленных других историко-теоретических работ Кареева, то и они не решили задачи создания теории исторического процесса в русской либеральной историографии. Косвенно признавал это и сам Кареев, утверждая, что «мы не имеем пока даже прочно установленных основ социологии: наука эта находится еще в периоде формирования»[4]). В эти же годы он подчеркивает необходимость создания специальной науки, которая решала бы методологические вопросы в области изучения истории[5]).

Не могли претендовать на удовлетворительное решение указанной задачи и социологические труды Ковалевского, в том числе и его «Современные социологи», — книга, посвященная главным образом критическому рассмотрению различных социологических теорий. И в них мы не находим систематического изложения собственных взглядов ученого на характер исторического процесса, которые в своей совокупности составляли бы стройную позитивную теорию общественного развития.

Некоторые русские ученые прямо считали, что время создания развернутых теоретических схем исторического процесса еще не наступило[6]). Тем не менее всем им без исключения был присущ серьезный интерес к теоретическим проблемам исторической науки, находивший свое выражение не только в работах методологического характера, но и в их научно-педагогической практике, отличавшейся, как правило, широтой постановки вопросов для исследования или лекционного освещения. Бескрылый эмпиризм никогда не был их уделом. Вследствие этого наряду с изучением теоретических работ

---

[3]) Вот один из примеров бесчисленных трюизмов, которыми наполнена книга. Целая глава посвящена доказательству той мысли, что значение отдельных поступков в причинной их цепи и роль отдельных личностей в истории не одинаковы (см.: Н. И. Кареев. Сущность исторического процесса и роль личности в истории. Книга 1, гл. VII, которая так и озаглавлена: «Неравенство действия отдельных личностей»).

[4]) Н. И. Кареев. Основные вопросы философии истории. Т. 1, М., 1883, стр. 25.

[5]) Н. И. Кареев. Идея всеобщей истории. СПб., 1885, стр. 4.

[6]) Характерный пример этого представляют взгляды Лучицкого. Серьезно интересуясь методологическими вопросами исторической науки, он тем не менее считал создание социологии как науки о законах человеческого общества делом неопределенно далекого будущего (см. его статью «Отношение истории к науке об обществе». — «Знание», 1875, № 1). Позже Кареев вспоминал о скептическом и даже прямо неодобрительном отношении Лучицкого к его работе над «Основными вопросами философии истории» (см. его статью «Памяти двух историков». — «Анналы», 1922, № 1, стр. 16).

русских медиевистов большое значение приобретает анализ их конкретно- и общеисторических трудов, а также лекционных курсов. Выбор и обоснование темы работы, круг вопросов, отбираемых автором для исследования или лекционного освещения, принципы их решения, оценка тех или иных исторических фактов, явлений и процессов, общее представление о характере и движущих силах исторического развития, которое может прямо не декларироваться ученым, но тем не менее обязательно присутствует в его проблемных произведениях,— за всем этим стоит целая система определенных теоретических взглядов ученого, пусть и далеко не всегда четко осознаваемая и тем более формулируемая им самим. Отсутствие в русской либеральной медиевистике сложившейся и получившей общее признание теории исторического процесса, несомненные противоречия, имевшие место в методологических позициях отдельных ее представителей, не помешали, однако, выработке некоторых общих принципов в оценке движущих сил и характера исторического процесса.

Характеризуя методологические принципы русской либеральной медиевистики, было бы недостаточным ограничиться простым указанием на исторический идеализм как на их существенное содержание. Не говоря уже о том, что сам термин «исторический идеализм» является чрезвычайно многозначным и в конце XIX в. существовали самые разнообразные идеалистические концепции исторического развития, весьма значительно между собою различавшиеся, методологические взгляды крупнейших русских медиевистов, испытавших определенное влияние материалистического понимания истории, являлись слишком сложными и противоречивыми, чтобы можно было их без остатка свести к какой-либо чисто идеалистической системе. Укажем, в частности, на Ковалевского. Он, конечно, не был материалистом в объяснении общественного развития, но не менее ошибочно было бы утверждать, что его историческая теория целиком покоится на идеалистических основаниях. Достаточно сослаться на его убеждение в зависимости социально-политической организации общества от господствующего в нем способа производства материальных благ. Да и его взгляд на рост плотности народонаселения как на решающую причину экономического прогресса общества, строго говоря, не может быть назван идеалистическим. Определяющей чертой методологических идей русской либеральной медиевистики является эклектизм, присущий всем без исключения ее представителям. Он выражается в причудливом смешении материалистических и идеалистических представлений о характере и движущих силах исторического процесса при наличии общего идеалистического миропонимания.

1. Русская либеральная медиевистика о природе и функциях исторической науки

Методологический эклектизм русской либеральной медиевистики сказался уже на самом ее понимании природы и задач исторической науки. В этой области ярко обнаруживается влияние на ее представителей идей позитивизма, в частности, одного из центральных принципов позитивной философии, ограничивающего возможности познания сферой явлений. «Мы можем познавать только явления, а не их сущность», — с ссылкой на Канта и Конта писал Кареев[7]). Исходя из этого положения, и были сделаны в русской либеральной медиевистике попытки определить задачи и возможности исторической науки в исследовании прошлого.

В наиболее развернутом виде в 70-е годы взгляды на природу исторической науки выразил Лучицкий, горячо отстаивавший мысль о ее описательном характере. Не отрицая в принципе возможность обобщений в исторической науке, основанных на познании законов общественного развития, Лучицкий тем не менее полагал, что в его время эта возможность не может быть реализована в историографической практике. Он дал уничтожающую оценку современной ему историографии как простого набора фактов и их отрывочного исследования, а не науки в подлинном смысле этого слова. Выход из положения ученый видел в последовательной и всеобъемлющей систематизации исторических фактов. Рассматривая в соответствии с позитивистскими канонами жизнь общества в каждый данный момент как продукт взаимодействия различных элементов (факторов), он видел задачу историка в том, чтобы изучить ход развития каждого из этих элементов, установить пройденные им фазы, проследить перемены, которые претерпел этот элемент в своем развитии, особенно настоятельно указывая на недопустимость предпочтительного описания развития какого-либо одного элемента в ущерб другим, подчеркивая необходимость изучения их взаимодействия в историческом процессе[8]).

Формулируя таким образом задачу исторической науки, Лучицкий порывал с метафизическим пониманием исторического процесса как продукта эманации той или иной неизмен-

---

[7]) Н. И. Кареев. Основные вопросы философии истории. Т. II, стр. 378.

[8]) См. его статьи: «Обзор литературы по философии истории за 1872 г.» («Знание», 1873, № 9); «Обзор последних работ по новой истории» («Знание», 1874, № 1, 2); «Историческая семинария Вутке в Лейпциге» («Университетские известия», Киев, 1874, № 2); «Отношение истории к науке об обществе» («Знание», 1875, № 1), а также некоторые рецензии, опубликованные в киевских «Университетских известиях», в частности, в № 8, 9 за 1874 г., № 3, 11, 12 за 1875 г.

ной субстанции, вроде пресловутого «народного духа» или абсолютной идеи, манифестирующейся в истории. Не менее существенным явился отказ Лучицкого от ограничения предмета истории как науки сферой политической жизни, его настойчивое стремление расширить круг сюжетов, подлежащих изучению историка. Проведение этих принципов в историографической практике обогащало эту последнюю, открывало новые возможности в изучении прошлого, что убедительно продемонстрировали труды самого Лучицкого, посвященные гугенотским войнам.

Вместе с тем настойчивое подчеркивание Лучицким описательного характера исторической науки, конечно, имело и свои отрицательные последствия для его собственной историографической практики. Пример этому — исследования Лучицкого по истории религиозных войн во Франции. Ученый проделал колоссальную работу по выявлению и изучению материалов, относящихся к этому сюжету. За каждым высказанным им положением стоят годы напряженного труда, в том числе кропотливых разысканий в провинциальных архивах Франции. Лучицкий сумел значительно уточнить существовавшие в науке его времени представления о характере гугенотских войн. Он не только показал подлинное социальное лицо ведущих группировок обоих лагерей, но и обратил внимание на острую классовую борьбу в каждом из них, подчеркнул ее существенное влияние на ход и исход войн[9]).

Исследования Лучицкого по истории гугенотских войн далеко вышли за рамки тех принципов, которые он сам выдвигал. Чисто описательными их назвать нельзя. Здесь имеет место и авторская оценка излагаемых событий, и известные обобщения сообщаемых фактов, и определенная концепция, в соответствии с которой эти факты рассматриваются. Однако представляется несомненным и другое — достигнутые результаты могли быть значительно выше, если бы на авторском замысле не сказалось позитивистское понимание предмета и задач исторической науки. В предисловии к своей лучшей работе из рассматриваемого цикла он прямо заявляет: «Исследование, начало которого представляется на суд публики, принадлежит к роду работ чисто описательного ха-

---

[9]) О значении работ Лучицкого по истории гугенотского движения см.: К. Б. Шустерман. Проблемы религиозных войн во Франции в XVI в. в освещении И. В. Лучицкого. — «Ученые записки Хабаровского государственного педагогического института», т. III, Магадан, 1958; Б. Г. Вебер. Происхождение религиозных войн во Франции в освещении И. В. Лучицкого. — «Французский ежегодник 1958», М., 1959; Б. Г. Могильницкий. И. В. Лучицкий о роли народных масс в религиозных войнах во Франции XVI века. — Сб. «Методологические и историографические вопросы исторической науки», Томск, 1963.

рактера, единственно возможного в настоящее время в том отделе знаний, которому автор посвятил свои силы»[10]).

Излагая далее цели своей книги, Лучицкий видит их лишь в подготовке материала «для будущих обобщений» в возникающей новой науке — социологии. В связи с этим он и определяет главный предмет своего исследования — описание строя французского общества второй половины XVI в. и его функций в статическом и динамическом отношениях[11]). Совершенно вне рассмотрения Лучицкого остается целый комплекс вопросов, связанных с выяснением предпосылок гугенотских войн, исследованием объективных причин, вызвавших их к жизни. Создается впечатление, что отыскание причинной связи в цепи событий и явлений общественной жизни Франции XVI в. не вызывает его научного интереса. Вслед за Контом он уделяет главное внимание исследованию самого явления как такового, обстоятельств, при которых оно возникло, но не причин, обусловивших его возникновение. Естественно, что при таком подходе само явление не может получить исчерпывающего по своей глубине освещения. Так произошло и с религиозными войнами в освещении Лучицкого. Несмотря на проделанную ученым огромную работу, ему не удалось создать цельную по своей законченности картину этого крупнейшего в позднесредневековой Франции явления, определить его действительное место в истории. Случилось это в первую очередь потому, что в его изображении гугенотские войны оказались лишенными своей материальной основы, своей тесной связи с развитием феодальной экономики. Он искусственно изолирует развернувшуюся во Франции второй половины XVI в. социально-политическую и религиозную борьбу от экономического развития страны, от тех глубоких сдвигов, которые происходили в феодальном хозяйстве в условиях начавшегося процесса первоначального накопления. Тем самым и действия различных социальных сил в период войн, в особенности поведение гугенотского дворянства, далеко не всегда получают в трудах Лучицкого убедительное разъяснение.

Взгляды Лучицкого на предмет и задачи исторической науки в определенной степени были характерны для русской либеральной медиевистики 70—80-х годов, т. е. того времени, когда с особенной силой на ее теоретических принципах сказывалось влияние позитивизма. Укажем в этой связи на Кареева, сосредоточившего с начала 80-х годов свое главное внимание на методологических проблемах исторической на-

[10]) И. В. Лучицкий. Католическая лига и кальвинисты во Франции. Опыт истории демократического движения во Франции во второй половине XVI вв. (по неизданным источникам). Т. 1, Киев, 1877, стр. 1.

[11]) Там же.

уки. Мы увидим далее известные различия во взглядах Лучицкого и Кареева на задачи исторической науки, но в главном оба ученых были едины — для обоих история по самой своей природе является в первую очередь наукой описательной. Такое понимание природы исторической науки получает у Кареева развернутое теоретическое обоснование. Он констатирует два типа наук — феноменологические, имеющие дело с определенными феноменами, явлениями, и номологические, имеющие дело с общими законами, управляющими этими явлениями[12]).

К первому типу наук Кареев относит и историю, задачи которой сводятся им к простому описанию явлений и установлению их взаимосвязи. Он прямо подчеркивает, что в истории возможно только «простое эмпирическое обобщение через простое перечисление», которое никогда не даст и не может дать знания законов общественного развития[13]). Более того, логически развивая свою мысль, Кареев приходит к выводу об отсутствии исторических закономерностей вообще. Этот вывод основывается на убеждении в неповторяемости исторических явлений. Понимая под законом выражение постоянного отношения между двумя одновременными или последовательными явлениями, Кареев подчеркивает, что о нем может идти речь лишь в науке, имеющей дело с рядом повторяющихся в неизменной связи однородных явлений. Что же касается исторических законов, то их он относит «к области химер, вроде философского камня» на том именно основании, что «история есть процесс, состоящий из последовательной смены явлений, которые даются нам лишь один раз в данной совокупности; другими словами, исторические факты не повторяются, они вполне индивидуальны»[14]).

Подобные рассуждения невольно наводят на мысль о близости взглядов Кареева по данному вопросу с фрейбургской школой неокантианцев, с характерным для нее противопоставлением наук индивидуализирующих и генерализирующих[15]). Однако при наличии ряда несомненно общих момен-

---

[12]) Н. И. Кареев. Основные вопросы философии истории. Т. 1, стр. 106. Нетрудно заметить сходство этой схемы с контовской классификацией наук, в которой абстрактные науки соответствуют кареевским номологическим, а конкретные — феноменологическим.

[13]) Там же, стр. 132.

[14]) Н. И. Кареев. Основные вопросы философии истории, т. 1, стр. 113.

[15]) Так, в частности, полагал В. П. Бузескул, указывая, что своей классификацией наук Кареев предвосхитил идею Виндельбанда-Риккерта (см.: В. П. Бузескул. Всеобщая история и ее представители в России в XIX — начале XX вв., ч. 1, стр. 160). «Лет за 10 до Виндельбанда, — пишет здесь Бузескул, — Кареев уже, устанавливал различие между двумя категориями наук, по его терминологии, — между номологическими

тов (признание чисто описательного характера исторической науки, отрицание повторяемости общественных явлений и т. п.) взгляды Кареева по главному гносеологическому вопросу — о возможностях познания — принципиально отличаются от неокантианских. В частности, ему, как и большинству его коллег, не было присуще характерное для неокантианцев противопоставление естественных и общественных наук. Ни Кареев, ни тем более Лучицкий никогда не ставили вопрос в той плоскости, которая была типична для школы Виндельбанда—Риккерта и которая заключалась в утверждении коренного различия между характером познания в области естественных и общественных явлений.

Особенно определенно на этот счет высказывается Лучицкий. Критикуя немецкого неокантианствующего историка Генне Ам-Рина за его классификацию наук, построенную на противопоставлении естественным наукам гуманитарных (наук о духе), он решительно отвергает существование резкой грани, которая разделяет явления духа от явлений природы и ставит их в противоречие[16]). В главной своей теоретической работе тех лет Лучицкий ведет прямую полемику с защитниками взгляда, противопоставляющего общественные науки естественным, высказывая твердую уверенность в существовании законов в истории и в принципиальной возможности их познания[17]).

Был далек от отрицания закономерностей общественной жизни и Кареев, подобно Лучицкому, не видевший в этом отношении принципиального отличия мира социальных явлений от природы. «В природе и истории, — писал он, — конечно, все закономерно, все подчинено известным постоянным и неизменным отношениям»[18]). Однако, подчеркивая, что в общественной жизни все подчинено закономерности, он в то же время утверждал, что эта закономерность по своему характеру является не исторической, а психологической и социологической. Лишь в психологии и социологии существуют законы, с помощью которых, по его мнению, и возможно только объяснение истории[19]).

и феноменологическими, по Виндельбанду, — номотетическими и идеографическими». Однако при этом не учитывается, что сам принцип классификации у Кареева был иной, не имея ничего общего с характерным для неокантианцев противопоставлением наук общественных и естественных.

[16]) И. В. Лучицкий. Обзор литературы по философии истории за 1872 г. — «Знание», 1873, № 9, стр. 70.

[17]) И. В. Лучицкий. Отношение истории к науке об обществе. — «Знание», 1875, № 1, стр. 3—5.

[18]) Н. И. Кареев. Основные вопросы философии истории. Т. 1, стр. 114.

[19]) Там же, стр. 114—134.

Следует оговориться, что отрицание Кареевым исторических законов и исторической закономерности в значительной степени идет в русле его борьбы с метафизическими представлениями о вечных и неизменных законах, управляющих историей и предполагающих весь ее ход. Он высмеивает распространенный в идеалистической науке взгляд о том, что весь всемирно-исторический процесс совершается по единому, заранее заданному плану, справедливо критикуя Конта за его положение, будто история управляется одним основным законом[20]). В этой критике метафизических взглядов на историю присутствовало, несомненно, известное рациональное зерно. Метафизический «общий план истории», абсолютные законы, являвшиеся продуктом чисто логических спекуляций, не говоря уже об откровенно теологических взглядах на общество и его развитие, омертвляли живую ткань истории, делали невозможным познание всего ее подлинного многообразия. Не случайно поэтому Кареев, имея в виду пресловутые вечные принципы метафизического происхождения, утверждал, что «исторические законы — могила истории»[21]). Однако значение борьбы Кареева с метафизическим пониманием общественного развития сводилось на нет его отрицанием собственно исторических закономерностей, подменой их закономерностями из сферы психологии и социологии. Тем самым объективно принижалось значение исторической науки и ее специфических возможностей в познании мира общественных явлений. Она низводилась до уровня своего рода вспомогательной дисциплины для общественных наук высшего ранга — психологии и социологии. «Задача науки, — писал Кареев об истории, — констатировать факты, приводить их в причинную связь, обнаруживать между ними существенные, сводить их к общим формулам и объяснять их психологическими и социологическими законами, открытыми совсем иным путем в науках номологических»[22]).

Такое понимание природы исторической науки являлось естественным следствием общих взглядов Кареева на содержание исторического процесса. Отказывая ей в собственных законах, Кареев выражал тем самым свой взгляд на действительную историю как на такое сложное переплетение явлений духовной и общественной жизни отдельного человека и людских агрегатов[23]), которое в лучшем случае поддается лишь простому обобщению. Признавая, что история народов состоит из целой массы закономерных процессов, находящихся в разнообразных комбинациях взаимодействия, ученый

[20]) Там же, стр. 114—115.
[21]) Там же, стр. 142.
[22]) Там же, стр. 133—134.
[23]) См., в особенности, там же, стр. 113, 229.

тем не менее заявляет, что в своем целом она представляет собою смену явлений, следующих друг за другом неодинаковым образом в каждом отдельном случае, почему и нельзя говорить об исторической закономерности вообще[24]).

Отрицание исторической закономерности, которой противопоставлялась закономерность психологическая и социологическая, было органически связано у Кареева с надуманным противопоставлением сферы исторических фактов миру явлений духовной и общественной жизни, неправомерным отрывом последнего от первой. Только благодаря этому и оказалось возможным причудливое сочетание утверждения о том, что все в истории закономерно с отрицанием исторической закономерности. Здесь с особенной силой сказалась субъективно-идеалистическая основа мировоззрения Кареева, ибо в конечном счете все его рассуждения о предмете и задачах истории исходят от признания индивидуума фокусом всего исторического процесса. Вся история у него сводится к сознательной деятельности личности, ее интересам и стремлениям, рассматриваемым большей частью в отрыве от ее социального положения. «Личность — единственный фактор истории», — утверждает Кареев[25]). И если здесь он еще отмечает «некоторые общие условия» (природа, раса, культура), вносящие в деятельность народа известное общее направление[26]), то в других местах его книги уже без всяких обиняков человек провозглашался демиургом истории, сознательно творящим ее в своих целях[27]).

Усматривая в личности «единственный фактор истории», Кареев, естественно, и законы общественного развития стремился отыскать в ней самой, в свойствах человеческой природы. Он прямо заявляет, что вне отдельных причин отдельных человеческих действий, вне индивидуальных характеров

---

[24]) Там же, стр. 114.

[25]) Там же, т. 1, стр. 155.

[26]) Ср. там же, т. II, стр. 75—76, где Кареев усматривает сущность исторического процесса во взаимодействии личности и «надорганической среды» (т. е. духовной культуры и социальной организации общества), которую опять-таки сводит к психологическому взаимодействию людей.

[27]) «Все изменения в политике, праве, экономических отношениях, — утверждал он, — вышли из сознания индивидуума, выраженного в формуле: «Не я существую для них, а они для меня; следовательно, не я должен к ним прилаживаться, а они ко мне» (там же, т. II, стр. 275). Расшифровывая эту формулу, Кареев рисует совершенно фантастический образ человека — сознательного творца всех социальных форм, способного «приладить общество к своим целям», подчинить себе созданные естественным развитием экономические отношения, свободно пересоздавать социальные формы в нужном ему направлении и т. п. — и все это в силу одной только работы его сознательной мысли. Не случайно роли личности в истории он посвятил специальный (3-й) том своих «Основных вопросов...».

нет факторов, обусловливающих деятельность людей[28]). Отсюда и вытекало выдвижение на первый план в объяснении истории данных психологии, стремление отыскать в психологических законах ключ к пониманию общественного процесса. Отсюда же и сведение всего многообразия тенденций исторического развития к человеческой природе как к их первоисточнику[29]).

Стремление находить в свойствах человеческой природы отправной момент для понимания истории, в котором, несомненно, отразилось влияние позитивистской социологии (социальный биологизм Спенсера), заслуживает особого внимания ввиду его широкого распространения в русской либеральной историографии 70—80-х годов. Его горячим приверженцем выступал, в частности, молодой Лучицкий. Уже в юношеской своей работе, написанной с ортодоксально-позитивистских позиций, он утверждал, что «всякое изучение социальных явлений зависит от предварительного изучения человеческой природы. Данные, выработанные наукою о человеке, должны составлять необходимую исходную точку в изучении социальных явлений, и первоначальные явления социальной жизни должны быть выведены путем прямой дедукции из биологической теории человека»[30]).

Высказанные здесь мысли получили свое развитие в последующие годы, составив, в частности, важное звено в цепи рассуждений Лучицкого о теоретических основах исторической науки, высказанных в статье «Отношение истории к науке об обществе». С большой настойчивостью он проводит мысль о важности приложения к социальным явлениям биологических законов, о невозможности создания социологии без изучения законов человеческой природы и т. п. Он прямо подчеркивает, что каждый индивидуум во всех своих действиях подчинен некоторым общим законам, открытие которых составляет предмет и задачу биолога. Отметив, что вступая в общество, индивидуум является важнейшим деятелем в нем, ученый продолжает: «Следовательно, законы его природы, законы действий и страстей его будут необходимо и должны быть и законами самого общества»[31]).

---

[28]) Н. И. Кареев. Сущность исторического процесса и роль личности в истории, стр. 292.

[29]) Н. И. Кареев. Основные вопросы философии истории. Т. 1, стр. 229. Ср. там же, стр. 153, где подчеркивается зависимость хода истории от биологического прогресса видовой жизни человека.

[30]) И. В. Лучицкий. Адам Фергюсон и его историческая теория. — «Университетские известия», Киев, 1868, № 11, стр. 35. Ср. стр. 36—37, где утверждается, что критерием истинности законов развития общества являются «всеобщие законы человеческой природы».

[31]) И. В. Лучицкий. Отношение истории к науке об обществе. — «Знание», 1875, № 1, стр. 21.

Нельзя, таким образом, не видеть принципиального совпадения взглядов Лучицкого и Кареева по важным вопросам, относящимся к области понимания природы общественного развития и путей его изучения[32]). С известными основаниями можно считать эти взгляды характерными для всей русской либеральной медиевистики 70—80-х годов. Правда, остальные ее крупные представители не выступали в эти годы с развернутым изложением своих теоретических принципов, почему мы и вынуждены были ограничиться рассмотрением по этому вопросу мыслей Кареева и Лучицкого. Однако не будет ошибкой предположить, что и они в той или иной степени разделяли вышеизложенные взгляды. За это в определенной мере говорят их позднейшие работы, в которых так или иначе затрагивались историко-теоретические проблемы. Так, социальный биологизм Спенсера нашел свое выражение во взглядах Виноградова на общество, которое он уподоблял биологическому организму[33]).

Особенный интерес в этом отношении представляют взгляды Ковалевского, пытавшегося совместить психологическую и экономическую точки зрения в интерпретации истории общества. Ковалевский утверждал возможность для социологии заимствования основных ее посылок из психологии, указывая, в частности, на значение психологических законов (например, закона открытия и подражания для понимания роли личности в истории, генезиса общественных структур и т. д.[34]). Он подчеркивал, что психологическое объяснение истории вполне совместимо с признанием экономического влияния на общественное развитие на том основании, что сами экономические явления психически обусловлены, вызываются к жизни определенными запросами и чувствованиями. Каждое экономическое явление, продолжает ученый свою мысль, обладает двойственной природой, будучи материальным по своим последствиям и духовным в своем базисе[35]). Отдал Ковалевский известную дань и биологизму в интерпретации истории, хотя и утверждал в полемике со Спенсером, что

---

[32]) Точки соприкосновения их взглядов могут быть продолжены и далее. Подобно Карееву Лучицкий, в частности, подчеркивал огромное значение в истории психологических законов, на основании которых он считал возможным вывести законы социальных явлений и их развития (там же, стр. 22).

[33]) См.: П. Г. Виноградов. О прогрессе. М., 1898.

[34]) М. М. Ковалевский. Современные социологи, стр. 9. В то же время он решительно отмежевывался от так называемой психологической школы в социологии, показывая несостоятельность попыток ее представителей—француза Тарда и американца Гиддинса—построить социологию исключительно на законах психологии и подчеркивая необходимость для социологии иметь собственные законы (см. отдел I его книги).

[35]) Там же, стр. 305—307.

данные биологии не могут быть целиком переносимы в сферу обществоведения[36]).

Биопсихологизм в объяснении истории, несомненно, составляет одну из наиболее слабых сторон методологических взглядов русских либеральных медиевистов. Он, как это мы видели на примере Кареева, легко смыкался с историческим агностицизмом, а в сфере идейно-политической мог служить обоснованием для самых реакционных выводов (вспомним виноградовскую лекцию «О прогрессе»). Апелляция к законам человеческой природы, равно как и психологическое объяснение истории, в целом не только не способствовала пониманию общественного развития, но и в большой мере препятствовала ему, отвлекая внимание ученых от исследования собственно исторических закономерностей. Глубокое изучение самого исторического процесса, объяснение его конкретного течения внутренними закономерностями, присущими самой истории, подменялось обращением к сюжетам, без сомнения важным, но являвшимся, по существу, вторичными по сравнению с исторической жизнью общества, производными от нее.

Увлечение биопсихологическим объяснением истории необходимо вступало в противоречие с имевшимися в русской либеральной медиевистике попытками раскрыть значение социально-экономических отношений в общественном процессе, как бы Ковалевский ни пытался доказать совместимость психологической и экономической точек зрения в объяснении истории. В условиях последней четверти XIX в. не старомодный идеализм, открыто провозглашавший идею творцом истории, а именно биопсихологизм — гораздо более утонченная форма идеалистического мировоззрения — становится главным противником материалистического понимания истории. Он делается излюбленным знаменем буржуазной, а впоследствии и ревизионистской критики марксизма. С конца прошлого столетия и вплоть до наших дней исписаны многие тысячи страниц, на которых на всякие лады проповедовалась необходимость «обогащения» материалистического понимания истории за счет дополнения его данными биологии и психологии. Посильный вклад в эту кампанию внесли и русские медиевисты, в особенности Кареев и Ковалевский. Не случайно последний признавал исторический материализм плодотворным методом в области социальных исследований при условии «обогащения» его так называемой психологической точкой зрения объяснения истории.

Вместе с тем важно подчеркнуть, что биопсихологизм русских медиевистов оставался главным образом в сфере их

[36]) М. М. Ковалевский. Социология и социологи. — Сборник в пользу недостаточных студентов Московского университета, М., 1897, стр. 3.

теоретических воззрений. Нельзя назвать ни одну более или менее значительную работу, в которой предпринималась бы попытка его воплощения в историографической практике. Напротив, в их конкретно-исторических трудах объектом исследования выступают, как правило, социально-экономические отношения. Не всегда это исследование отличалось последовательным проведением социально-экономической точки зрения в освещении исторических событий, нередко в подходе к самим экономическим отношениям обнаруживается юридическая узость. Однако нельзя привести ни одного примера, когда бы при рассмотрении того или иного значительного социального явления в своих конкретно-исторических работах наши медиевисты обращались в первую очередь к его психологическому обоснованию или руководствовались свойствами человеческой природы.

Это во многом объясняется присущим всем русским либеральным медиевистам своеобразным реализмом в научном исследовании. Как в своих общих исторических трудах, так и в специальных исследованиях они предпочитали опираться на твердую почву исторических фактов, отражавших вполне определенные отношения в сферах экономической, социальной, политической жизни общества. Здесь не оставалось места зыбким построениям, основанным на проникновении в значительной степени остававшемся интуитивным, в психическое состояние изучаемых социальных объектов как главном способе исторического познания.

Понимание природы и задач исторической науки не оставалось в русской либеральной медиевистике неизменным на протяжении всего интересующего нас периода. Известные сдвиги в этом отношении можно проследить у некоторых представителей старшего поколения медиевистов, в особенности у Лучицкого. Начав с решительного утверждения описательного характера исторической науки, Лучицкий по мере ослабления на него влияния идей Конта существенным образом изменяет свои прежние представления о ее возможностях. Правда, со второй половины 70-х годов киевский ученый перестает выступать с развернутым изложением своих методологических воззрений. Тем не менее и в это время он достаточно определенно высказывает свое понимание задач исторической науки. Особенно интересны в этом отношении его довольно многочисленные рецензии на труды русских и зарубежных ученых, которые, как правило, далеко выходили за рамки простого пересказа и оценки соответствующих работ.

О требованиях, которые стал предъявлять Лучицкий к историку, свидетельствует его рецензия на книгу Пискорского «Кастильские кортесы в переходную эпоху от средних

веков к новому времени». Давая высокую в целом оценку этой работы как серьезному вкладу в историографию вопроса, Лучицкий вместе с тем подробно останавливается на ее недостатках. В первую очередь он указывает на описательный характер книги. Автор, пишет он, «дает нам лишь анализ или точнее описание изменений в роли кортесов и почти оставляет без подробного изучения другую сторону вопроса, каковы же были те коренные причины, которые повели к изменениям как в организации, так и в компетенции кортесов»[37]). Показательна сама постановка Лучицким вопроса о необходимости для историка доискиваться коренных причин изучаемых явлений. Он проводит резкое разграничение между такими причинами, являющимися, по его мнению, скрытыми пружинами всех важнейших исторических явлений и процессов, и внешними симптомами, лежащими на поверхности общественного развития. Не менее показательно и его твердое убеждение в том, что эти причины следует искать в сфере социально-экономических отношений. Именно с таких позиций Лучицкий рассматривает вопрос о причинах упадка средневековых испанских кортесов в изображении Пискорского. Он отмечает, что причины, на которые автор указывает мимоходом как на главные — усиление королевской власти, рецепция римского права, недостатки в организации кортесов и т. п.,—в действительности не способны выяснить вопрос. «Все указываемые им явления, — продолжает он, — суть скорее симптомы происходящих изменений, чем действительные коренные причины, вызвавшие эти изменения. Мы думаем, что их следовало бы искать в социальном и экономическом строе Кастилии, в изменениях, происходивших в сословных группах, в их взаимных отношениях»[38]).

Требуя от историка выяснения «коренных причин» общественного развития, которые усматривались им в социально-экономических отношениях[39]), Лучицкий в то же время в работах 80—90-х годов совершенно не упоминает о необходимо-

---

[37]) «Университетские известия», Киев, 1898, № 4, стр. 4. Рецензия написана совместно с Ф. Фортинским.

[38]) Там же. Отметим, что и рассматривая средневековое рабство, Лучицкий указывает на экономические причины, его создавшие (См.: «Университетские известия», Киев, 1886, № 11, стр. 192—193).

[39]) Помимо цитированных, следует назвать еще целый ряд критических статей Лучицкого, в которых утверждается значение социально-экономических отношений как главного объекта историографии. См. его обзор учебников по истории средних веков Н. Осокина и А. Трачевского («Университетские известия», Киев, 1889, № 11), рецензию на «Описание старой Малороссии», А. Лазаревского (там же, 1889, № 12), отзыв о сочинении Е. Тарле «Общественные воззрения Т. Мора в связи с экономическим состоянием Англии его времени» (там же, 1901, № 12) и т. д. Сюда же примыкают его «Очерки развития исторической науки в Швеции» (там же, 1885, № 4, 5) и некролог Роджерса («Юридический вестник», 1891, № 2).

сти для ученого руководствоваться в своих изысканиях законами человеческой природы или социальной психологии.

Существенные сдвиги в представлениях Лучицкого о природе и задачах исторической науки нашли свое выражение и в его историографической практике. При этом важен не только и даже не столько сам факт обращения ученого, начиная с 80-х годов, к изучению социальных отношений в различных странах Европы, главным образом в эпоху упадка и разложения феодализма. Аналогичные сюжеты нередко привлекали и привлекают научный интерес историков, далеких от социально-экономической интерпретации общественного развития, которые обращались и обращаются к их изучению вследствие соображений иного порядка, в частности, в силу распространенного в буржуазной историографии мнения об их относительной простоте, оставаясь при этом, подобно, например, Лампрехту, убежденными сторонниками того же самого психологического объяснения истории. В отличие от этого обращение Лучицкого к исследованию социально-экономических отношений определялось прежде всего тем соображением, что именно они составляют главный предмет исторической науки. Уже в 1883 г., издавая со своими дополнениями т. 1 «Истории нового времени» Э. Зеворота. Лучицкий относит себя «к последователям того направления в науке, которое ставит на первом плане историю общественного строя, учреждений, экономических отношений и т. д.»[40]). В соответствии с этим, издавая книгу Зеворта, представлявшую собою главным образом изложение внешнеполитической истории Западной Европы в XVI—XVIII вв., Лучицкий написал для нее ряд глав, посвященных обзору экономической жизни европейских народов в эти столетия.

Еще более определенно Лучицкий формулирует свои взгляды на задачи исторической науки в одной из позднейших работ, посвященной ликвидации феодальных отношений в Буковине[41]). Непосредственному рассмотрению вопроса он предпослал небольшое вступление, в котором и нашли свое отражение его взгляды на значение изучения социально-экономической истории для понимания всего общественного развития. Лучицкий выражает здесь свое убеждение, что «историю сверху» можно создать лишь путем детального и серьезного изучения «истории снизу», т. е., поясняет он, изучением «истории каждой социальной группы в каждой отдельной стране, изучением их с точки зрения, главным образом, эко-

[40]) См.: Э. Зеворт. История нового времени (XVI—XVIII ст.). Перевод под редакцией и с дополнениями И. В. Лучицкого. Киев, 1883, стр. II.

[41]) И. В. Лучицкий. Крестьяне и крестьянская реформа в восточной Австрии. — «Киевская старина», 1901, № 3, 5.

номических условий их существования и развития»[42]). Ученый подчеркивает, что историко-экономические исследования из той зависимой роли, какую они играли ранее, будучи в лучшем случае лишь фоном, на котором историки расписывали свои арабески, стали одним из самых существенных условий понимания общественного развития[43]).

Эволюция представлений Лучицкого о природе и задачах исторической науки не была характерна для старшего поколения либеральных медиевистов, стремившихся сочетать в своих теоретических взглядах биопсихологизм и так называемый экономизм в объяснении законов развития человеческого общества. Скорее ее можно считать показательной для тех воззрений на задачи исторической науки, которые утверждаются среди младшего поколения русских медиевистов. В первую очередь речь идет о сознательном отказе его представителей от всяких попыток биопсихологической интерпретации исторического процесса. В трудах Петрушевского и Пискорского, Савина и Виппера отсутствует сама постановка вопроса об этом, что нам представляется связанным с падением в 90-е годы влияния позитивистских идей в русском либеральном обществе; формирование теоретических взглядов младшего поколения русских либеральных медиевистов проходило, как мы видели, в существенно иной, чем у их старших коллег, общественной и научной атмосфере. В частности, в той или иной степени в них отразился кризис традиционных представлений буржуазной историографии о задачах и самой природе исторической науки.

Атмосфера кризиса буржуазной исторической мысли особенно ощутимо выступает в ранних теоретических работах Петрушевского. Об этом кризисе Петрушевский говорит буквально на первой же странице одной из первых своих методологических статей. Указывая, что каждый историк должен составить себе определенное теоретическое представление о развитии общества, уметь найти единственно верные ответы на вопросы, выдвигающиеся самой жизнью, он продолжает: «Никогда, может быть, ответы эти не были так разнообразны, никогда, может быть, не было такого разногласия в общественных взглядах, как в настоящее время. Общественные теории, принципы и символы веры, некогда так просто и понятно объяснявшие общественные явления, сообщавшие теоретическую стройность и практическую ясность общественному мировоззрению, ходом жизни и науки подорваны в самом корне»[44]).

[42]) Там же, № 3, стр. 313.
[43]) Там же, стр. 313—314.
[44]) Д. М. Петрушевский. О задачах всеобщей истории как науки. — «Образование», 1898, № 2, стр. 1.

С начала и до конца проникнутые сознанием кризиса современной Петрушевскому буржуазной исторической мысли, эти статьи, однако, не были пессимистичными по самому своему существу. Их пронизывала горячая авторская убежденность в возможности преодоления кризиса путем выработки действительно научных основ общественного познания. С этих позиций Петрушевский и подходит к определению задач исторической науки. Не простое описание исторических фактов, а раскрытие законов, согласно которым происходит развитие общества, — такова, с точки зрения Петрушевского, задача исторической науки. Словно полемизируя с распространенным ранее в русской либеральной историографии представлением о возможностях исторической науки, он пишет: «Ограничиться одним критическим анализом исторических свидетельств и простым пересказом событий история не может. Она необходимо должна изучать самый общественный процесс в конкретной форме отдельных обществ в их историческом развитии, имея своей конечной целью выяснение законов развития человеческого общества»[45]).

Заслуживают внимание соображения Петрушевского о соотношении между историей и социологией. В противоположность взглядам раннего Лучицкого, отводившего истории роль своего рода вспомогательной дисциплины при социологии, Петрушевский решительно подчеркивает самостоятельность исторической науки. Представляет несомненный интерес в этой связи его критика позитивистской социологии. Он утверждает, что «рожденная позитивизмом социология» является в сущности суррогатом общественной науки[46]). Петрушевский резко критикует методы построения социологических законов, критикует как раз за то, что безоговорочно принималось и пропагандировалось старшим поколением русских либеральных медиевистов. Обвиняя позитивистскую социологию в догматизме и схематизме, он, в частности, указывает, как на один из ее наиболее существенных недостатков, на то обстоятельство, что в своих построениях она находит «возможным руководствоваться общими соображениями и аналогиями психологического или органического характера»[47]).

Но главный порок современной ему буржуазной социологии Петрушевский видит в ее антиисторизме, игнорировании данных истории в своих построениях. Именно отсюда, по его мнению, и происходит социологический догматизм. Единственный путь его преодоления Петрушевский видел в установлении тесной связи между социологией и историей. С его

[45]) Д. М. Петрушевский. Тенденция современной исторической науки. — «Образование», 1899, № 5—6, стр. 77.
[46]) Там же, стр. 80.
[47]) Там же, стр. 76.

точки зрения, только путем строгого всестороннего анализа конкретных явлений общественной жизни во всей их индивидуальности возможны действительно серьезные обобщения в науке о человеческом обществе и законах его развития. Только исторический подход, исторический метод изучения общественных явлений может превратить социологию в действительную науку. Называя социологию наукой будущего, Петрушевский утверждает, что «только через историю социология, как наука, и получит свое бытие, только от истории она и может получить плоть и кровь и перестанет быть системой бледных абстракций, принимающих во внимание уж очень общие стороны явлений, явлений вовсе не изученных в своей сложной и живой индивидуальности. Только история, благодаря выработанным ею строгим приемам научного исследования, может вполне научно поставить и решить социологические проблемы, подходя к их решению осторожно, путем специальных частных изысканий»[48]).

Постановка Петрушевским вопроса о задачах исторической науки и ее соотношении с социологией представляла собой, бесспорно, известный шаг вперед по сравнению с взглядами, преобладавшими среди старшего поколения русских либеральных медиевистов. В ней нашло отражение стремление известной части буржуазных ученых извлечь определенные позитивные уроки из борьбы марксизма против идеалистического понимания истории. Не случайно, что свои мысли на этот счет он высказывал в тех же самых статьях, где формулировал свое отношение к историческому материализму и историческому идеализму, подчеркивая превосходство первого над вторым. Нельзя не видеть рациональное зерно в стремлении Петрушевского доказать, что подлинно научная социология может быть построена только на данных истории. В самом деле, одна из существенных причин неудачи построения так называемой положительной социологии, неудачи, которая в конце XIX — начале XX вв. была признана значительной частью буржуазных ученых, заключалась в намеренном игнорировании основоположниками позитивизма возможностей исторической науки в раскрытии закономерностей общественного развития, в их попытках построения своих систем на данных каких угодно наук — и естествознания, и психологии, и этнографии, — кроме истории[49]). В лучшем

---

[48]) Д. М. Петрушевский. О задачах всеобщей истории как науки.— Там же, 1898, № 2, стр. 6—7. Аналогичный ход мыслей см. в его «Тенденциях современной исторической науки» (там же, 1899, № 5—6, стр. 76—77).

[49]) Об отношении основоположников позитивизма к истории дает представление следующее характерное признание Спенсера: «Я не люблю того, что называют историей и предпочитаю социологию, которая относится к ней, как обширное здание относится к грудам камня и брикета, свален-

случае они отводили истории роль поставщика материалов для иллюстрации тех или иных социологических обобщений. Даже отвлекаясь от других пороков позитивизма, уже это одно принижение роли истории предопределило несостоятельность всех позитивистских социологических конструкций. Игнорирование специфики исторического развития, попытка втиснуть все его многообразие в прокрустово ложе априорных схем, построенных на данных других наук, — все это неизбежно мстило за себя. «Великие законы» Конта и подобные им позитивистские догмы не только не были в состоянии сослужить действенную службу историкам в их исследовательской практике, но и оказались несостоятельными в сфере чисто социологической, будучи, естественно, неспособными объяснить действительные законы общественной жизни. Это обстоятельство и нашло свое отражение в критике Петрушевского.

Всякое подлинно научное познание закономерностей общественного развития необходимо предполагает глубокий исторический подход к их исследованию. Наука, которая имеет дело с законами развития человеческого общества, не может безнаказанно игнорировать специфику их проявления. Самое познание их возможно только через изучение истории развития человеческого общества, т. е. именно той сферы, в которой и проявляется их деятельность. Всякая подмена такого изучения привнесением в науку об обществе законов, взятых из других наук или даже вовсе априорно сконструированных, чем нередко грешили многие позитивистские социологи, является несостоятельной именно потому, что она не учитывает своеобразия объекта изучения общественных наук, механически перенося на изучение общества методологию, выработанную научно-естественным познанием.[50]).

С этих же позиций должны быть отвергнуты и попытки психологической интерпретации истории. Признавая значение и даже необходимость социально-психологических исследований, несомненно облегчающих и углубляющих наше по-

---

ным у его основания» (Г. Спенсер. Автобиография, ч. 2, СПб., 1914, стр. 68). И далее: говоря о круге своего чтения во время работы над социологическими исследованиями, он подчеркивает: «Биографий и книг исторического характера я даже не раскрываю» (там же, стр. 93).

[50]) Сказанное, конечно, не исключает возможности использования общественными науками данных других научных дисциплин. Как раз наше время является свидетелем все более широкого применения первыми приемов и методов естественных наук, что открывает новые перспективы в познании как современного состояния общества, так и его истории; происходит обогащение познавательных возможностей общественных наук. Однако такое обогащение может быть по-настоящему плодотворным лишь в том случае, если указанные приемы и методы сохраняют сугубо вспомогательное значение, не претендуя на определение собою методологии общественного познания.

нимание исторического развития[51]), нельзя, однако, упускать из виду, что самое это развитие совершается по собственным внутренним законам. Закономерность, лежащая в основе общественного развития, закономерность историческая, а не психологическая, ибо она определяется факторами, которые по своему характеру являются историческими (закономерное развитие производительных сил и производственных отношений общества). Сама общественная психология по своей природе исторична. На психическое состояние определенного социального агрегата оказывают в конечном итоге решающее влияние исторические условия, в которых он находится, и прежде всего его положение в системе общественных отношений. Вследствие этого и психологические законы не могут претендовать на объяснение исторического развития.

Вот почему не может не вызвать сочувствия стремление Петрушевского искать законы исторического развития в самой истории, его решительный отказ от биопсихологической интерпретации ее. Вместе с тем далеко не со всеми положениями, высказанными в этой связи Петрушевским, мы можем согласиться. В частности, это относится к его пониманию соотношения между социологией и историей. Справедливо выступая против метафизического противопоставления социологии и истории, он в позитивной части своих рассуждений впадает в противоположную крайность, отрицая вообще всякое принципиальное различие между этими двумя науками. По его утверждению, история «ставит себе как раз задачи, разрешение которых социология считает своей специальной областью». Вследствие этого единственным путем для превращения последней в действительно реальную общественную науку он считает ее слияние с историей[52]).

В такой постановке вопроса, очевидно, следует видеть реакцию на характерное для позитивистской социологии принижение действительного места в истории в системе общественных наук, с одной стороны, и на широкое хождение в идеалистической историографии всевозможных «вечных принципов», «абсолютных субстанций» и прочих априорных идей, извне вносимых в реальный исторический процесс, — с другой. В то же время, отрицая, по существу, необходимость существования самостоятельной науки об обществе и законах его развития, Петрушевский неправомерно преувеличивает компетенцию исторической науки. В его изображении история

---

[51]) См., в частности, А. Я. Гуревич. Некоторые аспекты изучения социальной истории (общественно-историческая психология). — «Вопросы истории», 1964, № 10; Б. Ф. Поршнев. Социальная психология и история, М., 1966.

[52]) Д. М. Петрушевский. Тенденции современной исторической науки. — «Образование», 1899, № 5 — 6, стр. 77.

в отличие от других общественных дисциплин выступает как некая всеобъемлющая наука, исследующая общественный процесс в его целом и вскрывающая законы его развития. Тем самым он смешивает предмет исследования двух наук, тесно связанных между собою, но тем не менее остающихся вполне самостоятельными, каждая со своим собственным кругом проблем — истории и социологии.

Такое смешение является опасным еще и потому, что каждая из этих наук в силу специфики своего предмета исследования обладает и своим собственным арсеналом познавательных средств, которые имеют много общего между собою, но в то же время не являются тождественными для обеих наук. Действительное значение исторической науки для социологии состоит не в том, что она растворяет последнюю в себе, сообщая ей свои собственные задачи и методы их решения. Нам представляется, что это значение определяется двумя решающими обстоятельствами. Во-первых, историческая наука доставляет необходимый материал, без которого невозможны подлинно научные широкие социологические обобщения. Всякий социологический закон только в том случае может претендовать на более или менее адекватное выражение тенденций общественной жизни, если он имеет под собою солидное историческое обоснование: только на прочном фундаменте исторических исследований возможно познание закономерностей общественного развития, ибо само общество есть продукт исторический. Всякое научное изучение таких, например, важнейших социологических проблем, как государство, классы и их взаимоотношения, может быть плодотворным лишь при условии соблюдения принципа историзма в подходе к ним. Каждое общественное явление по самой своей природе исторично, вследствие чего любая попытка систематизации этих явлений, установления определенных закономерностей, объективно существующих в человеческом обществе, заранее обречена на неудачу, если она игнорирует результаты исторического исследования общественного развития в его бесконечно многообразных проявлениях.

Во-вторых, сам метод исследования общественных явлений в их закономерных связях необходимо должен быть историческим (что, конечно, не исключает возможности и необходимости применения в социологии и других методов изучения общества). Методика исследования общественных явлений, выработанная в исторической науке, в силу качественной однородности объекта изучения находит широкое применение и в социологии. Более того, социология, как наука более молодая по сравнению с историей, прямо заимствует у последней некоторые ее познавательные средства. Назовем в качестве примера сравнительно-исторический метод исследования

общественных явлений, с успехом применяемый не только историками, но и социологами.

Вместе с тем история не только много дает социологии, но и столь же обильно берет у нее. Социология вооружает историка знанием законов общественного развития, без которого всякое историческое познание будет ограниченным, неполным, а следовательно, неполноценным. Отрыв истории от социологии неизбежно ведет к торжеству эмпиризма в ней. Правда, Петрушевский не эмпирик. Напротив, сокровенную цель исторической науки он, как известно, и видел как раз в открытии законов развития человеческого общества. Но тем самым перед исторической наукой ставилась задача, которая далеко выходила за пределы ее компетенции и которую она с помощью своих специфических средств познания просто не могла решить. Не открытие законов общественного развития, а исследование форм проявления их действия в конкретном многообразии исторической действительности составляет подлинную задачу исторической науки. Здесь как раз и лежит водораздел между социологией и историей при качественной однородности объекта их исследования. Отношение между социологией и историей — это отношение между науками, тесно связанными между собою в изучении различных аспектов истории человеческого общества и взаимно обогащающими друг друга.

Этой диалектической связи не сумел понять Петрушевский. Справедливо критикуя догматизм и антиисторизм современной ему буржуазной социологии, он в то же время, по существу, выступает против всякой отличной от истории науки об обществе, объявляя ее суррогатом общественной науки, втискивающим живую жизнь в наперед заданную мертвящую схему. С этих позиций он, в частности, подходит и к марксизму, не желая видеть того обстоятельства, что марксистская социология именно потому и называется историческим материализмом, что свои законы она формулирует на основании глубокого постижения закономерностей, объективно присущих историческому процессу, базируясь, как об этом свидетельствуют труды Маркса и Энгельса, на всестороннем анализе и учете разнообразного и богатого конкретного исторического материала.

В связи с решением проблемы природы и задач исторической науки стоит вопрос о достоверности исторического познания. В русской либеральной медиевистике вопрос этот был поставлен Кареевым. В его решении отразилась типичная для нее уверенность в способности человеческого познания к адекватному отображению исторического прошлого, хотя на самом подходе к этому вопросу и сказались исход-

ные субъективно-идеалистические воззрения Кареева на исторический процесс.

Кареев был глубоко убежден в возможности получения исторической наукой объективно-достоверного знания о прошлом. Отмечая, что явления, которые мы познаем, являются объективными, а наше знание о них — субъективным, он в то же время подчеркивал, что само это знание становится объективным как «знание о действительно существующих предметах». Он выделяет три основных момента исторического познания: констатирование фактов, их отбор и оценку. Рассматривая эти моменты, Кареев подчеркивает «известные объективные основания», присущие каждому из них, что и обусловливает, по его мнению, возможность достоверного познания[53]).

Усматривая задачу ученого в отборе, группировке и оценке фактов, которые обеспечили бы возможность объективно-достоверного изображения хода истории, Кареев выдвигает небезынтересные на этот счет соображения. Указывая, что предметом истории является индивидуальное, он подчеркивает, что достойно быть отраженным в человеческом познании лишь индивидуально важное. Для того, чтобы выделить и сгруппировать факты, наиболее существенные для понимания истории, необходимо, утверждает он, избрать определенный принцип, в соответствии с которым и следует подходить к изучению развития общества. Таким принципом он считает «какой-либо существенный процесс». Разъясняя свою мысль, он указывает, что историю XVI и первой половины XVII вв. на западе Европы можно сгруппировать вокруг Реформации, но странно было бы и думать сосредоточить ее, например, около усовершенствований в ювелирном искусстве, которые могли тогда происходить[54]). Впрочем, Кареев не ограничивается отдельными примерами. Он делает попытку установления общего принципа подхода к изучению истории. «Существенное содержание истории, — пишет он, — есть процесс развития человечества и удовлетворения его потребностей: около него должны группироваться исторические факты, объективно констатированные»[55]).

Однако найти удовлетворительное решение вопроса о критериях в историческом познании Кареев, будучи субъективным идеалистом в интерпретации истории, не смог. Он настойчиво подчеркивает субъективный характер критерия в оценке общественных явлений, который сводится им к классификации явлений в соответствии с общими понятиями дур-

[53]) См.: Н. И. Кареев. Основные вопросы философии истории, т. 1, стр. 282—286.

[54]) Там же, стр. 294.

[55]) Там же, стр. 297.

ного и хорошего[56]). Он выдвигает понятие «руководящей идеи» как компаса науки, заявляя, что она является делом субъективного выбора. В таких условиях единственной возможностью избежать личного произвола в изложении исторических событий является, по мнению Кареева, беспристрастие исследователя, очищение его точки зрения от всего ложного и превращение ее в точку зрения простого человеческого разума[57]). Совершенно очевидно, что подобная «руководящая идея» не в состоянии обеспечить условия действительно научного познания, ибо она не дает никаких отправных точек для решения вопроса о том, насколько наше знание о прошлом соответствует объективной реальности. Самое беспристрастное отношение ученого к изучаемым им явлениям и процессам истории человеческого общества, включающее в себя даже постулируемое Кареевым отрешение исследователя от своего «я», далеко не гарантирует объективного отражения исторической действительности по той простой причине, что эта последняя является слишком сложной и противоречивой, чтобы в ее воспроизведении можно было бы руководствоваться одним только беспристрастием. Простое описание исторических фактов, не говоря уже об установлении между ними причинно-следственной связи, предполагает их известный отбор, систематизацию по определенным признакам и т. п. операции, для которых одной непредвзятости ученого явно недостаточно. Нужны помимо нее объективные критерии, которые позволяли бы ученому при отборе фактов отделять существенное от несущественного, соотносить главное и второстепенное, короче говоря, проделать именно ту работу, которая одна только может создать необходимые предпосылки для объективного отражения действительности. Весь вопрос и заключается в том, чтобы найти такие критерии и последовательно ими руководствоваться в историографической практике, а вовсе не в отказе от пристрастности в оценке описываемых событий. Мы не говорим уже о том, что полная беспристрастность историка, доходящая до отказа его от собственного «я», вообще вряд ли возможна в освещении истории классового общества.

Между тем Кареев решительно отвергает сам факт существования объективных критериев исторического познания, сводя всю сложность проблемы к индивидуальным особенностям познающего субъекта. Характерным образом, в известной степени предвосхищая Дильтея, он еще в 1879 г. подчеркивал необходимость своего рода «вживания» исследователя во внутренний мир изучаемых им явлений как необходимо-

[56]) Там же, стр. 283.
[57]) Там же, стр. 292, 298—299.

го условия их адекватного познания. «Раз изучаемые нами явления суть человеческие мысли, чувства, желания и действия, — утверждал он, — то понять их мы можем лишь под условием, если сами переживаем внутреннее состояние личности»[58]).

Субъективно-идеалистическое решение Кареевым вопроса о критериях достоверности исторического познания тесно связано с его пониманием природы исторической науки и в конечном счете определялось этим пониманием. Совершенно, на первый взгляд, неожиданно он заявляет: «Чистая любознательность..., отвлеченный интерес к прошлому... представляет из себя настоящую основу истории как науки»[59]). Именно эта не имеющая никаких прикладных целей любознательность и делает, по его мнению, из истории науку[60]). Эти утверждения находятся в вопиющем противоречии как со всей историографической практикой самого Кареева, так и с его известными заявлениями о социальных причинах, толкавших русских ученых к исследованию аграрных отношений западноевропейского феодализма. И в то же время они отнюдь не являются случайной обмолвкой ученого, находя свое продолжение и обоснование во всей системе его историко-теоретических взглядов и прежде всего в его понимании места исторической науки в обществе, ее связи с современностью.

Многие страницы «Основных вопросов философии истории», как и некоторых других своих теоретических работ, Кареев посвящает исследованию вопроса о характере влияния современности на историю, стремясь выяснить условия, способствующие и препятствующие объективному познанию прошлого. Он справедливо указывает, что на состоянии исторической науки отражается данное время с его задачами и целями, интересами и господствующими точками зрения. «Историк, — продолжает он, — не может уйти из своего времени: даже становясь, по-видимому, выше его, он только разделяет передовые идеалы своей же эпохи. Каждый — сын своего века и потому так или иначе отражает на себе волнующие его вопросы, существующие в нем точки зрения, инте-

---

[58]) Н. И. Кареев. Историко-философские и социологические этюды. СПб., 1895, стр. 125. Цитируется доклад «О субъективизме в истории», прочитанный Кареевым в 1879 г. в Московском юридическом обществе. Ср. учение Дильтея о «сопереживании» как специфическом средстве познания в гуманитарных науках. Об этом учении см. I. S. Kon. Die Geschichtsphilosophie des 20 Jahrhunderts. Kritischer Abriss. Bd. I, Berlin, 1964, S. 86—91.

[59]) Н. И. Кареев. Ницше о «чрезмерности истории». — «Сборник в пользу недостаточных студентов Московского университета», М., 1897, стр. 23.

[60]) Там же, стр. 24.

ресы, разделяющие его современников, и господствующее в нем настроение»[61]).

Однако вслед за этим начинаются рассуждения о вреде для науки всякого пристрастия — национального, вероисповедного, классового и т. п., причем в одну кучу смешиваются совершенно различные понятия — и узконациональная или вероисповедная ограниченность, действительно являющаяся одним из наиболее серьезных препятствий к объективному освещению прошлого, и классовый подход к истории, вне которого, хотим мы этого или не хотим, вообще невозможно в классовом обществе всякое историческое познание. Кареев прямо противопоставляет историка — «свободного мыслителя» историку — члену известной социальной группы, который смотрит на факт через призму интересов и зачастую предрассудков своей группы. В этой связанности ученого принадлежностью к определенной социальной группе Кареев усматривает причину возникновения исключительных, односторонних теорий, отражающих не «я» их авторов, а физиономию известных общественных агрегатов, к которым они принадлежат. Такое положение дел Кареев считает ненормальным, препятствующим объективности науки. Во избежание этого он требует от историка устранения какой бы то ни было зависимости от идейных взглядов того социального союза, к которому принадлежит[62]). Единственно возможный научный подход к истории, утверждает Кареев, заключается в усвоении ученым так называемой общечеловеческой точки зрения. «При таком отношении к предмету, — продолжает он, — историк будет чувствовать себя прежде всего человеком, а не членом той или другой нации, церкви, партии»[63]). Только такое положение историка по отношению к своему объекту исследования Кареев считает не случайным и тем самым создающим ему возможность освободиться от той исключительности и односторонности, которые неизбежны, если ученый осознает свою принадлежность к известному социальному союзу[64]).

Высказанные в «Основных вопросах философии истории» мысли получили дальнейшее развитие в целом ряде теоретических и публицистических работ Кареева, опубликованных в середине 90-х — начале 900-х годов. С еще большей настойчивостью, чем раньше, Кареев ратует здесь за общечеловеческую точку зрения в изучении общественных явлений, еще решительнее выступает против всякого партийного подхода

---

[61]) Н. И. Кареев. Основные вопросы философии истории, т. 1, стр. 337—338.
[62]) Там же, стр. 352—354.
[63]) Там же, стр. 383.
[64]) Там же, стр. 383—384.

к истории, вне зависимости от того, интересы каких социальных сил — передовых или ретроградных — отражает историк в своем мировоззрении[65]). Излюбленной его идеей становится мысль о том, что истина может быть только одна, и достижение ее требует преодоления всякой классовой и партийной исключительности[66]).

Нетрудно видеть, что в подобных рассуждениях подлинный характер зависимости, существующей между историческим познанием и общественной средой, в которой оно происходит, зависимости, сам факт которой Кареев признает, получает весьма извращенный вид. По существу, из нее исключается главное звено — зависимость ученого в своих оценках, в самом подходе к историческим фактам, в их интерпретации от общественной борьбы своего времени, от тех коренных социальных проблем, которые выдвигает действительность перед всяким исследователем общественной жизни. Собственно, влияние своего времени на историка Кареев не отрицает, но ведь все дело заключается в том, что нет и не может быть абстрактного влияния действительности на ученого. Это влияние в классово-антагонистическом обществе (а у Кареева, естественно, только о таком обществе и идет речь) необходимым образом опосредствуется через сложную систему общественных представлений, которые по существу своему являются классовыми, различаясь между собой в зависимости от положения данного класса в обществе, от его отношения к господствующим в этом обществе экономическим, социальным, политическим порядкам. Каждый ученый, будучи, как справедливо замечает сам Кареев, сыном своего времени, необходимо отражает в своем мировоззрении, сознательно или бессознательно, интересы определенного класса, ибо только таким образом современная ему действительность и может преломляться в его идейно-методологических и общих исторических взглядах.

Отражающееся на исторических взглядах ученого классовое миропонимание может, как известно, двояким образом влиять на его историческую практику. Оно может способствовать более верному пониманию прошлого, более глубокому раскрытию всевозможных связей и опосредствований, характеризующих различные стороны исторического процесса, в том случае, если речь идет о мировоззрении передового общественного класса, заинтересованного в научно-достоверном познании закономерностей исторического развития, или препятствовать изучению истории, если речь идет о мировоззре-

[65]) См., в частности, Н. И. Кареев. Введение в изучение социологии, стр. 311—312.

[66]) Об очевидной антимарксистской направленности этой идеи см.: Н. И. Кареев. Старые и новые этюды..., стр. 106, 108.

нии класса реакционного, страшащегося такого познания. Методология историка, зависящая в своих главных основаниях от его классового положения, может служить либо могущественным рычагом познания, либо превратиться в тяжелые оковы на его пути.

Таким образом, влияние общества на историка, опосредствованное в классовом обществе через влияние определенной классовой идеологии, является величиной многозначной, функционально зависимой в последнем счете от положения данного класса в системе общественного производства. Оно может содействовать или препятствовать историческому познанию, но вне его никакая работа ученого вообще невозможна. Между тем Кареев впадает в неразрешимое противоречие с самим собою, когда он, признавая и даже подчеркивая влияние современности на историка, ополчается против привнесения в науку классовой точки зрения. Он метафизически противопоставляет общественный и классовый интерес, заявляя, что тот, кто отождествляет эти два понятия, «не только суживает и тем искажает понятие общества, но и вносит в его понимание безнравственное начало, поскольку целью самого существования общества ставит благо лишь некоторых его членов, т. е. известного класса или сословия, а не всего общества»[67]).

Взгляды Кареева на отношение истории к современности являлись крайним выражением буржуазного объективизма, в той или иной мере свойственного всей русской либеральной историографии. Вместе с тем было бы неверным полностью идентифицировать с ними взгляды по этому вопросу других русских либеральных медиевистов. Ни у одного из них мы не встречаем такого последовательного (в сфере теоретических воззрений) извращения социальной функции исторической науки, сведения ее к удовлетворению простой человеческой любознательности. Более того, в ряде случаев подобные представления подвергались прямой критике в русской либеральной медиевистике.

Показательны в этом отношении взгляды Петрушевского. Словно полемизируя с Кареевым, он писал: «Пора уже оставить эти (нередко, впрочем, лицемерные) хлопоты о какой-то свободной от всяких предвзятых идей науке. Такой науки не существует и никогда не существовало»[68]). В своих представлениях о связи истории и современности он исходил

[67]) Н. И. Кареев. Мысли о сущности общественной деятельности. СПб., 1895, стр. 8. Правда, ни здесь, ни где-либо в другом месте он не раскрывает секрета того, как можно объединить противоречивые интересы различных классов и сословий в некое абстрактное «общественное благо», к служению которому он и призывает своих читателей.

[68]) Д. М. Петрушевский. Очерки из истории средневекового общества и государства. М., 1907, стр. 7.

из убеждения в том, что как бы энергично историк ни чурался «сатаны субъективизма», вся его работа будет представлять зеркало его эпохи, ее исторических и социологических идей. Подчеркивая, что в этом «субъективизме» скрывается неиссякаемый источник жизни для самой исторической науки, Петрушевский предпринимает попытку проследить под этим углом зрения развитие европейской историографии. Он указывает, что различные эпохи выдвигали перед исторической наукой различные задачи, обусловливали сам ее подход к прошлому, в котором искались аргументы для обоснования притязаний определенных общественных групп в настоящем. «Рационалист XVIII столетия, — пишет он, — брал из истории аргументы для своих отрицаний, романтик-реакционер — для своих верований, либерал эпохи буржуазной монархии — для обоснования прав и притязаний третьего сословия. Все они обращались за справками к прошедшему, все вносили в прошедшее злобу своего времени, видели в нем то, что им нужно было и хотелось видеть и что они могли видеть в зависимости от миросозерцания своей эпохи и той общественной группы, к которой каждый из них принадлежал. Жизнь последовательно выдвигала одни вопросы за другими, и история давала на них ответы»[69]).

При этом главное, пожалуй, заключается даже не в констатации Петрушевским фактов зависимости историка в изучении прошлого от его социальной принадлежности в настоящем, а в убеждении ученого в том, что такая зависимость свойственна самой природе исторической науки, является условием ее поступательного развития. С нею он связывает углубление исторического познания, обогащение предмета науки, появление новых направлений в историографии[70]). Вместе с тем обращает на себя внимание, что подобные взгляды высказывались Петрушевским не столько к настоящему, сколько к прошлому исторической науки. Характеризуя состояние современной историографии, он, как правило, избегает говорить о ее классовых позициях.

2. Русская либеральная медиевистика о предмете исторической науки

В связи с решением вопроса о природе и задачах исторического познания находится понимание русскими медиевистами самого предмета своей науки. Нет нужды говорить

---

[69]) Д. М. Петрушевский. О задачах всеобщей истории как науки. — «Образование», 1898, № 2, стр. 3. Подчеркнуто нами.

[70]) См. там же, стр. 3—4.

о том, насколько это последнее связано со всем мировоззрением ученого, с его общими представлениями о характере и движущих силах общественного развития. Определение предмета исторической науки означает, по существу, выражение ученым своих взглядов на содержание самого исторического процесса. Вследствие этого было бы неправильным отождествлять представление ученого о предмете своей науки с теми конкретными сюжетами, которыми он занимается в своей историографической практике. Занятие историка проблемами политической истории, например, еще не означает, что он видит в политических событиях фокус всего общественного развития, точно так же, как и преимущественное обращение исследователя к изучению социально-экономических отношений само по себе не свидетельствует о том, что они составляют для него главное содержание самого предмета науки. Решающее значение здесь имеет вопрос о понимании ученым движущих сил исторического развития, ибо дать определение предмета науки — значит не только перечислить круг вопросов, подлежащих ее ведению, но и прежде всего определить исходные позиции их освещения. Другими словами, решающее значение приобретает не количественный, а качественный момент в определении предмета истории.

С этих позиций мы и будем рассматривать подход к данному вопросу в русской либеральной медиевистике. Обращает на себя внимание уже широта круга проблем, вызывавших научный интерес ее представителей. Наряду с глубоким исследованием социально-экономической истории западноевропейского феодализма их внимание привлекали и сюжеты, относящиеся к области политической истории Западной Европы, истории социальных и политических идей, историографии, религиозных движений, культуры и т. д. Уже в этом в известной мере нашли свое отражение их представления о том, что историческая наука призвана дать всестороннее изображение всех существенных сторон жизни человеческого общества, раскрыть закономерные связи в истории материального и духовного развития общества. Правда, идеалистическая ограниченность исходных методологических позиций русских либеральных медиевистов обусловила и целый ряд существенных слабых сторон в их понимании предмета исторической науки. Речь идет прежде всего об эклектизме русских либеральных медиевистов, рассматривавших материальную и духовную стороны жизни общества как две равноправные области, подлежащие изучению историка. Однако, провозглашая равноправие духовной и материальной сторон исторического процесса, русские либеральные медиевисты именно в изучении последней усматривали первостепенную задачу исторической науки. Сознательное акцентирование

внимания на изучении социальных отношений как на важнейшем предмете исторической науки красной чертой проходит через всю историографическую практику наших медиевистов, находит свое выражение в их преподавательской деятельности. Известные нам лекционные курсы Кареева, Виноградова, Петрушевского, посвященные различным разделам всеобщей истории, при всем разнообразии рассматривавшихся там вопросов, различии в оценке отдельных явлений и процессов объединяет одна общая черта. Все они имеют своим предметом социальные отношения соответствующей эпохи, в эволюции которых усматривается ее основное содержание. То же самое можно сказать и об «Экономическом росте Западной Европы» Ковалевского — единственной в своем роде в мировой науке XIX в. попытке синтетического освещения социально-экономической истории средневекового Запада.

Стойкий интерес русских медиевистов к социальной истории западноевропейского средневековья был органически связан у них с пристальным вниманием к истории широких народных масс, прежде всего феодального крестьянства. В трудах Виноградова, Петрушевского, Савина по истории средневековой Англии, в исследованиях Кареева, Лучицкого и Ковалевского, посвященных французскому феодализму, в работах Пискорского по истории Испании, в обобщающих произведениях Ковалевского, Кареева и Лучицкого тема крестьянства получила невиданную до этого по своей глубине и всесторонности разработку, сделалась темой № 1 в русской либеральной медиевистике. По своей разработанности с ней, конечно, не могла соперничать тема средневекового города, хотя и в этой области русскими историками были сделаны немаловажные наблюдения, причем преимущественно именно в сфере изучения социальных противоречий в средневековом городе.

Интерес к положению, а в известных случаях и к борьбе народных масс не может быть объяснен теми или иными случайными обстоятельствами или даже одними только политическими соображениями. Он тесно связан с мотивами методологического порядка, являясь выражением убеждения в том, что историческая наука должна изучать историю масс как один из важнейших своих сюжетов, без чего невозможно дать действительно научную картину прошлого человечества, а тем более его настоящего. Изучение жизни народных масс в различных ее аспектах рассматривалось в русской либеральной медиевистике как одна из центральных и наиболее актуальных задач науки, вытекающая из самого содержания предмета ее, и вместе с тем как условие ее дальнейшего прогресса. Такая постановка вопроса, закономерно вытекавшая из общих представлений русских либеральных медиевистов

о характере исторического процесса, нашла свое яркое выражение в их историографической практике. При этом особенно важно подчеркнуть, что в ряде работ народные массы выступают как активная творческая сила в истории, своими действиями существенно влияющая на ее ход.

Впервые в русской медиевистике вопрос об активной роли народных масс в истории был поставлен Лучицким в его работах по истории гугенотских войн, в особенности в наиболее зрелой из них — докторской диссертации «Католическая лига и кальвинисты во Франции». Рассматривая различные перипетии этих войн, взаимоотношения между двумя противостоящими друг другу феодальными группировками и королевской властью, Лучицкий настойчиво проводил мысль о большом, а в отдельных случаях и решающем влиянии на ход войн борьбы широких масс в городе и деревне[71]).

О признании роли народных масс в истории свидетельствуют взгляды Кареева. Один из ведущих представителей «субъективной школы» в русской социологии, ревностный приверженец воззрений, рассматривающих личность главным деятелем в истории, Кареев тем не менее не мог обойти ни в своих теоретических исследованиях, ни тем более в историографической практике вопрос о роли масс в общественном процессе. Заслуживает внимания уже его постановка вопроса о значении изучения народных масс для развития самой исторической науки. «В том, — признает он, — что историки стали переносить свое внимание с отдельных личностей на общество, с великих людей на народные массы, с «героев» на толпу, заключался несомненный прогресс науки»[72]). Сущность этого прогресса Кареев видит в изменении самого предмета исторической науки. Он говорит о перевороте во взглядах на историю, выразившемся в переходе от описания деяний выдающихся личностей к изучению жизни различных социальных групп[73]).

Выдвижение на передний план изучения истории народных масс не является, конечно, специфической особенностью Кареева или русских медиевистов вообще. Это явление имело общеевропейский характер и было вызвано к жизни самой европейской действительностью, характеризовавшейся резко возросшей политической активностью широких слоев народа. XIX век — век революций и национально-освободительной борьбы европейских народов, острых классовых противоре-

---

[71]) См. об этом нашу статью «И. В. Лучицкий о роли народных масс в религиозных войнах во Франции XVI века» (Сб. «Методологические и историографические вопросы исторической науки», Томск, 1963).

[72]) Н. И. Кареев. Сущность исторического процесса и роль личности в истории, стр. 154.

[73]) Там же.

чий, рожденных торжествующим капиталистическим строем и могущественным ростом пролетарского движения, коренным образом изменил господствующие представления о народе. Из бесформенной страдающей массы, каким он представлялся большинству мыслителей еще в первой половине XIX в., народ превратился в грозную боевую силу, которую можно было приветствовать, или бояться, или прямо ненавидеть, но игнорировать уже было нельзя.

Однако было бы ошибкой недооценивать несомненное различие, имевшее место в отношении к народу в русской и западноевропейской буржуазной историографии. В силу известного своеобразия политического развития пореформенной России русская либеральная медиевистика до определенной степени была свободна от того «буржуазного страха перед массой», о котором писал Србик применительно к немецкой национально-либеральной историографии второй половины XIX в.[74]) и который, несмотря на отдельные исключения, следует считать характерным для западной историографии того времени. Не случайно лучшие произведения русской либеральной медиевистики, посвященные положению и борьбе крестьян, — такие, как «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века», «Восстание Уота Тайлера», «Крепостное право в Каталонии» — проникнуты несомненным сочувствием их авторов к народу. Такое отношение, в той или иной мере характерное для всей русской либеральной медиевистики изучаемого периода, не могло не отразиться плодотворно не только на ее общетеоретических представлениях, но и на изучении конкретной феодальной действительности. В частности, оно сказалось на ее понимании места широких трудящихся масс в общественном развитии.

Отличие либеральных медиевистов как от русских правых либералов типа Чичерина, так и от большинства зарубежных исследователей феодализма заключается именно в оценке роли народа в истории. Для Кареева народ «это — трудящаяся масса, на которой покоится все материальное благосостояние общества и государства»[75]). В отдельных случаях он подходит к пониманию народа как активной политической силы не только в современном ему мире, но и в прошлом, в истории

[74]) См.: H. R. Srbik. Op. cit., Bd. II, S. 123.

[75]) Н. И. Кареев. Мысли о сущности общественной деятельности. СПб., 1895, стр. 68. Ср. постановку вопроса у Чичерина: «Вопреки мнению социалистов богатство производится не физическим трудом, который является здесь только орудием, а главным образом приложением умственных способностей к промышленному производству» (Б. Н. Чичерин. Собственность и государство. Ч. 2, М., 1883, стр. 103). И далее произносится настоящий панегирик социальному неравенству как необходимой во всех условиях предпосылке роста национального богатства.

вообще. Показательна в этом отношении его «История Западной Европы в новое время». Было бы, конечно, неверным утверждать, что вопрос о роли народных масс в истории получил на ее страницах более или менее удовлетворительное решение. Тем больше внимания заслуживают отдельные замечания автора, которые свидетельствуют о том, что, по крайней мере, в отдельных случаях при рассмотрении тех или иных проблем Кареев принимал в расчет такой фактор, обычно остающийся вне поля зрения буржуазной историографии, как борьба масс. Благодаря этому в его книге подчас получают принципиально новое освещение вопросы, казалось бы давно решенные в исторической науке. Именно так обстоит дело с его освещением борьбы Испании и Англии в XVI в. Рассматривая причины неудачи планов Филиппа II вторжения в Англию, Кареев, вопреки традиционным взглядам, утвердившимся в буржуазной историографии вопроса, на первое место ставит решительное сопротивление этим планам со стороны английского народа[76]).

Представляет интерес его постановка вопроса о роли народных масс в судьбах реформационного движения в Западной Европе. Кареев приходит к выводу о том, что протестантские учения имели надежду на прочный успех лишь в том случае, если они приобретали массовый характер, получали широкое распространение и поддержку в народе. С таких позиций он рассматривает успехи Реформации в Германии, Англии, Нидерландах. И в то же время решающую причину ее неудачи в некоторых других европейских странах он видит в ее узкой социальной базе, отсутствии опоры на народ. «Поражение протестантизма в Польше, во Франции, во владениях австрийских Габсбургов, — утверждает ученый, — объясняется главным образом тем, что он был здесь преимущественно (хотя и не везде в одинаковой мере) исповеданием дворян и горожан, которых не поддерживала или мало поддерживала народная масса... Сама свобода совести приобретала вид (особенно в Польше) дворянской привилегии»[77]).

В широкой опоре на народные массы Кареев видит залог успеха всякой серьезной политики правительственных реформ. Показательна в этом отношении его оценка деятельности Иосифа II. Раскрывая причины ее неудачи, он подчеркивает, что Иосиф «не сумел создать себе прочную поддержку

---

[76]) Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время. Т. II, стр. 314.

[77]) Там же, стр. 384. Характерно, что такому положению дел в этих странах Кареев противопоставляет ход событий в Нидерландах, где, по его словам, «религиозно-политическую оппозицию, начатую дворянами же, вынесли потом на своих плечах главным образом горожане и народ северных частей страны» (там же, стр. 384—385).

в народной массе»[78]). Верхушечные попытки государственных и общественных преобразований в духе просвещенного абсолютизма в Австрии XVIII в. разбились об оппозицию всех консервативных сил. Кареев подчеркивает, что эта оппозиция смогла одержать верх именно вследствие верхушечного характера совершавшихся реформ. В этом плане интересно его противопоставление Австрии Франции. Он указывает, что во Франции в эпоху революции также сложилась консервативная оппозиция. Но, продолжает ученый, «там эта оппозиция была сломлена, ибо движение шло снизу и выдвигало на сцену новые общественные классы, тогда как в Австрии инициатива движения принадлежала одному монарху с небольшим кругом лиц, ему сочувствовавших или на него влиявших»[79]). Оставляя на совести Кареева усердно проводившуюся им аналогию между целями революции и просвещенного абсолютизма[80]), мы в то же время не можем пройти мимо самой его постановки вопроса об условиях, обеспечивающих осуществление серьезных социальных преобразований.

Особенно значительную роль народным массам в их борьбе Кареев, как и другие русские либеральные медиевисты, отводит в ликвидации западноевропейского феодализма. Он прямо заявляет, что падение социального феодализма совершилось под напором народного движения[81]). С этих позиций он рассматривает Французскую революцию конца XVIII в. Всем ходом своего изображения революции Кареев показывает решающую роль антифеодальной борьбы крестьянства в ликвидации во французской деревне феодальных отношений. Более того, он подходит к пониманию значения борьбы народных масс для ликвидации всего старого порядка. Отмечая, что классом, всего более выигравшим в результате революции, была буржуазия, он в то же время подчеркивает, что буржуазия сумела достичь своих целей только опираясь на борьбу широких масс города и деревни или прямо используя ее в своих интересах. «В 1789 году буржуазия победила благодаря народным восстаниям»,—прямо заявляет Кареев[82]).

Важную роль в свержении абсолютизма и укреплении нового строя Кареев отводит революционной парижской бедноте. «Без содействия этих социальных элементов, — говорит он о парижских низах, — буржуазия одна не смогла бы справиться со старым порядком»[83]). В этом плане заслуживают

[78]) Там же, т. III, стр. 359.
[79]) Там же, стр. 351—352.
[80]) Там же, стр. 351.
[81]) Там же, стр. 385.
[82]) Там же, стр. 586.
[83]) Там же, стр. 587.

внимание его взгляды на отношение буржуазии к якобинской диктатуре. Полемизируя с распространенной в буржуазной историографии Запада оценкой якобинских мероприятий как «социалистических» и «коммунистических» и называя якобинцев «политическими демократами»[84]), он показывает, что объективно их политика служила укреплению нового буржуазного общества, хотя и выражает свое недовольство методами, с помощью которых эта политика проводилась в жизнь (революционный террор). В своей характеристике якобинского периода Кареев в сущности исходил из признания того положения, что только активные революционные действия масс, возглавлявшихся якобинцами, только их самоотверженная героическая борьба против внешних и внутренних врагов спасли завоевания революции. Именно это обстоятельство, по мнению Кареева, определяло отношение буржуазии к якобинской диктатуре. «Буржуазия, — утверждает он, — подчинялась якобинской диктатуре, гарантировавшей для нее невозможность реставрации старых отношений»[85]).

Серьезное значение народных масс Кареев подчеркивает и в истории Западной Европы в XIX в. Сознательно акцентируя внимание своих читателей на этом предмете, он прямо заявляет, что в изложении социальной истории с конца XVIII в. «мы должны обратить внимание главным образом на народные массы»[86]). Действительно, значительная часть IV и в особенности V т. его «Истории Западной Европы» посвящена положению и борьбе народных масс, в особенности рабочего класса. Бесспорно, этому сюжету дается либерально-реформистская трактовка, но, с другой стороны, является несомненным и то, что в событиях, отмеченных широким участием народных масс, и прежде всего в революциях 1848 г., Кареев видит существенное содержание социальной истории Западной Европы первых двух третей XIX в.

Взгляд на народные массы как на существенный фактор исторического процесса сказался и в подходе Кареева к оценке тех или иных идеологических течений прошлого. Покажем это на примере его трактовки гуманизма. Высоко оценивая значение гуманистической идеологии для борьбы со средневековым мировоззрением и развития новой европейской культуры, свободной от феодально-католических пут, Кареев в то же время считал нужным и отметить ее недостатки. В числе этих последних указывается на оторванность гуманистов от народа[87]). Он подчеркивает, что «даже в самой

---

[84]) Там же, стр. 586.
[85]) Там же, стр. 578.
[86]) Там же, т. IV, стр. 504.
[87]) Там же, т. I, стр. 407.

Италии, родине гуманизма, Возрождение не имело под собою действительно народной основы»[88]). Именно в этом обстоятельстве ученый ищет ответ на вопрос, почему гуманизм уступил свое место реформации в качестве важнейшего идейного знамени, под которым совершался переход от средних веков к новому времени, определяя фактически меру жизненности и значимости той или иной системы идей степенью ее распространения в широких массах[89]).

Характерно, что и рассматривая идеологию французского Просвещения, Кареев вводит специальную главу, посвященную отношению публицистики XVIII в. к народу. Показателен уже сам его подход к этой проблеме. «В литературе XVIII в., — утверждает он, — особого внимания заслуживает ее отношение к народу: впервые литература, которая всегда отражает на себе преимущественно жизнь интеллигентных и обеспеченных слоев общества, обратила особое внимание на народную массу только в XVIII столетии, чем положено было начало тому интересу, с каким особенно в XIX в. стали относиться к народу, к его материальным нуждам и духовным потребностям, к его экономическому быту и его мировоззрению»[90]).

Интерес к положению народных масс, сочетающийся в отдельных случаях с признанием их существенной роли в историческом процессе, характерен, конечно, не только для «Истории Западной Европы в новое время». Им пронизана лучшая конкретно-историческая работа Кареева о французских крестьянах в последней четверти XVIII в., где предметом исследования становится не только положение крестьянства и его взаимоотношения с другими классами французского общества и королевской властью, но и во многом его борьба за свои интересы, которая рассматривается как решающая причина ликвидации феодальных порядков в деревне.

В свете всего сказанного представляется возможным сделать некоторые обобщения. История народных масс включается Кареевым в предмет исторической науки как один из существенных элементов ее. Как в своих теоретических взглядах, так и в историографической практике Кареев рассматривает изучение положения народных масс, их роли в обществе как одну из важнейших задач исторической науки. Речь шла, таким образом, об обогащении предмета исторической науки, перед ней открывались новые возможности в углублении познания общественной жизни как в прошлом, так и в настоящем, и следует признать, что в историографи-

---

[88]) Там же, стр. 449.
[89]) Там же, стр. 448.
[90]) Там же, т. III, стр. 247—248.

ческой практике самого Кареева эти возможности в определенной степени получили свою реализацию. Проведение (пусть далеко не последовательное) взгляда на народные массы как на активную движущую силу исторического процесса обогащало историческую концепцию Кареева, позволяло ему более глубоко проникать в существо изучаемых процессов, приблизиться к пониманию определенных закономерностей общественного развития.

Однако, выдвигая изучение истории народных масс, в особенности крестьянства, в качестве одной из центральных задач исторической науки, русские медиевисты не смогли в целом показать их действительную роль в общественном процессе. Признавая, как это мы видели на примере Кареева, большое, а подчас и решающее значение народных масс и их борьбы на отдельных, чаще всего критических этапах общественного развития, они в то же время не сумели преодолеть характерную для буржуазно-дворянской историографии традицию изображения народа пассивной, нетворческой массой, являющейся фоном действительной истории или объектом для приложения сил других общественных групп. Отношение русской либеральной медиевистики к народу как фактору исторического развития было органически связано с ее политическими позициями. Стремление идеологов либерализма к верхушечному сговору с самодержавием, к решению всех противоречий русской пореформенной действительности путем реформ отразилось и на их отношении к народу как в настоящем, так и в прошлом. Вынужденные считаться в своих политических планах с возросшей активностью масс в современном им мире, они не могли игнорировать их действия и в прошлом. Но не менее определенно в исторических построениях идеологов русского либерализма сказалось и их настойчивое стремление подчинить широкие народные массы своему влиянию. Народ представляется ими в виде косной страдающей массы, которая нуждается в руководстве так называемого культурного общества. С предельной четкостью такой взгляд выразил Кареев. В той же самой работе, где он определял народ как трудящуюся массу, на которой покоится все материальное благосостояние общества, ученый вместе с тем указывал, что «это — наиболее обездоленный класс общества, наиболее нуждающийся в помощи со стороны интеллигенции и государства»[91]).

Эта точка зрения с большей или меньшей последовательностью проводилась и в историографической практике идеологов русского либерализма, давая себя знать даже в лучших их произведениях. Сошлемся опять на Кареева. Мы мно-

[91]) Н. И. Кареев. Мысли о сущности общественной деятельности, стр. 68.

то раз обращались к его исследованию по истории французских крестьян в последней четверти XVIII в., подчеркивая, в частности, положение автора о том, что только революция решила крестьянский вопрос в стране. Однако даже в этой книге нетрудно обнаружить следы общих представлений русского либерализма о роли народа в истории. В его концепции антифеодальная борьба крестьян и сама революция выступают как следствие того печального для либерала обстоятельства, что королевская власть являлась проводницей узкосословных интересов дворянства, а «культурное общество» ничего не сделало для изменения такого положения. Крестьяне, предоставленные самим себе, вынуждены были взяться за оружие.

Кареев обладал достаточной широтой взглядов, достаточной научной беспристрастностью для того, чтобы не только признать, но и убедительно показать решающую роль революционной борьбы народных масс в ликвидации феодальных порядков во французской деревне. Однако это не мешало ему рассматривать такой путь решения социальных противоречий как путь вынужденный, чреватый большими опасностями, являющийся отклонением от нормального течения истории. У Кареева, как и у других русских либеральных медиевистов, народ становится субъектом истории главным образом в критические ее периоды, когда в силу целого ряда обстоятельств прерывается нормальное течение общественного процесса и на авансцену истории в кипении страстей врываются такие социальные силы, которые обычно находятся в ее тени. В обычное же время главным двигателем общественного развития выступает государство вместе с теми социальными слоями, у которых сосредоточиваются власть, образование, богатство. Другими словами, народ начинает играть существенную роль в истории только тогда, когда государство и так называемые образованные классы оказываются не в состоянии по тем или иным причинам обеспечивать условия нормального развития общества, под которым понималось, в частности, мирное разрешение социальных антагонизмов.

Именно с таких позиций Кареев рассматривает решение крестьянского вопроса во Франции конца XVIII в. Всем ходом своего изложения он показывает изоляцию крестьянства в силу «ненормально» сложившейся во Франции XVIII в. политической обстановки. Кареев посвящает специальную главу своего исследования выборам в Генеральные штаты и наказам 1789 г., лейтмотивом которой является мысль о том, что враждебность всех остальных сословий крестьянам, видевших в них лишь объект эксплуатации, и связанное с этим крестьянское недоверие к ним составили одну из причин того, что «крестьяне не стали терпеливо ожидать реформ,

которыми должны были заняться Генеральные штаты». Он подчеркивает «необузданность, которою отличается народный взрыв 1789 г.» и ставит ее в прямую связь с этой враждебностью в отношении крестьян других сословий и прежде всего дворянства[92]). Подводя итоги своего анализа положения крестьян накануне революции и отношения к ним государства и «общества», он приходит к выводу о том, что предоставленные самим себе крестьяне неизбежно должны были сами взяться за решение собственных дел. «Мы видели, — пишет ученый, — что положение было невозможное и из него требовался выход»[93]). Этим выходом и явилась революционная самодеятельность народа.

Спустя почти 20 лет, в своей «Истории Западной Европы в новое время» Кареев вновь возвращается к крестьянскому вопросу во Франции XVIII в. Он обращает большое внимание на постановку этого вопроса в предреволюционной литературе. Игнорируя классовую природу этой последней, он сводит причину ее неэффективности к слабому знанию писателями XVIII в. народа и его истории. Тем не менее она получает у Кареева высокую оценку. «Главное, — подчеркивает он, — то, что в литературе XVIII в. много альтруистического чувства, той филантропии или гуманности, которая, что особенно важно, позволяла ей с нравственной точки зрения обсуждать общественные формы»[94]). И хотя обстоятельства сложились так, что эта литература, поставив крестьянский вопрос, не сумела его решить, в филантропическом покровительстве народу со стороны «образованного общества» Кареев видит единственный нормальный путь исторического развития.

В ряде случаев вопрос о роли народных масс в истории прямо элиминировался русскими медиевистами из круга проблем, подлежащих изучению исторической науки. Особенно ярко это проявилось в их работах, посвященных социально-политической истории феодального Запада. Конечно, вопрос о роли народных масс в истории средних веков имеет свою специфику, являясь одним из наиболее сложных и трудных. Даже в настоящее время, несмотря на несомненные успехи марксистской историографии в этой области, он продолжает относиться к числу наименее разработанных в науке[95]). При-

---

[92]) См.: Н. И. Кареев. Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века, глава VII, в особенности стр. 358—359.

[93]) Там же, стр. 394—395.

[94]) Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время. Т. III, стр. 249.

[95]) Развернутую попытку осветить роль народных масс в истории феодального общества предпринял Б. Ф. Поршнев (см. его «Феодализм и народные массы», М., 1964). Заслуживает внимание, в частности, его стрем-

чины этого заключаются прежде всего в специфике самого объекта исследования. Роль средневековых крестьян и ремесленников в важнейших политических событиях своего времени, конечно, далеко не похожа на роль, например, рабочего класса в истории XIX и особенно XX вв., да и проявлялась она совсем по-иному. Является очевидной социологической закономерностью, что по мере поступательного развития человеческого общества возрастает в его истории роль широких масс, влияние которых на окружающий мир становится все более творческим, многообразным и эффективным[96]). Сами формы этого влияния делаются с течением времени все более многочисленными и разнообразными, легче поддающимися изучению.

Напротив, чем далее мы уходим в прошлое, тем труднее становится проследить воздействие народных масс на исторический процесс, да и сфера его проявления неизбежно сужается. В истории докапиталистических формаций активное влияние трудящихся на ход общественного развития проявлялось преимущественно в двух главных областях — в сфере развития производительных сил общества и классовой борь-

---

ление показать многообразие форм крестьянского сопротивления в средние века и их влияния на различные стороны жизни феодального общества. Однако, справедливо выступая против свойственного буржуазной историографии принижения значения антифеодальной борьбы крестьянства, Б. Ф. Поршнев впадает в иную крайность. В его концепции сопротивление крестьян феодальной эксплуатации выступает как некая универсальная причина, объясняющая все перемены в жизни феодального общества, — от образования слоя мелких вотчинников (стр. 367—368) до эволюции форм феодального государства (стр. 378—380, 415). При этом, несмотря на многочисленные оговорки, Б. Ф. Поршнев фактически отрывает классовую борьбу в средневековом обществе от ее материальных основ, от общих закономерностей развития феодального способа производства. Отсюда становится возможным, например, утверждение, что «основной антагонизм феодализма» достигает в Западной Европе своей высшей стадии раньше, чем на Востоке Европы вследствие того, что здесь раньше были исчерпаны возможности для крестьянских уходов и переселений как определенной формы крестьянского сопротивления (стр. 433—435). Не говоря уже о том, что это положение не может быть фактически аргументировано (во многих странах Восточной Европы возможности для крестьянских переселений были отнюдь не более широкими, чем на Западе, в то время как в России крупнейшие крестьянские восстания происходили тогда, когда эти возможности были далеко еще не исчерпаны), оно не выдерживает критики и в теоретическом плане, являясь своеобразным отражением «географического материализма». Обострение классовой борьбы в западноевропейском обществе XIV—XVI вв. являлось продуктом глубоких перемен, происходивших в недрах феодального строя в условиях развития товарно-денежных отношений, втягивания деревни в рыночные связи, роста феодальной государственности и т. п. перемен, которые, конечно, связаны с классовой борьбой западноевропейского крестьянства, но едва ли могут быть сведены только к ней.

[96]) Обоснование этого положения см. в цитированной книге Б. Ф. Поршнева, стр. 207—224.

бе. Что же касается непосредственного влияния народа на политическую жизнь своего времени, то оно, как правило, в условиях его темноты, забитости, неорганизованности, политического и гражданского бесправия могло осуществляться лишь спорадически, главным образом в период крупных общественных потрясений.

Однако на этом основании было бы ошибочным вообще исключить народные массы из политической истории древнего мира и средних веков или обращаться к ним только в тех или иных исключительных случаях. Устраненные от непосредственного влияния на политическую жизнь рабовладельческого и феодального обществ, подвергающиеся жестокой эксплуатации, массы все же не являлись простыми безгласными статистами на исторической сцене, где действовали государи и полководцы, бароны и прелаты. Их повседневная хозяйственная деятельность, борьба, настроения оказывали серьезное, а нередко и решающее влияние на самые сложные политические комбинации, внутренние и внешние войны, всю политическую жизнь общества. Проследить такое влияние, установить пути и формы его проявления в политической истории — задача, бесспорно, чрезвычайно сложная, ибо оно глубоко скрыто за яркой мишурой событий, происходивших на переднем плане истории, и потому недоступно поверхностному взгляду. Тем не менее не учитывать его при рассмотрении политической истории — значит не только допускать серьезную методологическую ошибку, но и фактически отказаться от изучения причинной связи описываемых явлений.

Было бы неверным утверждать, что в руской либеральной медиевистике вообще отсутствуют удачные попытки изучения социально-политической истории под указанным углом зрения. Достаточно вспомнить исследование Лучицким гугенотских войн, представляющее собою блестящий пример того, насколько научно плодотворным является рассмотрение политической истории с позиций признания самостоятельной роли народных масс в жизни общества. Целый ряд интересных наблюдений в этом плане встречается в работах других русских медиевистов. Отметим, в частности, трактовку Виноградовым роли Жанны д'Арк в Столетней войне, привлекающую наше внимание своей глубиной и свежестью. Рассматривая Жанну д'Арк как олицетворение народного движения и подчеркивая решающую роль этого последнего в изгнании из Франции англичан, Виноградов поднимает вопрос большой социологической важности, выходящий по своему значению за рамки одного частного случая, — о национальном чувстве у средневековых людей. Деятельность Жанны д'Арк выступает у него как олицетворение народного патриотизма, которому ученый четко противопоставляет национальный

индифферентизм дворянства. Виноградов прямо подчеркивает, что во Франции XV в. «чистое вполне национальное чувство любви к отечеству является особенностью низших классов», отмечая в то же время «слабое развитие в высших классах любви к отечеству в политическом отношении». При этом характерным образом Жанне д'Арк, видевшей свое предначертание в освобождении родины от чужестранного ига, противопоставляется известный средневековый хронист, французский дворянин по происхождению, Фруассар, которого интересуют прежде всего рыцарские подвиги, и этот интерес влечет его, по словам Виноградова, скорее к англичанам, к которым, в частности к знаменитому Черному принцу, он не скрывает своих симпатий[97]).

Это противопоставление Виноградов продолжает и при характеристике событий, связанных с патриотической деятельностью Жанны д'Арк. Он настойчиво подчеркивает изоляцию народной героини в придворных кругах, неприкрыто враждебное отношение к ней французской знати и самого короля. Специально обращая внимание своих слушателей на тот факт, что судили ее, приговорили к смерти и сожгли французы, представители Руанского духовенства, Виноградов вновь подчеркивает, что Жанна «в чистейшем виде представляет национальное ведение войны», благодаря которому в конечном итоге была спасена Франция[98]). В другом своем курсе он называет взрыв национального чувства в среде низших классов всемирно-историческим фактом и подчеркивает, что именно крестьяне, а не рыцари стали во главе движения против англичан[99]). Так, политическая история Франции первой половины XV в. приобретает под пером русского ученого ярко выраженную социальную окраску, а подлинным ее героем выступает народ, отстаивавший независимость своей родины в борьбе не только с внешним врагом, но и с происками собственной феодальной знати.

Однако сколько бы мы ни приводили подобных примеров, они при всей их значимости не выходят за пределы единичных явлений, будучи своеобразными исключениями из общего правила, характеризующего подход русской либеральной медиевистики к рассматриваемой проблеме. Тема, поднятая и мастерски решенная Лучицким в его исследованиях по истории гугенотских войн, не получила своего развития ни в его собственном творчестве, ни в научной деятельности его уче-

---

[97]) П. Г. Виноградов. История средних веков. Изд. 2-е, М., 1899—1900, стр. 290.

[98]) Там же, стр. 291—292.

[99]) П. Г. Виноградов. История средних веков. М., 1884/85 акад. год, стр. 366.

ников и коллег[100]). Правда, главное их внимание сосредоточивалось на изучении социально-экономических отношений феодальной Европы, что, однако, не исключало появления и в 90-х — начале 900-х годов в русской либеральной медиевистике специальных работ, посвященных различным аспектам социально-политической истории западноевропейского средневековья. Укажем в этой связи на известные «Очерки» Петрушевского, представляющие для нас двоякий интерес. Во-первых, потому, что они вышли из-под пера ученика Лучицкого по Киевскому университету, и, во-вторых, вследствие того, что они принадлежат автору лучшей в русской историографии монографии, посвященной классовой борьбе в средневековой деревне.

Казалось бы и традиции школы, и собственные научные интересы диктовали Петрушевскому необходимость рассматривать политическую историю поздней античности и средних веков если и не под углом зрения истории народных масс в этот период, то во всяком случае, в органической связи с нею. Однако эти ожидания в большей своей части не оправдываются. Нельзя сказать, что и «Очерки из истории средневекового общества и государства» и «Очерки из истории английского государства и общества в средние века» совершенно игнорируют судьбы широких народных масс, в особенности в бурную эпоху гибели античной цивилизации и складывания на ее обломках новых экономических, социальных и политических порядков. В частности, значительное внимание уделяется процессу генезиса феодализма, который в соответствии с утвердившимися в русской либеральной медиевистике представлениями рассматривается как процесс закрепощения массы свободных общинников. Однако в рассматриваемых работах народ выступает как пассивная масса, по-

---

[100]) Показательный пример — исследование В. П. Клячина «Политические собрания и политическая организация кальвинистов во Франции в XVI в.», Киев, 1888. Написанная учеником Лучицкого, и, в своей значительной части, на представленном им материале, задуманная как своеобразное продолжение его известных исследований, эта работа, однако, не обнаруживает свойственной Лучицкому широты в постановке проблемы. Хотя в введении к книге Клячин отмечает связь религиозных движений XVI в. с областью социально-политических и экономических интересов и в соответствии с этим дает краткую характеристику социальной структуры Франции того времени, в своем дальнейшем изложении он сосредоточивает главное внимание на проблемах чисто политического (или религиозно-политического) порядка, рассматривая их большей частью вне непосредственной связи с современными им социальными отношениями. Детально исследуя политическую организацию французских кальвинистов в 60—90-е годы главным образом под углом зрения консолидации гугенотов в их борьбе с католическим дворянством и королевской властью, он в отличие от Лучицкого почти полностью игнорирует влияние на эту борьбу народных масс.

корно следующая своей участи, что неизбежно вело к искажению всей исторической перспективы.

Именно так Петрушевский рассматривает переход от античности к средним векам. В своих «Очерках из истории средневекового общества и государства» он много говорит о бедствиях населения Римской империи в последние века ее существования, но в его книге отсутствует всякая постановка вопроса о его роли в ликвидации этой империи и переходе к новым общественным отношениям. Автор «Восстания Уота Тайлера» даже не упоминает о классовой борьбе в этот период. Тем более не учитывается им классовое сопротивление закрепощаемых общинников в период генезиса феодализма. Нет нужды говорить о том, насколько сложным и трудным в силу специфики источников того времени является изучение классовой борьбы в первое тысячелетие н. э. Однако недостаток источников отнюдь не может считаться неодолимой преградой для самой постановки вопроса о классовой борьбе и ее значении в раннее средневековье. Дело заключается прежде всего в определенных теоретических принципах, которыми руководствовался Петрушевский в освещении генезиса западноевропейского феодализма.

Еще один пример. Известное место в научном наследии Петрушевского занимает изучение политической борьбы в Англии XIII в.[101]). Ученый обстоятельно рассматривает расстановку социальных сил в этой борьбе, позицию государства и церкви и т. п. Он много говорит о сплочении «общества» в его сопротивлении притязаниям королевской власти, их взаимоотношениях в свете Великой хартии вольностей и других памятников политической борьбы того времени. Единственный персонаж, который отсутствует в его изображении, — народ, хотя Петрушевский и широко пользуется этим термином применительно к рыцарям и состоятельным горожанам. С аналогичных позиций им рассматриваются и реформы Генриха II Плантагенета. Крепостное крестьянство, городские низы исключаются ученым не только из сферы своего внимания, но и из самого понятия «народ».

Конечно, автор «Восстания Уота Тайлера» был далек от принципиального отрицания роли народных масс и их борьбы в истории в целом. Достаточно вспомнить, что в своей лучшей работе он рассматривал крестьянское восстание как важнейший факт социальной истории средневековой Англии, отправной пункт, позволяющий проникнуть в особенности аграрного строя страны и его эволюции под влиянием разви-

---

[101]) Помимо соответствующих разделов в «Очерках из истории английского государства и общества в средние века» см. выше цитировавшиеся его статьи о политической борьбе в Англии XIII в.

тия товарно-денежных отношений. Однако нам сейчас важно подчеркнуть другое — даже Петрушевский отказался видеть в народных массах и их борьбе фактор, постоянно влияющий на ход общественного развития, считая возможным рассматривать целые исторические периоды без его учета.

Взгляды Петрушевского в этом отношении следует признать характерными для всей русской либеральной медиевистики, в особенности для ее младшего поколения, не испытавшего, подобно Лучицкому или Карееву, известного влияния народнических идей и более отчетливо сознававшего свое классовое положение. Глубокая разработка коренных проблем социально-экономической истории западноевропейского феодализма в русской либеральной медиевистике, правда, являлась свидетельством того, насколько большое место в ее построениях занимали народные массы, их социальные судьбы. Однако, сделав этот важный шаг, признав историю трудящихся масс достойным объектом научного изучения, русские медиевисты в силу своей классовой ограниченности не смогли пойти дальше, не сумели увидеть в них важнейшего двигателя исторического процесса[102]).

3. Проблема исторического прогресса в освещении русской либеральной медиевистики

Понимание движущих сил общественного развития в русской либеральной медиевистике было тесно связано с ее решением одного из центральных вопросов науки — о прогрессе в истории. Идея исторического прогресса является, как известно, одним из крупнейших завоеваний буржуазной общественной мысли. Вызванная к жизни эпохой Просвещения, она получила почти всеобщее признание в либеральной историографии XIX в., превратилась в своего рода общее место всех теоретических построений в области истории. Конечно, между пониманием идеи прогресса просветителями и ее трактовкой в либеральной науке XIX в. существовали серьезные различия. По мере утверждения в Западной Европе капиталистических порядков понятие прогресса приобретает все более ярко выраженное буржуазное содержание, что нашло особенно отчетливое выражение в позитивистской теории прогресса, оказавшей несомненное влияние на буржуазную историческую мысль второй половины XIX в. Венцом прогресса

[102]) Дело, конечно, не менялось от того, что при рассмотрении некоторых частных, хотя и существенных вопросов отдельные медиевисты как старшего, так и младшего поколения указывали на роль народных масс. Речь идет об общей концепции, господствовавшей в русской либеральной медиевистике.

в истории все решительнее стало рассматриваться идеализированное буржуазное общество, с точки зрения норм которого оценивались события и явления прошлого. Тем не менее и в таком «скорректированном» идеологами победившего капитализма виде идея прогресса оказывала положительное влияние на развитие буржуазной историографии. С нею было, в частности, связано утверждение в науке представления об истории как поступательном процессе развития человеческого общества, развития, источник, движущие силы и внутренние закономерности которого искались в самом обществе.

Широкое распространение идея прогресса получила и в русской либеральной медиевистике, где она реализовалась в представлении о поступательном развитии социально-экономических и политических форм человеческого общежития. Важно заметить при этом, что сама идея исторического прогресса прочно ассоциировалась в русской либеральной медиевистике с наследием просветительской философии XVIII в. Отмечая те или иные слабые, по их мнению, стороны просветительской идеологии, русские либеральные медиевисты в то же время с неизменным сочувствием относились к развивавшимся просветителями взглядам на общественный прогресс, рассматривали их как крупнейшее достояние человеческой мысли, связывали с ними свои собственные представления о характере исторического развития. Показателен в этом отношении ход мыслей Виноградова. Указывая, что «XVIII век в лице Лессинга, Гердера, Кондорсе выразил горячую веру в прогресс», он писал: «Идея прогресса является первой основой исторического миросозерцания»[103]). Аналогичных представлений о значении этой идеи в исторической науке придерживались и другие русские либеральные медиевисты. «Основная идея всеобщей истории — идея прогресса», — писал Кареев[104]), выражая этой формулой взгляды всех русских либеральных исследователей западноевропейского феодализма. Не будет преувеличением сказать, что идея прогресса образовывала исходный пункт исторических взглядов русских либеральных медиевистов и, в частности, лежала в основе их представлений о развитии социально-экономических отношений в средневековой Европе.

В русской либеральной медиевистике наиболее основательную теоретическую разработку идея прогресса в истории получила в трудах Кареева. «Идеи развития и прогресса, т. е. движения вперед и совершенствования, — писал он, — одни из самых плодотворных в изучении истории, они, с одной сто-

---

[103]) П. Г. Виноградов. Т. Н. Грановский. — «Русская мысль», 1893, № 4, стр. 56.

[104]) Н. И. Кареев. Идея всеобщей истории. СПб., 1865, стр. 18.

роны, вносят в нашу науку объединяющий принцип и сообщают ее изучению философский смысл, с другой, ставят вопрос, куда идет человечество — вопрос, который возможно разрешить только историческим путем»[105]). Высказанное здесь убеждение объясняет стойкий и глубокий интерес, который проявляет Кареев в течение всего изучаемого нами периода к данной проблеме. В целом ряде своих сочинений он разрабатывает теорию исторического прогресса, стремится раскрыть его сущность и природу, определить движущие силы, показать соотношение идеи прогресса с реальной исторической действительностью.

К теме прогресса в истории Кареев обращается уже на заре своей научной деятельности. В одной из первых своих работ он ставит, правда в конспективной форме, целый ряд вопросов, относящихся к этой теме, которые в дальнейшем составили предмет его специального исследования[106]). Но особенно большой интерес Кареева к этой проблеме падает на 80—90-е годы, когда разработка теории исторического прогресса становится одной из центральных задач всей его научной деятельности. Помимо «Основных вопросов философии истории», где тема прогресса является ведущей, он публикует ряд статей, специально посвященных разработке отдельных сюжетов, относящихся к этой проблеме[107]), возвращается к ней в своих социологических исследованиях и лекционных курсах. Развитая во всех этих работах теория исторического прогресса в полной мере отразила на себе как сильные, так и слабые стороны идейно-методологических взглядов Кареева. Для него идея прогресса представляется в качестве объединяющей идеи философии истории, задачу которой он видит в том, чтобы рассмотреть единое во многом, проследить действие прогресса в хаосе исторических судеб народов[108]). Вот почему в его подходе к этой проблеме и в особенности в ее решении, как в зеркале, отразилось его понимание самой истории, представление о ее движущих силах и закономерностях.

Теория прогресса Кареева носит на себе явственный отпечаток влияния позитивистских идей. Рассматривая вопрос о сущности исторического прогресса, Кареев прямо указыва-

---

[105]) Н. И. Кареев. Введение в курс истории средних веков (романо-германский мир в XI—XV вв.). 2-е дополн. изд. СПб., 1886, стр. 62—63.

[106]) См. его статью «Философия истории и теория прогресса», опубликованную в журнале «Знание» (1876, № 2).

[107]) См. опубликованные в начале 90-х гг. и затем собранные в т. 1 его «Сочинений» статьи «Философия, история и теория прогресса», «Идея прогресса в ее историческом развитии».

[108]) Н. И. Кареев. Основные вопросы философии истории. Т. I, стр. 209—210.

ет, как на свой исходный пункт, на учение Конта о социальной статике и социальной динамике[109]). И дело заключается не столько в употреблении тех или иных понятий позитивистской социологии, сколько в общей постановке вопроса. Влияние позитивизма выступает уже в самом определении Кареевым прогресса. Кареев настойчиво подчеркивает естественнонаучную основу теории прогресса, указывая, в частности, на значение биологического учения об эволюции и возникновение современной антропологии как на непременное условие создания подлинно научной теории исторического прогресса[110]). Но особенно большое значение в соответствии со своими общими взглядами на историю он придает социологическому и психологическому обоснованию теории исторического прогресса. По его мнению, эта последняя может быть построена на данных двух наук — психологии и социологии[111]). В соответствии с этим находится у Кареева само определение прогресса.

В наиболее общем виде Кареев определяет прогресс в истории как совершенствование культуры народа и форм его социальной организации[112]). Его коренной предпосылкой и основой объявляется совершенствование человеческой природы[113]). Отсюда и конечные причины общественного прогресса Кареев предлагает искать в сфере психологии, причем даже не коллективной, а в полном созвучии со своими философскими взглядами, в индивидуальной психологии[114]). Совершенствование психических данных человека и выступает у Кареева как первооснова всего общественного развития.

Ведущей силой прогресса в концепции Кареева становится отдельная личность, обладающая свободой воли, а ее представление о прогрессе возводится в сан важнейшего критерия последнего. Не случайно Кареев решительно подчеркивает, что идея прогресса — субъективна[115–116]). Исходя из положения о том, что целью прогресса является развитая и развивающаяся личность, достигающая в его ходе своего самоосвобождения[117]), он констатирует некий «общий закон прогресса», в котором с особой силой нашел выражение его воинствующий субъективизм в истории. Вот его формулировка: «Естественная, бессознательная надорганическая эволю-

---

[109]) Там же, т. II, стр. 276.
[110]) Там же, т. I, стр. 276.
[111]) Там же, т. II, стр. 3—4.
[112]) Там же, стр. 238.
[113]) Там же, стр. 132—133.
[114]) См. там же, стр. 302.
[115–116]) Там же, т. I, стр. 276.
[117]) См. там же, т .II, стр 357.

ция создает такую среду (культура, социальная организация), которая имеет тенденцию лишить личность самобытности (оригинальности) и самостоятельности (автономии), но в то же время перерабатывается личностью, вносящей в жизнь свою инициативу, ставящей жизни свои цели и этим постепенно заставляющей надорганическую среду служить своему развитию»[118]).

Такие исходные посылки обусловили крайне идеалистическую интерпретацию Кареевым сущности исторического прогресса. Характерно, что при этом Кареев делает шаг назад по сравнению с собственным методологическим кредо. Вспомним, как решительно провозглашал он необходимость для ученого преодолеть односторонность материалистического и идеалистического объяснения истории, с какой настойчивостью возводил философский эклектизм в ранг важнейшей методологической основы подхода к изучению общественных явлений. В то же время в кажущемся противоречии с этими установками в трактовке исторического прогресса Кареев решительно выдвигает на первый план момент идеальный как главный, определяющий в общественном развитии. Нельзя сказать, правда, что он игнорирует материальный прогресс общества. Напротив, он его рассматривает как закономерную составную часть общечеловеческого прогресса. Общее понятие прогресса ученый считает возможным разложить на пять понятий частных — прогресс умственный, нравственный, политический, юридический и экономический, понимая под последним «развитие солидарности и улучшение способов совместного добывания средств к существованию»[119]). Однако, во-первых, не может не обратить на себя внимание несомненная узость того содержания, которое вкладывалось Кареевым в понятие «экономический прогресс». Для него в данном контексте речь идет главным образом о совершенствовании форм экономической кооперации людей. Один из важнейших моментов в развитии производительных сил, связанный с отношением человека к природе в процессе производства, вообще исключается им из понятия экономического прогресса[120]). Во-вторых, и это главное, экономический прогресс занимает явно подчиненное место в кареевской схеме историче-

---

[118]) Там же, стр. 399.

[119]) Там же, стр. 330.

[120]) Ср. его статью «Философия, история и теория прогресса», где он прямо пишет, что, «строго говоря, усовершенствования в искусстве пользоваться силами природы не только не составляют основы идеи исторического прогресса, но даже не входят в его содержание, ибо сущность исторического прогресса не во взаимодействии человека с природою». В этом последнем, с его точки зрения, заключается лишь возможность прогресса (см.: «Собрание сочинений», т. 1, стр. 120).

ского развития. Решающая роль со всей определенностью отводится прогрессу умственному и нравственному[121]).

Важнейшим фактором исторического прогресса Кареев провозглашает идею, идеал, опосредствующийся в деятельности личности, носителя его. «История есть смена идеалов», — утверждает он[122]), усматривая в такой смене сокровенную двигательную пружину общественного развития. Коллизия между идеалом и действительностью, рождающая недовольство последней и стремление ее изменить — вот, по мнению Кареева, важнейшая движущая сила исторического прогресса[123]). Но тем самым носитель таких идеалов, личность, становится главным творцом истории — именно потому, что такая личность обладает свободным сознанием, позволяющим ей стать выше современной действительности и преобразовать ее в соответствии со своими идеальными представлениями о мире. При этом показательно, что Кареев даже не ставит вопрос об условиях, определяющих степень действенности таких идеалов. Идея, действительно, может явиться величайшей творческой силой в истории, преобразующей жизнь целых народов и обществ, но лишь в том случае, если она правильно и своевременно выражает назревшие потребности общественного развития, причем действенность ее прямо зависит от глубины отражения современности и от того, какие социальные силы за нею стоят. Между тем Кареев рассматривает этот вопрос в исключительно абстрактной форме. Он говорит об абстрактном человеке с присущими ему представлениями об идеальной жизни как источнике критического отношения к действительности.

Такое понимание роли идей в истории неизбежно влекло за собою идеализацию отдельной выдающейся личности — носителя идеала и тем самым творца истории. Сколько бы Кареев ни говорил о превращении современной исторической науки в историю масс[124]), вся его концепция исторического прогресса имеет дело с выдающимися личностями как его главными носителями. Сама история, по глубокому убеждению Кареева, начинается с появления таких личностей. «История, — утверждает он, — начинается лишь тогда, когда единица вносит нечто новое, необычное в систему поступков, содействуя изменению культуры, когда усложняется социальная организация вследствие возникновения новых отношений,

---

[121]) Н. И. Кареев. Основные вопросы философии истории. Т. II, стр. 313.

[122]) Там же, стр. 242.

[123]) Там же, стр. 243, ср. стр. 252, где идеалы, не соответствующие действительности, провозглашаются главными двигателями истории.

[124]) Там же, т. I, стр. 397; Сущность исторического процесса и роль личности в истории, стр. 154.

когда является новая идея, которая, как цель, делается мотивом новых поступков. В этом — начало истории и ее принцип»[125]). Расшифровывая далее эту формулу, Кареев связывает начало исторического развития с образованием государства на том основании, что «только в государстве возможно появление великого человека, который дает широкое применение новой идее»[126]).

Под этим углом зрения Кареев подходит к решению вопроса о роли личности в истории. Утверждая, что спор о том, кто является движущей силой истории — великие люди или народные массы, герои или толпа, — якобы не имеет научного значения, он, по существу, занимает в нем весьма определенные позиции, подчеркивая решающее влияние на общественный прогресс первых и высокомерно принижая значение последних. Он констатирует иерархию индивидуумов от великого человека, творца новой идеи, до «последней сошки, которая ничего не способна выдумать и ничего организовать». Задавая после этого вопрос, кто же преимущественно двигает историю, Кареев считает ответ на него вполне ясным: «Как в природе индивидуальная изменчивость есть фактор изменяемости вида, так и в истории личная инициатива изменяет культуру и социальную организацию»[127]).

Следует отметить, что такая трактовка движущих сил общественного прогресса вступает в противоречие не только с исторической действительностью, но и с лучшими работами самого Кареева, в которых достаточно убедительно показано громадное значение народных масс как важнейшего деятеля истории на ее переломных этапах. Между тем, исходя из рассмотренных выше теоретических установок, в несомненном противоречии с положениями, нашедшими свое воплощение в его книге о французском крестьянстве XVIII в., а впоследствии и в «Истории Западной Европы в новое время», Кареев рисует фантастическую картину исторического развития человеческого общества, напоминающую в некоторых своих деталях позднейшие историософические построения А. Тойнби.

Подчеркивая, что главным фактором общественных перемен является личная инициатива, на которой основывается всякое историческое движение, Кареев конструирует следующую схему исторического прогресса. В основании ее лежит разделение общества на две неравноценные части — творческое меньшинство и косное большинство. В то время как первое прогрессирует, последнее, обездоленное в политическом, юридическом и экономическом отношениях, продолжает

[125]) Н. И. Кареев. Основные вопросы философии истории. Т. II, стр 238.
[126]) Там же, стр. 239.
[127]) Там же, стр. 268.

коснеть в первобытном состоянии. В результате образовывается пропасть, которая ведет к ослаблению психической связи между отдельными членами общества и нарушению всеобщей солидарности. Но тем самым возникает угроза положению самого творческого и господствующего меньшинства и всему общественному строю, основанному на таком разделении. В силу того, что меньшинство оставит массу в такие условия существования, которые делают для нее невозможным развитие, духовный прогресс одной части общества не сопровождается прогрессом социальным, открывающим для всех дорогу к духовному развитию. Но это, в свою очередь, делает крайне непрочным все, созданное культурным меньшинством. Масса, составляющая материальную силу общества, не только перестает поддерживать меньшинство, от нее изолированное или ее угнетающее, но даже теряет возможность этого: прогрессирующее обеднение от эксплуатации ведет к тому, что ее трудом может поддерживаться все меньший и меньший культурный слой, который, получая от массы все меньше средств, вынужден все более отказываться от прогрессивной деятельности. Культурный слой тает, а долгое время не прогрессировавшее большинство оказывается неспособным само поддерживать более высокую ступень культуры, выработанную для себя меньшинством. В итоге — неизбежное падение цивилизации. Однако, продолжает далее Кареев, падение цивилизации не является смертью самого общества. На основе низшей культуры возникает новое прогрессивное меньшинство. Правда, Кареев с ссылкой на пример Византии и Индии подчеркивает, что новое меньшинство не всегда является фактором прогресса: если оно чересчур проникнуто традициями массы, что обусловливает невозможность его критического отношения к существующему порядку вещей, наступает эпоха застоя и в конечном счете гибели данной цивилизации[128]).

Такова в общих чертах кареевская схема прогресса в обществе, историческим обоснованием которой, как в сущности и у Тойнби, являлись судьбы Римской империи. Запечатлев в себе некоторые внешние черты эпохи перехода от античности к средним векам, эта схема, однако, была глубоко антиисторичной в главном — в понимании механизма общественного развития и его движущих сил. Здесь особенно ярко сказалась порочность пресловутого субъективного метода в социологии, ревностным приверженцем которого был Кареев. В его изображении народные массы выступают как воплощение начала косности в истории; различие между ними и так называемым культурным слоем объявляется не только

[128]) Там же, стр. 337—340.

неизбежным спутником общественного прогресса, но и (в определенных границах) его неотъемлемым условием. Не случайно причину застоя и в конечном счете гибели Византии он видит именно в отсутствии такого различия. Так, вся история превращается в арену творческой деятельности меньшинства, и вся сложность вопроса сводится для Кареева, по существу, к тому, чтобы определить необходимые нормальные пределы для коллизии между двумя явно неравноценными по своей исторической значимости частями общества. Широким народным массам отводится в кареевской схеме незавидная роль питательной среды для деятельности творческого меньшинства.

Рассмотренные выше взгляды на движущие силы исторического прогресса более или менее последовательно проводятся Кареевым на всем протяжении его теоретических рассуждений о сущности прогресса в обществе. С их позиций получают свое истолкование отдельные исторические феномены. Так, в частности, подходит он к объяснению генезиса нации. С его точки зрения, нация — это высший продукт психологического взаимодействия людей в пределах расы, она создается сознанием, субъективным чувством принадлежности к определенной национальной группе. Кареев прямо подчеркивает, что развитие национального чувства объединяет людей, принадлежащих к одной расе, в нации[129]). Он остается верным себе, даже переходя к истории нового и новейшего времени, когда, казалось бы, да это он и сам демонстрирует своими конкретно-историческими работами, невозможно игнорировать значение материальных факторов исторического прогресса, роль народных масс. Крупнейшие духовные и общественные движения в Западной Европе XIX столетия он рассматривает как следствие пробуждения личного самосознания, видит в них продукт стремления личности к новым культурным и социальным формам[130]).

В соответствии с этим находятся и его представления о характере прогресса в обществе. Кареев — убежденный эволюционист. Правда, он выступает против плоского эволюционизма Конта, рассматривавшего историю в виде планомерного и безостановочного эволюционного процесса. Полемизируя с таким пониманием общественного развития, он писал: «В действительности, история не была такой эволюцией: не только столкновение народов (например, переселение варваров в Римскую империю), но и отдельные события в исто-

---

[129]) Там же, стр. 154—158.

[130]) Н. И. Кареев. Философия культурной и социальной истории нового времени (1300—1800). Введение в историю XIX в. СПб., 1893, стр. 176.

рии одного общества представляют из себя постоянные кризисы, постоянные нарушения эволюции. История вся слагается из эволюции и кризисов...»[131]). Более того, Кареев проводит четкую дифференциацию между понятиями «эволюция» и «прогресс», понимая под первой процесс интеграции и дифференциации социальных форм, а под вторым — процесс воплощения в этих формах высших принципов[132]). Тем не менее он настойчиво подчеркивает (даже уже своей формулировкой) тесную связь между этими понятиями. Выражаясь его языком, процесс воплощения в социальных формах высших принципов осуществлялся преимущественно эволюционным путем. Именно эволюция, с точки зрения Кареева, является важнейшим условием прогресса. Он прямо подчеркивает, что «прогресс, значительное движение вперед... может совершаться только при помощи эволюции, развития того, что совершенствуется»[133]). Всякий кризис для Кареева является препятствием на пути социального прогресса, его тормозом. Постоянные частные и общие кризисы, по его мнению, лишь нарушают нормальный ход социальной эволюции. «Вечные революции и контрреволюции не ведут к прогрессу, — восклицает он. — Идеал общественного движения — прогрессивная эволюция»[134]).

В полном соответствии со своими общими идеалистическими представлениями об историческом процессе Кареев и эволюцию его рассматривает в первую очередь как эволюцию принципов, идей. Он считает даже возможным в краткой формуле свести к такой эволюции все существенное содержание прогресса в обществе. «Прогресс, — утверждает он, — есть эволюция идеалов истины, добра и справедливости»[135]). Отсюда вытекает и его понимание цели исторического прогресса. Много раз на страницах «Основных вопросов философии истории» он подчеркивает, что эта последняя заключается в торжестве всеобщей справедливости и всеобщего блага[136]).

Действительно, социальный прогресс в конечном счете ведет к освобождению всех членов общества от любой формы социального угнетения, как и от порабощения силами природы, создавая условия, обеспечивающие каждому члену общества удовлетворение его материальных и духовных потребностей. Однако сама жизнь каждодневно показывает, что

---

[131]) Н. И. Кареев. Основные вопросы философии истории. Т. II, стр. 279.
[132]) Там же, стр. 282—283.
[133]) Там же, стр. 236.
[134]) Там же, стр. 284—285.
[135]) Там же, стр. 248.
[136]) См. там же, т. I, стр. 450, 453; т. II, стр. 40, 133, 337 и многие др.

путь такого прогресса лежит через борьбу, причем в антагонистическом обществе — через борьбу с теми социальными силами, которые основывают свое господство на угнетении большинства членов этого общества. История показывает далее, что величайшими деятелями прогресса являются широкие народные массы; их повседневным трудом, их упорной борьбой с угнетателями закладываются действительные основы общественного прогресса. К концу XIX в. в распоряжении вдумчивого мыслителя, даже не стоявшего на позициях материалистического понимания истории, было достаточно фактов, указывавших на роль народных масс в поступательном развитии человеческого общества. Эти факты не составляли тайну для Кареева и других русских либеральных ученых, писавших о революционных бурях конца XVIII—середины XIX вв. в Западной Европе. Тем не менее вопреки очевидным фактам, широко ими использовавшимся в исследовательской практике, да и собственным выводам о роли масс в «критические моменты» общественного развития, в своих теоретических построениях они, как правило, шли иным путем. Пример тому — теория исторического прогресса Кареева, игнорирующая роль народных масс в истории, но тем самым неизбежно обнаруживающая свою внутреннюю слабость и, в последнем счете, несостоятельность.

В самом деле, многократно провозглашая всеобщее благо и справедливость как цель исторического прогресса, Кареев, по существу, обходит вопрос об условиях, которые делают возможным осуществление этой цели. Все внимание он сосредоточивает на утверждении мысли о необходимости солидарности всех членов общества. Свое осуждение эксплуатации человека человеком он не связывает с признанием правомерности и тем более необходимости борьбы с нею, и поэтому оно остается сугубо декларативным. Более того, всякая борьба в обществе вне зависимости от ее целей и характера объявляется им явлением безнравственным, достойным самого сурового осуждения со стороны каждого «сколько-нибудь развитого человека»[137]). Но тем самым все рассуждения о всеобщем благе, как идеале общественного развития, повисают в воздухе, остаются пустыми разговорами, лишенными всякого реального содержания, ибо действительному ходу вещей противопоставляются упования на рост общественной солидарности, смягчение борьбы и т. п. либеральные панацеи, начисто оторванные от подлинной исторической почвы.

Вместе с тем было бы несправедливым не учитывать, что кареевская теория исторического прогресса содержит и немало метких наблюдений, глубоких положений, свидетельствую-

---

[137]) Там же, т. II, стр. 320.

щих об умении ее создателя в отдельных случаях разглядеть за многообразием совершающихся в жизни человеческого общества событий и явлений некоторые существенные черты исторического развития в его главных направлениях. Кареев сумел увидеть сложный и противоречивый характер общественного прогресса. Он решительно полемизировал с распространенным в буржуазной, особенно позитивистской, историографии XIX в. представлением о прогрессе как прямой и гладкой дороге вперед, продолжая в этом отношении традиции русской демократической публицистики с ее разящей критикой «пошлого оптимизма» буржуазной апологетики.

Уже в одной из своих ранних работ Кареев выступает против положения о том, что развитие общества идет по непременно и неуклонно восходящей линии, не знающей никаких отклонений и тем более падений по сравнению с первоначально достигнутым уровнем[138]). Теория исторического прогресса Кареева включала в себя допущение возможности существования регрессивных явлений и прямого регресса в истории. «История — такое сложное явление, — подчеркивал он, — что в ней возможны процессы прямо регрессивные»[139]). Он даже выдвигает в качестве научной задачи необходимость классификации прогрессивного и регрессивного общественного движения[140]).

Вопрос о регрессе в историческом развитии принадлежит к числу особенно сложных и малоисследованных социологических проблем. Между тем сама жизнь в любую эпоху в изобилии доставляет факты, свидетельствующие о том, что значение этой проблемы далеко выходит за рамки чисто теоретического интереса. Вот почему заслуживает внимания обращение к этой проблеме Кареева; его постановка вопроса о том, что регрессивные явления представляют собою составную часть исторического развития, не потеряла своего научного значения и сегодня.

Кареев настойчиво подчеркивает сложность общественного развития, невозможность втиснуть его живое содержание в заранее данную схему. В этом плане он проводит различие между прогрессом в обществе и в природе. «Историческое развитие, — указывает ученый, — никогда не совершается с правильностью, возможною лишь при равномерном и постоянном взаимодействии немногих сил и всегда при одних и тех же условиях: исторические условия в разных местах и в разное время не одни и те же; сил, участвующих в исто-

---

[138]) Н. И. Кареев. Философия истории и теория прогресса. — «Знание», 1876, № 2, стр. 47—48.

[139]) Н. И. Кареев. Основные вопросы философии истории. Т. I, стр. 456.

рии... несчетное множество, и между ними возможно бесконечное количество комбинаций; действие этих сил неравномерно, а их комбинации весьма изменчивы, — и вот поэтому историческое движение никогда не может происходить с правильностью, какую мы наблюдаем, например, в движении планет и их спутников»[141]).

Кареев подверг резкой критике широко распространенный в позитивистской литературе XIX в. взгляд на прямолинейность исторического прогресса. Веру в прямолинейность развития общества, характерную, по его словам, для французской и немецкой историографии, он называл иллюзией, усматривая призвание русской науки в освобождении от нее теории прогресса[142]). Уже на пороге своей научной деятельности он едко высмеивает бездумное описательство, руководствующееся наивными представлениями о безостановочности исторического прогресса. «Исторические писатели этого рода, — указывает он, — бывают обыкновенно самыми неисправимыми оптимистами, проповедниками прямолинейного прогресса: самую незначительную перемену к лучшему они готовы раздуть в факт первостепенной важности не потому, чтобы нужно было доказать какое-либо положение, а потому, что этого безотчетно требует их желание видеть вещи в розовом свете»[143]).

В полемике с такого рода «наивными оптимистами» и откровенными буржуазными апологетами Кареев ставит вопрос о цене, какой покупается прогресс в классовом обществе, приходя к важному в методологическом отношении выводу о противоречивом характере общественного прогресса. Местами он поднимается до сознания того, что плодами прогресса в классовом обществе пользуются далеко не все его члены, что сам прогресс нередко достигается ценою жестокого угнетения широких народных масс. Это положение, как мы видели, в фантастическом виде получило свое отражение в его общей схеме исторического развития с ее противопоставлением творческого меньшинства и косного большинства, прогресса первого и регресса второго.

Гораздо большее значение имели попытки Кареева показать антагонистический характер общественного прогресса в реальной исторической действительности. Именно с таких позиций, в частности, подходит он к оценке значения про-

---

[140]) Н. И. Кареев. Введение в изучение социологии, стр. 363.

[141]) Н. И. Кареев. Философия культурной и социальной истории нового времени, стр. 115.

[142]) Н. И. Кареев. Лекция о духе русской науки. Варшава, 1885, стр. 18.

[143]) Н. И. Кареев. Новый историк французского крестьянства. — «Критическое обозрение», 1879, № 6, стр. 5.

мышленного переворота в Западной Европе. «Введение машин, — утверждает он, — благодаря известному социальному строю (подчеркнуто мною — *Б. М.*), вызвало множество явлений несомненно регрессивного свойства: оно привлекло к фабричному труду женщин и детей, что вызвало ужасные физические и моральные последствия, оно удлинило рабочий день, что сделало труд более тяжелым и однообразным, оно превратило работника в автомат и т. д.»[144]). Оценка промышленного переворота с точки зрения его социальных последствий, его влияния на положение трудящихся масс в капиталистическом обществе не является случайным моментом в историко-философской теории Кареева. Напротив, он использует этот пример для того, чтобы с редкой для буржуазного ученого силой и прямотой поставить вопрос о цене прогресса в классовом обществе, о необходимости для историка рассматривать не только казовую сторону общественного прогресса, но и его отрицательные последствия. Вопрос об историческом прогрессе для него оказывается тесно связанным с вопросом о его влиянии на реальное положение масс. «Историк, желающий стоять на высоте своей философской задачи, — пишет он, — не ограничится изучением одной стороны прогресса: он покажет нам, какою ценою он покупался и какие плоды успел уже дать для труждающихся и обремененных исторической жизнью»[145])

Мы не можем сегодня полностью согласиться с трактовкой Кареевым социального прогресса. Нас не может удовлетворить прежде всего критерий, с которым Кареев подходит к оценке прогресса. Субъективный идеалист, он и в этом случае выдвигает на первый план абстрактную «развитую личность» с ее потребностями. «Историософический критерий, выше которого мы ничего не знаем, — утверждает он, — есть благо всей совокупности личностей без всякого минуса»[146]). При всей кажущейся привлекательности этого критерия он не содержит главного — классовой оценки прогресса. В абстрактной личности, за интересы которой все время ратует Кареев, исчезают реальные социальные силы, которые в их отношении к прогрессу и его благам, по существу, остаются вне рассмотрения ученого. Ведь даже обращаясь к рассмотрению жертв промышленного переворота, он делает это во имя личности вообще. Бесспорно, все это ослабляет значение кареевской постановки вопроса о противоречивости исто-

---

[144]) Н. И. Кареев. Основные вопросы философии истории. Т. I, стр. 422. Характерно, что при этом Кареев ссылается на «Капитал» Маркса.

[145]) Там же, стр. 425—426.

[146]) Там же, стр. 450.

рического прогресса. Тем не менее сама эта постановка даже в таком виде, в каком мы ее находим у Кареева, означала некоторый шаг вперед в сравнении с общепринятой в буржуазной социологии и историографии 2-й половины XIX в. трактовкой общественного прогресса и способствовала более глубокому пониманию исторического развития. Решительно выступая против «пошлого оптимизма», ставя вопрос о том, какой ценой покупался прогресс в обществе и как мало человек до сих пор пользовался его плодами, Кареев продолжал лучшие традиции русской историографии со свойственным ей неподдельным гуманизмом.

Такой взгляд соединялся с отказом от предвзятого подхода к истории, включая в себя требование объективного освещения ее различных сторон, установления определенного соотношения между ними. «История, — писал Кареев, — не яркий летний день, но и не пасмурные осенние сумерки, не торжественный марш победителей, но и не надгробное рыдание заупокойной панихиды: историк должен по возможности с объективной точностью воспроизвести ее светлые и мрачные стороны, мужественную энергию и бесконечную тоску ее звуков, ибо таковая вся жизнь человеческая»[147]). Конечно, это определение истории и задач историка далеко от исчерпывающей полноты, однако вряд ли можно сомневаться, что и в таком виде, возведенное в степень теоретического обобщения, оно играло определенную позитивную роль в развитии науки, содействуя более глубокому и всестороннему пониманию ею как самого исторического процесса, так и своих собственных задач в его исследовании.

Настоятельно подчеркивая противоречивость и сложность исторического развития, Кареев в то же время никогда не сомневался в самом существовании общественного прогресса. Он решительно выступал против мрачного пессимизма, не желавшего видеть в истории ничего, кроме юдоли скорби и печали, и отрицавшего всякое поступательное развитие общества. Он берет под свою защиту самоё идею исторического прогресса, полемизируя как с ее открытыми противниками, объявляющими прогресс в обществе «иллюзией», так и с теми буржуазными философами, кто, подобно Спенсеру, сводил его к простому усложнению общественной жизни[148]).

Для Кареева прогресс является тенденцией исторического развития[149]). При этом он приходит к принципиально важному выводу о том, что тенденция прогресса в исторической действительности осуществляется в результате борьбы проти-

[147]) Там же, стр. 426.
[148]) Н. И. Кареев. Собрание сочинений, т. I, стр. 157—160.
[149]) Н. И. Кареев. Основные вопросы философии истории. Т. I, стр. 211.

воположностей, воплощающейся в антагонизме старого и нового. «Прогресс, — утверждает он, — есть движение вперед через развитие противоположностей, — такова формула и прогресса социального: чтобы что-либо прогрессировало, необходимо отрицание прежнего»[150]). Этим несомненно плодотворным принципом Кареев руководствуется в ряде случаев в оценке отдельных эпох исторического развития.

Особенный интерес в этом отношении представляет его трактовка социально-политической истории XIX в. Достаточно последовательно Кареев проводит мысль о том, что существенным содержанием европейской истории XIX в. являлась борьба сил прогресса и реакции, в которой в последнем счете победа оказывается на стороне первых. Нормальным типом исторического развития для него является поступательное развитие общества, которое может быть только на какой-то период времени приостановлено реакцией, но тем неотвратимее его конечное торжество[151]). Именно с таких позиций он рассматривает сложные перипетии социально-политической истории Западной Европы первой половины и середины прошлого столетия. Определяя сущность происходившей в то время социально-политической борьбы, ученый писал: «Весь вопрос был в том, должна ли была Западная Европа и далее идти по дороге, пройденная часть которой отмечена такими движениями, как гуманизм, реформация, просвещение и революция, или же должна остановиться и пребывать на все будущие времена в том состоянии, которое было результатом сочетания феодализма, католической реакции и сословно-вероисповедного абсолютизма. История XIX в. решила этот вопрос в первом смысле, несмотря на частные победы, которые не раз одерживала культурная, социальная и политическая реакция представителей «старого порядка». В этой борьбе между отжившими традициями и освободительными заветами XVIII в. и заключается одна из самых важных и интересных сторон истории нашего века»[152]).

Кареев был единственным русским медиевистом, специально разрабатывавшим теорию исторического прогресса. Тем не менее большинство высказанных им принципов с пол-

---

[150]) Там же, т. II, стр. 393. Это положение Кареева, как и некоторые другие высказывавшиеся им, например, отождествление начала исторического развития с возникновением государства (см. выше стр. 220), наводят на мысль о том, что на методологических взглядах ученого сказалось известное влияние некоторых идей гегелевской философии истории.

[151]) Будет излишним останавливаться на доказательстве того очевидного положения, что это понимание поступательности и неодолимости исторического развития не выходило у Кареева за традиционные в буржуазной науке рамки и отнюдь не вело к отрицанию буржуазного общества.

[152]) Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время. Т. IV, стр. 6.

ным основанием можно считать характерным для методологических идей всей русской либеральной медиевистики 70-х—90-х годов. Специально не занимаясь этим вопросом, русские медиевисты как в своих теоретических взглядах, так и в историографической практике целиком исходили из признания поступательного характера общественного развития. Признание закономерного прогрессивного характера исторического процесса являлось одной из наиболее общих идей, объединявших всех русских исследователей западноевропейского феодализма. Каждый из них мог с полным основанием вместе с Ковалевским[153]) говорить о вере в прогрессе как своем самом сокровенном убеждении, определяющем все отношение к истории человеческого общества.

Конечно, представления о характере и движущих силах исторического прогресса, которыми руководствовались русские медиевисты, далеко не во всех пунктах совпадали со взглядами, развивавшимися Кареевым. В частности, ими не разделялись взгляды последнего на роль личности в истории. Даже Лучицкий, стоявший в молодости в ряде пунктов ближе других русских медиевистов по своим идейно-методологическим взглядам к Карееву, по данному вопросу занимал существенно иную позицию. Уже в первой своей работе, выступая против преувеличения роли случайного в истории, он подчеркивал свое отрицательное отношение к взглядам, приписывающим свободной воле личности роль двигателя истории[154]). В другой статье, ставя вопрос о действительных размерах участия личности в историческом развитии нации, Лучицкий указывал, что эти размеры часто преувеличивают, забывая о том, что возможность для известной личности влиять на общество находится в прямой и полной зависимости от объективных условий, определяющих общественное развитие и не зависящих тем самым от свободной воли личности[155]).

В ряде своих работ Лучицкий сделал попытку применить провозглашаемые им положения к анализу деятельности отдельных исторических личностей[156]). Далеко не со всем, что там содержится, мы можем сегодня согласиться. В особенности это относится к его стремлению объяснять деятельность

---

[153]) См.: М. М. Ковалевский. Очерк происхождения и развития семьи и собственности, стр. 175.

[154]) И. В. Лучицкий. Адам Фергюсон и его историческая теория. — «Университетские известия», Киев, 1869, № 1, стр. 3—4.

[155]) И. В. Лучицкий. Очерк развития скептической мысли во Франции. — «Знание», 1873, № 11, стр. 34.

[156]) См., в частности, его «Очерк развития скептической мысли во Франции» — «Знание», 1873, № 1, 3, 8, 11; Джордано Бруно. — «Университетские известия», Киев, 1885, № 5; Проповедник религиозной терпимости в XVI в., М., 1895.

изучаемых им лиц главным образом обстоятельствами духовной жизни общества. Однако нам сейчас важно отметить, что и в своей историографической практике Лучицкий отвергал взгляд о решающей роли личности в истории. Более убедительно он решал этот вопрос в работах, посвященных изучению экономического развития европейского общества. Так, усматривая причины возникновения в Западной Европе системы меркантилизма в социально-экономических условиях жизни европейского общества XV—XVII вв., он настойчиво подчеркивает, что именно эти последние, а не гений отдельных государственных деятелей породили меркантилизм. Поэтому для него является беспредметным спор относительно того, кто первый ввел эту систему, так как первые ее признаки под влиянием однородных условий появились одновременно в различных государствах[157]).

Не менее решительными противниками субъективно-идеалистических представлений о роли личности в истории выступали остальные русские медиевисты. Правда, мы не можем назвать ни одной их работы, специально посвященной этому вопросу. Однако вся совокупность их теоретических взглядов, вся историографическая практика неопровержимо свидетельствуют о том, что они не видели в отдельной личности решающий фактор исторического развития. Мы не говорим даже об их исследованиях аграрной истории западноевропейского средневековья, в которых объектом изучения выступают большие социальные группы людей и их взаимоотношения, а сам исторический процесс рассматривается как безличная эволюция. Но вот перед нами лекционный курс Виноградова, в значительной своей части посвященный политической истории средневекового Запада. Уже в введении к курсу, в кратком историографическом очерке, Виноградов достаточно определенно выражает свое отношение к интересующему нас вопросу. Указывая, что Гердер наряду с Монтескье проложил дорогу современному пониманию истории, он, в частности, подчеркивает, что выдающийся немецкий просветитель «искал прогресс не только в сознательной работе мыслителей и законодателей, но и в постоянном развитии народной жизни». «У него, — продолжает далее Виноградов, — уже открылись глаза на то, что действительным творцом истории является не личность или не личность главным образом, а народ, действующий главным образом через личность»[158]).

Однако в большинстве других главных положений сформулированная Кареевым теория прогресса была созвучна тем

---

[157]) См.: Э. Зеворт. История нового времени, т. I, стр. 166—172.

[158]) П. Г. Виноградов. История средних веков, изд. 2-е, М., 1899—1900, стр. 7.

представлениям об историческом развитии, которыми руководствовались все русские либеральные медиевисты. Можно выделить следующие принципы, которые являлись общепринятыми в русской либеральной медиевистике, независимо от того, говорил ли о них специально тот или иной ученый, или нет: 1. Утверждение идеи прогресса как определяющей черты исторического развития, сочетавшееся с признанием его сложного и противоречивого характера. 2. Провозглашение эволюции нормальным путем исторического развития. 3. Признание закономерного характера исторического развития, сочетавшееся с решительным отказом от всяких попыток объяснения истории с помощью трансцедентальных сил. 4. Эклектизм как ведущий методологический принцип в интерпретации природы и движущих сил общественного прогресса. 5. Отождествление исторического прогресса с ростом общественной солидарности.

Теория общественного прогресса, которая лежала в основании всех исторических построений русских либеральных медиевистов, в полной мере отражала на себе ограниченность их исходных мировоззренческих посылок. Она являлась по своему существу идеалистической, поскольку общественный прогресс отрывался от его материальной основы. Конечно, историографическая практика наших медиевистов и в этом вопросе далеко не всегда совпадала с их теоретическими установками, зачастую внося туда существенные коррективы. Концентрируя свое внимание на изучении социальной истории Западной Европы эпохи феодализма, они в целом ряде случаев соотносили социальный прогресс, имевший место в средневековом обществе, с экономическим развитием этого последнего. Укажем, в частности, на «Экономический рост Европы» Ковалевского, где с большей или меньшей последовательностью проводилась мысль об экономической основе всего социального прогресса в средние века. Ряд положений, таких, например, как определяющее влияние развития товарно-денежных отношений на трансформацию сеньориального строя, получили всеобщее признание в русской либеральной медиевистике, сделались своего рода исходными методологическими принципами при трактовке социальной истории западноевропейского средневековья. Достаточно вспомнить «Восстание Уота Тайлера» Петрушевского, где положение о кризисе английского манора под влиянием разложения натурального хозяйства и развития товарно-денежных отношений легло в основу всей его концепции восстания 1381 г.

Вместе с тем в общей теории прогресса, господствовавшей в русской либеральной медиевистике, на первый план выступает идеалистическая интерпретация его природы. В самом

деле, даже Ковалевский, наиболее обстоятельно в русской медиевистике рассматривавший социально-политическое развитие средневекового общества в связи с его экономическим прогрессом, в своих теоретических рассуждениях о прогрессе в обществе и его предпосылках, по существу, элиминируется от материальных условий, определяющих поступательное развитие человеческого общества. На первый план им выдвигаются факторы качественно иного порядка: абстрактно-биологические универсальные принципы борьбы за существование и инстинкт самосохранения[159]). В еще большей степени это своеобразное отчуждение идеи прогресса от его материального содержания было свойственно другим русским либеральным историкам.

Идеалистические основы господствовавших в русской либеральной медиевистике взглядов на прогресс особенно отчетливо проявляются в трактовке его целей. Провозглашая целью прогресса достижение пресловутой общественной солидарности, а в росте этой последней усматривая его главное содержание, русские либеральные медиевисты, занимавшиеся в той или иной степени вопросами теории прогресса, видели пути ее достижения главным образом в совершенствовании абстрактной человеческой личности. Правда, самое совершенствование человеческой природы ставилось в прямую связь с развитием культуры, хозяйства и всех остальных сфер общественной деятельности. Тем не менее игнорировалось главное — экономические условия жизни общества в широком смысле слова как определяющий фактор социального прогресса. Более того, ни Кареев, ни Ковалевский, также рассматривавший рост общественной солидарности как существенное содержание исторического прогресса, не основывали ее на эволюции социальных форм. И это далеко не случайно. Декларируя свою веру в бесконечный прогресс, они отнюдь не соединяли ее с убеждением в том, что каждый значительный шаг на пути социального прогресса человечества органически связан с поступательным развитием форм социальной организации людей, воплощается в этом последнем. При всей критике тех или иных пороков, присущих капиталистическому строю, русские либеральные медиевисты, в сущности, не представляли себе социального прогресса вне его рамок. Провозглашаемое ими царство общественной солидарности как цель прогресса являлось ничем иным, как идеализированным буржуазным обществом, лишенным своих «темных сторон». Бо-

---

[159]) Учение Ковалевского о прогрессе получило обстоятельное освещение в книге Б. Г. Сафронова «Ковалевский как социолог» (см. гл. III). О понимании Ковалевским источников прогресса в обществе см. стр. 118—119 указанной книги.

лее того, теория прогресса в том виде, как она развивалась в позитивистской социологии, и оттуда в ряде своих существенных пунктов была воспринята русскими либеральными историками, объективно содействовала упрочению буржуазного строя, являясь одним из самых действенных средств, имевшихся в прошлом столетии в его идеологическом арсенале. Именно такой объективный смысл имела важнейшая составная часть позитивистской доктрины прогресса — учение о социальной эволюции как нормальном типе общественного развития.

Вполне очевидно, что гносеологическая и классовая ограниченность взглядов на общественный прогресс, господствовавших в русской либеральной медиевистике, снижала ее научную ценность, ставила определенные пределы в познании действительного хода исторического развития и его подлинных закономерностей. В то же время было бы ошибкой отрицать известные положительные моменты, которые имелись в рассматриваемых взглядах. Сам факт признания закономерного и поступательного характера общественного развития с присущими ему сложностью и противоречивостью создавал определенные возможности для плодотворного изучения прошлого. Ученый получал историческую перспективу, которая позволяла ему осмысливать весь поток исторических явлений, вычленять в нем определенные периоды, рассматривая каждый из них с точки зрения его места в общем историческом развитии.

Глава IV

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ФЕОДАЛИЗМА В РУССКОЙ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

(окончание)

1. Метод русской либеральной медиевистики

Теоретические представления русской либеральной медиевистики достигли наибольшей зрелости в ее методе. Если в сфере общих теоретических построений (теория прогресса) особенно явственно проявлялась идеалистическая природа методологических воззрений наших ученых, то в подходе к осмыслению явлений и процессов, составляющих предмет их исследования, нередко обнаруживались элементы материалистического истолкования общественного процесса. Это явление не было ни случайным, ни характерным лишь для русской либеральной историографии.

Выдвижение на первый план изучения социально-экономических отношений как важнейшей задачи науки предполагало и существенные перемены в способах исторического познания. На смену традиционным в буржуазной науке XIX в. представлениям о методе исторического исследования, получившим наиболее полное воплощение в теоретических взглядах и историографической практике Ранке[1]), пришло признание необходимости не только изучения социально-экономической стороны исторического процесса, но и в той или иной мере учета этой последней при рассмотрении других его сторон. В западноевропейской буржуазной историографии положение о зависимости социально-политических отношений от экономических условий жизни общества получило наиболее полное выражение в трудах Торольда Роджерса, предпринявшего едва ли ни единственную в буржуазной науке Запада попытку рассмотреть под этим углом зрения ключевые проблемы истории Англии в средние века и новое время[2]).

---

[1]) О методе Ранке см.: Н. И. Смоленский. О некоторых теоретико-методологических принципах исторической концепции Леопольда фон Ранке. — Сб. «Методологические и историографические вопросы исторической науки», Томск, 1963; его же. Леопольд фон Ранке. Методология и методика исторического исследования. Там же, вып. 4, Томск, 1966.

[2]) См., в особенности, его «The economic interpretation of history». Обращает на себя внимание уже самое название этой книги, выросшей из курса лекций, прочитанных в Оксфордском университете. В экономической

Аналогичные взгляды распространяются в последней четверти XIX в. в русской либеральной медиевистике, реализуясь в признании значения для историка изучения экономических отношений и их места в общественном процессе. Нередко это признание, правда, выражалось в форме постулирования необходимости первоочередного изучения сферы экономики ввиду ее мнимой элементарности[3]), что, конечно, значительно снижает его методологическую ценность. Однако даже в таком виде оно играло плодотворную роль в развитии буржуазной исторической науки, способствуя углублению у известной части ее представителей понимания действительного характера связей, существующих в объективной исторической реальности, а следовательно, и метода ее познания.

Проблема метода в буржуазной историографии приобретает особенный интерес вследствие того, что именно в этой области преимущественно реализовалось влияние материалистического понимания истории на буржуазную мысль. Отвергая в силу понятных причин материалистическую концепцию общественного развития и в особенности следовавшие из нее революционные выводы, ведя борьбу с марксистским учением об общественно-экономических формациях и материалистической диалектикой, некоторые буржуазные ученые в то же время испытали определенное влияние марксизма в самом подходе к изучению прошлого, в методе осмысления многообразных связей, реально существовавших в исторической действительности. Конечно, это ни в коей мере не означало усвоения ими материалистического метода, но уже сама постановка вопроса о необходимости рассматривать развитие общества под углом зрения эволюции его экономического строя, при всей ее непоследовательности и ограниченности в буржуазной науке, способствовала обогащению ее исторического метода. С этих позиций мы и попытаемся рассмотреть некоторые особенности исторического метода русской либеральной медиевистики.

интерпретации истории Роджерс усматривал единственный путь создания подлинной исторической науки. Характерным образом свою книгу он начинает резкой критикой современной ему историографии. Он подчеркивает, что почти вся она игнорирует влияние экономических фактов на социальную жизнь, вследствие чего история становится простым беспорядочным и несовершенным словарем. В противовес этому английский ученый указывает на необходимость изучения экономической обусловленности политических событий и социальных движений (см.: J. E. T. Rodgers. The economic interpretation of history. Vol. I. 4. Edition, London, 1898, pp. 1—2. Об исторических взглядах Роджерса см.: Е. В. Гутнова. Т. Роджерс и возникновение историко-экономического направления в английской медиевистике второй половины XIX в. (60—90-е гг.) — Сб. «Средние века», вып. XVII, М., 1960.

[3]) Особенно отчетливо этот взгляд выразил Петрушевский, провозгла-

Одним из центральных методологических принципов, утвердившихся в русской либеральной медиевистике, явилось положение о зависимости социального строя и политической организации общества от господствующих в этом обществе экономических отношений, в первую очередь отношений собственности. Этот принцип неоднократно выражался как в виде теоретического постулата, так и в историографической практике либеральных ученых.

По-видимому, не всегда его распространение в русской науке было связано с непосредственным влиянием материалистической теории исторического процесса. В частности, у нас нет достаточных оснований утверждать это применительно к Виноградову. Между тем уже анализ его «Происхождения феодальных отношений в Лангобардской Италии» позволяет сделать вывод о стремлении ученого связать изменения, совершавшиеся в социальной и политической организации лангобардского общества после завоевания Италии с эволюцией аграрных отношений у лангобардов. Рассматривая в своей книге процесс феодализации лангобардского общества, Виноградов обращает серьезное внимание на его экономические причины, которые усматриваются в решающих сдвигах, совершавшихся в поземельном строе этого общества. Он ставит перед собой задачу выяснить, как «перемены в характере земледелия и его распространения подкапывают общественный и политический строй, основанный на преобладании многочисленного класса свободных людей»[4]). Рассматривая под этим углом зрения судьбы лангобардов после их утверждения в Италии, Виноградов прежде всего указывает на значение возникновения крупного королевского и герцогского землевладения. По его словам, политический строй в Лангобардском государстве основывался главным образом на земельной собственности короля и герцогов, а также на их земельных пожалованиях своим дружинникам[5]). Виноградов подчеркивает, что неравенство в поземельном отношении становится основой социального неравенства, земельная собственность превращается в мерило ценности личности, а ее распределение делается тем экономическим фундаментом, на ко-

---

сивший, что «только начав с более простого, только выяснив сущность простейших элементов и элементарнейших процессов, можно надеяться понять сложные продукты человеческого общежития, какими являются государство, религия, право, мораль и т. п.» (см. его «Новое исследование о происхождении феодального строя». — ЖМНП, 1892, № 12, стр. 311).

[4]) П. Г. Виноградов. Происхождение феодальных отношений в Лангобардской Италии. СПб., 1880, стр. 291.

[5]) Там же, стр. 124.

тором вырастает весь общественный строй и вся политическая организация лангобардов[6]).

Сходный ход мыслей мы можем проследить и в его курсе лекций по истории средних веков[7]). Здесь же встречаются и другие интересные мысли, свидетельствующие о том значении, какое придавал Виноградов материальным условиям жизни общества в эволюции его политической организации и социального строя. Так, он подчеркивает главное значение «постепенной эволюции материального строя» для перехода от рабства к крепостничеству[8]). Рассматривая социальный строй Англии по данным переписи 1086 г., он подчеркивает его радикальное изменение «сравнительно с прежними условиями... главным образом вследствие хозяйственных потребностей»[9]). Представляют интерес рассуждения Виноградова о самом характере средневекового общества. Для него история средних веков неразрывно связана с господством натурального хозяйства. В этом обстоятельстве он ищет ключ к пониманию не только особенностей хозяйственной жизни средневекового общества, но и — опосредствованно — его политической организации[10]).

Однако значение подобных высказываний не следует преувеличивать. Речь идет только о том, что в отдельных случаях, чаще всего относящихся к раннему средневековью, ученый считал необходимым объяснять социально-политическую организацию общества из условий его экономической жизни, отнюдь не проводя последовательно эту точку зрения в историческом исследовании. К вопросу о значении экономических отношений в жизни общества Виноградов подходил всецело с позиций эклектической теории равноправных факторов. Подобно многим современным ему зарубежным ученым, занимавшимся аналогичными сюжетами, он охотно обращался к экономическому истолкованию исторических явлений в тех случаях, когда имел дело с элементарными общественными формами. Но чем далее он уходил от раннего средневековья, тем решительнее выступали у него на первый план факторы иного порядка, прежде всего политика государственной власти.

Более определенно представляется возможным говорить об отражении марксизма на методологических взглядах некоторых других либеральных медиевистов, пытавшихся в отличие от Виноградова провести принцип экономической ин-

---

[6]) Там же, стр. 165—167.
[7]) П. Г. Виноградов. История средних веков. Изд. 2-е, М., 1899—1900, стр. 146—149.
[8]) Там же, стр. 141.
[9]) Там же. Добавление, стр. 24
[10]) Там же, стр. 176.

терпретации социально-политических явлений более или менее последовательно во всей своей историографической практике и, что особенно важно, поднимавшихся до признания общеметодологического значения этого принципа.

В одной из своих работ Ковалевский прямо писал, что в преподавательской деятельности он «не довольствовался одним описанием политических форм, их генезиса, развития и зарождения», а «старался найти всему этому основы в изменении социального строя», характерным образом прибавляя, что в таком подходе сказывался «ученик Карла Маркса»[11]). Заслуживает внимание сама постановка вопроса, хотя Ковалевский тут же неправомерно возводит принцип социального обоснования политических учреждений в такой же степени к марксизму, как и к позитивизму: ученый отчетливо осознает связь между марксизмом и своими собственными методологическими воззрениями.

Конечно, Ковалевский не был учеником Маркса в обычном смысле этого слова. Тем не менее влияние материалистической теории исторического процесса благотворно отразилось на его представлениях о движущих силах общественного развития, способствуя, в частности, известному преодолению ограниченности его исходной посылки о решающей роли роста народонаселения в истории. Как известно, влияние экономической эволюции на социальную структуру общества, социальных отношений — на его политический строй рассматривалось Ковалевским как вторичное и третичное явления, уходящие корнями к своему первоисточнику — происходящим в обществе дематографическим изменениям. Вместе с тем сама его постановка вопроса о роли дематографического фактора в истории оказывалась настолько широкой, что допускала признание самостоятельного влияния экономического развития общества на сферу социально-политических отношений. В этом смысле прав Б. Г. Сафронов, когда он выступает против распространенного как в русской дореволюционной, так и в советской литературе взгляда о том, что Ковалевский принадлежал к числу тех ученых, кто видел в дематографическом факторе главную причину развития общества. Он справедливо указывает, что Ковалевский приписывал приросту населения роль главного фактора экономического развития, а не эволюции общества в целом[12]). Подчеркивая решающее значение роста народонаселения в развитии производства, Ковалевский вместе с тем выдвигает и другую сторону — определяющее влияние изменений в сфере производства

---

[11]) М. М. Ковалевский. Мое научное и литературное скитальчество. — «Русская мысль», 1896, № 1, стр. 67.

[12]) Б. Г. Сафронов. М. М. Ковалевский как социолог, стр. 195—200.

на социально-политическую структуру общества. Вот что писал по этому поводу сам ученый. Указывая на рост народонаселения и его плотность как на важнейший фактор эволюции форм народного хозяйства, он продолжает: «Формою же производства обусловливаются и порядок владения, и отношения свободы и зависимости отдельных групп и индивидов»[13]).

В самых разных своих работах Ковалевский подчеркивал экономическую обусловленность социальной организации общества. Уже в одной из первых своих книг, формулируя ее цель, он писал: «Автор поставил себе целью проследить влияние, оказываемое экономическим прогрессом и обусловливаемым им развитием сословий и классов, на организацию общественных и государственных учреждений»[14]). Правда, эта авторская декларация далеко не всегда находила удовлетворительное воплощение в историографической практике ученого. Тем не менее нельзя не отметить настойчивое стремление Ковалевского применить высказанный здесь принцип к характеристике различных исторических эпох.

Особенно всестороннее освещение этот принцип получил в работах Ковалевского, посвященных истории первобытного общества. В способе добывания средств к жизни ученый видит ключ к пониманию характера общественных отношений в первобытную эпоху. Он подвергает решительной критике теорию об извечности частной собственности, подчеркивая, что господство коллективной собственности («коммунистических отношений», как он часто писал в соответствии с терминологией, принятой в современной ему науке) в первобытную эпоху коренится в самом характере производства, является единственно возможным при существовавших тогда экономических отношениях[15]). Ковалевский подчеркивает первоначально коллективный характер не только недвижимой, но и движимой собственности, выводя его из условий добывания первобытными племенами средств к существованию[16]). Хотя взгляды Ковалевского и не отличались последователь-

---

[13]) М. М. Ковалевский. Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства. Т. I, 1898, стр. VII—VIII.

[14]) М. М. Ковалевский. История полицейской администрации (полиция безопасности) и полицейского суда в английских графствах с древнейших времен до смерти Эдуарда III. К вопросу о возникновении местного самоуправления в Англии. Прага, 1877, стр. III—IV.

[15]) См.: М. М. Ковалевский. Очерк происхождения и развития семьи и собственности, стр. 57—58.

[16]) Там же, стр. 62. Аналогичный ход мыслей развивается ученым и в других его работах, где рассматривается характер первобытных общественных отношений. Укажем в этой связи на первые две лекции его «Развития народного хозяйства в Западной Европе» и в особенности на «Общинное землевладение, причины, ход и последствия его разложения».

ностью[17]), нельзя не отметить глубину самой его постановки вопроса об определяющем влиянии формы производства материальных благ на характер социальной организации общества. Мы имеем здесь дело не просто с рядом более или менее удачных эмпирических наблюдений, а с четко сформулированным теоретическим принципом, действие которого отнюдь не ограничивается первобытной эпохой. С большим или меньшим успехом ученый стремится руководствоваться им и при изучении социального строя других периодов в истории человеческого общества.

К числу наиболее удачных в этом плане попыток принадлежит его подход к исследованию социальных отношений в Англии XV—XVII вв. Избрав предметом своей докторской диссертации общественный строй Англии в позднее средневековье, Ковалевский буквально на первой же странице своей книги провозгласил необходимость исследования экономической структуры английского общества, в первую очередь отношений собственности, как обязательного условия выяснения характера социальных отношений в обществе. Выражая свое кредо, он писал: «Историку, который желал бы предоставить картину внутреннего быта той или другой страны в ту или другую эпоху ее существования, необходимо остановиться прежде всего на вопросе о распределении в ней недвижимой собственности. Эта последняя всегда являлась и доселе является одним из материальных фундаментов всякого господства, общественного и политического; от сосредоточения ее в руках того или другого сословия зависело и зависит распадение общества на влиятельные и невлиятельные классы»[18]). Наряду с этим Ковалевский подчеркивает значение движимой собственности как второго по значению фактора, определявшего положение человека в обществе, значение

---

[17]) В ряде случаев он допускал довольно существенные отступления от провозглашаемых им же самим принципов. Так, например, обстоит дело с его трактовкой причин возникновения частной собственности. Правильно указывая, что «приложение индивидуального труда приводит, естественно, к частному присвоению» (Очерк происхождения и развития семьи и собственности, стр. 59), он тем не менее считает главной причиной развития частной собственности «пробуждение духа частной инициативы, проявляющегося в таких фактах, как разведение скота, насаждение плодовых деревьев, постройка частных жилищ и т. п.» (там же, стр. 62). В другой своей работе, рассматривая материнский род, Ковалевский полностью игнорирует экономические условия, вызвавшие его к жизни, и исходит в своих выводах исключительно из отношений родства, что и обусловило его принципиальные ошибки в оценке характера этого исторического периода — отрицание власти женщины в роде и т. п. (см. главу III его книги «Первобытное право», вып. 1, М., 1886).

[18]) М. М. Ковалевский. Общественный строй Англии в конце средних веков. М., 1880, стр. 1.

которого все возрастает по мере перехода от простейших видов производства к более сложным[19]).

Конечно, современный читатель найдет немало пробелов, неточностей и даже грубых ошибок в нарисованной Ковалевским картине социальной эволюции в средневековой Англии. Укажем, в частности, на несомненную идеализацию ученым средневекового сословного строя[20]). Но остается непоколебимым его главный вывод о том, что социальный строй средних веков характеризовался преобладанием дворянства и его, по выражению Ковалевского, alter ego — высшего духовенства над остальными сословиями вследствие причин экономических: сосредоточения в его руках почти всей недвижимой собственности и тех своеобразных, прежде всего имущественных связей, которые ставили в прямую зависимость от него не только крепостное, но и свободное население сел и городов[21]). В связи с этим заслуживает внимание сама структура его книги об общественном строе позднесредневековой Англии. Свое исследование Ковалевский начинает с изучения распределения недвижимой собственности, уделяя при этом особое место системе поземельных держаний и ее эволюции в позднее средневековье, переходит затем к выяснению распределения движимой собственности и уже на основании всего этого рассматривает социальную организацию английского общества, взаимоотношения сословий и классов между собою. Вряд ли может вызывать сомнение плодотворность такого метода изучения социальной истории общества.

С аналогичных позиций подходит Ковалевский к рассмотрению социальных последствий Английской революции середины XVII в. Указывая, что социальный быт Англии революционной эпохи почти не затронут многочисленными ее историками, он подчеркивает, что без решения вопроса о судьбах крестьянства и рабочего люда, об отношении народа к земле и капитала к труду, о том, в какой мере насущнейшие интересы широких слоев народа были затронуты революционным переворотом, — без решения всех этих вопросов немыслимо правильное понимание характера Первой английской революции[22]). Четко формулируя цель своей интересно задуманной статьи об общественном строе Англии в годы республики, Ковалевский видит ее в том, чтобы показать определяющее влияние переворота в экономической структуре общества

---

[19]) Там же, стр. 150—151.

[20]) См. об этом в гл. V настоящей работы.

[21]) М. М. Ковалевский. Общественный строй Англии в конце средних веков, стр. 393—394.

[22]) М. М. Ковалевский. Общественный строй Англии в эпоху республики. — «Юридический вестник», 1891, № 12, стр. 479.

на его социальную организацию[23]). Особенно большое значение в этом плане Ковалевский придает сдвигам, происходившим в первой половине XVII в. в сельском хозяйстве. Он подчеркивает, что именно в этой сфере жизни страны «лежит первоначальный источник всех последующих изменений в ее общественном складе»[24]).

Является принципиальным достижением метода Ковалевского то обстоятельство, что в работе, посвященной общественному строю Англии революционной эпохи, он не только декларирует необходимость изучения экономических процессов, совершавшихся в стране, но и сам дает пример такого изучения, по существу делая на этом центр тяжести всего своего исследования. Многие страницы своей работы ученый посвящает рассмотрению прогресса в земледелии в Англии XVII в., исследуя в связи с этим и новую расстановку классовых сил в английском обществе.

Избранный Ковалевским угол зрения в подходе к Английской революции позволил ему сказать принципиально новое слово в буржуазной историографии вопроса. В отличие от господствовавшей в буржуазной науке XIX в. трактовки Английской революции как религиозно-политического переворота, Ковалевский сумел не только увидеть ее социальную природу, но и последовательно провести свой взгляд при характеристике ее результатов. «Знакомство с социальными условиями землевладельческих классов в период республики и протектората, — указывает он, — не оставляет сомнения в буржуазном характере Первой английской революции»[25]). Эта мысль выступает как логический вывод из всего исследования ученого. Он показывает, какие общественные слои выиграли в итоге революции, подчеркивая, что важнейшие социальные мероприятия, осуществлявшиеся органами революционной власти, были вызваны к жизни экономическими потребностями класса средних земельных собственников, отвечали его настоятельным интересам[26]).

Вместе с тем Ковалевский указывает, что революция не привела к улучшению положения широких масс. «Если в заключение мы спросим себя, — пишет он, — какое влияние революция 1648 г. оказала на социальное положение земледельческих классов, нам придется ответить, что она не сделала ничего для улучшения быта ни крестьян-общинников,

---

[23]) Там же, стр. 480—481.
[24]) Там же, стр. 482.
[25]) Там же, стр. 509.
[26]) Там же, стр. 497—502.

ни арендаторов». Более того, он здесь же подчеркивает, что революция лишь ускорила процесс огораживаний[27]).

Так, исходя из признания определяющего влияния экономической структуры общества на его социальную организацию, Ковалевский сумел ближе, чем кто-либо в буржуазной историографии, подойти к пониманию подлинного характера Английской революции, правильно расставить некоторые существенные социальные акценты в происходивших тогда событиях, хотя следует признать, что целый ряд значительных проблем, связанных с революцией в Англии, в частности, относящихся к экономическим и социальным сдвигам в английском городе, в статье Ковалевского не был даже затронут[28]).

Ковалевский как историк Английской революции не остался без продолжателей в русской науке. В этой связи следует назвать Савина, лекционные курсы которого, посвященные этому сюжету, характеризуются несомненным вниманием их автора к социальной проблематике революции, хотя в отличие от Ковалевского он и не порывал полностью с традиционным в буржуазной историографии подходом к событиям середины XVII в. в Англии.

В связи с подходом Ковалевского к Английской революции находится его общая постановка вопроса о народных движениях. Для Ковалевского всякое крупное массовое народное движение является продуктом многообразных причин, коренящихся в первую очередь в материальных условиях жизни широких масс. Он подчеркивает ту истину, что «движениями классов управляют сколько-нибудь продолжительно не отвлеченные идеалы, а экономические и политические интересы»[29]). Эту же мысль ученый проводит и в другой своей работе, отмечая значение сдвигов, совершавшихся в экономической структуре английского общества в XV в., для надлежащего освещения целого ряда явлений, «все еще непонятых

---

[27]) Там же, стр. 509. Здесь же, говоря о буржуазном характере революции, Ковалевский подчеркивает, что «интересы народного демоса не были приняты ею в расчет».

[28]) Ковалевский собирался издать монографию «Англия в эпоху республики» (см. об этом «Юридический вестник», 1892, № 11, стр. 454). Этот замысел остался неосуществленным. Однако в русских либеральных журналах начала 90-х годов им был опубликован ряд статей, посвященных различным аспектам Английской революции, которые, очевидно, следует рассматривать как фрагменты задуманной ученым монографии. Помимо статьи «Общественный строй Англии в эпоху республики», сюда относятся: «Родоначальники английского радикализма» («Русская мысль», 1892, № 1—3), «Кавалеры и круглоголовые. — Опыт изучения их политических воззрений» («Северный вестник», 1892, № 7—8), «Кромвель и свобода совести в Англии». — «Киевский сборник», Киев, 1892.

[29]) М. М. Ковалевский. Происхождения современной демократии. Т. III, М., 1897, стр. 159.

и необъясненных», ибо, указывает он, «источник происхождения большинства общественных и политических движений лежит ни в чем ином, как в распределении материального благосостояния, прежде всего недвижимой собственности»[30]).

Наряду с Ковалевским идею об экономической обусловленности социально-политических явлений разделял и в той или иной степени проводил в своих работах Кареев. Выше мы отмечали, что при всей своей критике марксизма Кареев не мог не признавать значение марксистской постановки вопроса о материальных основах исторического процесса. Пусть с различными оговорками, он все же считал возможным говорить о «политической и юридической надстройке на экономическом фундаменте»[31]).

Правда, признание значения материальных условий жизни общества сопровождалось у Кареева решительным провозглашением не менее существенной роли в историческом процессе стороны идеальной. Недаром, заключая т. 1 своей «Истории Западной Европы в новое время», он писал: «Материальные интересы и моральные принципы были всегда двумя великими деятелями истории, и мы их находим в основе всех рассмотренных явлений»[32]). Кареев настойчиво подчеркивает равноправие этих двух начал, невозможность сведения одного из них к другому. Бесспорно, такой методологический дуализм не способствовал пониманию закономерностей исторического развития, вел к путанице в теоретических взглядах ученого, в его оценке важнейших исторических явлений.

Провозглашая двойственную природу движущих сил исторического развития как свое методологическое кредо и даже подчас нарочито подчеркивая свой дуализм, Кареев в большинстве случаев и в теоретических построениях, и, в особенности, в историографической практике строго разграничивал сферу деятельности каждого из двух решающих, по его мнению, факторов общественного процесса — материального и духовного. Подчеркивая самостоятельное значение идеалов и моральных норм, не зависимое от экономики развитие религии и искусства, литературы и т. д., он в то же время признавал функциональную зависимость социально-политической организации общества от господствующих в нем экономических отношений. Это эклектическое разграничение сфер деятельности духовного и материального начал давало, однако, Карееву возможность, продолжая критику «односторонно-

[30]) М. М. Ковалевский. Общественный строй Англии в конце средних веков, стр. 150.

[31]) Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время. Т. I, СПб., 1892, стр. 39.

[32]) Там же, стр. 553.

ости» и «узости» марксизма, одновременно в определенной мере использовать отдельные марксистские положения в своем подходе к изучению социальной истории, т. е. именно той области истории, которая всегда вызывала его научный интерес и которую он считал наиболее существенной для познания прошлого человеческого общества.

В отдельных случаях Кареев подходит к пониманию значения эволюции орудий труда для социально-экономического прогресса общества. Отмечая, что «материальная жизнь общества зависит всегда от развития в нем техники в широком смысле слова», он далее указывает, что технические изобретения, «вызывая перевороты в способах производства или обмена продуктов, а также в способах ведения войны, оказывают сильное влияние на всю материальную жизнь общества, на его экономический строй, а через него и на разные социальные отношения других категорий. Известно, например, что промышленная революция, создавшая современный капитализм со всеми его общественными следствиями, была в значительной мере результатом изобретения и применения к промышленности машин»[33]).

Но особенно большое внимание Кареев уделяет взаимоотношениям между экономическим строем общества и его социальной организацией. Он подчеркивает, что на почве экономического взаимодействия людей вырастает известная социальная структура[34]), указывает на экономическую подкладку социальных отношений[35]) и т. д. Кареев признает экономическую обусловленность деления общества на классы, усматривая в отношении последних к собственности главный критерий их положения в обществе. «В основе классового строя общества, — утверждает он, — лежат экономические отношения между классами... Экономически господствующие классы всегда стремились сделаться и классами правящими»[36]).

Стремление Кареева раскрыть социально-экономические основы политического господства находится в тесной связи

---

[33]) Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время. Т. V, СПб., 1898, стр. 842. В другой работе, развивая эту же мысль, Кареев писал, используя известное сравнение Маркса: «Между ручным жерновом, перемалывавшим зерно в муку в феодальном поместье, и паровой мельницей современного капиталистического строя лежит вообще длинный период технического прогресса, отражавшегося на народном хозяйстве, а с ним вместе и на социальном строе». (Поместье-государство и сословная монархия средних веков. Очерк развития социального строя и политических учреждений в Западной Европе, СПб., 1906, стр. 368).

[34]) Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время. Т. I, стр. 38.

[35]) Там же, т. IV, СПб., 1894, стр. 12.

[36]) Н. И. Кареев. Главные обобщения всемирной истории. СПб., 1903, стр. 81.

с его взглядами на природу политической организации общества. Признание зависимости социальной организации от господствующей экономической структуры в отдельных случаях дополняется у него указанием об определяющем влиянии социальных отношений на политический строй общества. Он прямо говорит о том, что социальные отношения обусловливают политический строй[37]). Существенные соображения на этот счет содержатся в небольшой книге Кареева «Главные обобщения всемирной истории», представляющей собою систематическое изложение теоретико-исторических взглядов ученого. Излагая в этой работе основные выводы своей философии истории, Кареев, в частности, уделил значительное внимание разъяснению закономерностей общественного развития. Он видит существенное содержание социальной истории в изучении истории взаимоотношений классов общества, их стремлений, происходящих в них движений[38]). Рассматривая под этим углом зрения ход всемирно-исторического развития, ученый обращается к вопросу о связи между социальной эволюцией и изменением политической организации общества.

Правда, буржуазная ограниченность в понимании природы государства сказалась и на его трактовке данного вопроса. В соответствии со своими общими воззрениями на государство, Кареев считал возможным говорить о таких политических формах, которые характеризуются, по его мнению, подчиненным положением в государстве всех классов общества, в том числе и экономически господствующих в нем, их большим или меньшим закрепощением в интересах господствующего целого (монархии древнего Востока, поздняя Римская империя, европейские абсолютистские государства)[39]). Отрицание классового характера восточной деспотии и новоевропейского абсолютизма, являвшееся общим местом в буржуазной науке, представляет собою в значительной мере следствие поверхностного подхода буржуазных ученых к этим формам государственной власти, их неспособности рассмотреть действительную расстановку классовых сил и их взаимоотношения с государственной властью, скрывающиеся за кажущимся всевластием государя и его чиновников. В этом плане значительно больше возможностей для буржуазного исследователя представляют такие государственные формы, в которых связь между социальным строем и политической организацией общества выступала несравненно ярче.

---

[37]) Н. И. Кареев. Поместье-государство и сословная монархия средних веков, стр. 24.

[38]) Н. И. Кареев. Главные обобщения всемирной истории, стр. 80.

[39]) Там же, стр. 82—84.

Так, в частности, обстояло дело и с Кареевым. Он выделяет в истории такие политические формы, которые определяются характером господствующего социального строя, когда, по его выражению, имущие классы делаются правящими (правление эвпатридов в Афинах и вообще знати в древнегреческих городах, патрициев в Риме, феодального дворянства в период политической раздробленности в средневековой Европе). «Во всех этих случаях, — заявляет он, — государственная власть становится достоянием привилегированного меньшинства, которое пользуется ею в своих сословных интересах. Установление таких аристократических правлений было лишь результатом аристократизации социального строя»[40]). Показательно, что и последующую эволюцию политического строя в античных и средневековых государствах Кареев рассматривает под углом зрения происходивших в обществе социальных перемен, обусловленных, в свою очередь, экономическим развитием[41]).

Следует отметить его попытки рассматривать взаимодействие экономических отношений, социальной структуры и политической организации общества в конкретной исторической действительности, исходить из факта этого взаимодействия при признании определяющего влияния социально-экономических отношений на политический строй в своих поисках ориентира в безбрежном океане разнообразных исторических фактов.

Обильный материал по интересующему нас вопросу дает «История Западной Европы в новое время». Этот многотомный, являющийся и по замыслу, и по исполнению единственным в своем роде в русской историографии труд до настоящего времени, на наш взгляд, не получил достаточного признания в советской науке. Между тем мы имеем дело с бесспорно оригинальным произведением, плодом многолетней преподавательской работы Кареева в Петербургском университете, во многом представляющем собою итог всей научной деятельности ученого в 70—90-е годы[42]). В этом многотомнике впервые в русской историографии была сделана попытка синтетического освещения социальной истории Западной Европы в средние века и новое время, рассматривавшейся в тесной связи с экономическим развитием, идейно-политической борьбой своего времени, а также развитием науки и культуры. Далеко не во всем удачная, в полной мере

[40]) Там же, стр. 84.

[41]) Там же, стр. 85.

[42]) Первые пять томов этой книги, охватывающие социальную историю Западной Европы с XIV до 70-х годов XIX в., были опубликованы в 1892—1898 гг. В своей оценке книги мы имеем в виду именно эти, вышедшие до революции 1905 г., тома.

отразившая на себе антимарксистскую направленность философских взглядов своего автора (вспомним, что «История Западной Европы...» публиковалась как раз в разгар нападок Кареева на марксизм и его русских последователей), эта книга в такой же степени отразила сильные стороны его методологии, оплодотворенные влиянием того самого материалистического понимания истории, с которым он так упорно и безуспешно боролся.

Наше внимание не может не привлечь самое стремление Кареева построить изложение истории Западной Европы в XIV—XIX вв. вокруг кардинальных общественных переворотов, определивших на многие столетия характер социально-политической истории Европы в позднее средневековье и новое время — вокруг реформации XVI в. и Французской революции XVIII в. Выпуская в свет первые три тома своей «Истории...», он писал в предисловии к первому из них об основах построения книги: «Общая связь между этими тремя томами заключена в той мысли, что новая история (речь идет о хронологическом отрезке времени, обнимающем XVI—XVIII вв. — *Б. М.*) есть история разложения средневековой католико-феодальной системы западноевропейского общества и что двумя главными событиями, игравшими особенно важную роль в этом разложении старого строя жизни, были реформация XVI в. и революция XVIII столетия. Этой общею мыслью обусловливается и то, на какие явления обращено в книге наибольшее внимание, и то, какие эпохи излагаются подробнее»[43]). Этот же авторский замысел пронизывает и последующие тома книги. Центральной идеей т. IV является изучение последствий революции конца XVIII в. для Франции и Европы, причем автор исходит из мысли, что Французская революция «имеет значение исходного пункта новейшей истории со всеми политическими, социальными и национальными движениями, которыми так было богато... XIX столетие»[44]). Смысловой центр т. V лежит в изображении европейских революций 1848 г.

Избранный Кареевым угол зрения позволил ему сосредоточить свое внимание на изучении самых существенных сторон исторического процесса. В его изображении история Западной Европы XVI—XIX вв. — это история смены феодального строя капиталистическим. Рассматривая переход от средних веков к новому времени, Кареев видит его экономическое содержание в замене мелкого производства крупным. Рост крупного производства расценивается им как один

---

[43]) Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время. Т. I, стр. V.

[44]) Там же, т. IV, стр. 1.

из важнейших экономических переворотов, на почве которого возникает современный капиталистический строй с характерными для него двумя основными классами — промышленной буржуазией и пролетариатом, неведомыми средневековому обществу[45]). Эта мысль получает свое дальнейшее развитие и конкретизацию в IV и V томах «Истории Западной Европы...», посвященных социальной истории Европы конца XVIII — середины XIX вв. В обоих томах большое место отводится освещению происходивших в европейских странах того времени радикальных экономических сдвигов, которые рассматриваются в органической связи с обусловленными ими социальными переменами. Характерна уже сама постановка вопроса Кареевым. В своем анализе социальной истории Западной Европы с конца XVIII в. он намеренно выдвигает на первый план, по его собственным словам, экономическую точку зрения[46]). Тем самым социальные перемены в передовых европейских странах XIX в. и прежде всего утверждение в последних буржуазных общественных отношений получают экономическое обоснование, выступают как необходимый итог глубоких изменений в материальных условиях жизни европейского общества.

Именно с таких позиций подходит Кареев к анализу главного социального противоречия европейского общества XIX в. — противоречия между рабочим классом и буржуазией. Подчеркивая, что в XIX в. наряду с крестьянским вопросом, бывшим главным социальным вопросом предреволюционной эпохи, появляется рабочий, ставший основным социальным вопросом современности, он обнаруживает истоки последнего в промышленном перевороте XVIII в. «Экономический переворот, совершившийся в конце XVIII в.,— утверждает он, — породил рабочий вопрос»[47]). При этом будет уместным заметить, что в своем анализе возникновения крупного капиталистического производства Кареев последовательно проводит мысль о том, что важнейшим его социальным последствием явилось резкое ухудшение положения рабочего класса. Он многократно говорит о пауперизме масс как следствии наступления капиталистической эры, подчеркивая, в частности, гибельное влияние на благосостояние пролетариата присущих капитализму экономических кризисов[48]). Тем самым Кареев получает исходный пункт для понимания европейской социальной истории середины XIX в., характеристике которой посвящен т. V его книги. Не будет преуве-

---

[45]) Там же, т. I, стр. 150.
[46]) Там же, т. IV, стр. 504.
[47]) Там же, т. V, стр. 509.
[48]) Там же, т. IV, стр. 581—592.

личением сказать, что рабочий вопрос является одним из центральных в пятом томе. Сквозь призму его Кареев рассматривает социальную историю крупнейших стран Западной Европы в 30—60-е годы XIX в., он неизменно присутствует при анализе ученым социальных и политических идей середины прошлого столетия и в особенности, конечно, при характеристике революции 1848 г. Антагонизм между рабочим классом и буржуазией, ее страх перед революционными выступлениями пролетариата он расценивает как один из наиболее существенных факторов, определявших ход революции во Франции и Германии и в конечном счете обусловивших их неудачу[49]).

Наряду с признанием зависимости социально-политической организации общества от характера экономических отношений, в русской либеральной медиевистике предпринимались интересные попытки проследить социально-экономическую обусловленность господствующих в обществе идей. Положение о том, что источники различных общественных идей, философских и экономических теорий следует искать в условиях жизни общества, получило настолько широкое распространение в либеральной историографии, что стало своего рода общим местом, не нуждавшимся в специальных доказательствах. Уже молодой Ковалевский в одной из своих ранних работ подчеркивал наличие причинной связи между политическими теориями средневековой Англии и современными им политическими и общественными движениями, усматривал в первых ответы на жгучие вопросы современной им действительности[50]). И в последующих работах ученого мы нередко встречаем аналогичную постановку вопроса. Он пишет о том, что развитие экономической мысли идет рука об руку с изменением хозяйственных форм, и новые экономические учения и идеи возникают там, где происходят перемены в экономическом строе общества[51]), рассматривает многочисленные привлекавшие его внимание теории в тесной связи с вызывавшими их к жизни социальными условиями.

С таких позиций, в частности, подходит Ковалевский к анализу всегда вызывавших его научный интерес идей французского Просвещения. Ставя центральной задачей своего капитального исследования «Происхождение современной демократии» изучение процесса развития «той доктрины, которая была положена в основу» законодательства Французской революции, он сразу же подчеркивает: «Политические

---

[49]) См. там же, т. V, главу XX, а также стр. 560—563.

[50]) М. М. Ковалевский. К истории политической мысли в Англии в средние века. — «Юридический вестник», 1879, № 1, стр. 73.

[51]) М. М. Ковалевский. Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства. Т. I, М., 1898, стр. XVIII.

учения только тогда понятны, когда представлены в связи с той общественною средой, в которой жили и действовали их провозвестники»[52]). Отсюда вытекает и сама структура работы. Так, первая часть первого тома посвящена изучению общественного строя Франции во второй половине XVIII в., отношений между различными классами французского общества того времени, выяснению особенностей хозяйственного строя города и деревни, во второй — анализируется политический строй Франции накануне революции и лишь после этого автор приступает к обстоятельному исследованию общественных и политических доктрин XVIII столетия. Обосновывая такой порядок изложения, Ковалевский подчеркивал необходимость «выяснить себе тот путь, каким на почве существующих экономических и государственных порядков сложилась ходячая в конце XVIII в. доктрина». И далее: «Экономические и общественные доктрины Франции XVIII в. всецело вытекали из критики современных им хозяйственных порядков и существующего строя социальных отношений»[53]). С принципиально таких же позиций подходил Ковалевский и к изучению генезиса общественных доктрин XIX в., в том числе и марксизма[54]).

Интересные наблюдения о связи между социальным и духовным развитием общества принадлежат Кареву. Вопреки собственным нападкам на марксизм за его отрицание самостоятельности духовного начала в историческом процессе Кареев, рассматривая в социологическом плане развитие духовной культуры, обращается к его социальной основе. Ученый подходит к пониманию классового характера культуры в классовом обществе. «Едва только начинается разделение народа на отдельные классы по роду занятий и по имущественному положению, — заявляет он, — как общность миросозерцания начинает исчезать, и в единой национальной культуре начинается разрыв между народной массой и выделившимися из нее культурными группами». И еще более определенно далее: «Социальная дифференциация, т. е. распадение общества на классы, сопровождается и распадением духовного единства нации»[55]).

Своеобразной конкретизацией этого положения служит характеристика Кареевым средневековой литературы, которой он посвятил в т. 1 «Истории Западной Европы в новое время» специальную главу под характерным заглавием «Общественный характер литературы». Уточняя известную фор-

---

[52]) М. М. Ковалевский. Происхождение современной демократии. Т. I, 1895, стр. VII.

[53]) Там же, стр. 337.

[54]) М. М. Ковалевский. Современные социологи, стр. 235 и след.

[55]) Н. И. Кареев. Главные обобщения всемирной истории, стр. 94—95.

мулу «литература есть зеркало, в котором отражается общество», он подчеркивает, что в действительности в ней отражаются идеи различных классов, на которые распадается общество. Отсюда вытекает и задача, решаемая в главе, — проследить, как выражались идеи общественных классов средневековья в литературе XII—XV вв.[56]). Кареев рассматривает развитие и упадок различных видов дворянской литературы, следит за эволюцией литературы горожан, отмечая ее проповедь новых общественных идей и критику существовавшего порядка, и завершает главу характеристикой произведений, подобных «Реформации императора Фридриха III», в которых видит сознательное стремление их авторов изменить все средневековое общественное устройство.

Наконец, отметим его высказывание об искусстве. Решительно выступая против материалистического понимания природы искусства, Кареев в то же время подчеркивал факт его зависимости от известного общественного состояния. «Искусство, — писал он, — бывает религиозным или светским, идеалистичным или реалистичным, возвышенным или низменным, идейным или безыдейным в зависимости от данной среды и от переживаемого обществом момента»[57]).

Исходя из положения о том, что распадение общества на классы сопровождается распадением духовного единства народа и исчезновением общности мировоззрения, Кареев в отдельных случаях не только приходит к пониманию таких понятий, как «классовая идеология», «классовое мировоззрение», но и пытается руководствоваться ими в своей историографической практике. По крайней мере в отдельных случаях Кареву не было чуждо представление об общественной идеологии как своеобразной надстройке над социальным строем общества, его необходимом порождении. «Каждый общественный и государственный строй, — писал он, — имеет свою идеологию, — разумея под этим термином совокупность существующих в данном обществе идей, в которых заключается как теоретическое понимание, так и практическая оценка наличных социальных и политических форм»[58]). Этому своему положению Кареев придает значение всеобщности. Так, по его мнению, обстояло дело и на ранней стадии общественного развития, когда общественные идеи еще не получили ясной и точной формулировки и какой бы то ни было систематизации, и в последующие периоды человеческой истории, даже в тех случаях, когда эти идеи имеют строго отвлеченный ха-

---

[56]) См.: Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время. Т. I, стр. 250—251.

[57]) Н. И. Кареев. Главные обобщения всемирной истории, стр. 130.

[58]) Н. И. Кареев. Поместье-государство и сословная монархия средних веков, стр. 204.

рактер и являются перед нами в виде чисто логических выводов из более ранних, но таких же отвлеченных идей. При этом Кареев подчеркивает, что общественные идеи одного и того же времени различаются в зависимости от их принадлежности к тому или иному общественному классу[59]). Этим положением он и руководствуется в подходе к оценке отдельных общественных и научных доктрин прошлого[60]).

Конечно, высказывания такого рода не могут считаться определяющими для методологии Кареева, много лет ведшего упорную борьбу против материалистического понимания истории. Но это и не случайная оговорка в устах убежденного идеалиста, принципиально отрицающего всякое влияние материальных условий жизни общества на его духовное развитие. Трудность вопроса заключается именно в том, что методологические взгляды Кареева, как и других крупных представителей русской либеральной медиевистики, являются слишком эклектичными, чтобы их можно было подвести под ту или иную однозначную формулу. При этом дело заключается не только в известных противоречиях как в методологических взглядах этих ученых, так и, в особенности, между их теоретическими принципами и конкретным историографическим воплощением этих последних. Сами эти противоречия не случайны и уж, конечно, не являются следствием неумения наших историков свести концы с концами. Очень часто мы имеем здесь дело с отражением объективных трудностей, которые вставали перед буржуазными учеными в процессе исторического познания. Будучи в силу своей классовой ограниченности неспособными принять материалистическое понимание истории и часто даже, подобно Карееву, активно выступая против него, они вместе с тем всем кругом своих научных интересов, собственной историографической практикой приходили к признанию значения марксистской постановки вопроса о соотношении различных сторон общественного процесса. Это признание далеко не всегда являлось открытым. Еще реже оно сопровождалось переходом ученого на позиции материалистического понимания истории пусть даже в каком-либо частном вопросе исторического познания. Тем не менее пройти мимо этого явления мы не можем, ибо в противном случае окажутся утраченными определенные оттенки в той общей картине, которую представляют методологические идеи русской либеральной медиевистики.

---

[59]) Там же, стр. 204—205.

[60]) См., в частности, его оценку английской классической политической экономии как «научной теории нового социального строя», призванной дать научное оправдание господствующим при капитализме экономическим отношениям (см.: Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время. Т. IV, стр. 507, 622).

Вопрос о социально-экономической обусловленности идейной стороны жизни общества получил особенно четкую постановку в ряде работ представителей младшего поколения русских либеральных медиевистов, где можно говорить о непосредственной связи его выдвижения с влиянием материалистической теории исторического процесса. Укажем, в частности, на опубликованные на рубеже нашего столетия труды Петрушевского, под несомненным влиянием марксизма рассматривавшего исторический идеализм как течение общественной мысли, безнадежно устаревшее, потерявшее всякое научное значение[61]).

Петрушевский подвергает критике основную посылку идеализма — взгляд на идею как на творца исторического развития. Отвергается идеалистическая метафизика, идеалистические вечные принципы, абсолютные и неизменные[62]). Ученый проводит мысль о том, что не общественные идеи и теории являются главными движущими силами исторического развития, а напротив, реальное значение той или иной теории определяется материальными условиями жизни общества, в котором она распространяется. Подвергая саркастической критике «авторов и приверженцев широких исторических построений», крайне просто решавших вопрос о влиянии идей на общественное развитие, он подчеркивает, что наличие определенной общественной идеи вовсе не ручается за совпадение ее с действительной жизнью и воздействие на нее. «...Юридическая, политическая и всякая иная общественная идея, — продолжает Петрушевский, — только в тех случаях может оказаться реальной общественой силой, когда она является живой формулой или символом уже сложившихся в данном обществе в той или иной мере фактических отношений, в противном случае она представляет собою мертвый капитал и достояние книжной учености»[63]). Высмеивая распространенное в буржуазной науке идеалистическое учение, сводящее самые разнообразные перемены в самых различных общественных условиях к влиянию какой-либо одной идеи, которой, говоря словами Петрушевского, словно какой-нибудь инфекционной болезнью заражается общество, он убедительно показывает его несостоятельность на примере критики двух идеалистических теорий — о рецепции римского права и возрождении искусства и науки в позднее средневековье.

Конечно, сегодня мы не можем во всех пунктах согласиться с Петрушевским в его критике этих теорий. Он, несомнен-

[61]) См.: Д. М. Петрушевский. Очерки из истории средневекового общества и государства, стр. 19.

[62]) См.: «Образование», 1898, № 2, стр. 2.

[63]) Д. М. Петрушевский. Очерки из истории средневекового общества и государства, стр. 20—21.

но, принижает действительное значение эпохи Возрождения[64]), идеализирует положение английского крепостного крестьянства в XIII в.[65]). Наконец, сама критика теории рецепции римского права и Возрождения ведется им в плане борьбы со всемирно-исторической точкой зрения. Но нас в данном случае интересуют прежде всего методологические принципы, из которых исходил Петрушевский в своей критике этих теорий. «В рецепции римского права и в возрождении искусств и наук, — говорит он, — обыкновенно видят факты, наглядно доказывающие, что только усвоив наследие, доставшееся ей от классической древности, новая Европа пробудилась от многовекового сна к новой жизни и из варварской стала той, какой она является в настоящее время, перешла в новый фазис в развитии человечества»[66]). Подвергая развернутой критике эту точку зрения, Петрушевский подчеркивает, что решающим критерием для оценки значения той или иной теории является ее соответствие или несоответствие с реальной действительностью.

С этих позиций Петрушевский, в частности, подходит к так называемой юридической теории вилланства, созданной английскими юристами в XII—XIII вв., которая рассматривается им как один из аспектов рецепции римского права в средневековой Европе. Явившись результатом усиления феодального натиска на английское крестьянство, эта теория, как известно, с беспощадной прямолинейностью стремилась применить правовые нормы и принципы римского рабовладельческого общества к английской феодальной действительности XII—XIII вв., низводя виллана до уровня римского раба. Рассматривая ее под углом зрения соответствия реальному положению дел в английской средневековой деревне, Петрушевский указывает, что в Англии XIII в. отсутствовала необходимая экономическая почва для претворения этой теории в жизнь. Он обращает внимание на существенное различие социально-экономических отношений в рабовладельческом римском и феодальном английском обществе, коренящееся в различии общих хозяйственных условий, обусловливающих разницу и в формах эксплуатации зависимого населения, что и делало неприемлемыми к жизни Англии юридические теории, созданные под сильным влиянием римских юридических идей[67]). Продолжая эту мысль, Пет-

[64]) Там же, стр. 25—26.
[65]) Там же, стр. 21—22.
[66]) Там же, стр. 20.
[67]) Там же, стр. 21—22. Вместе с тем следует признать упрощенной общую оценку Петрушевским юридической теории вилланства как доктрины, лишенной всякой реальной почвы в современной ей английской действительности. Правильно подчеркивая, что реальные экономические условия XIII в. делали невозможной реставрацию рабовладельческих отношений,

рушевский подчеркивает, что только изменение экономических условий в Европе, приближение их к римским в смысле развития товарно-денежных отношений, создало необходимую почву для действенного использования римских правовых норм[68]).

В качестве примера Петрушевский приводит так называемое второе издание крепостничества в Германии. Резкое усиление крепостнического гнета на востоке Германии в XVI в. он объясняет общими переменами в европейской экономике, приведшими к значительному развитию товарно-денежных отношений. Именно в этих условиях теории о неограниченных правах господина над личностью и имуществом зависимых от него людей и «явились формулировкой для весьма реальных и осуществимых интересов и стремлений немецких землевладельцев», которые в своем наступлении на личность крестьянина и его землю нашли союзников в воспитанных на римском праве юристах, обосновывавших нормами этого права все их действия. «Тем не менее, — продолжает он, — нельзя сомневаться, что и без этих союзников немецкие землевладельцы достигли бы своей цели, пока на их стороне был перевес организованной силы»[69]).

С аналогичных позиций подходит Петрушевский и к критике идеалистической теории Возрождения, представляющей, по его словам, «едва ли не самый популярный сюжет историков-идеалистов, с особым торжеством выдвигаемый ими для доказательства силы влияния идей в истории»[70]). Он резко выступает против утверждений о том, что сущность эпохи

да еще в форме античного рабства, Петрушевский, следуя в этом отношении за Виноградовым, даже не задается вопросом о том, существовали ли в английской действительности XIII в. обстоятельства, вызывавшие к жизни эту теорию. Между тем, как это убедительно показали исследования Е. А. Косминского, в английской деревне XII—XIII вв. имело место усиление феодального нажима на крестьян, чему в области права соответствовало провозглашение крестьянина-виллана рабом, а его имущества — собственностью его господина. В силу этого в юридической теории вилланства следует видеть не просто доктрину, противоречившую английской средневековой действительности, а выражение стремления изменить эту действительность в соответствии с классовыми интересами феодальных земельных собственников (см.: Е. А. Косминский. Исследования по аграрной истории Англии XIII в. М.—Л., 1947, стр. 407—408). Е. А. Косминский убедительно показал, что юридическая теория вилланства отнюдь не оставалась простой кабинетной теорией, оторванной от реальной жизни. Являясь порождением нового этапа в развитии феодальной эксплуатации, связанного с успехами товарно-денежных отношений и ростом феодальной государственности, она послужила юридическим обоснованием наступления феодалов на крестьян в английской деревне XII—XIII в. (см. об этом главу VIII его «Исследований...»).

[68]) Д. М. Петрушевский. Очерки из истории средневекового общества и государства, стр. 22.

[69]) Там же, стр. 22—23.

[70]) Там же, стр. 23.

Возрождения заключается в перевороте в средневековом мировоззрении, совершенном под влиянием античных идей. Ученый подчеркивает, что новое миросозерцание, пришедшее на смену средневековому, есть «органический продукт всего предшествующего очень сложного материального и культурного (идейного) развития западноевропейских обществ»[71]). В соответствии с таким пониманием эпохи Возрождения Петрушевский совершенно справедливо указывает, что центр ее изучения должен лежать не в прослеживании античных идей в произведениях гуманистов, этом излюбленном сюжете идеалистической историографии Возрождения, а в кропотливом изучении целого ряда сложнейших, прежде всего хозяйственных и социальных процессов, протекавших в средневековой Европе, так как именно они и вызвали к жизни тот период в культурном и идейном развитии западноевропейского общества, который известен под термином Возрождения[72]).

Важно подчеркнуть, что Петрушевский не ограничивался простой декларацией требования выводить общественные идеи из изучения материальных условий жизни общества, но и пытался в ряде случаев проводить этот принцип в своем исследовании конкретного исторического материала. Показательно, что наибольшей зрелости попытки этого рода достигают в его лучшей работе «Восстание Уота Тайлера», где наряду с тщательным изучением аграрного строя средневековой

---

[71]) Там же, стр. 24.

[72]) Там же, стр. 25. Сам Петрушевский тоже не сумел правильно оценить действительное место Возрождения в европейской истории. Как уже отмечалось, ему была присуща явная недооценка подлинного значения гуманизма. В какой-то степени это, возможно, объясняется тем, что эпоха Возрождения не являлась предметом его специального изучения. И все же нельзя не видеть, что исходные методологические позиции позволили Петрушевскому стать на голову выше современной ему буржуазной историографии вопроса, которая в лице своих крупнейших представителей сводила сущность гуманизма к культурному перевороту, вызванному развитием индивидуализма, в свою очередь являвшегося порождением определенных политических обстоятельств. Сошлемся, в частности, на Я. Буркгардта, чья концепция итальянского Ренессанса оказала большое влияние на развитие всей буржуазно-либеральной историографии вопроса во второй половине XIX — начале XX вв. Сводя существенное содержание эпохи Возрождения к пробуждению духа индивидуализма, Буркгардт усматривал причины последнего в особенностях политического строя Италии того времени (см.: Я. Буркгардт. Культура Италии в эпоху Возрождения. Т. I, СПб., 1905, стр. 157). Показательно, что, давая в своем двухтомном исследовании широкую картину политической и культурной жизни Италии в эпоху Возрождения, рассматривая весьма обстоятельно быт этой эпохи, нравственность, семейно-брачные отношения и т. п., Буркгардт совершенно игнорирует экономический строй итальянского общества и крайне мало говорит об отношениях социальных, ограничиваясь утверждением, что в это время «сословные различия почти совсем исчезают в высших образованных классах» (там же, т. II. СПб., 1906, стр. 81), что рассматривается «как результат новых воззрений» (там же, стр. 82).

английской деревни рассматриваются также некоторые современные ему идеи и теории, и хотя они, как правило, исследуются гораздо менее обстоятельно, вызывает интерес сама постановка вопроса о их связи с материальными условиями жизни английского средневекового общества.

Именно с этих позиций подходит ученый к оценке роли лоллардов в восстании Уота Тайлера. Резко выступая против взглядов тех своих предшественников, кто, подобно Роджерсу[73]), утверждал, будто это восстание было вызвано пропагандистской и организаторской деятельностью «бедных священников», он был далек в то же время от всякого отрицания их роли в крестьянском движении. Петрушевский отмечает популярность лоллардистских проповедников, необычайную быстроту распространения их идей в широких крестьянских массах накануне восстания, уделяя особое внимание деятельности Джона Болла. Причину этому он ищет «в сфере материальных отношений». Развивая эту мысль, он пишет: «В настоящее время, по-видимому, нет уже надобности подробно разъяснять ту простую мысль, что разгадку популярности, которую приобретает в данный момент в обществе та или другая доктрина, следует искать в том, что доктрина эта... является формулировкой жизненных интересов, развившихся к этому времени в данном обществе или в той или иной его части и требующих своего удовлетворения. Отвлеченный язык доктрин говорит тогда человеку и общественной группе, к которой он принадлежит, об очень конкретных их потребностях и стремлениях. Злобы современной общественной действительности превращают часто до сих пор мертвую букву учения в живое слово, поднимающее на борьбу, и оно оказывается на знаменах общественного движения, становится лозунгом и паролем»[74]). С этой точки зрения Петрушевский и рассматривает лоллардизм, объясняя успехи его распространения тем обстоятельством, что различные общественные группы находили в его идеях формулировку и санкцию своим жизненным, материальным интересам[75]) .

С аналогичных методологических позиций подходит Петрушевский к изучению генезиса программ, выдвинутых восставшими крестьянами в 1381 г. Анализируя программные требования повстанцев, он видит в них отражение в первую очередь социально-экономических отношений, господствовавших в Англии XIV в. Так, в частности, подходит он к анализу

---

[73]) См.: Т. Роджерс. История труда и заработной платы в Англии с XIII по XIX в. Пер. с англ. В. Т. Каткова, СПб., 1899, стр. 203—204.

[74]) Д. М. Петрушевский. Восстание Уота Тайлера. Ч. 2, М., 1901, стр. 348.

[75]) Там же, стр. 344—350.

известной Майл-Эндской программы. Петрушевский подчеркивает, что выражавшиеся этой программой социальные идеи созрели значительно раньше восстания, что они складывались в народном сознании десятилетиями классовой борьбы, всей совокупностью социально-экономических условий, определявших жизнь английского крестьянина. «За этой социальной программой, — пишет он, — стоит целая эпоха классовой борьбы, не прекращавшейся все предшествующее тридцатилетие. Изучение этой эпохи даст возможность выяснить, в какой степени социальные идеи восставших соответствовали материальной действительности, хозяйственным и социальным условиям, в какой степени они развивались в сознании народа параллельно с ходом материального процесса, являясь отражением этого процесса в народном сознании»[76]).

Тем самым Петрушевский указывает на один из центральных аспектов всей своей концепции восстания Уота Тайлера. При всех известных ее недостатках и упущениях бесспорным достоинством этой концепции являлось стремление Петрушевского рассматривать восстание как органический продукт английской средневековой действительности. В условиях материальной жизни английского народа ищет он объяснение как причин восстания, так и его программных требований. Он ставит вопрос, «можно ли сказать, что антифеодальные идеи восставших были лишь формулировкой тенденции материальной действительности?»[77]). И вся вторая часть «Восстания Уота Тайлера», посвященная исследованию аграрных отношений в средневековой Англии, является, в сущности, попыткой найти положительное решение этого вопроса.

Отражение материалистических взглядов в подходе к решению вопроса о соотношении материальной и идейной сторон жизни общества представляется возможным проследить и в некоторых работах молодого Виппера. «Самые явления ду-

---

[76]) Д. М. Петрушевский. Восстание Уота Тайлера. Ч. I, СПб, 1897, стр. 382.

[77]) Там же. Стремление Петрушевского рассматривать в своей историографической практике идейную борьбу как выражение борьбы социальной можно проследить и в ряде других его работ. Ограничимся одним примером. В связи с идейной борьбой в английском обществе XIII в. он писал: «То, что идеологу представляется как борьба принципов, их логическая игра, в действительности представляет собою борьбу реальных интересов общественных групп, в теоретических построениях находящих лишь свое выяснение и более или менее точную формулировку». И далее он указывает, что победа того или другого принципа является лишь завершением общественной борьбы, выражением торжества соответствующей социальной группы (Д. М. Петрушевский. Борьба за политическое освобождение в английском обществе во второй половине XIII в. — «Русское богатство», 1905, № 9, стр.60—61, Ср. его «Очерки из истории английского государства и общества в средние века», ч .I, стр.202).

ховной культуры, под беглым впечатлением которых прежде выводились смелые и красивые воздушные линии над земною обыденностью, — утверждал он в прямой полемике с традиционными в буржуазной историографии представлениями,— самые эти явления новый исследователь стремится привести в тесную связь с ближайшими социальными и материальными условиями»[78]).

С этих позиций Виппер и подходит к изучению переломного в европейской истории XVI столетия. Если для большинства современных ему буржуазных ученых XIX век явился в первую очередь веком ожесточенной религиозной борьбы, то Виппер обращает главное внимание на материальные предпосылки реформации и контрреформации. Показательно, что свою работу «Общество, государство, культура Запада в XVI веке» он начинает с характеристики экономического подъема Западной Европы, в котором и усматриваются истоки идейно-политической борьбы в европейском обществе. Подчеркивая недопустимость отрыва изучения религиозной и политической борьбы от ее материальных основ, ученый писал: «Крупные столкновения политических сил, например, Габсбургов и Валуа, Голландии и Испании, гугенотских дворян и католических горожан во Франции не могли бы разыграться без скопления и борьбы масс капитала; характерные черты самих религиозных программ, их широта и распространенность, их социальный оттенок останутся нам непонятны, если мы не схватим тех могущественных пружин материальной жизни, влияние которых объединило в XVI в. Европу, подняло или разрушило различные общественные группы в среде европейских наций»[79]).

В тесной связи с отмеченными особенностями метода русской либеральной медиевистики находится свойственный ей историзм в подходе к изучению и оценке явлений прошлого. Вся ее концепция западноевропейского феодализма исходила из признания обусловленности феодального строя определенными объективными обстоятельствами, учитывала его внутреннее развитие и изменение под влиянием этих обстоятельств.

Конечно, историзм русских либеральных медиевистов никогда не был последовательным. Отвергая марксистское учение об общественно-экономических формациях, они, естественно, ни в своих теоретических воззрениях, ни в историографической практике не смогли последовательно провести взгляд на феодализм как на исторически необходимую ста-

---

[78]) Р. Ю. Виппер. Общество, государство, культура Запада в XVI в. — «Мир божий», 1897, № 2, стр. 6.

[79]) Там же, № 8, стр. 218.

дию в поступательном развитии человеческого общества. Серьезным препятствием исторического подхода к явлениям общественной жизни являлась классовая ограниченность их политических взглядов, что особенно рельефно отразилось на их трактовке таких проблем, как государство и революция. Мы видели, как в подходе русских либеральных медиевистов к этим проблемам подлинный историзм нередко уступал место предвзятым суждениям, обусловливавшимся их политическими воззрениями, как эти последние порождали абстрактные, метафизические схемы, противоречившие реальной исторической действительности.

С другой стороны, историческая точка зрения широко использовалась как для обоснования либеральной программы общественно-политических преобразований в России, так и с целью доказательства «неправомерности» революционного пути развития общества. Выводы, которые делались на основе изучения истории Западной Европы, призваны были обосновать необходимость постепенных реформ в либеральном духе сверху с тем, чтобы предотвратить революционное насилие снизу. Решительно осуждалось революционное «доктринерство», провозглашалась необходимость при учете опыта других стран приспосабливать его к местным условиям, что на практике означало отказ от радикальной ломки самых устаревших учреждений, теоретически оправдывало политическое бессилие и трусость русской либеральной буржуазии. Недаром один из признанных вождей ее, Милюков, так превозносил «исходную научную точку зрения» Ковалевского, которая, по его словам, «не допустила грубого применения теорий и практических советов, основанных на заимствовании одного народа у других, несмотря на разные ступени развития каждого»[80]).

В то же время русской либеральной медиевистике изучаемого периода были присущи и сильные стороны буржуазного историзма XIX в. Ее характерной чертой являлся подход к истории как процессу, находящемуся в непрерывном движении и изменении. Всякое явление, бывшее предметом анализа русских медиевистов, рассматривалось ими, как правило, в связи с конкретно-историческими условиями, определявшими его развитие. Пример тому — их лучшие работы, которые при всем различии проблематики и методики исследования объединяло стремление их авторов к всестороннему изучению всей совокупности обстоятельств, обусловивших

[80]) П. Н. Милюков. М. М. Ковалевский как социолог и как гражданин. — Сб. «М. М. Ковалевский. Ученый, государственный и общественный деятель и гражданин», П., 1917, стр. 140. Поясняя свою мысль, Милюков с нескрываемым сочувствием пишет об осуждении Ковалевским «французских доктринеров 1789 г.».

возникновение и эволюцию изучаемого явления или группы явлений. Рассматривая английский манор или каталонскую деревню, аграрные отношения в предреволюционной Франции или судьбы свободной общины, социальный строй Англии в позднее средневековье или историю кальвинистской церкви, русские либеральные медиевисты в той или иной степени стремились исследовать свой сюжет в его эволюции и многообразных связях, вскрыть его место в общей цепи исторического развития. Не будет преувеличением сказать, что успех таких книг, как «Восстание Уота Тайлера», «Английская деревня в эпоху Тюдоров», «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII в.», исследований Виноградова по социальной истории средневековой Англии и т. д., во многом объясняется именно тем, что их авторам в высшей мере было присуще историческое чутье, отразившееся уже на самом их подходе к своему материалу.

Покажем это на примере Петрушевского. Обращаясь к восстанию Уота Тайлера, Петрушевский сумел увидеть в нем «крайне знаменательный момент в хозяйственной и социальной эволюции феодальной Англии, вскрывающий перед нами самые основные течения этой эволюции и тем облегчающий ее изучение»[81]). Такой подход к восстанию обусловил и ведущие аспекты исследования. Центральное место во второй части книги занимает исследование судеб манориальной организации в средневековой Англии. В то же время внимание ученого привлекают экономические и политические последствия Черной смерти, рабочее законодательство и налоговая политика правительства. Такая широкая постановка вопроса позволила ему увидеть в восстании Уота Тайлера закономерный итог всего социально-экономического развития средневековой Англии. Конечно, с точки зрения современной науки его концепция восстания содержит немало уязвимых положений и не может быть принята в целом[82]), однако для своего времени она являлась важным шагом вперед в историографии вопроса, составив крупнейшее явление не только в русской, но и в мировой литературе по истории английского феодализма[83]). Нельзя не признать научную плодотворность самого принципа, которым руководствовался Петрушевский в своем подходе к восстанию и благодаря которому он сумел показать его обусловленность важнейшими процес-

---

[81]) Д. М. Петрушевский. Восстание Уота Тайлера. Ч. 2, стр. VII.

[82]) См.: А. И. Данилов. Эволюция идейно-методологических взглядов Д. М. Петрушевского и некоторые вопросы историографии средних веков. — Сб. «Средние века», вып. VI, стр. 304—306.

[83]) См.: В. Ф. Семенов. Восстание Уота Тайлера в исторической литературе и концепция Д. М. Петрушевского. — Сб. «Средние века», вып. II, в особенности стр. 242.

сами, протекавшими во всех сферах средневекового английского общества, в первую очередь в сфере социально-экономических отношений.

Вместе с тем рассматриваемый пример свидетельствует и об ограниченности буржуазного историзма. Многие недостатки созданной Петрушевским концепции восстания Уота Тайлера объясняются как раз непоследовательностью его исторического метода. Отсюда, в частности, проистекает модернизация природы экономических отношений, утверждавшихся в английской деревне XIV в., которые неправомерно квалифицировались как капиталистические, резкое преувеличение качественного отличия их от порядков, господствующих в предшествующие столетия и т. п.

Исторический подход к познанию прошлого присущ и лучшим обобщающим трудам, созданным русской либеральной медиевистикой. В таких книгах, как «Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства», «Поместье-государство и сословная монархия средних веков», «История Западной Европы в новое время», четко вырисовывается стремление их авторов рассматривать смену экономических и социальных форм в европейском обществе как закономерный исторический процесс. При этом в отдельных случаях прямо утверждается мысль о необходимости при оценке тех или иных явлений прошлого исходить из объективных условий, при которых они имеют место, сочетающееся с признанием того обстоятельства, что одно и то же явление в различных исторических условиях имеет неодинаковый объективный смысл.

Заслуживают быть особо отмеченными две характерные черты историзма русской либеральной медиевистики середины 70-х годов XIX — начала XX вв., вытекавшие из своеобразия ее общих идейно-методологических позиций. Во-первых, это — известная экономическая подкладка, присущая историческому методу ее представителей. Рассматривая эволюцию общественного строя в целом или отдельные ее этапы, исследуя порожденные ею социальные формы, русские либеральные ученые в своем анализе нередко исходили из признания необходимости искать экономическую основу социально-политического развития. Их историзм включал в себя признание не только историчности социальных, правовых и политических форм, что было характерно для буржуазной науки XIX в., но и, в определенной мере, изменчивости экономического строя общества как материальной основы социальной эволюции. Тем самым углублялся их метод научного познания, открывая новые возможности для исследования закономерностей феодального общества.

Во-вторых, историзму русской либеральной медиевистики была присуща относительная прогрессивная направленность (в его политических выводах). В этом плане представляет интерес сравнение его с известной исторической школой права, оказавшей серьезное влияние на развитие буржуазной науки XIX в. Вызванная к жизни феодальной реакцией на Великую французскую революцию, эта школа призвана была обосновать несостоятельность идей революционного переустройства общества, доказать незыблемость и естественность феодального порядка вещей[84]). Гуго, Савиньи и другие ее представители выдвинули и обосновали положение об органическом происхождении и эволюции права и учреждений, что само по себе означало несомненный шаг вперед в развитии современной им исторической мысли. Однако это положение получило в трудах представителей школы сугубо консервативное истолкование. Исторический подход к изучению прошлого вел к его апологетике, а вместе с этим и к оправданию настоящего, базирующегося на этом прошлом. Глубоко вскрывая реакционную сущность такого историзма, Маркс писал о его представителях как о школе, «которая подлость сегодняшнего дня оправдывает подлостью вчерашнего, которая объявляет мятежным всякий крик крепостных против кнута, если только этот кнут — старый, унаследованный, исторический кнут»[85]). По мере усиления реакционных тенденций в капиталистическом обществе консерватизм исторической школы права, претерпевая известные модификации, получает широкое распространение в буржуазной науке XIX в., становится одним из ее ведущих методологических принципов[86]).

---

[84]) Марксистскую критику исторической школы права см.: О. Л. Вайнштейн. Историография средних веков в связи с развитием исторической мысли от начала средних веков до наших дней. М.—Л., 1940, стр. 144—148; Е. А. Косминский. Историография средних веков, М., 1963, стр. 291—313; U.—J. Heuer. Karl Friedrich Eichhorn und die historische Rechtschule, in: «Studien über die deutsche Geschichtswissenschaft». Bd. I, Berlin, 1963, S. 121—135.

[85]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. I, стр. 416.

[86]) Влияние реакционного романтизма и исторической школы права, в особенности, на развитие буржуазной мысли XIX в. особенно настойчиво подчеркивает Белов (см.: G. Below. Die deutsche Geschichtsschreibung von den Befreiungskriegen bis zu unsern Tagen. München und Berlin, 1924.) Впадая в этой книге в несомненные преувеличения в своем стремлении доказать, будто вся буржуазная историография XIX в., включая неокантианцев, вышла из романтизма, Белов тем не менее достаточно убедительно показал действительно большое влияние положений исторической школы права на развитие методологических принципов последующей немецкой и зарубежной буржуазной историографии. Ср. H. R. Srbik. Op. cit., Bd. I, S. 191, где в связи с этой школой подчеркивается «немецкий примат в филологической и исторической науке в культурной жизни Европы». О влиянии немецкого историзма на развитие буржуазной исторической

Тем более поучительным является отношение к исторической школе и ее теоретическим представлениям в русской либеральной медиевистике. Отмечая ее большие научные заслуги, отдельные русские медиевисты в то же время подвергли резкой критике ряд существенных положений этой школы. Является характерным само направление этой критики. Ее объектом в первую очередь становится политический консерватизм, присущий исторической школе[87]). Кареев подчеркивает «общий ее консервативный дух»[88]), отмечает реакционность политических взглядов Савиньи, его враждебное отношение к конституционным идеям своего времени[89]).

Несомненный интерес представляет оценка исторической школы Виноградовым, неизменно характеризовавшим ее как реакционную. Русский ученый тонко подметил один из главных пороков этой школы — органически вытекавшее из ее основных посылок представление о том, что в истории развитие имело место лишь в прошлом. «Следуя за реакционной школой во всех ее выводах, — писал он, — пришлось бы сказать, что история великая сила, но ее уже более нет, потому что все закончено, намечено и распределено заранее»[90]).

Убежденным противником немецкого реакционного историзма выступал Ковалевский. Уже в одной из своих ранних работ он достаточно определенно сформулировал принципиальное отличие собственного понимания принципа историзма (которое следует признать типичным для русской либеральной медиевистики вообще) от взглядов, развивавшихся немецкой исторической школой права. «Учреждения, которые в глазах представителей и последователей исторической школы правоведения в Германии являются своеобразными проявлениями «свободолюбивого германского духа», казались ему, — пишет ученый о себе, — не более, как продуктами из-

---

мысли Запада в XIX в. см. также Lord Acton. Die neuere deutsche Geschichtswissenschaft. Berlin, 1887; K. Dockhorn. Der deutsche Historismus in England. Göttingen, 1950; H. Butterfield. Man of his Past. The Study of the History of Historical Scholarship. Cambridge, 1955, p. 22; J. Herbst. The German Historical School in American Scholarship. New York, 1965.

[87]) Необходимо подчеркнуть, что в своей критике политического консерватизма исторической школы права русские либеральные медиевисты продолжали традицию Грановского, что было отмечено уже Виноградовым (см. его статью «Т. Н. Грановский». — «Русская мысль», 1893, № 4, стр. 48—49).

[88]) Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время. Т. IV, стр. 275.

[89]) Там же, стр. 370. Ср. его критику немецкой исторической школы в политической экономии, методологически родственной исторической школе права, за ее защиту устарелых, обреченных на разложение хозяйственным форм (см. там же, стр. 380).

[90]) П. Г. Виноградов. История средних веков, М., 1893, стр. 11.

вестной ступени общественного развития»[91]). Выраженная здесь точка зрения составляет своеобразную доминанту всего его подхода к исторической школе права. В целом ряде своих работ Ковалевский показывает несостоятельность главного принципа этой школы — об определяющем влиянии «народного духа» на историческое развитие. Уничтожающей критике этого принципа посвящена в значительной своей части его первая методологическая работа. Примечательным образом он выступает здесь против спекулятивных построений немецких историков, которые в апологетических целях приписывали народный характер учреждениям, обязанным своим происхождением временным и скоропреходящим причинам[92]). Особенно большое значение в научном преодолении свойственной исторической школе права мистическо-националистической интерпретации общественного развития имели этнографические исследования Ковалевского. «Всякое объяснение факта возникновения тех или других институтов психическими особенностями племени, — писал он, — рано или поздно оказывается несостоятельным»[93]). Все многочисленные этнографические труды ученого представляют собою убедительное обоснование этого тезиса.

Отвергая политический консерватизм исторической школы права и присущее ей стремление объяснять общественное развитие из пресловутого «народного духа», русские либеральные медиевисты основывали свой метод на представлении об исторической обусловленности всякого общественного явления. Тем самым создавались определенные предпосылки для отражения в их построениях реальной исторической действительности в ее объективных связях и опосредствованиях. Исследуя самые сложные проблемы западноевропейского феодализма, создавая общие концепции общественного развития, русские либеральные медиевисты, как правило, исходили не из национальных особенностей того или иного народа, а из реальных условий его исторической жизни, определявших, по их мнению, в числе прочих и эти особенности. Такой подход к истории, конечно, сам по себе не обеспечивал возможности ее объективного отражения, тем более, что у русских либеральных медиевистов он, как известно, нередко

---

[91]) М. М. Ковалевский. История полицейской администрации..., стр. III.

[92]) М. М. Ковалевский. О методологических приемах при изучении раннего периода в истории учреждений. М., 1878, стр. 13. Было бы неверным искать в резкой критике Ковалевским немецкой историографии националистические мотивы. С неменьшим сарказмом указывает он и на несостоятельность исторической концепции славянофилов с ее превознесением «славянского духа» (там же, стр.6).

[93]) М. М. Ковалевский. Первобытное право, вып. II, стр. 169.

сочетался с идеалистическим истолкованием явлений общественной жизни. Тем не менее, в определенных границах он способствовал совершенствованию познавательных приемов буржуазной науки[94]).

Историзм русских либеральных медиевистов являлся, если можно так выразиться, по-преимуществу эмпирическим. Исходя из общих эволюционистских представлений о характере общественного развития, они в своей историографической практике стремились рассматривать то или иное явление в его развитии, изменении, исторической обусловленности. В то же время лишь в сравнительно крайне редких случаях они обращались к теоретическому осмыслению самого принципа историзма. Ни один из них не оставил развернутого определения этого принципа, не говоря уже о его теоретическом обосновании. Тем большее значение приобретают их отдельные высказывания по интересующему нас вопросу. Сделанные подчас по тому или иному случайному поводу, они тем не менее позволяют в известной степени судить о понимании этого вопроса в русской либеральной медиевистике. Отметим, в частности, отдельные мысли, высказанные на этот счет Кареевым.

В системе историко-теоретических взглядов Кареева важное место занимало энергичное утверждение научной и общественной значимости исторического познания. Он решительно выступил против ницшеанского тезиса о «чрезмерности истории», в который раз подчеркивая ее «громадное образовательное и воспитательное значение в личной и общественной жизни человека»[95]). И в своих теоретических работах, и в исследовательской практике Кареев решительно защищал «историческую точку зрения», рассматривая ее как необходимую предпосылку не только изучения истории, но и общественного познания в целом. При этом характерным образом он предостерегает против отождествления историзма вообще с той его формой, которая была вызвана к жизни европей-

---

[94]) Само собою разумеется, что в критике и преодолении реакционно-националистических построений исторической школы права русские либеральные медиевисты не были одиноки. Аналогичные взгляды в последней трети XIX в. получили широкое распространение под влиянием позитивизма в англо-французской либеральной историографии, что было отмечено уже Ковалевским (см. его «О методологических приемах при изучении раннего периода в истории учреждений», стр. 6; «Английская конституция и ее историк», стр. 45). В частности, решительным противником объяснения истории с помощью мистического «народного духа» выступал Мэтланд.

[95]) Н. И. Кареев. Ницше о «чрезмерности истории». — «Сборник в пользу недостаточных студентов Московского университета», М., 1897, стр. 14. Вся эта статья посвящена критике ницшеанской аргументации тезиса о «вреде» и «чрезмерности» истории и исторического образования.

ской реакцией начала XIX в. Кареев показывает неправомерность обвинений историзма в том, что историческое отношение к действительности само по себе естественно и необходимо должно вести и к упорному консерватизму, как результату чрезмерного почитания исторических традиций, и к узкому национализму, и к пренебрежению правами, интересами и стремлениями личности, раз они расходятся с исторически сложившимся порядком вещей. «Если, действительно, подобные явления и наблюдаются в истории философии, науки и публицистики XIX в., — указывает он, — то прямую их причину никак не нужно искать в применении исторической точки зрения к разработке разных культурных и социальных идей». Он подчеркивает, что историзм XIX в., как и рационализм XVIII столетия, имеют значение лишь метода, оказывающего большое влияние на общий характер миросозерцания, но отнюдь не исходного пункта, определяющего самое его содержание. С помощью исторической точки зрения, по его мнению, можно защищать диаметрально противоположные воззрения[96]).

Развивавшиеся Кареевым взгляды объективно содействовали распространению принципа историзма в русской либеральной общественной мысли. Однако само его понимание этого принципа являлось ограниченным, отражало на себе слабые стороны его общих методологических представлений. В этой связи показательно, что Кареев считал необходимым защищаться от обвинений Михайловского в преувеличении значения принципа историзма. Он решительно отвергает утверждение Михайловского, будто историзм является его коренным принципом, подчеркивает необходимость сочетания его с «незыблемой идеей об истинном и справедливом»[97]). Принимая в «ограниченном», по его выражению, смысле принцип историзма, он в то же время специально оговаривается: «...Я не стою исключительно на исторической точке зрения, не считаю историзм верховным, единственно руководящим принципом мысли и жизни»[98]).

Само по себе это последнее положение особых возражений не вызывает. Действительно, было бы неверным сводить к принципу историзма все многообразие средств общественного познания. Признание изменяемости мира общественных явлений не исключает признания его относительного постоянства, что предполагает необходимость его всестороннего исследования с различных точек зрения. Сам принцип историз-

[96]) См.: Н. И. Кареев. Историко-философские и социологические этюды. СПб., 1895, стр. 36—38.

[97]) Н. И. Кареев. Мысли о сущности общественной деятельности стр. VIII—X.

[98]) Там же, стр. XI.

ма только тогда дает плодотворные результаты, когда он органически сочетается с использованием других методологических принципов, необходимых для познания существенных связей, определяющих внутреннюю природу изучаемого явления. Но все дело как раз и заключается в существе этих принципов.

Для Кареева речь идет прежде всего об этических категориях добра, справедливости и т. п., с позиций которых он и пытается интерпретировать исторический процесс. Вследствие этого сам принцип историзма получает у него субъективно-идеалистическое истолкование. «Мой историзм, не только не исключающий этики, но и прямо ее требующий, — писал он, — вполне волюнтаристичен... В истории я везде вижу результаты человеческих воль»[99]). Тем самым на сцену выходила пресловутая человеческая природа как важнейший двигатель исторического развития, возникало причудливое сочетание признания изменчивости, историчности мира и неизменности абстрактной человеческой природы с ее не менее абстрактными потребностями и стремлениями. Нет нужды говорить о том, что такое понимание принципа историзма исключало возможность сколько-нибудь последовательного проведения его в исследовательской практике.

**
*

Историзм русских либеральных медиевистов нашел свое воплощение в их исследовательской методике. В частности, с ним связано широкое применение в нашей науке сравнительно-исторического метода, являвшегося в известном смысле ее официальным методом. Не только в своих общеисторических построениях, но и в специальных исследованиях русские либеральные медиевисты исходили из убеждения в том, что полное знание о том или ином историческом явлении возможно лишь при условии его широкого сопоставления с явлениями аналогичными или смежными. Использование сравнительно-исторического метода рассматривалось как необходимая предпосылка познания закономерностей исторического процесса, открытия законов, по которым происходит развитие общества, создания общей концепции эволюции человечества. Не говоря уже о Ковалевском, как известно, подчас даже злоупотреблявшем бесчисленными аналогиями в своих построениях[100]), русские либеральные медиевисты нередко осно-

[99]) Там же, стр. XX.

[100]) О недостатках в применении Ковалевским сравнительно-исторического метода см.: А. И. Неусыхин. Возникновение зависимого крестьянства как класса раннефеодального общества в Западной Европе VI—VIII вв. М., 1956, стр. 42.

вывали на данных, полученных в результате применения сравнительно-исторического метода, важнейшие результаты своих исследований.

Распространение сравнительно-исторического метода в русской либеральной медиевистике находится в связи с влиянием на нее позитивистской методологии исторического исследования. Уже Лучицкий в первой же своей опубликованной работе, рассматривая сравнительно-исторический метод как необходимое условие изучения общественных явлений, прямо связывал его научное обоснование с Контом и его школой[101]). Начиная с Лучицкого, мы находим в русской либеральной медиевистике неизменно высокую оценку этого метода как важнейшего средства исторического познания. «Могучим орудием в деле формулирования эволюционных законов» называл его Кареев[102]), выражая тем самым общее мнение всех своих коллег.

Однако наиболее основательную разработку в русской либеральной медиевистике сравнительно-исторический метод получил в трудах Ковалевского, который с первых же шагов своей научно-педагогической деятельности выступил страстным поборником этого метода и больше, чем кто-либо, содействовал его успехам в самых разных сферах гуманитарных наук в России. Показательно, что свое преподавание в Московском университете он начинает с чтения курса сравнительной истории права, рассматривавшегося им как необходимое условие всестороннего объяснения судеб отечественного законодательства[103]). Введением к этому курсу и явилась его известная работа «О методологических приемах при изучении раннего периода в истории учреждений», в которой нашли свое выражение представления молодого ученого о средствах познания прошлого. Важнейшим из них провозглашается сравнительно-исторический метод, обоснованию которого в значительной мере и посвящена эта работа. Именно базируясь на сравнительно-историческом методе, Ковалевский показывает здесь несостоятельность объяснения истории с помощью теории о влиянии духа народа на характер его общественных и политических институтов. В широком применении этого метода, а также в параллельном использовании целого ряда связанных с ним вспомогательных научных приемов с целью получения более достоверных сведений о прошлом (проверка выводов, полученных при помощи одного способа, результатами достигнутыми путем применения других) он видит не-

[101]) См.: И. В. Лучицкий. Адам Фергюсон и его историческая теория. — «Университетские известия», Киев, 1868, № 11, стр. 29—31.

[102]) Н. И. Кареев. Главные обобщения всемирной истории, стр. 59.

[103]) М. М. Ковалевский. О методологических приемах при изучении раннего периода в истории учреждений, стр. 1—2.

пременное условие объективного, а тем самым и научного изучения форм общественной жизни, характерным образом противопоставляя ему субъективные, а потому и произвольные построения о влиянии расы на историю учреждений[104]).

Взгляды, выраженные в этой работе, получили свое развитие и конкретизацию в последующих трудах Ковалевского. Ученый все более укрепляется в своей оценке сравнительно-исторического метода как крупнейшего завоевания научной мысли в сфере познания мира общественных явлений, подлинного переворота в арсенале познавательных приемов общественной науки. Он пытается дать теоретическое обоснование этому методу, выяснить возможности его использования в научной работе. Характерным образом Ковалевский указывает на закономерность исторического процесса как на объективную основу сравнительно-исторических исследований. Он обращает внимание на сходство между учреждениями разных времен, стран и народов, порожденное одинаковостью исторических условий, вызвавших их к жизни. Подчеркивая, что источник этой одинаковости лежит «не в повторяемости одних и тех же событий на расстоянии веков и тысячелетий, так как таких повторений не знает история, а в прохождении разными народами одинаковых стадий общественного развития», он ставит перед сравнительно-историческим методом задачу выделения сходных у разных народов на аналогичных ступенях их развития обычаев и учреждений с тем, чтобы дать материал для построения истории прогрессивного развития форм общественной жизни[105]).

В соответствии с таким пониманием задач сравнительно-исторического изучения Ковалевский выдвигает на первый план необходимость установления общих черт в развитии различных народов с целью выяснения причин смены (в общеисторическом масштабе) одних форм человеческого общежития другими и восстановления так называемого нормального хода общественного развития. Что же касается объяснения причин различия в историческом развитии разных народов, то это, по мнению ученого, — дело будущего, не составляющее непосредственной задачи современной науки[106]). Таким образом, сравнительно-исторический метод выступает у Ковалевского в генерализирующей форме в отличие от характерной для немецкого историзма формы индивидуализирующей, когда главное внимание сосредоточивается на выяс-

---

[104]) Там же, стр. 22.

[105]) М. М. Ковалевский. Историко-сравнительный метод в юриспруденции и приемы изучения истории права. М., 1880, стр. 19.

[106]) Там же, стр. 20—21.

нении специфических особенностей, присущих истории данного народа[107]).

Бесспорно, Ковалевский и в своих теоретических воззрениях и, в особенности, в историографической практике повинен в недооценке значения индивидуальных различий в историческом процессе. Его общие схемы нередко грешат забвением учета своеобразия проявления закономерностей общественного процесса в конкретных исторических условиях. Стремление подчеркивать во всех случаях только общее неизбежно вело к обеднению картины действительного хода мирового процесса и в то же время создавало уязвимые места в использовании Ковалевским сравнительно-исторического метода, сообщая ему известную односторонность. Вместе с тем для своего времени генерализирующая форма сравнительно-исторического метода в том виде, как она применялась Ковалевским и другими представителями русской либеральной историографии, являлась определенным шагом вперед в совершенствовании способов исторического познания по сравнению с формой индивидуализирующей. В то время как характерной чертой немецкого буржуазного историзма XIX в. являлось выпячивание особенного в истории, сочетавшееся с отрицанием ее единства, русские либеральные медиевисты настойчиво проводили мысль о закономерности исторического развития, поглощающей те или иные специфические особенности, свойственные отдельным народам, широко используя для ее утверждения сравнительно-исторический метод[108]).

Особенно плодотворным являлось применение Ковалевским сравнительно-исторического метода в исследовании доклассового общества. Он подчеркивает решающее значение этого метода для изучения первобытнообщинного строя и присущих ему социальных форм. «Только обращаясь к сравнительному приему и выделяя с помощью его черты сходства и различия в родовой, общинной и семейной организации возможно большего числа народностей, — утверждает он, — мы

---

[107]) Ср. T. Schieder. Möglichkeiten und Grenzen vergleichender Methoden in der Geschichtswissenschaft. — «Historische Zeitschrift», 1965, Bd. 200, H. 3., S. 539, 550.

[108]) В русской либеральной медиевистике имела место постановка вопроса и об индивидуализирующей природе сравнительно-исторического метода. Так, выступая против подмены сравнительно-исторического метода приемом простого сопоставления однородных явлений, Кареев усматривал одну из задач первого в установлении того, что индивидуализирует данный факт при его общей основе с другими однородными фактами (см.: Н. И. Кареев. Земские соборы древней Руси. — «Юридический вестник», 1886, № 2, стр. 259). Однако и у самого Кареева, и у его коллег преобладало использование сравнительно-исторического метода с целью установления общего в историческом процессе.

в состоянии отметить те характерные черты, соединение которых обнимается соответствующими понятиями рода, общины и нераздельной семьи; только этим путем возможно точное разграничение этих, во многом сходных между собою форм человеческого общежития»[109]). Сформулированное здесь положение нашло свое воплощение в историографической практике Ковалевского. Красной нитью через все его многочисленные сочинения по истории первобытного общества проходит стремление к сравнению аналогичных общественных форм у самых разных племен и народов, обитавших подчас в противоположных уголках земного шара. Не будет преувеличением сказать, что на таком сравнении построены все его более или менее значительные выводы о характере общественного развития и формах социальной организации в первобытную эпоху.

Современного читателя поражают смелость и размах, с которыми Ковалевский оперирует своим излюбленным методом в историко-этнографических исследованиях. Народы Кавказа и Индии, Африки и Америки в равной степени привлекают внимание ученого, через сопоставление существовавших у них в определенный исторический период социальных форм он приходит к пониманию общих закономерностей социального развития родо-племенного общества. Правда, в применении сравнительно-исторического метода Ковалевский нередко отступал от строгих научных норм. Его сравнения при их бесспорной широте иногда не учитывали в полной мере своеобразия сопоставляемых явлений, вследствие чего подчас в его аналогиях внешняя форма преобладает над внутренним содержанием, кое-где нарушался принцип историзма в самом подборе сравниваемых явлений. Наконец, отмеченное Б. Г. Сафроновым преувеличение Ковалевским возможностей сравнительно-исторического метода в деле обнаружения законов общественного развития[110]) относится и к его исследованию родо-племенного строя. Однако не эти слабые стороны определяют характер и значение использования Ковалевским сравнительно-исторического метода. Замечательные исследования ученого в сфере семейно-родовых отношений, доставившие ему мировое признание, базируются как раз на научно-корректном применении сравнительно-исторического метода, с которым неразрывно связаны все его достижения в изучении социальной эволюции первобытного общества.

Широко использовал Ковалевский сравнительно-исторический метод и в изучении социально-экономического разви-

---

[109]) М. М. Ковалевский. Первобытное право. Вып. I, стр. 4.

[110]) См.: Б. Г. Сафронов. М. М. Ковалевский как социолог, стр. 256—257.

тия средневекового общества. Достаточно вспомнить его «Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства», весь построенный на сравнительном изучении различных путей становления и развития феодальных отношений на Западе[111]). При этом будет уместным отметить широкое использование ученым этого метода как средства для доказательства прогрессивных для того времени исторических идей. В особенности это относится к его характеристике аграрных отношений раннего средневековья. Ковалевский широко использует сравнительно-исторический метод для защиты и дальнейшего развития общинной теории. Так, приступая к исследованию вопроса о характере землевладения у франков по «Салической правде», он настойчиво подчеркивает необходимость широкого привлечения дополнительных источников. Он указывает на отрывочность и неполноту сведений, сообщаемых «Салической правдой» по данному вопросу и связанное с этим разноречие в его толковании. Выход из положения Ковалевский усматривает в решительном изменении самого метода изучения этого источника. Способу интерпретации «Салической правды», основанному исключительно на анализе ее статей, он противопоставляет иной, предполагающий воссоздание исследователем на базе всех доступных ему источников общей картины аграрных отношений соответствующего периода как основы для решения вопроса о характере землевладения у салических франков. Составив такое общее представление, ученый должен документально доказать решительное совпадение его с буквальным смыслом источников. Ковалевский подчеркивает далее необходимость широкого привлечения сравнительных данных для доказательств того, что отрывочные свидетельства «Салической правды», упоминаемые ею одиночные обычаи и отношения мыслимы только при известном порядке землевладения, который, в свою очередь, должен вполне соответствовать как экономическим условиям времени, так и соответствующему общественному и политическому укладу[112]).

Плодотворность избранного Ковалевским метода изучения аграрных отношений салических франков очевидна. Бла-

[111]) При этом довольно широко для уяснения тех или иных явлений в общественной жизни и хозяйственных порядках средневековой Западной Европы привлекался русский материал. Так, в частности, поступал Ковалевский, рассматривая характер аграрных отношений у англосаксов в VII—IX вв. Утверждая в полемике с Сибомом, что отсутствие переделов отнюдь не подрывает факт существования в этот период у англосаксов общинного землевладения, он в числе других аргументов ссылается на практику, существовавшую в некоторых русских областях (см.: «Экономический рост Европы...», т. I, стр 362—363).

[112]) Там же, стр. 50—51.

годаря ему ученый сумел преодолеть характерную для буржуазной историографии юридическую интерпретацию памятников раннего средневековья. При всех частных недостатках его трактовка аграрных отношений франков в эпоху «Салической правды» является объективно-истинной в главном — в определении их подлинной природы. С почвы филологической критики источника и его юридической интерпретации Ковалевский перенес решение вопроса на почву широких исторических обобщений, основывающихся на всестороннем учете всех обстоятельств, относящихся к нему, и прежде всего на проникновении в сокровенное существо социально-экономических отношений изучаемого периода. Такой подход обеспечивал удачное сочетание основательного источниковедческого анализа с широкими общеисторическими построениями. И хотя самому Ковалевскому можно предъявить справедливые претензии относительно его работы с источниками, представляется несомненным позитивное значение самого провозглашенного им метода изучения аграрных отношений раннего средневековья.

Об этом, в частности, свидетельствует историографическая практика советских медиевистов, которые успешно применяют сравнительно-исторический метод, руководствуясь при этом принципами материалистического понимания истории. Пример тому — фундаментальное исследование А. И. Неусыхина, посвященное складыванию феодальных отношений в Западной Европе[113]). Усматривая основной объект исследования в процессе перехода племен и народов, населявших в VI—VIII вв. Западную Европу, от первобытнообщинного строя к феодальному, А. И. Неусыхин в соответствии с этим определяет и свой метод. Он указывает на свое стремление к сочетанию изолированного изучения особенностей возникновения зависимого крестьянства на материале истории отдельных народов с параллельным сравнительно-историческим их изучением[114]). Последовательно осуществляя свой замысел, А. И. Неусыхин сумел не только раскрыть

---

[113]) А. И. Неусыхин. Возникновение зависимого крестьянства как класса раннефеодального общества в Западной Европе VI—VIII вв., М., 1956.

[114]) Там же, стр. 3—4. При этом А. И. Неусыхин делает важные указания относительно условий, обеспечивающих плодотворность применения сравнительно-исторического метода. Он выдвигает три таких условия: 1) сравниваемые объекты должны быть соизмеримы по своим качественным особенностям; 2) они должны быть одинаково хорошо изучены; 3) сравнение должно выяснить черты не только сходства, но и различия сопоставляемых объектов с тем, чтобы потом свести результаты такого сравнения воедино в обобщающем построении (там же, стр. 4). Нельзя не признать, что, широко оперируя сравнительно-историческим методом, Ковалевский нередко грешил несоблюдением этих условий.

своеобразие феодализационного процесса у франков и других германских племен в VI—VIII в., но и осветить общие закономерности перехода от первобытнообщинного строя к феодальному в Западной Европе.

Рассматривая сравнительно-исторический метод важнейшим средством познания прошлого, Ковалевский в то же время подчеркивал его громадное социологическое значение. «Историко-сравнительный метод, — утверждал он, — является... средством к построению совершенно новой науки — истории естественного роста человеческих обществ»[115]). Отсюда, в частности, вытекал историзм социологических построений Ковалевского. Как справедливо отмечает Кареев, «...в своих социологических исканиях Ковалевский был преимущественно историком»[116]). Нам представляется, что это обстоятельство составляло сильную сторону социологических воззрений ученого, будучи своего рода противоядием против распространенных в буржуазной социологии биопсихологических концепций общественного развития. И хотя, как мы видели, сам Ковалевский отдал щедрую дань этим концепциям, здоровое историческое чутье предохраняло его от крайних преувеличений сторонников биопсихологической интерпретации истории.

Заслуживают внимание соображения Ковалевского, которые он выдвигал для обоснования универсального значения сравнительно-исторического метода. Он указывал, что человеческое общество является единым целым, и в этом единстве человечества ученый видит основу для применения сравнительно-исторического метода в той интерпретации, которую ему дает Ковалевский. Утверждая, что «потребности и способности различных рас различаются лишь в подробностях», он прямо подчеркивает, что объектом наблюдения сторонников сравнительного метода «являются не отдельные феномены, вызванные действием какого-нибудь закона общественного развития у какого-либо отдельного народа той или другой расы, а эволюция форм общественной жизни всего человечества»[117]).

Единство человеческого общества вне зависимости от расовых и национальных особенностей и образует, с точки зрения Ковалевского, ту почву, на которой оказывается возмож-

---

[115]) М. М. Ковалевский. Историко-сравнительный метод в юриспруденции и приемы изучения права, стр. 22.

[116]) Н. И. Кареев. М. М. Ковалевский как историк и социолог. — Сб. «М. М. Ковалевский. Ученый, государственный и общественный деятель и гражданин», стр. 171.

[117]) М. М. Ковалевский. Очерк происхождения и развития семьи и собственности, стр. 19.

ным (и необходимым) применение сравнительного метода в историческом познании.

Наконец, нельзя не согласиться с Ковалевским, когда он настоятельно подчеркивает необходимость для социолога руководствоваться в своих обобщениях данными сравнительного изучения истории всего человеческого общества. Он видит «большую ошибку» Конта в том, что основатель позитивной социологии построил ее исключительно на фактах из истории римско-католического мира. Полемизируя с Контом, он указывает, что выводы науки об обществе станут вполне убедительными лишь в том случае, если наблюдения и опыт не будут замыкаться в каких-нибудь определенных границах, отмечая в особенности необходимость сравнительного изучения славянских народов и стран Востока. Он прямо заявляет, что «всякая новая попытка установить какое-нибудь социологическое положение может иметь значение только при условии, что она введет в поле нашего изучения жизнь Востока, в особенности же славянского мира»[118]).

Среди младшего поколения русских либеральных медиевистов активным сторонником сравнительно-исторического метода был Петрушевский. Выдвигая перед исторической наукой задачу «изучать генезис и развитие общественных явлений путем тщательного и всестороннего анализа общественных явлений во всей их индивидуальности и в полном их контексте»[119]), он рассматривал сравнительный метод как важнейшее средство такого изучения. Так, писал ученый, чтобы понять феодализм, необходимо изучить его в целом ряде обществ; только такое сравнительное изучение феодализма дает возможность в равной мере осветить все его стороны, выяснить существенное содержание феодального процесса и его форм как в целом, так и в их конкретном проявлении в каждом отдельном обществе[120]). «Общественная наука, стремящаяся к уразумению исторического (общественного) процесса и его законов, — утверждает он, — ...становится по необходимости на почву сравнительного, сравнительно-исторического изучения»[121]).

В связи со сравнительно-историческим методом стоит в русской либеральной историографии метод переживаний, получивший распространение в этнографии XIX в. в значительной степени благодаря известным работам Тэйлора.

---

[118]) Там же, стр. 18.

[119]) Д. М. Петрушевский. Новое исследование о происхождении феодального строя. — ЖМНП, 1892, № 12, стр. 307—308.

[120]) Д. М. Петрушевский. Очерки из истории средневекового общества и государства, стр. 5—6.

[121]) Там же, стр. 5.

В русской науке на значение этого метода для изучения ранних форм человеческого общежития еще в 1878 г. указал Ковалевский[122]), широко применявший его в своих историко-этнографических трудах.

Блестящий образец использования метода переживаний в изучении феодальных отношений дают труды Виноградова, в особенности его «Исследования по социальной истории Англии в средние века». Задавшись целью показать развитие феодальных отношений в средневековой Англии, ученый начинает свое изложение с изучения положения крестьянства и аграрного строя XIII в., переходя затем последовательно к анализу социального строя Англии по данным «Книги страшного суда», приходит, наконец, к исследованию аграрных отношений в англосаксонский период.

О плодотворности избранного Виноградовым способа исследования свидетельствуют его результаты. Ученый сумел таким путем до известной степени преодолеть недостаток информации, сообщаемой источниками по истории раннего английского средневековья. Следуя в своем анализе от более известного к менее известному, тщательно прослеживая в позднейших социальных формах следы переживаний минувших времен, устанавливая между ними генетическую связь, он приходит к важному, убедительно аргументированному выводу о характере и тенденциях аграрного развития Англии в VI—XIII вв. «В общем, — заключает Виноградов свое исследование, — история аграрных отношений не может быть объяснена из первоначального рабства и помещичьей власти. На ней ясно отразилось постепенное вырождение свободы»[123]). Этот вывод, получивший дальнейшее обоснование и развитие в последующих трудах ученого и сыгравший значительную роль в создании подлинно научной истории средневековой Англии, во многих своих существенных положениях базируется на мастерском использовании Виноградовым ретроспективного метода[124]). Он сумел доказать свободное происхождение вилланской средневековой общины, показать.

---

[122]) М. М. Ковалевский. О методологических приемах при изучении ранних периодов в истории учреждений, стр. 9—13.

[123]) П. Г. Виноградов. Исследования по социальной истории Англии в средние века, стр. 259.

[124]) Конечно, сам по себе этот, как и всякий другой, исследовательский метод отнюдь не предполагает получение научно-прогрессивных результатов. Достаточно сказать, что он был использован и Сибомом в его известной книге об английской сельской общине, где ученый пришел к выводам, диаметрально противоположным, чем Виноградов. Все зависит от общих идейно-методологических позиций историка, обусловливающих в конечном итоге и характер использования им того или иного конкретного метода исследования.

что определенные формы в социальном строе феодальной Англии и прежде всего сама общинная организация являются развитием в новых исторических условиях дофеодальной общественной организации, покоившейся на господстве общественной собственности на землю.

В 90-е — начало 900-х годов в русской либеральной медиевистике, наряду со сравнительно-историческим и ретроспективным методами, получает распространение статистический метод, основанный на тщательном монографическом исследовании, как правило, более или менее локального материала и предполагающий получение научных результатов как итог скрупулезных статистических вычислений. Нельзя не видеть определенной разницы в научных результатах, которые приносило использование сравнительно-исторического метода, с одной стороны, и статистического — с другой. Если применение первого, как правило, было связано с широкими научными обобщениями, выяснением общих, типических черт в общественном развитии, то второй, не отвергая принципиально возможности таких обобщений, переносил центр тяжести на детальное исследование особенностей исторического процесса в определенных пространственных и временных координатах, не претендуя на построение выводов общеисторического порядка.

В то же время было бы очевидной ошибкой возводить разницу между этими методами в ранг качественного различия, вытекающего из принципиально различного понимания задач и возможностей исторического познания. В этой связи показательно, что оба метода в той интерпретации, которую они получили в либеральной историографии последней трети XIX — начале XX вв., в равной степени восходят к одному и тому же источнику — позитивистской социологии. Уже родоначальник позитивистской историографии Генри Бокль, реализуя в своей исследовательской практике провозглашенные Контом теоретические принципы, в одинаковой мере пытался базировать свою попытку создания научной истории на данных как сравнительно-исторического, так и статистического метода.

Аналогичное положение наблюдалось и в русской либеральной медиевистике изучаемого периода. Характерно, что даже такой горячий приверженец сравнительно-исторического метода, каким был Ковалевский, отнюдь не отрицал значение статистического метода в научном исследовании, выступая лишь против злоупотреблений в пользовании им. И Ковалевский, и его единомышленник в этом отношении Кареев справедливо предостерегали против попыток подменить социологические законы статистическими обобщениями, выдать ча-

стные факты за средние величины[125]). В то же время оба они в своих трудах, наряду с широкими историческими параллелями, нередко применяли и статистическое исследование отдельных локальных проблем. Достаточно указать на книгу Кареева о положении французских крестьян перед революцией или главы «Экономического роста Европы...», посвященные анализу экономических последствий Черной смерти в различных европейских государствах[126]). С другой стороны, и те русские историки, кто выдвигал в своей исследовательской практике на первый план статистический метод, не отрицали значения сравнительно-исторических построений. Сошлемся, в частности, на Лучицкого, который не только провозглашал значение сравнительно-исторического метода, но и в определенной степени использовал его в своих трудах[127]).

Вместе с тем с начала 90-х годов все более определенно в системе методов исторического познания Лучицкий выдвигает на первый план по своему значению статистический метод. Именно с ним киевский профессор связывает наиболее существенные успехи европейской исторической науки в последней четверти XIX в., в особенности в области изучения экономической истории Западной Европы[128]). Приступив в 90-е годы к систематическому исследованию аграрных отношений во Франции перед революцией, Лучицкий положил в его основу скрупулезный анализ всей совокупности статистического материала, относящегося к положению различных классов французского общества в их отношении к земле. Он настоятельно подчеркивает, что только в итоге такого анализа исследователь правомочен делать определенные выводы обобщающего порядка. Для понимания требований, которые Лучицкий в эти годы предъявлял к историческому методу, показателен следующий ход его мыслей. Рассматривая

[125]) М. М. Ковалевский. Экономический рост Европы..., т. I, стр. 379—380; Н. И. Кареев. Основные вопросы философии истории, т. II, стр. 40.

[126]) Вместе с тем Ковалевский очевидно не прав, когда он отводит конкретным фактам роль простой иллюстрации обобщений, получаемых иным путем (см.: «Экономический рост Европы...», т. I, стр. 379). В этой недооценке значения эмпирических наблюдений в процессе исторического познания и заключается один из существенных недостатков всей его историографической практики.

[127]) См., например, его работу «Поземельная община в Пиренеях» («Отечественные записки», 1883, № 9, 10, 12). Рассматривая формы пиренейской общины и их эволюцию, Лучицкий подчеркивает общеисторическую значимость своих выводов путем сопоставления общинной организации на Пиренеях с аграрными отношениями у самых различных народов мира. По существу, характер сравнительно-исторических исследований носят и его работы, посвященные отмене крепостного права в разных европейских странах, публиковавшиеся вплоть до начала 900-х гг.

[128]) И. В. Лучицкий. Вопрос о населенности германских городов в XIV—XV вв. — «Университетские известия», Киев, 1893, № 2, стр. 205.

труды французских ученых по истории крестьян во Франции перед революцией, он обращает в первую очередь внимание на особенности их метода. Он подчеркивает, что независимо от того, как оценивали те или иные ученые положение крестьян — изображали они его в возможно розовом свете или, напротив, представляли в самом мрачном виде — все они опирались главным образом на свидетельские показания более или менее случайного характера (мемуары и письма современников, донесения правительственных чиновников, крестьянские наказы). Признавая значение этого материала, Лучицкий, однако, указывает, что серьезным источником для окончательных выводов он может служить лишь после его тщательной критической проверки, сопоставления с теми фактическими данными, которые можно извлечь из описей, сделок, сведений о ценах продуктов и земли, сообщений, показывающих процесс передвижения собственности и т. п.

Однако такой проверки, продолжает Лучицкий, сделано не было. В лучшем случае некоторые исследователи ограничивались приведением в своих работах выборочных данных подобного рода, долженствовавших подтвердить те или иные их положения. Этот путь изучения аграрных отношений в предреволюционной Франции находит у Лучицкого решительное осуждение. Отмечая, что такой метод не подвинул, да и не мог подвинуть ни на один шаг выяснение действительного положения крестьян в XVIII в., Лучицкий противопоставляет ему путь тщательных статистических вычислений как единственно способный дать сколько-нибудь удовлетворительные научные результаты. В полемике с современной ему французской историографией ученый набрасывает целую программу исследования положения крестьян перед революцией, которая, по существу, и являлась реализацией его понимания статистического метода. Он указывает на необходимость узнать цены на предметы потребления и домашнего обихода, размеры поденной и годовой заработной платы для каждого вида сельской работы и каждого разряда сельских рабочих, определить валовый и чистый доход каждой данной единицы земельных угодий, а также размеры арендной платы за землю и чистый доход арендатора. Дальнейшим шагом к решению вопроса, продолжает Лучицкий, является исчисление размеров земельной обеспеченности крестьян, количества земли и земельных угодий, принадлежавших как всем крестьянам, так и каждой группе отдельно, и установление разрядов крестьян по среднему количеству собственной, а затем и наемной земли. Наконец, последней стадией работы исследователя, по словам Лучицкого, является вычисление процентного отношения между группами с различным земельным обеспечением, после чего представляется возможным

и приблизительное исчисление степени зажиточности в каждое данное время каждой из групп крестьянского населения, определение как процента зажиточных крестьян, расширявших размеры своей земельной собственности, так и процента крестьян, находившихся ниже минимума, обеспечивавшего сколько-нибудь сносное существование[129]).

Изложенная здесь программа в значительной степени получила свое воплощение в историографической практике Лучицкого 90-х — начала 900-х годов. В эти годы исследовательский метод ученого наиболее отчетливо проявился в его монографии «Крестьянское землевладение во Франции накануне революции (преимущественно в Лимузене)». Поставив перед собой задачу показать распределение во Франции XVIII в. земельной собственности и тенденции ее перемещения перед революцией, а также проанализировать структуру сельского населения и характер феодальных отношений в деревне, он строит свое исследование на кропотливом всестороннем изучении документального материала, способного дать определенные статистические обобщения, объективно отражающие реальную историческую действительность.

Нельзя не отметить тщательность самой исследовательской методики Лучицкого. Избрав в качестве основного источника для определения структуры и характера землевладения во французской деревне перед революцией так называемые roles des vingitiémes[130]), он посвящает две главы своей книги выяснению степени их достоверности. В итоге путем сопоставления различных данных — от высказываний Тюрго до крестьянских наказов — Лучицкий приходит к аргументированному выводу о том, что roles des vingitiémes отличаются значительной точностью по отношению к исчислению земель, находившихся во владении различных социальных групп сельского населения, и могут быть использованы для определения размеров землевладения этих социальных групп накануне революции. В то же время он отмечает ненадежность этого источника для суждения о доходности земли и крестьянских платежах, что вынуждает его обратиться к другим, более достоверным свидетельствам для выводов по этим вопросам.

Тонкая исследовательская техника Лучицкого, его стремление исходить в своих выводах из всестороннего учета достоверного фактического материала, поддающегося стати-

---

[129]) См.: И. В. Лучицкий. Новые исследования по истории крестьян во Франции XVIII в. Вып. I, Киев, 1896, стр. 5—13.

[130]) Roles des vingitiémes — списки плательщиков всеобщего поземельного налога, обязательного для всех сословий (vingitiémes), где указывались размер земельного владения налогоплательщика, его доходность, личный статус налогоплательщика и т. п. сведения.

стическим обобщениям, обусловили бесспорные достижения ученого в изучении аграрных отношений предреволюционной Франции. Приступив к изучению вопроса, вокруг которого уже существовала богатая литература, Лучицкий сумел не просто сказать новое слово в его историографии, но и, говоря словами современного американского историка исторической науки, революционизировать наши знания о положении французских крестьян в канун революции[131]). В определенной степени опираясь на выводы Кареева в его книге о французских крестьянах в последней четверти XVIII в.[132]), Лучицкий на огромном фактическом материале обосновал ряд существенных положений о характере аграрного развития Франции накануне революции. К их числу следует отнести положения о широком распространении во Франции перед революцией мелкой крестьянской собственности, глубокой дифференциации среди крестьянства и развитии в связи с ней деревенских промыслов и т. д.

Серьезного внимания заслуживает III глава его книги, посвященная изучению социальной структуры сельского населения Франции перед революцией и представляющая собою один из лучших опытов применения статистического метода в историко-социальном исследовании. На основе всестороннего анализа roles des vingitiémes в сопоставлении с другими источниками Лучицкий выделяет различные социальные группы во французской деревне, устанавливает их численное соотношение в разных областях страны, показывает их отношение к земле, рассматривает характер и способы ведения хозяйства. Он убедительно показывает, что всякая инициатива в развитии земледельческой культуры исходила от крестьянства, зависела от его энергии[133]). Наряду с этим, вопреки мнению целого ряда влиятельных ученых, в том числе и Ковалевского, Лучицкий показывает неразвитость перед революцией фермерского хозяйства[134]).

С аналогичных позиций рассматривает Лучицкий вопрос о перемещении земельной собственности во Франции нака-

---

[131]) H. E. Barnes. A History of Historical Writing, p. 257.

[132]) В частности, это относится к кардинальному положению всей концепции Лучицкого — о господстве во французской деревне XVIII в. мелкого хозяйства. Цитируя утверждение Кареева о том, что во французской деревне XVIII в. господствовало мелкое хозяйство, и с сожалением констатируя, что это справедливое положение не получило признание в исторической литературе (см. его «Крестьянское землевладение во Франции накануне революции (преимущественно в Лимузене). Киев, 1900, стр. 129—130), он, в сущности, посвящает значительную часть книги статистическому обоснованию этого взгляда.

[133]) И. В. Лучицкий. Крестьянское землевладение во Франции накануне революции, стр. 156.

[134]) Там же, стр. 166—173.

нуне и в период революции. Он вновь подчеркивает, что этот вопрос может быть решен «при единственно научном условии, т. е. на основании историко-статистического метода»[135]). Подвергая статистическому исследованию данные о продаже национальных имуществ в годы революции в отдельных районах страны, он приходит к выводу о переходе определенной части земель, принадлежавших ранее главным образом эмигрантам, в руки крестьян[136]).

Безупречная исследовательская техника Лучицкого, солидное фактическое обоснование его выводов обусловили широкое признание созданной им концепции аграрного развития Франции накануне и в период революции. С конца 90-х годов его взгляды получают большое распространение за пределами России, в особенности во Франции, оказывая определяющее влияние на трактовку социально-экономической истории Франции XVIII в. Работы Лучицкого переводятся на французский язык[137]), встречают сочувственные отзывы во французских исторических журналах[138]), их выводы все более широко входят в научный оборот[139]) и даже находят отклик в деятельности парламента[140]). Его труды уже при жизни становятся классическими, за ними утверждается значение основополагающих в изучении аграрных отношений Франции XVIII в.[141]).

Труды Лучицкого по аграрной истории Франции XVIII в. представляют для нас интерес еще и потому, что они в равной мере обнаруживают не только сильные, но и слабые стороны избранного ученым метода исторического исследования.

---

[135]) И. В. Лучицкий. Вопрос о крестьянской поземельной собственности во Франции до революции и продаже национальных имуществ. Киев, 1894, стр. 10.

[136]) См. там же, в особенности стр. 4, 14, 27, 28, 42.

[137]) См., в частности, его «La petite proprietè en France avant la revolution et la vente des biens nationaux» (Paris, 1897).

[138]) См. рецензии в «Revue historique», 1898, mars-avril и «La Révolution française», 1898, avril.

[139]) См., в частности, книгу одного из крупнейших авторитетов французской историографии аграрных отношений XVIII в. Саньяка La legislation civil de la révolution française (1789—1804). (Paris, 1898), выводы которой относительно последствий продажи национальных имуществ и характера перемещения земельной собственности в результате этой последней опираются на соответствующие данные Лучицкого.

[140]) В 1897 г. Жан Жорес цитировал в Палате депутатов выводы Лучицкого о характере аграрного развития Франции в конце XVIII в. и под влиянием его внес проект организации комиссии для собирания и издания документов по экономической истории французской революции. Комиссия эта была организована в 1903 г. (См.: В. П. Бузескул. Всеобщая история и ее представители в России... ч. 1, стр. 199).

[141]) См.: А. Сэ. Чем экономическая и социальная история Франции в XVIII в. обязана трудам Лучицкого? — «Научный исторический журнал», 1914, № 4.

Нарочитое подчеркивание значения статистического метода как важнейшего способа научного познания неизбежно вело к сужению исторического кругозора ученого, порождало неминуемое снижение теоретического уровня его исследований. Уже С. Д. Сказкин справедливо подчеркивал эмпиризм как характерную черту Лучицкого — исследователя феодальных отношений во французской деревне XVIII в.[142]). Действительно, при всем богатстве работ Лучицкого фактическими данными они крайне редко содержат выводы обобщающего характера. Понимая научную осторожность ученого, его стремление строить свои заключения на прочном статистическом фундаменте, мы тем не менее не можем не видеть известную односторонность, ограниченность исторических построений Лучицкого, вытекающую из своеобразия его исследовательской методики и в конечном итоге обусловленную его общетеоретическими взглядами на характер исторического развития вообще и развития феодального общества, в частности.

В первую очередь это относится к его трактовке характера крестьянской собственности при феодализме. Вряд ли можно спорить с его хорошо аргументированным взглядом о преобладании во Франции перед революцией мелкой крестьянской культуры. Впервые научно обоснованное Лучицким положение о широком распространении во Франции XVIII в. крестьянской собственности как отличительной черты ее аграрного строя по праву завоевало широкое признание в науке[143]). Однако глубоко неверным является его понимание существа крестьянской собственности при феодализме. В его изображении фактически исчезает ее феодальная природа и крестьянин выступает таким же земельным собственником, как феодал или буржуа. Правда, ученый нередко говорит о сословиях привилегированных и непривилегиро-

---

[142]) См.: С. Д. Сказкин. Февдист Эрве и его учение о цензиве. «Средние века», вып. I, М.—Л., 1942, стр. 187.

[143]) В известном споре о характере аграрного развития Франции XVIII в. между Ковалевским и Лучицким (о нем см.: Н. И. Кареев. Беглые заметки по экономической истории Франции в эпоху революции. Серия I-я, СПб., 1913, стр. 57—136) более прав был, несомненно, Лучицкий. Уже в 1899 г. в предисловии к французскому переводу своей книги о французских крестьянах в последней четверти XVIII в. Кареев выражал сожаление, что ему не удалось переработать ее с учетом исследований Лучицкого (см. его Les paysans et la question paysanne au dernier quart du XVIII siècle. Paris, 1898, p. X). По существу, к взглядам Лучицкого он склоняется и в своих «Беглых заметках...» (см. в особенности стр. 120). Оценку спора между Лучицким и Ковалевским с марксистских позиций см. в цитированной выше статье С. Д. Сказкина, где отмечается, что по существу поднятых вопросов ближе к истине был Лучицкий (см.: «Средние века», вып. I, в особенности стр. 189, 193). См. также: С. Д. Сказкин. Спорные вопросы аграрной истории Франции накануне революции XVII в. — Сб. «Европа в новое и новейшее время», стр. 101—113.

ванных, неправомерно включая в состав первых и буржуазию[144]). Однако это не мешает ему утверждать об отсутствии принципиального различия между характером владения землей перед революцией представителями разных сословий[145]).

Таким образом, по существу затушевывается действительная природа социальных отношений, господствовавших во французской деревне перед революцией, тем более, что сами феодальные отношения понимались Лучицким весьма упрощенно. Для него их смысл заключался «в иерархическом подчинении одних владельцев другим в форме вассальной зависимости вассалов и арриер-вассалов и от ближайшего сеньора, и от ряда стоявших выше»[146]). Причем такого рода отношения рассматривались ученым, во всяком случае для некоторых областей Франции, как отжившие, потерявшие еще до революции всякий реальный смысл[147]). Неудивительно поэтому, что он не считал возможным определять французское общество XVIII в. как общество феодальное. По его словам, оно делилось на два противоположных класса: привилегированных, куда он включал многих буржуа, судебных чиновников, фискальных агентов и т. п., и roturiers, причем основой для такого деления избирается отношение к уплате налогов[148]). Главное зло в налоговой системе он видит в крайне дурном и неправильном распределении налогов «не между классами, а между отдельными лицами»[149]).

Такая постановка вопроса искажала действительный характер социальных отношений во французском обществе XVIII в. То обстоятельство, что в разряд привилегированных попадали в силу своего общественного положения, государственной службы, богатства некоторые недворяне, никак не может свидетельствовать о том, что французское общество XVIII в. потеряло свой феодальный характер. Ведь даже если мы последуем в данном случае за Лучицким и будем рассматривать вопрос под углом зрения правительственной налоговой политики, нетрудно будет убедиться, что основа этой последней оставалась чисто феодальной: те или иные категории третьего сословия подпадали под налоговые изъятия как раз вследствие своей тесной связи с господствующим классом. Лучицкий перечисляет те социальные группы, которые верой и правдой служили дворянскому государству и

---

[144]) См.: И. В. Лучицкий. Крестьянское землевладение во Франции накануне революции..., стр. 119, 188 и др.
[145]) Там же, стр. 234.
[146]) Там же, стр. 221.
[147]) См.: И. В. Лучицкий. Новые исследования по истории крестьян во Франции XVIII в., вып. 1, стр. 54.
[148]) Там же, стр. 52.
[149]) Там же.

стоящим за ним классовым силам. В их ряду были, как известно, и «многие буржуа», о которых пишет Лучицкий и которые, по существу, давно уже порвали со своим собственным классом.

Нельзя не видеть определенных точек соприкосновения между взглядами Лучицкого и получившей широкое распространение в буржуазной историографии второй половины XIX в. концепцией Токвиля, утверждавшего, что еще задолго до революции, «с одной стороны, — французский крестьянин сделался поземельным собственником, а с другой, — он совершенно освободился от управления своего господина»[150]). В известном смысле можно даже сказать, что результаты исследований Лучицкого в той интерпретации, которую давал им сам автор, в некоторых отношениях служили фактическим обоснованием концепции, развивавшейся Токвилем и объективно направленной на дискредитацию значения Великой французской революции (чем, на наш взгляд, и объясняется их популярность во Франции не только среди радикально настроенных ученых типа Олара, но и среди историков, придерживавшихся консервативных политических убеждений).

Между тем было бы ошибочным видеть в Лучицком последователя Токвиля. И в своих идейно-теоретических взглядах в целом, и в трактовке социального развития Франции XVIII в., в частности, он занимал существенно иные позиции, чем идеолог французской контрреволюционной буржуазии. Его понимание характера аграрных отношений в предреволюционной Франции является несравненно более глубоким и многоплановым, нежели токвилевское. Отмечая широкое распространение мелкой крестьянской собственности, он отнюдь не ограничивается, подобно Токвилю, простой констатацией этого факта. Токвилевский тезис о крестьянине—поземельном собственнике — представлялся Лучицкому упрощенным, нуждался, по его мнению, в ряде существенных оговорок.

В этом плане несомненный интерес вызывает постановка Лучицким вопроса о степени обеспеченности французских крестьян землею накануне революции. Отличительной чертой земельных порядков, установившихся в это время почти по всей стране, провозглашается им «самая крайняя и резкая неравномерность в распределении земли между приходами, полная почти обездоленность одних и относительно значительное наделение землей и земельными угодьями других»[151]). В его концепции аграрного развития Франции

---

[150]) А. Токвиль. Старый порядок и революция. Перевод под ред. П. Г. Виноградова. М., 1896, стр. 46.

[151]) И. В. Лучицкий. Крестьянское землевладение во Франции накануне революции..., стр. 109.

в XVIII в. важное место занимает признание существования большого слоя малоземельных и безземельных крестьян. Исследуя далеко зашедший процесс экономической дифференциации французского крестьянства, он выделяет группу «мельчайших собственников, огородников» и просто безземельных, подчеркивая значительное распространение ее в таких областях, как Нормандия, Артуа и некоторых других[152]). Но не только огородники и безземельные крестьяне привлекают внимание Лучицкого. Он отмечает прогрессирующий процесс размельчения земельной собственности, протекавший и в других слоях крестьянского населения, в том числе и среди наиболее обеспеченной землею группы labourеurs[153]). В свете этих хорошо аргументированных положений Лучицкого вопрос о земельном обеспечении крестьян перед революцией отнюдь не являлся таким очевидным, как это представлялось Токвилю, да и решение его оказывалось существенно иным.

Однако исключительная ориентация Лучицкого в своих исследованиях на статистический метод привела к тому, что он, по существу, лишь ограничился констатацией сделанных им наблюдений, не пытаясь проникнуть в глубину совершавшихся в аграрной истории Франции XVIII в. процессов и прежде всего выяснить их классовую природу[154]). Простая же констатация фактов, как известно, нередко ведет к их апологетике, позволяет включать их в такие связи, которые неизбежно приводят к ложным выводам, искажает подлинную историческую перспективу. Вследствие этого и выступает на первый план кажущаяся близость концепции Лучицкого к взглядам Токвиля, хотя на основании факта распространения мелкой крестьянской собственности в XVIII в. он никогда, в отличие от французского ученого, не пытался преуменьшить действительное значение революции как крупнейшего переворота в отношениях собственности.

Наконец, сопоставление взглядов Лучицкого и Кареева на характер аграрного развития предреволюционной Франции позволяет уяснить еще одну слабую сторону избранной киевским ученым методики исторического исследования. Базируя свои выводы исключительно на данных статистических подсчетов, Лучицкий дал скорее статическое, чем динамическое изображение состояния французской деревни в последней четверти XVIII в. и в этом отношении его общая концепция по ее философской глубине значительно уступает кареев-

---

[152]) Там же, стр. 99—104.
[153]) Там же, стр. 212—213.
[154]) Ср. С. Д. Сказкин. Февдист Эрве и его учение о цензиве. — «Средние века», вып. 1, стр. 188.

ской. Указав на прогрессирующее обезземеливание французского крестьянства перед революцией, Кареев сумел более широко взглянуть на всю совокупность социальных отношений в их динамике, вследствие чего его постановка вопроса в целом являлась более глубокой потому, что она более объективно отражала тенденцию исторического развития французской деревни в эпоху перехода от феодализма к капитализму.

Пример трудов Лучицкого по аграрной истории Франции XVIII в., убедительно свидетельствуя о возможностях статистического метода в историческом исследовании, в то же время указывает и на его границы. Статистические исследования представляют несомненную ценность для историка, в ряде случаев составляя необходимую предпосылку для его выводов. Но сами эти выводы не могут быть построены с помощью одного только статистического метода. Степень их зрелости, глубины и масштабности зависит в последнем счете от зрелости идейно-методологических позиций ученого, от его умения теоретически осмыслить результаты, полученные путем применения статистического, как и всякого другого конкретно-исторического метода.

По своему исследовательскому методу к Лучицкому был близок Савин. Подобно ему, Савин в своей историографической практике перенес центр тяжести на кропотливое всестороннее изучение источников, усматривая в историко-статистических исследованиях единственный путь объективного отражения исторической действительности. В еще большей степени, чем Лучицкий, он осторожен в своих выводах. Характеризуя исследовательский метод Савина, Е. А. Косминский писал: «Савин долго и тщательно подготовляет свое исследование, производит длинные и точные вычисления, собирает огромную массу доказательств — и только тогда решается сделать очень осторожный, даже нерешительный вывод»[155])). Не будет преувеличением сказать, что своими трудами по аграрной истории Англии XVI в. Савин совершил настоящий научный подвиг; за каждым его положением стоят годы изнурительной тяжелой черновой работы, горы поднятого им и обработанного статистического материала, бесчисленные подсчеты и вычисление данных, впервые извлеченных ученым из архивной пыли. Все его труды отличает исключительная научная добросовестность. Мы не встретим в них ни одного авторского вывода, который бы не опирался на обильный, тщательно проанализированный материал. Его строго документированные выводы о сохранении серьезных

[155]) Е. А. Косминский. Проблемы английского феодализма и историографии средних веков, стр. 42.

остатков крепостничества в Англии XVI в., об исторической преемственности между копигольдерами и вилланами, о юридической необеспеченности прав копигольдеров на землю, о классовой природе английских судов, о распределении секуляризованной монастырской земли и некоторые другие получили широкое научное признание, без их учета стало невозможным дальнейшее изучение аграрной истории Англии в позднее средневековье.

В то же время при чтении и «Английской деревне в эпоху Тюдоров» и, в особенности, «Английской секуляризации» невольно возникает чувство некоторой неудовлетворенности. «К сожалению, — писал сам Савин в предисловии к «Английской секуляризации», — эта книга есть только фрагмент фрагмента»[156]). Это определение достаточно точно передаёт характер исследований ученого. При всей важности имеющихся в них выводов они не только не содержат общей концепции истории Англии XVI в., но и полностью игнорируют большой круг вопросов, связанных главным образом с развитием капиталистических отношений в английской деревне. Приходится согласиться с Кареевым, утверждавшим, что в «Английской деревне...» Савин обращает главное внимание не на те явления, которым предстояло развиваться в будущем, а на остатки прошлого в деревенском быту[157]).

Конечно, было бы несправедливым требовать от одного человека даже в ряде работ всестороннего освещения сколько-нибудь длительного и сложного исторического периода, тем более когда речь идет об аграрной истории Англии XVI в., начиная изучение которой Савин во многом выступал в роли первооткрывателя. Нельзя спорить и с избранным Савиным способом исследования своего материала: прежде чем перейти к анализу новых явлений в английской деревне, необходимо было изучить эволюцию феодальных отношений к началу XVI в., выяснить положение и генезис самой многочисленной категории сельского населения того времени — копигольдеров. Научная правомерноть сюжетов, привлекавших внимание Савина, не подлежит ни малейшему сомнению. И все же мы не можем уйти от вопроса, почему Савин отказался от того пути, по которому шли в своей исследовательской практике его предшественники в русской либеральной историографии по изучению аграрных отношений в средневековой Англии. Ведь и его учитель, Виноградов, приступая к изучению аграрных отношений в раннее и классическое английское средневековье, обращался к таким же неразрабо-

---

[156]) А. Н. Савин. Английская секуляризация. М., 1906, стр. III.
[157]) Н. И. Кареев. Научные труды А. Н. Савина. — «Анналы», 1923, № 3, стр. 225.

танным сюжетам, где к тому же имели широкое распространение научно-несостоятельные взгляды типа теории Сибома об изначальности существования в истории Англии крепостной общины и феодального поместья. Однако пути к решению стоявших перед ним задач он искал в создании широкой обобщающей концепции, способной схватить существенное содержание всего изучаемого периода и наметить основные тенденции в развитии социальных отношений в его рамках.

Достаточно сравнить «Исследования по социальной истории Англии в средние века» и «Villainage in England», с одной стороны, и «Английскую деревню в эпоху Тюдоров» и «Английскую секуляризацию», с другой, чтобы наглядно представить себе все различие исследовательских приемов авторов этих книг. Но такое сравнение будет поучительным и в другом отношении. Представляется несомненным, что метод учителя является в научном плане более плодотворным, чем метод его ученика. В трудах Виноградова мы не встретим такого мастерского освещения деталей, такого обилия фактического материала, приводящегося для обоснования того или иного, даже частного, положения, чем так богаты книги Савина. Но зато они содержат нечто более ценное — цельную картину исторического развития на определенном его этапе, опирающуюся в своих главных элементах на данные источников, в то время как труды Савина при всем присущем им богатстве фактического материала так и остаются «фрагментами фрагментов». Не случайно поэтому, что и влияние трудов Виноградова на развитие исторической науки оказалось гораздо более эффективным.

При этом было бы ошибкой усматривать в Савине принципиального противника широких обобщений в науке. Завершая свою «Английскую деревню», он с неожиданной горечью признавался: «...Мне было бы больно, если бы компетентные критики упрекнули меня в отсутствии всяких общих точек зрения»[158]). Конечно, такой упрек будет несправедливым. Но также несомненно и другое — эти общие точки зрения нередко оказываются погребенными под грудой статистического материала, не соединяются в общую концепцию аграрного развития Англии в XVI в.

На примере научной деятельности Савина особенно отчетливо выступает оборотная сторона применения статистического метода в историческом исследовании, которая обнару-

[158]) А. Н. Савин. Английская деревня в эпоху Тюдоров. М., 1903, стр. 485. Ср. воспоминания его ученика по Московскому университету С. Д. Сказкина, отмечавшего, что Савин всегда подчеркивал свое тяготение к обобщающему методу, «хотя и был очень осторожен, делая обобщения» (С. Д. Сказкин. А. Н. Савин как учитель. — «Труды института истории РАНИОН», вып. 1, М., 1926, стр. 52).

живается там, где, как в данном случае, имеет место своеобразная гипертрофия этого метода. Настойчивое стремление Савина базировать свои выводы исключительно на данных, полученных в результате историко-статистических исследований, неизбежно вело к эмпиризму, делало невозможным всякое сколько-нибудь значительное заключение, выходящее за рамки простого статистического обобщения, обрекало ученого на незавидную роль поставщика материалов для теоретических построений в неопределенном будущем. Недостаток работ Савина заключается, конечно, не в его стремлении опираться во всех своих выводах на прочную базу источников, а в том, что историко-статистический метод занимает в них самодовлеющее положение, не сочетаясь с другими методами исторического познания. Между тем только такое сочетание обеспечивает как возможность создания широких научных обобщений, вскрывающих закономерности общественного развития, так и условия оптимального использования статистического метода в историческом исследовании[159]).

Ввиду всего сказанного представляется возможным утверждать, что распространение статистического метода в русской либеральной медиевистике 90-х — начале 900-х годов, не являясь показателем пересмотра ее представлений о возможностях исторического познания, вместе с тем свидетельствовало об определенных сдвигах в этих представлениях. Совершенствование методики конкретно-исторического исследования в условиях сохранения буржуазно-идеалистической основы идейно-методологических взглядов ученых влекло за собою понижение теоретического уровня их трудов. Не отвергая принципиальной возможности и даже необходимости широких исторических обобщений, некоторые либеральные медиевисты в своей повседневной исследовательской практике все чаще ограничивались простым эмпирическим изучением фактического материала. В этом разрыве между несомненными успехами в изучении исторической эмпирии и уровнем ее теоретического осмысления и заключался один из сим-

[159]) Блестящий пример такого сочетания представляют «Исследования по аграрной истории Англии XIII в.» Е. А. Косминского. Определяя метод своей работы, Е. А. Косминский писал: «Единственно надежным методом я считаю путь массовых подсчетов, охватывающих значительные, по возможности сплошные, территории» (стр. 40). И, действительно, его «Исследования...» построены на широких и исключительно скрупулезных статистических вычислениях, на совершенной методике обработки архивных данных. Но при этом Е. А. Косминский никогда не упускал из виду исторической перспективы. Его теория английского манора базируется на осмыслении с позиций материалистического понимания истории всей английской феодальной действительности, закономерностей развития феодального способа производства, и как раз эта теоретическая глубина книги обусловила в конечном итоге и плодотворность применения ученым статистического метода в своем исследовании.

птомов приближавшегося кризиса историзма в русской либеральной медиевистике[160]).

2. Кризисные явления в методологических идеях русской либеральной медиевистики конца XIX — начала XX вв.

Кризис буржуазной исторической мысли, с особенной силой развернувшийся на Западе, стал ощущаться в конце XIX—начале XX вв. и в русской либеральной науке. Правда, до 1905 г. мы можем говорить лишь о кризисных явлениях в различных сферах русской либеральной общественной мысли, которые, как правило, не сопровождались переходом ее представителей на реакционные позиции в области политической жизни, как это было характерно для многих западноевропейских ученых. Вплоть до революции 1905—1907 гг. русская либеральная историография в целом оставалась на относительно прогрессивных позициях как в сфере методологических и общеисторических идей, так и по своим политическим установкам. Ее представители сохраняли, а в отдельных случаях и плодотворно развивали лучшие достижения буржуазной общественной мысли прошлого столетия. Вместе с тем мы не должны проходить мимо появления в русской либеральной историографии вообще и медиевистике, в частности, на рубеже нашего столетия новых явлений, которые в той или иной форме отражали наметившийся в западной науке переворот.

Как известно, глубокие гносеологические причины кризиса буржуазной исторической науки коренятся в идеалистической основе ее мировоззрения[161]). Обнаружившаяся в конце XIX в. несостоятельность традиционных в буржуазной науке исторических представлений закономерно толкала ее в поисках выхода из тупика все далее и далее в дебри идеализма. Невозможность познания объективных закономерностей общественного развития на основе идеалистического понимания истории вела к убеждению, что таковые отсутствуют вообще. В частности, возникновению и росту кризисных тенденций в исторической науке в немалой степени способствовала «психологизация» этой последней, характерное для значительной части буржуазной, в особенности позитивистской историографии последней трети XIX в., стремление к психологической интерпретации общественного процесса. Разочарования,

[160]) Ср. И. С. Кон. Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли, М., 1959, стр. 54.

[161]) О причинах кризиса буржуазной историографии в конце XIX в. см.: И. С. Кон. Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли, стр. 54 и след.

неизбежно ожидавшие ее на этом пути, создавали питательную почву для распространения всякого рода более или менее откровенно иррационалистических представлений о характере исторического развития; укреплялось мнение, что в силу несовершенства средств человеческого познания и сложности окружающего нас мира общественных явлений изучение его закономерностей невозможно; более того, отвергалось самое существование этих последних.

Конечно, было бы несправедливым утверждать, что к таким выводам приходил всякий буржуазный ученый, пытавшийся дать психологическое истолкование истории. Многие из них, подобно Лампрехту или Тэну, Тарду или Рилю, до конца своей жизни оставались убежденными не только в плодотворности психологической интерпретации общественного развития, но и в возможности таким путем открыть его закономерности. В то же время принципиальный отказ от попыток отыскать закономерности исторического процесса в нем самом, в первую очередь в материальных условиях жизни общества, сознательное противопоставление сложности подлинной исторической действительности так называемому психологическому «реализму», упорядочивающему эту сложность, объективно толкали теоретическую мысль в области истории на исследование пресловутой человеческой природы. Дело не менялось от того, что провозглашалась задача изучения психологии масс, ибо и здесь основание образовывали индивидуальные психические качества все того же абстрактного человека, взятого самого по себе, вне исторической реальной действительности, могущественнейшим образом влияющей не только на образ жизни и поведение людей, объединенных в определенные социальные группы, но и на их психологические свойства. Последовательное проведение психологического принципа объяснения истории вступало в глубокое внутреннее противоречие с признанием закономерности исторического процесса, объективно вело к ее отрицанию. На сцену вновь вступал случай как важнейший фактор исторического развития, ибо там, где мы имеем дело с психическими качествами человека как ведущей силой общественного процесса, неизбежно в той или иной форме происходит переоценка случайного в истории со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Возвращаясь к русской либеральной историографии, укажем на Кареева, в историко-философских произведениях которого особенно отчетливо обнаруживаются отмеченные выше тенденции в развитии буржуазной исторической мысли последней трети XIX в. В первую очередь это относится к его трактовке характера исторического процесса. Выдвижение на первый план в объяснении истории психологических за-

кономерностей в сочетании с отрицанием закономерностей исторических приводило Кареева к весьма пессимистическим взглядам на возможности научного познания действительного хода исторического развития, общественного процесса как такового. Неповторимость исторических явлений, утверждает он, «лишает нас возможности объективно отличить существенное от несущественного, необходимое от случайного в развитии общества»[162]).

Выход из положения Кареев видит в замене исторической точки зрения в подходе к познанию общественного развития точкой зрения социологической. Он считает возможным решить логическое противоречие между принципиальным признанием возможности познания закономерностей развития человеческого общества и отрицанием закономерности исторического процесса путем конструирования некоей социологической абстракции как общей закономерности, раскрывающей сокровенные цели исторического развития. «Остается только, — продолжает он свои рассуждения, — признав за всеми социальными организациями одну природу, выставить тезис, что все они, как таковые, стремятся к одной цели, а целью этой быть может только упрочение целого и равновесие между частями при наибольшем их благосостоянии»[163]).

Но тем самым внеисторическая абстракция, созданная на чисто логической основе из психологических посылок (свойственное человеку стремление к удовлетворению своих потребностей), провозглашается ключом для понимания истории. Так, метафизичность в понимании общественных явлений, с фантомом которой непрестанно сражается Кареев, закономерно становится характерной чертой его собственной интерпретации исторического процесса. Свойственное Кареву постоянное подчеркивание «невообразимой путаницы и невероятного хаоса» исторического процесса, сочетающееся с субъективистским взглядом на роль личности в истории[164]), фактически предваряло излюбленные в буржуазной историографии эпохи империализма рассуждения об историческом процессе как хаотичном нагромождении случайностей, где не может быть места никакому действию объективных законов.

Эта близость Кареева к реакционным теоретическим представлениям современной буржуазной историографии еще более ярко проявляется в его оценке роли случайного в истории, необходимо вытекающей из отрицания исторических законо-

[162]) Н. И. Кареев. Основные вопросы философии истории. Т. II, стр. 40.
[163]) Там же.
[164]) См. там же, т. I, стр. 153—154.

мерностей. «Ход всемирной истории, — утверждает он, — есть не что иное, как хаотическое сцепление случайностей, происходящее во времени»[165]). Мысль о том, что в истории все случайно, Кареев пытается конкретизировать на определенных примерах, которые особенно убедительно показывают порочность его субъективистских взглядов на развитие общества. Такое, в частности, впечатление оставляет его трактовка перехода от республики к империи в древнем Риме. Признавая необходимость такого перехода, как имеющего достаточные основания во всем строе жизни Рима и его провинций, Кареев тем не менее заключает: «Но сама Римская империя есть случайность в жизни всего человеческого рода и его прогрессивного движения»[166]).

Кризисные явления в русской либеральной медиевистике особенно усиливаются в начале 900-х годов, приобретая в известных случаях характер частичного пересмотра отдельными учеными некоторых своих прежних методологических представлений. Такой пересмотр шел по линии укрепления научно-несостоятельных взглядов на характер исторического процесса и его движущие силы. Даже Ковалевский, наиболее последовательно среди медиевистов старшего поколения исходивший в своей историографической практике из признания функциональной зависимости социально-политических отношений от изменений в экономическом строе общества, в опубликованных в начале 900-х годов социологических работах становится убежденным эклектиком, воинствующим противником «несчастной идеи монизма»[167]) во всех ее формах, в особенности в форме материалистического понимания истории.

Наиболее явственно эволюция взглядов Ковалевского выступает в его книге «Современные социологи», где был осуществлен в определенной степени пересмотр ранее сложившихся представлений о движущих силах исторического развития. Ее лейтмотивом является последовательное утверждение той мысли, что история не может быть объяснена с монистических позиций. Всякая попытка такого объяснения третируется Ковалевским как метафизическая[168]). Он утверждает, что в разные периоды истории человечества господствующее влияние приобретали различные «общественные феномены» — политика, экономика или религия, каждый из которых в определенный исторический период оказывал решающее воздействие на весь ход общественного развития, уступая затем эту свою роль другому, и т. д.[169]). Под этим углом зрения

---

[165]) Там же, стр. 197.
[166]) Там же, стр. 203.
[167]) М. М. Ковалевский. Современные социологи, стр. 208.
[168]) Там же, ст. VIII.
[169]) Там же, стр. XII.

ученый и рассматривает современные ему социологические теории, в том числе и, в особенности, материалистическое понимание истории, делая тем самым несомненный шаг назад в своей оценке значения экономических отношений в общественном процессе.

Еще более явственно кризисные явления выступают в методологических взглядах младшего поколения русских либеральных медиевистов. Начинавшие свою научную деятельность в то время, когда на Западе интенсивно развертывался кризис теоретических основ буржуазной историографии, они в той или иной степени отразили новые веяния, утверждавшиеся в западной буржуазной науке. Было бы, очевидно, неверным искать в русской историографии изучаемого периода попытки развернутого пересмотра всей совокупности идейно-методологических взглядов, выработанных в 70-х—90-х годах. Не случайно по целому ряду существенных методологических проблем русские медиевисты не только не солидаризировались со своими западными коллегами, но и вели с ними полемику. Речь, таким образом, может идти лишь об усвоении ими отдельных положений тех или иных реакционных в методологическом отношении теорий, получивших хождение в западной общественной науке. Оно не означало перехода русской либеральной медиевистики или отдельных ее представителей на реакционные позиции в целом, но в то же время являлось показательным симптомом, характеризующим направление ее эволюции.

Классовая ограниченность русской либеральной историографии, идеалистические основы ее теоретических представлений явились той почвой, на которой сделалось возможным появление кризисных явлений в ее развитии. Не будет преувеличением сказать, что к началу XX в. русская либеральная медиевистика исчерпала возможности прогрессивного развития своих методологических идей на старой буржуазно-идеалистической основе. Внутренняя логика дальнейшего развития науки предполагала либо переход на позиции материалистического понимания истории, что, конечно, в силу понятных причин для русской либеральной медиевистики в целом не было возможным, либо отказ вообще от всяких попыток познания на рациональных основах закономерностей общественного процесса. Конец XIX — начало XX вв. составляет своеобразный период в ее развитии. Крупнейшие достижения в области методологии истории, какие только были возможны в рамках буржуазной историографии, причудливым образом соединяются с откровенно реакционными тенденциями в сфере гносеологических проблем науки.

Именно такое сочетание характеризует теоретические взгляды многих из тех ученых, начало научной деятельности

которых падает на 90-е годы прошлого столетия. Укажем в этой связи на Петрушевского. Как известно, в своих ранних методологических работах, в особенности в введении к «Очеркам из истории средневекового общества и государства», он, пожалуй, более, чем кто-либо из его коллег, подошел к пониманию значения марксизма как метода исторического познания. Но в то же время и в тех же самых работах, где давалась высокая оценка историческому материализму, Петрушевский развивал и идеи совсем иного порядка, реакционный смысл которых не может вызывать сомнение. Одним из первых в русской науке он становится усердным пропагандистом теории исторического круговорота в той ее форме, которую придал ей в конце XIX — начале XX вв. известный реакционный немецкий буржуазный историк Э. Мейер[170]). Подчеркнутое отрицание Мейером поступательного характера общественного развития, исторический агностицизм, откровенный антидемократизм, присущий его историческим взглядам, — эти принципы были внесены им в теорию исторического круговорота, определив ее идейно-методологическое звучание на рубеже нашего столетия. Конечно, нельзя ставить знак равенства в этом плане между Мейером и Петрушевским, но уже сам факт сочувственного отношения русского ученого к взглядам Мейера на характер исторического развития, его оценка теории исторического круговорота как серьезного достижения теоретической мысли западной науки[171]) говорят сами за себя.

Вооруженный теорией исторического круговорота, Петрушевский выступал с решительной критикой всемирно-исторической точки зрения. «Пора, — утверждал он, — окончательно расстаться с идеей единого и единственного процесса, какой будто бы представляет собою история обществ древнего и нового мира, и окончательно утвердиться в мысли, что здесь мы имеем дело не с единым и единственным процессом, а с целым множеством аналогичных процессов»[172]). Тот или иной социальный строй, по мнению Петрушевского, может существовать в самые различные эпохи при наличии соответствующих хозяйственных условий. Так, он заявляет о существовании капитализма в древнем мире, отмечая например, наличие богатой и могущественной буржуа-

[170]) Теоретическое представление Мейера о характере исторического развития см. в его работах «Экономическое развитие древнего мира» (СПб., 1898) и «Теоретические и методологические вопросы истории. Философско-исторические исследования» (М., 1911).

[171]) Д. М. Петрушевский. Очерки из истории средневекового общества и государства, стр. 32—33.

[172]) Там же, стр. 35.

[173]) Д. М. Петрушевский. Тенденции современной исторической науки. — «Образование», 1899, № 5—6, стр. 103.

зии у финикиян и карфагенян[173]). При этом ученый подчеркивает отсутствие каких бы то ни было качественных различий между капитализмом древним и новым. «Капиталистический строй, — прямо заявляет он, — у древних в основе тот же, что и капитализм новой Европы, разница лишь в степени, разница лишь количественная»[174]). Представляется очевидной ненаучная и реакционная сущность взгляда о капитализме как некоей внеисторической категории, возможной в самых различных исторических условиях. То обстоятельство, что Петрушевский в пору расцвета своей научной деятельности выступал активным пропагандистом этого взгляда в русской историографии, свидетельствует, несомненно, о том, что позднейший кризис его идейно-методологических взглядов далеко не был случайным: истоки его обнаруживаются уже в эту пору.

С наибольшей полнотой кризисные явления в методологии истории перед революцией 1905 г. проявляются в теоретических взглядах Виппера. Подобно Петрушевскому, он выступил решительным противником всемирно-исторической точки зрения[175]). Но главное для него — это широкая ревизия господствовавших в исторической науке XIX в. гносеологических представлений (в плане которых осуществлялась им и критика всемирно-исторической точки зрения). Едва ли не первый в русской либеральной историографии Виппер переносит центр тяжести в своих методологических исканиях на круг вопросов, связанных с определением возможностей исторического познания. Как и Петрушевский, он много говорит о кризисе современной ему исторической науки и поисках выхода из него. Но если для Петрушевского речь идет прежде всего о несостоятельности основных мировоззренческих принципов идеалистической историографии, усматривавшей в идеях главную движущую силу общественного развития, если он в поисках выхода из кризиса обращался к материалистическому пониманию истории, то Виппер пошел другим путем.

---

[174]) Д. М. Петрушевский. Очерки из истории средневекового общества и государства, стр. 33. Петрушевский мог находить капиталистический строй в древнем мире вследствие своего крайне примитивного понимания капитализма. Капиталистический строй, по его мнению, является господствующим в том обществе, хозяйство которого представляет собою организованную деятельность, имеющую ввиду прибыль, барыш. Он отождествляет этот строй с такой хозяйственной деятельностью, которая имеет характер предприятия (см.: Д. М. Петрушевский. Общество и государство у Гомера. Опыт исторической характеристики. — «Вопросы науки и искусства, литературы и жизни», 1896, № 6, стр. 28). Естественно, что при таком понимании капитализма его можно искать и находить в любом обществе в любой исторический период, за исключением разве первобытнообщинного строя.

[175]) См., в частности, его статью «Школьное преподавание истории и новая историческая наука» («Вестник воспитания», 1898, № 1, стр. 31).

«В современном движении философской мысли, — пишет он, — все более выступают на передовое место вопросы теории познания. Интерес к ним заключает в себе начало крупного и глубокого кризиса в общем научном методе, в научном анализе и понимании явлений»[176]).

Новое направление в историко-философской мысли Виппер определяет как теоретико-познавательный критицизм[177]), подчеркивая тем самым особый интерес его представителей к гносеологическим проблемам истории. Виппер выступает горячим приверженцем этого направления, пытаясь с его позиций поставить и решить целый ряд существенных проблем теории исторического познания.

Сам по себе факт усиленного внимания к теоретико-познавательным вопросам, конечно, не может рассматриваться как показатель кризиса исторической науки. Более того, объективно обращение к этим вопросам являлось закономерным и необходимым шагом в поступательном развитии исторической науки. В науку вводилась новая огромная проблема, разработка которой повлекла за собою создание фактически новой ее отрасли, пограничной между философией и историей. В настоящее время мы являемся свидетелями быстро прогрессирующего интереса к гносеологическим проблемам исторической науки, плодотворность которого не может быть поставлена под сомнение, но было бы несправедливым не видеть, что корни этого интереса в значительной мере восходят к концу XIX в., когда впервые возникает теория исторического познания как самостоятельная область исследования.

Сказанное, конечно, ни в коей мере не означает, что буржуазная наука конца XIX — начала XX вв. сумела сколько-нибудь удовлетворительно решить поставленные ею теоретико-познавательные проблемы. Более того, попытка их решения на идеалистической основе в условиях развертывавшегося кризиса буржуазной историографии в конечном итоге имела своим следствием дальнейшее его углубление, поставившее под вопрос само существование истории как науки. Сплошь и рядом исследование гносеологических проблем исторической науки использовалось (и в еще большей степени используется в современной идеологической борьбе) в буржуазной науке для яростных нападок на материалистическое понимание истории, для отрицания самой возможности объективного познания прошлого. И эту сторону дела мы должны учитывать прежде всего, ибо именно в ней заключается объектив-

[176]) Р. Ю. Виппер. Несколько замечаний о теории исторического познания. — «Вопросы философии и психологии», 1900, кн. III, стр. 450.

[177]) Там же, стр. 479. К этому направлению он относит немецких ученых Зиммеля и Штаммлера и французов Дюркгейма и Ксенопля (см. стр. 451).

ный социальный смысл господствующих в буржуазной историографии эпохи империализма гносеологических представлений.

Однако реакционные в политическом и научном отношении выводы, которые делались и делаются из этих представлений, не должны зачеркивать имеющегося в них рационального зерна, заключающегося в обращении внимания на сложности, лежащие в процессе познания мира общественных явлений, в самой постановке вопроса о специфике исторического познания. Это рациональное зерно, несомненно, присутствовало и в методологических взглядах Виппера. Выдвигая задачу построения теории исторического познания, Виппер впервые в русской науке поставил (хотя, как мы далее увидим, и не сумел удовлетворительно разрешить) целый ряд существенных гносеологических проблем, сохраняющих вплоть до сегодняшнего дня свою научную актуальность.

Совершенно справедливо Виппер отвергает характерный для позитивизма гносеологический нигилизм, коренившийся в наивном убеждении в полной адекватности научных понятий реальной исторической действительности[178]). Заслуживает внимание его постановка вопроса о своеобразии общественного познания. Он подчеркивает невозможность достижения в общественной науке беспристрастия, подобного тому, какое имеет место в естествознании. Указывая, что последнее в этом отношении не может служить образцом для обществоведения, Виппер продолжает: «Ведь о жуках и грибах составляют науку посторонние им люди, а не сами объекты науки, тогда как в общественной науке изучаемый объект и изучающий субъект до известной степени совпадают, и она представляет собой именно то самое, что в определенное время и в определенной среде люди думают о людях и о своем собственном общечеловеческом прошлом»[179]). При всей спорности отдельных формулировок это положение справедливо отмечает существенное различие между познанием общественных и естественных явлений, коренящееся в специфике самого предмета общественной науки, генетическом совпадении субъекта и объекта исследования. Игнорирование этого обстоятельства является серьезным методологическим просчетом. Исходя из признания своеобразия исторического познания, Виппер и пытается исследовать его характерные черты. Но как раз на этом пути он терпит неудачу, приходя, в сущности, к сугубо реакционным взглядам на возможности исторической науки.

---

[178]) Там же. стр, 452.

[179]) Р. Ю. Виппер. Новые направления в философии общественных наук. — «Мир божий», 1903, № 11, стр. 60.

Эта неудача тем более поучительна, что она не может быть целиком отнесена на счет его политических взглядов. Насколько можно судить по его работам, Виппер принадлежал к левому крылу либеральной оппозиции, причем либерализм его был достаточно стойким[180]). В своих работах, написанных как до революции 1905 г., так и после нее, он придерживался, бесспорно, прогрессивных для буржуазного ученого политических взглядов. Тем не менее в области методологии истории, став на путь углубленного изучения гносеологических проблем своей науки, Виппер пришел к откровенно реакционным в научном отношении выводам. Решающая причина тому — идеалистическая основа его мировоззрения.

Порочной являлась уже сама исходная установка, с которой Виппер подходил к решению теоретико-познавательных проблем. Он убежден в несовершенстве человеческого восприятия, в его неспособности к объективному отражению действительности. Критикуя позитивистский гносеологический реализм, Виппер противопоставляет ему еще более ненаучный «реализм» эмпириокритицизм, приверженцем которого он являлся, с его проповедью невозможности объективно-истинного познания исторической действительности. Если классический позитивизм, фактически снимая вопрос о специфике познания общественных явлений, отождествлял реальную действительность с нашим представлением о ней, то Виппер, напротив, проводит между ними непроходимую грань. Преломляя идеи Маха—Авенариуса в интерпретации познава-

---

[180]) Об этом свидетельствуют, в частности, его работы, вышедшие в период столыпинской реакции. В годы повального ренегатства либеральной интеллигенции, оплевывавшей не только революцию, но и свое собственное прошлое, он публикует статью «Две интеллигенции», в известной степени противостоявшую этой волне. Не менее характерна опубликованная впервые в 1908 г. в прогрессивном журнале «Современный мир» его статья «Реакционный идеализм и новая наука», в которой подчеркивалось, в частности, совпадение в России философской реакции с реакцией общественной (Р. Ю. Виппер. Две интеллигенции и другие очерки. Сборник статей и публичных лекций. 1900—1912, М., 1912, стр. 262). Представляет интерес содержащаяся в этой статье критика неокантианства, которое рассматривается как одно из наиболее показательных проявлений философской реакции. Отмечая как первую его характерную черту боязнь реальной жизни, стремление «назад к Канту», Виппер продолжает: «Но к какому Канту? Не к Канту, великому энциклопедисту — ученому, идейному сотруднику французского просветительства XVIII в., автору новой космогонии, не к Канту, беспощадному критику метафизических понятий, а к Канту, испугавшемуся богослову, проснувшемуся догматику, который слабеющей рукой старался воскресить то, что он же разрушил всем могущественным аппаратом научного анализа...» (там же, стр. 275—276). Для характеристики политических позиций Виппера более раннего периода показательна его статья «Общественно-политические взгляды Грановского», впервые опубликованная в 1905 г., в которой он присоединяется к известной характеристике замечательного русского историка-просветителя, данной в свое время Чернышевским (см. там же, стр. 210—211).

тельного процесса в сфере общественных наук, он выдвигает на первый план исследование коллизии, возникающей в процессе познания между его объектом и познающим субъектом. Конечно, сама по себе подобная постановка вопроса является правомерной и, при определенных условиях, научно-плодотворной. Все дело заключается в том направлении, в каком Виппер пытается найти путь к его решению. Все свои усилия он сосредоточивает на стремлении доказать, что мыслящий субъект в силу самого несовершенства его познавательных возможностей не в состоянии отразить в своих научных представлениях и понятиях объективные закономерности реального мира.

При этом характерным образом Виппер обращается к психическим особенностям человека, их влиянию на процесс познания[181]). Он видит главную задачу науки в выяснении тех психических условий, в которых образуются наши представления о реальном мире, происходит установление фактов и их классификации, в определении того, «какие элементы нашей психики мы вводим наперед при всяком приступе нашем к предмету изучения», «какова во всем нашем знании о мире доля необходимых и неизбежных предрасположений нашей мысли»[182]). Тем самым, по существу, априорно провозглашается предвзятость человеческого познания, его изначальная решающая зависимость от качеств, коренящихся в самой человеческой природе, от познавательного аппарата мыслящего субъекта. Субъективный момент рассматривается, таким образом, как определяющий в процессе исторического познания.

Этот субъективно-идеалистический угол зрения особенно ярко проявляется в трактовке Виппером такой категории, как исторический факт. Для него исторические факты, их группы и ряды — не более, чем «наши умственные разрезы, наши умственные опыты»[183]). Вследствие этого, полагает ученый, исторический факт не представляет собою чего-то, объективно существующего в действительности. Он чрезвычайно подвижен, эластичен, изменчив; как нечто определенное его создает только наше мышление, но оно же его уничтожает, воссоздавая на его месте другой факт, который является таким же «умственным разрезом», как и первый.

Представляет интерес проследить ход мыслей Виппера, с помощью которых он пытается обосновать свое понимание

---

[181]) Не случайно самое возникновение «теоретико-познавательного критицизма» Виппер ставит в прямую связь с «успехами опытной психологии» Ю. Виппер. Несколько замечаний о теории исторического познания — «Вопросы философии и психологии», 1900, кн. III, стр. 479).

[182]) Там же, стр. 451.

[183]) Там же, стр. 452.

исторического факта, тем более, что его аргументация принципиально ничем не отличается от той, какой пользуются в аналогичных целях современные субъективные идеалисты разных направлений[184]). Заявляя, что сознание известного факта прошлого есть результат прежде всего нашей привычки воспринимать впечатление в известной группировке, в известном сцеплении и связи, он утверждает, что «факты» появляются и исчезают в различных исторических представлениях и картинах. В качестве примера приводится факт промышленной революции в Англии конца XVIII в. Как известно, само это понятие появилось в науке сравнительно поздно, хотя его составные части — успехи машинного производства, сокращение мелкого ремесла, уход населения с земли и движение его в фабричные центры, расширение торговых связей и рост английской колониальной империи — были замечены гораздо раньше. Но поскольку все эти моменты не связывали в одно целое, факта под собирательным именем «промышленная революция в Англии конца XVIII в» не существовало в умах. Вслед за этим Виппер приводит пример противоположного свойства. В современной науке, говорит он, не существует более факта, который признавался ранее и назывался «влияние на Европу крестовых походов», куда относили падение авторитета папства, рост городов, развитие рыцарства и т. п. явления, оказавшиеся в своей основе независимыми от влияния крестовых походов[185]).

Примеры, приведенные Виппером, представляют несомненный интерес. Они подчеркивают действительную сложность такой категории, как «исторический факт». В процессе развития науки происходит непрерывное обогащение нашего знания исторических фактов. При этом речь идет не только и, может быть, даже не столько о простом накоплении фактов, сколько о совершенствовании приемов и методов их изучения, что приводит в конечном итоге к углублению нашего понимания факта, а нередко и к его переосмыслению. Если положение о том, что каждое поколение заново переписывает историю, является бесспорным преувеличением, то также бесспорно и то, что каждое поколение вносит нечто новое в наше представление о, казалось бы, давно и хорошо известных фактах. Давно известные источники читаются по-новому, в них находятся совершенно новые исторические факты[186]).

---

[184]) И. С. Кон. Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли, стр. 234—244.

[185]) Р. Ю. Виппер. Несколько замечаний о теории исторического познания. — «Вопросы философии и психологии», 1900, кн. III, стр. 455—456.

[186]) Сошлемся на пример, который приводит в другой своей статье сам Виппер. «Казалось, — пишет он, — какие-нибудь адвокатские обороты речи Цицерона или театральные сцены Саллюстия изучены до мельчайших из-

Хорошо известно и обстоятельство другого порядка: один и тот же источник в одно и то же время может интерпретироваться диаметрально противоположно учеными, придерживающимися различных идейно-методологических взглядов. Достаточно вспомнить споры вокруг знаменитой 26 главы «Германии» Тацита, различное истолкование которой порождало представление о существовании в одно время и в одном месте взаимоисключающих друг друга фактов (господство у древних германцев в конце I в. н. э. общинной собственности на землю, как полагала одна группа ученых, и господство у тех же германцев в то же время частной поземельной собственности, как считали на основании все той же 26 главы другие ученые).

Можно рассматривать проблему исторического факта, конечно, и в других аспектах, но и сказанного достаточно для того, чтобы признать правомерной саму постановку вопроса об историческом факте как одной из важных теоретических проблем науки. В современной науке факты давно перестали быть теми кирпичиками неизменной и раз навсегда определенной формы, из которых, согласно господствовавшим в прошлом столетии представлениям, складывались различные исторические построения. Однако это отнюдь не означает исчезновение факта как объективной реальности, что пытаются утверждать представители различных субъективно-идеалистических направлений в буржуазной науке, начиная от зарубежных и отечественных махистов конца прошлого столетия и кончая современными американскими прагматистами. Обратимся в этой связи вновь к приводившимся Виппером примерам. То обстоятельство, что историческая наука первой половины XIX в. не выработала представления о промышленном перевороте в Англии как об определенном, не подлежащем сомнению историческом факте, говорит прежде всего о несовершенстве тех методологических позиций, на которых она тогда находилась. Было бы в высшей степени странным на этом основании ставить под сомнение сам факт промышленного переворота в Англии конца XVIII в.

В исторической действительности Англии конца XVIII — начала XIX вв. совершался грандиозный по своим социальным последствиям экономический переворот. Его могущест-

---

гибов стиля филологами-гуманистами, интерпретированы до пресыщения новоклассиками и, в добавление ко всему, истерзаны школьной практикой: что можно взять из них нового? И однако в конце XIX в. в них словно сделали новое открытие: на старых страницах начали читать яркие формулы борьбы классов; нашли материал для резких социальных характеристик, по ним стали вырисовывать очертания социального вопроса в конце эпохи римской республики» (Р. Ю. Виппер. Новые направления в философии общественных наук. — «Мир божий», 1903, № 11, стр. 61).

венное влияние чувствовалось во всех областях жизни страны, выражаясь и в быстром росте фабричного производства за счет сокращения мелкого ремесла, и в расширении торговых связей Англии, и в других отмеченных Виппером сферах. В силу специфики самого процесса познания предметом изучения исторической науки становились вначале отдельные проявления этого переворота и только по мере развития и углубления общетеоретических предотавлений исторической науки, шедших рука об руку с накоплением фактического материала и совершенствованием методики исторического исследования, стал возможным синтетический подход к освещению событий, совершавшихся в Англии на рубеже XIX столетия. Стало очевидным, что явления, рассматривавшиеся ранее как совершенно самостоятельные и не связанные друг с другом, представляют собой отдельные звенья единого процесса, радикально изменившего всю жизнь страны. Так возникло в науке представление о промышленной революции в Англии конца XVIII в. Но оно возникло не просто в качестве некоего «умственного разреза», отделенного непроходимой пропастью от реальной исторической действительности, а как закономерный результат растущей способности науки более глубоко отражать существенное содержание объективной действительности, постигать реальные связи в их многообразии и взаимопереплетении.

Точно так же обстояло дело и с новым истолкованием античных источников. Понятие о социальном кризисе в Риме I в. до н. э. явилось не просто результатом нового подхода науки XIX в. к толкованию античных источников. Прежде всего это понятие представляет собою более или менее адекватное отражение действительно имевшего место в объективной реальности кризиса римской республики, который сделался предметом исторического изучения вследствие целого ряда причин, лежавших как в сфере развития самой науки, так и в исторической действительности конца XIX в. с присущим ей обострением социальных противоречий.

И пример другого рода. Поступательное развитие науки заставило отказаться от бытовавшего ранее представления о решающем влиянии крестовых походов на целый ряд важных социально-политических процессов, протекавших в средневековой Европе. Оказалось, что рост городов, развитие рыцарства, падение значения папства суть вполне самостоятельные исторические факты, имеющие собственное основание во внутренней жизни средневекового общества и отнюдь не сводимые к последствиям крестовых походов. Опять-таки здесь дело не в «другой планировке» исторического материала, как утверждает Виппер, а в открывшейся вследствие прогресса науки возможности более глубоко понять европейское

средневековье, разграничить существенные и несущественные связи в его истории.

Таким образом, приводимые Виппером примеры, предостерегая против всякого упрощенного подхода к проблеме исторического факта, вместе с тем объективно свидетельствуют о том, что каждый шаг по пути действительного прогресса науки ведет ко все более глубокому и всестороннему отражению исторической действительности, открывает новые возможности в познании ее существенных связей. Между тем Виппер использует эти примеры для отрицания самого существования исторического факта, как объективной категории, лежащей вне нашего сознания. Он выступает против очевидного положения о том, что путь исторического познания идет от вскрытия, накопления, описания и классификации фактов к общим суждениям на их основании. С его точки зрения, проблема исторического факта является подчиненной частью проблемы мировоззрения. Это последнее, по его мнению, определяет не только осмысление фактов, но и их подбор и даже их создание. «Все равно, сознательно или нет, — пишет он, — но мы приступаем к делу самого описания или анализа материала с определенным планом действия, который в конце концов сводится на целое мировоззрение. Под влиянием такого плана происходит невольный, но определенный подбор фактов, их постановка в известный угол зрения... Если выражаться строже, — под влиянием такого плана происходит даже и не подбор, а создание фактов в уме нашем, их формировка по чертежу, по архитектурным линиям известной системы»[187]).

Придавая большое значение взаимоотношению между мировоззрением ученого и его историографической практикой, Виппер в то же время обращал серьезное внимание на общие условия, влияющие на развитие исторической науки и коренящиеся в господствующих в данное время и в данной стране общественных настроениях. При этом отдельные его наблюдения представляют несомненный интерес. Это относится, в частности, к его попытке определить условия, обеспечивающие действенность влияния общества на науку. «Приобретения общественной науки будут прочны в той степени, — пишет он, — в какой они исходили от глубоких, продолжительных, многократно проверенных общественных впечатлений; те научные разрезы и выводы, которые внушены более мимолетными настроениями, без сомнения, осуждены на более скорое исчезновение»[188]). Он настойчиво подчеркивает связь между

[187]) Р. Ю. Виппер. Несколько замечаний о теории исторического познания. — «Вопросы философии и психологии», 1900, кн. III, стр. 456.

[188]) Р. Ю. Виппер. Новые направления в философии общественных наук. — «Мир божий», 1903, № 11, стр. 62.

течениями общественной жизни и поворотами в научных интересах и толкованиях[189]) и т. д.

Однако справедливо отмечая органическую связь, существующую между историей и современностью, Виппер истолковывает ее сугубо субъективистски. По существу, он приходит к отрицанию внутренней самостоятельности исторической науки, внутренней логики ее развития. «Общественная наука, — утверждает он, — в конце концов есть автобиография общества. С течением времени автобиография не только добавляется новыми главами, она постоянно и на всем своем протяжении перерабатывается с новых точек зрения. Эти постоянно обновляемые точки зрения — вовсе не досадный придаток, вовсе не «зло» субъективизма. Они составляют живую, двигающую и организующую силу общественной науки. В свою очередь они образуются из новых впечатлений, настроений и запросов, вызываемых жизнью того самого современного общества, которое желает иметь науку о себе и для себя»[190]). Так, в изображении Виппера общественная наука, в том числе, конечно, и история, превращается в систему «умственных разрезов», порожденных господствующей в данном обществе точкой зрения. Но тем самым, естественно, не приходится говорить ни о каком объективном характере исторических знаний — ведь каждое новое поколение, побуждаемое желанием общества находить свои черты в прошлом, переписывает с новой точки зрения всю историю. Более того, рассматриваемая с этих позиций сама историческая действительность превращается в категорию, лишенную всякого объективного содержания.

Впрочем, достаточно определенно говорит об этом сам Виппер: «...То, что мы называем объективной действительностью, должно быть признано одной из субъективных категорий, и притом категорий, изменчивых по своему содержанию. Каждое поколение или ряд поколений, связанных общими идеями, каждая интеллектуальная группа неизбежно приспособляет к себе, к своим нуждам, к своим симпатиям, к своим гаданиям о будущем, к своим психическим предрасположениям всю традицию о прошлом, весь исторический материал, можно бы сказать, препарирует для себя всю историю, творит для себя идеальное прошлое, набрасывает для себя свою собственную историческую картину»[191]). Но сказать так — значит стать на путь отрицания истории как науки. Именно в этом заключался подлинный смысл кризиса, развертывавшегося в конце XIX в. в буржуазной историогра-

---

[189]) Там же, стр. 62—63.

[190]) Там же, стр. 60—61.

[191]) Р. Ю. Виппер. Несколько замечаний о теории исторического познания. — «Вопросы философии и психологии», 1900, кн. III, стр. 480.

фии Запада. Вольно или невольно, но на этот путь в своих методологических исканиях объективно стал и Виппер.

Взгляд на историческую действительность как на субъективную категорию с изменчивым содержанием закономерно привел Виппера к отрицанию прогресса в истории. Идея прогресса в его изображении выступает не столько научной, сколько религиозной идеей, рожденной просветительской философией истории, в которой, по его словам, был заключен сильный религиозный порыв и которая служила продолжением церковной системы мировоззрения, особенно в ее католической форме[192]). Дискредитируя, таким образом, идею прогресса (а с нею вместе и философию Просвещения), Виппер стремится доказать ее научную несостоятельность, поднимая вопрос о так называемой исторической повторяемости. Он пытается убедить своих читателей в том, что одинаковые социальные формы, идейные настроения могут существовать в самые различные эпохи, неизменно повторяясь на всем протяжении истории человечества. Так, он усматривает многочисленные черты сходства хозяйственной, социально-политической и религиозной организации древнего Египта, с одной стороны, и Римской империи, средневековой Европы, государства инков и мусульманского Востока — с другой[193]). На этом основании делается ответственный вывод не только об извечной повторяемости общественных форм, но и об их чрезвычайно узком круге, раз навсегда данном. «Какое упорное повторение социальных комбинаций, — восклицает он с характерной ссылкой на немецкого реакционного этнографа Шурца, — как они немногочисленны, как невелика, в конце концов, социальная изобретательность человека или же в какой мере она ограничена в выборе средств и способов»[194]).

Особенно настаивает Виппер на постоянной повторяемости в истории небольшого круга идейных мотивов[195]). Глубоко идеалистическим является его объяснение причин такой повторяемости. Он апеллирует к человеческой природе, под-

---

[192]) Там же, стр. 477—478. Взгляд на идею прогресса как на религиозную по своей природе с особенной силой проводится в его книге «Общественные учения и исторические теории XVIII и XIX вв. в связи с общественным движением на Западе» (СПб., 1900), где он говорит о «религии прогресса» (см. стр. III).

[193]) О глубине проводимых Виппером аналогий свидетельствует такой пример. Он считает возможным уподоблять церковную организацию древнего Египта — средневековой, а фиванского верховного жреца — католическому папе (см.: Р. Ю. Виппер. Новые направления в философии общественных наук. — «Мир божий», 1903, № 11, стр. 73).

[194]) Там же.

[195]) Там же, стр. 74—80.

черкивая неизменность на протяжении тысячелетий ее главных качеств[196]).

Так, еще до революции 1905 г. в историко-теоретических работах Виппера отразился кризис буржуазной общественной мысли Запада. В известном смысле они явились симптоматичными, указав путь, ставший во многом характерным для развития методологических идей русской либеральной историографии после 1905 г.

---

[196]) См. там же, стр. 68.

ГЛАВА V

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ФЕОДАЛИЗМА В ОСВЕЩЕНИИ РУССКОЙ ЛИБЕРАЛЬНОЙ МЕДИЕВИСТИКИ

В русской либеральной медиевистике имеются две монографии, посвященные историческим судьбам одной и той же страны в одно и то же время[1]). Выход в свет каждой из них явился значительным событием в научной жизни, отразив направление и характерные особенности развития отечественной медиевистики своего времени. Тем больший интерес представляет их сопоставление.

Монография Кудрявцева является капитальным исследованием раннесредневековой истории Италии, построенным на серьезном источниковедческом фундаменте. Книгу отличает широта концепции автора, его стремление показать на примере судеб Италии, что общественное развитие не является результатом случайных поступков тех или иных исторических личностей, а определяется своими внутренними закономерностями, которые он пытается проследить в проносившихся на Апеннинском полуострове в V—VIII вв. политических бурях, в сложном переплетении желаний, планов, поступков различных государственных и церковных деятелей того времени. В своей книге Кудрявцев демонстрирует хорошее знание историографии вопроса и вместе с тем критическое отношение к ней. С полным правом, подчеркивая самостоятельность исследования Кудрявцева, Грановский ставил его в один ряд с классическими монографиями западноевропейских ученых по всеобщей истории и указывал, что оно составляет «важное приобретение не только для русской, но и для исторической литературы вообще»[2]).

И в то же время книга Кудрявцева поражает современного читателя своим полным игнорированием материальных

[1]) См.: П. Н. Кудрявцев. Судьбы Италии от падения Западной Римской империи до восстановления ее Карлом Великим. Обозрение остготолангобардского периода итальянской истории. М., 1850; П. Г. Виноградов. Происхождение феодальных отношений в Лангобардской Италии. СПб., 1880.

[2]) Т. Н. Грановский. Сочинения, ч. II, М., 1892, стр. 182.

условий жизни того общества, политическая история которого столь детально и всесторонне в ней рассматривается. В падении Западной Римской империи и образовании на ее обломках в Италии варварских государств внимание Кудрявцева привлекает лишь один, национальный, момент. Существенное содержание истории итальянского раннего средневековья он видит во взаимоотношениях между местным населением и завоевателями, причем и римляне, и варвары рассматриваются как социально единые национальные группы. Он говорит о сочувственном отношении остготского короля Теодориха к римлянам, римским порядкам и учреждениям, объясняя это его причастностью к античной цивилизации и, напротив, подчеркивает жестокость и насилия, совершавшиеся над римлянами лангобардами, вследствие того, что «они пришли в Италию прямо из степей Венгрии, нисколько не испытавши благотворного влияния римской цивилизации»[3]). В книге отсутствует даже малейшая попытка поставить вопрос о социально-экономических отношениях как у варваров, так и у римлян в изучаемый период. Правда, в одном месте Кудрявцев говорит о прикреплении колонов к земле в поздней Римской империи[4]), но такие понятия, как раб, рабовладелец, свободный общинник вообще отсутствуют в его книге. В силу этого вся проблема перехода от античности к средним векам, лишенная своего главного, социального, аспекта, получает сугубо превратное освещение. На первый план выдвигается сам факт завоевания варварами населения Римской империи безотносительно к тому, какие перемены это завоевание вызвало в социальном строе как победителей, так и побежденных. Вот почему основное содержание проблемы перехода от античности к средним векам Кудрявцев усматривает в переходе от свободы к несвободе[5]).

Принципиально иной круг вопросов вызывает научный интерес Виноградова. Его внимание привлекают радикальные социальные сдвиги, которые имели место в раннесредневековой Италии. Главное содержание истории последней он видит в становлении феодальных отношений. Виноградов стремится проследить судьбы социального строя, господствовавшего в Италии перед падением империи, показать новые общественные элементы, появившиеся на итальянской почве вследствие варварского нашествия. Предметом его обстоятельного исследования становятся формы землевладения и их эволюция, в частности, судьбы общинного владения зем-

---

[3]) П. Н. Кудрявцев. Судьбы Италии от падения Западной Римской империи до восстановления ее Карлом Великим, стр. 128.

[4]) Там же, стр. 4.

[5]) Там же, стр. 17.

лей у лангобардов. Он рассматривает утверждение в Италии в результате лангобардского завоевания мелкой свободной земельной собственности и ее последующее поглощение крупной, расценивая это последнее обстоятельство как необходимую предпосылку победы феодализма. Характерно, что и политическую жизнь Лангобардской Италии он рассматривает с точки зрения влияния на нее перемен в социально-экономических отношениях общества.

Различие в предмете исследования определило, естественно, и разный круг источников, на основании которых написаны обе книги. Кудрявцев использует главным образом хроники, биографии пап и другие источники, отражающие преимущественно политическую историю Италии в раннее средневековье. В основе книги Виноградова лежат юридические памятники, путем мастерского анализа которых он стремится восстановить действительную картину социально-экономических, прежде всего аграрных, отношений того времени.

Нельзя не видеть, что Виноградов сумел гораздо более глубоко и основательно, чем Кудрявцев, поставить вопрос о существенном содержании раннесредневекового периода в истории Италии. Если книга Кудрявцева в наши дни может представлять лишь историографический интерес, то круг проблем, рассматривавшихся Виноградовым, до настоящего времени сохраняет научную актуальность. Хотя далеко не все положения Виноградова приняты современной наукой, его концепция складывания феодальных отношений в Лангобардской Италии не только оказала серьезное плодотворное влияние на развитие отечественной медиевистики, но и вошла, в ряде своих моментов, как необходимый ингридиент в наши сегодняшние представления о генезисе феодализма в Италии[6]).

Очевидно, что различие между обоими учеными как в постановке вопроса, так и в достигнутых результатах не может быть объяснено ни различием в степени одаренности каждого из них (для своего времени Кудрявцев был не менее крупным ученым, чем Виноградов), ни спецификой индивидуальных научных интересов. Оба они работали на главном направлении науки своего времени, и вся разница между ними в последнем счете как раз и определялась теми сдвигами, которые произошли за 30 лет, разделяющих выход в свет их монографий, в понимании предмета и задач истории, в самом

---

[6]) См.: А. И. Неусыхин. Возникновение зависимого крестьянства как класса раннефеодального общества в Западной Европе VI—VIII вв., гл. V; З. В. Удальцова. Италия и Византия в VI веке. М., 1959.

методе исторического исследования. Сравнение книг Виноградова и Кудрявцева показывает, насколько за эти годы качественно выросла русская либеральная медиевистика, насколько углубились ее представления о содержании исторического процесса и его движущих силах. Этот возросший идейно-теоретический уровень русской либеральной медиевистики обусловил и ее существенно иной, чем в предшествовавшие десятилетия, подход к истории западноевропейского средневековья.

1. Русская либеральная медиевистика о природе западноевропейского феодализма и его происхождении

В сложной путанице явлений средневековой жизни внимание русских медиевистов в середине 70-х — начале 900-х годов привлекало главным образом развитие социальных отношений на разных этапах истории западноевропейского общества. Отношения между феодалами и крестьянами, судьбы сельской общины, эволюция форм феодальной земельной собственности — вот вопросы, решение которых на конкретном материале различных европейских стран принесло русской науке мировую известность. Классические труды Виноградова и его учеников по истории английского феодализма, исследования Кареева и Лучицкого в области аграрных отношений Франции XVIII в., обобщающие работы Ковалевского явились новым словом в историографии вопроса, в частности, и потому, что их авторы сумели более или менее последовательно сосредоточиться на выяснении социальных отношений в феодальном обществе как на своей центральной задаче. Своеобразный «крестьянский уклон», отчетливо обнаруживающийся в историографической практике всех русских либеральных медиевистов, являлся не только порождением их индивидуальных научных интересов, не только даже продуктом тесной связи их исследований с запросами современной им русской действительности — в такой же мере он вытекал и из их теоретических представлений о характере исторического развития вообще и природе западноевропейского феодализма в особенности.

В соответствии со своим пониманием исторического процесса русские ученые подходили к западноевропейскому феодализму в первую очередь как к определенной системе социальных отношений, обусловленных известным уровнем хозяйственного развития общества. В этом плане и трансформировалось в их представлениях характерное для буржуазной историографии XIX в. определение феодализма, восходя-

щее еще к Гизо[7]). Основываясь на этом определении и развивая взгляды на феодализм французских историков эпохи реставрации, они, как правило, разделяли феодализм политический (состояние политической раздробленности) и социальный (известную систему социальных отношений, базирующуюся на крупной феодальной поземельной собственности).

Такое разделение, конечно, не может быть признано правомерным, единая по своей природе феодальная формация, представляющая собою органическое сочетание известных экономических, социальных, политических, юридических отношений, искусственно разрывалась на две «стороны», между собою слабо связанные. Более того, нередким было противопоставление этих сторон. Было бы неверным говорить, что, например, Кареев не видел никакой связи между феодализмом политическим и социальным. Напротив, он прямо утверждал, что политический феодализм дополнялся социальным[8]), что первый содействовал торжеству второго[9]) и т. п. Но в то же время он считал возможным писать об отсутствии политического феодализма в истории некоторых европейских стран[10]). Такая постановка вопроса являлась следствием определенных теоретических представлений Кареева, а именно его убеждения в автономности политической и социальной сторон феодализма, которые могут оказывать друг на друга влияние, но могут и существовать независимо одна от другой.

Нет нужды доказывать, что такая трактовка феодализма обедняет и извращает его подлинное содержание, ведет к серьезным ошибкам в теоретическом осмыслении истории средних веков и главное — делает невозможным его понима-

---

[7]) Как известно, Гизо сводил сущность феодализма к трем решающим признакам: 1) соединение верховной власти с землевладением; 2) замена полной земельной собственности условною; 3) иерархическая система законодательных, судебных и военных учреждений (см.: Ф. Гизо. История цивилизации во Франции, т. III—IV, М., 1881, стр. 20—21). Ср. Фюстель де-Куланж. История общественного строя древней Франции, т. V, стр. XXII—XXVIII. «Все определения феодализма, какие только делались в научной литературе XIX в., — справедливо отмечал Кареев, — большею частью только варьируют и развивают мысли, высказанные Гизо в его «Истории цивилизации во Франции» (см.: Н. И. Кареев. Поместье-государство и сословная монархия средних веков. Приложение, стр. XXVII). Несколько иную трактовку понятие «феодализм» получило в немецкой буржуазной историографии XIX в., где оно рассматривалось преимущественно под углом зрения средневековых политико-юридических институтов и прежде всего государства (см.: O. Brunner. «Feudalismus». Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte. Wiesbaden, 1959, S. 28—30).

[8]) См.: Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время. Т I, стр. 25.

[9]) Там же, стр. 156.

[10]) Там же, т. III, стр. 96; Поместье-государство и сословная монархия средних веков, стр. 164, 224 и т. д.

ние как закономерного этапа в поступательном развитии человеческого общества. Искусственное расчленение феодализма на две автономные стороны затрудняло возможность его понимания как определенной совокупности общественных отношений, образующих в своем органическом единстве с соответствующей им политической, юридической и иной надстройкой закономерный и поступательный этап в истории развития человечества. В значительной степени вследствие этого русская либеральная медиевистика в целом не сумела определить место феодального строя в общем историческом процессе.

Виноградов прямо выражал свое решительное несогласие «с теми учеными, которые утверждали, что феодализм есть необходимая стадия в развитии человеческого общества», хотя и признавал его известную повторяемость и не в западноевропейских комбинациях[11]). Этот взгляд можно считать характерным для русской либеральной медиевистики (за исключением Ковалевского). Он нашел свое выражение не только в убеждении, что та или иная страна могла избежать в своем развитии одну из «сторон» феодализма, но и в отрицании существования феодализма в некоторых странах вообще. К числу этих последних относилась и Россия[12]).

Вместе с тем, отмечая методологическую несостоятельность разделения феодализма на политический и социальный, необходимо признать, что в свое время оно являлось определенным шагом вперед по сравнению с господствовавшей в буржуазной историографии XIX в. трактовкой феодализма как политико-юридического учреждения. Выдвижение на первый план как в историографической практике, так и в теоретических представлениях так называемой социальной стороны феодализма объективно способствовало более глубокому пониманию природы феодального общественного строя. На место излюбленных буржуазными учеными рассуждений о расщеплении государственного суверенитета в средневековом обществе, о характере взаимоотношений между центральной властью и фодальной сеньерией, об антитезе светской и духовной власти, о природе лена и тому подобных сюжетах, без сомнения важных, но тем не менее не определяющих собою существо феодального строя, пришла постановка вопроса о социальном феодализме как определенной социальной организации общества, основу которой составляют отно-

[11]) П. Г. Виноградов. История средних веков. М., 1893, стр. 148.
[12]) См.: Н. И. Кареев. Земские сборы древней Руси. — «Юридический вестник», 1886, № 2, стр. 267. Ср. его настойчивое отрицание существования феодализма в Византии (см.: Н. И. Кареев. Введение в курс истории средних веков, стр. 33; его же. Поместье-государство и сословная монархия средних веков, стр. 12).

шения между феодалами и находившимися в разной степени зависимости от них крестьянами. Конечно, такое понимание феодализма не может претендовать на сколько-нибудь исчерпывающее отражение всего существа этой общественной формации. Однако было бы несправедливым не видеть в нем высшего достижения буржуазной мысли в ее теоретическом осмыслении природы феодального общественного строя.

Понятие социального феодализма не сразу утвердилось в русской либеральной медиевистике. В 70-е годы, несмотря на несомненное ее внимание к социальной проблематике западноевропейского средневековья, оставалось господствующим представление о феодализме как учреждении по преимуществу политическом. Характерны в этом отношении работы молодого Лучицкого. Везде, где он говорит о феодализме, Лучицкий имеет в виду состояние политической раздробленности общества с присущей ему междуусобицей, вассальные отношения и обусловленные ими особенности феодального права, специфические привилегии дворянства и т. п.[13]). Еще более показательными в этом смысле являются его попытки дать развернутое определение феодализма. Вот одна из них. Отмечая, что «средневековый католическо-феодальный строй заключал в самом себе начало и причину своего разложения», Лучицкий продолжает: «В его основе лежал принцип разделения двух властей, власти светской и власти духовной... Военный дух, проникавший собою феодальное общество, необходимо наталкивал его на путь стремления к господству и в то же время католицизм в силу своего теологического характера, вследствие нетерпимости, которая была ему свойственна... заявлял подобные же притязания»[14]).

Традиционное для идеалистической историографии противопоставление феодализма и католицизма, стремление объяснить всю историю западноевропейского средневековья из дуализма этих институтов отразились в известной мере и на теоретических представлениях молодого Кареева. В полном соответствии с традицией он рассматривает феодализм и католицизм как «главные основы средневековой истории»[15]). Такой взгляд на историю средних веков неизбежно вел к искажению ее подлинной перспективы, что в особенности сказывалось на понимании феодализма. Представление о средних веках как арене борьбы и взаимодействия светского и духовного начал обедняло подлинное содержание феода-

---

[13]) См.: И. В. Лучицкий. Католическая лига и кальвинисты во Франции, стр. 46—48, 250—251 и др.

[14]) И. В. Лучицкий. Очерк развития скептической мысли во Франции в XVI—XVII вв. — «Знание», 1873, № 1, стр. 69.

[15]) Н. И. Кареев. Программа общего курса новой истории. — «Университетские известия», Варшава, 1879, № 6, стр. 1.

лизма, неправомерно выпячивая некоторые его политические признаки. Показательный пример этому — взгляды самого Кареева, выраженные в его небольшой работе «Введение в курс истории средних веков». Рассматривая в этой работе теоретические проблемы средневековой истории, ученый решительно выдвигает на первый план взаимоотношения духовного и светского начал как главной оси, вокруг которой разворачивались все существенные события средневековой истории. При этом родовым признаком феодализма провозглашается состояние политической раздробленности[16]), и это делает автор замечательного для своего времени исследования о социальных отношениях в феодальную эпоху! На аналогичных позициях в понимании феодализма стоял в начале своей научной деятельности и Виноградов[17]).

В дальнейшем в русской либеральной медиевистике происходит известное переосмысление существа вопроса. Не отвергая понимание феодализма как политико-юридического учреждения, ее представители все решительнее стали подчеркивать его социальную сторону, понимая под нею отношения между феодалами и крестьянами[18]). Среди старшего поколения либеральных медиевистов особенно настойчиво понятие «социальная сторона феодализма» («социальный феодализм») выдвигал Кареев. Уже в цитированном выше «Введении в курс истории средних веков», где феодализм опреде-

---

[16]) См.: Н. И. Кареев. Введение в курс истории средних веков, стр. 35.

[17]) См.: П. Г. Виноградов. Происхождение феодальных отношений в Лангобардской Италии, стр. 2.

[18]) Некоторое исключение составляет Лучицкий. Несмотря на то, что начиная с рубежа 70—80-х годов изучение истории западноевропейского феодализма становится центральной темой его исследований, его теоретические представления о феодализме существенных изменений не претерпевают. Правда, он теперь включает в это понятие отношения между дворянами и крестьянами, личную и поземельную зависимость последних от первых (см.: И. В. Лучицкий. Рабство и русские рабы во Флоренции в XIV и XV вв. — «Университетские известия», Киев, 1885, № 12, стр. 389—391); Крестьянское землевладение во Франции накануне революции (преимущественно в Лимузене), Киев, 1900, гл. V). Тем не менее Лучицкий продолжает утверждать, что феодализм является учреждением политическим и военным, которое лишь в эпоху своего разложения, т. е. в XV—XVI вв., превращается «в учреждение чисто гражданское» (Э. Зеворт. История нового времени, стр. 270). Вопреки логике собственных конкретных исследований, он сплошь и рядом игнорирует классовую природу феодализма, что особенно ярко проявляется в его трудах по истории французского крестьянства XVIII в., где, как мы видели, ученый приходит к выводам, фактически отрицающим феодальный характер французского общества того времени (см. выше, гл. IV, стр 286—287). С другой стороны, возникновение феодального дворянства в целом ряде европейских государств он объясняет потребностью королевской власти в военных силах (см.: И. В. Лучицкий. Крестьяне и крестьянская реформа в Дании XVI—XVIII вв — «Северный вестник». 1890, № 11, стр. 861).

ляется как учреждение по преимуществу политическое, Кареев говорит о его социально-экономической стороне, характерным образом отождествляя ее с историей крестьянства в средние века[19]). Причем со временем его понимание социального феодализма, безусловно, углубляется. Для Кареева социальный феодализм — это классовая организация средневекового общества. «Социальный феодализм, — пишет он, — делил все общество на два класса, на класс господствующий и на класс подданный»[20]). В этом разделении общества на земледельческое дворянство и зависимую от него крестьянскую массу ученый видит «самый главный и основной факт общественного устройства»[21]).

Вследствие этого углубляется у Кареева и общее понимание феодализма. В опубликованных в 90-х — начале 900-х годов работах Кареев, не ограничиваясь прежним определением феодального строя как известной политико-юридической организации общества, стремится подчеркнуть социальную (а в ряде случаев и экономическую) основу этой организации, усматривая в такой основе существенное содержание самого понятия «феодализм».

Ставя перед собою задачу дать полное определение феодального строя, отражающее все его существенные стороны, он пишет: «В основании этого устройства находилось обладание крупною земельною собственностью, сообщавшее владельцу права государственной власти, хотя и в политической зависимости от высшего владельца, и ставившее в юридическую зависимость от него самого народную массу, которая, однако, вела самостоятельное хозяйство на мелких участках, так что в феодализме соединялись с крупным землевладением и верховная власть, и юридическая зависимость массы, и мелкое хозяйство»[22]).

Выдвигая в качестве решающего признака феодализма крупную земельную собственность и базирующиеся на ней определенным образом организованные социальные, политические и юридические отношения, Кареев в то же время стремится показать зависимость этих отношений от соответствующего уровня хозяйственной жизни общества. Он указывает на господство натурального хозяйства как на необходимую предпосылку средневековых социально-политических порядков и, в частности, решающего значения крупной земельной

[19]) Н. И. Кареев. Введение в курс истории средних веков, стр. 40.
[20]) Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время. Т. I, стр. 159.
[21]) Н. И. Кареев. Поместье-государство и сословная монархия средних веков, стр. 181.
[22]) Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время. Т. I, стр. 46.

собственности; в натуральном хозяйстве для него олицетворяется экономическая сторона феодализма[23]). Заслуживает внимание стремление Кареева показать качественную однородность организации и характера производства в средневековом городе и деревне. Он подчеркивает сходство между хозяйственными порядками в городе и деревне, которое заключалось в повсеместном господстве мелкого производства. «И в сельском хозяйстве, и в обрабатывающей промышленности, — пишет он, — преобладал мелкий производитель, каковым являлся или крестьянин, обрабатывавший за оброк свой наследственный надел, или цеховой мастер, хозяин маленького ремесленного заведения: как у одного, так и у другого было в обладании все необходимое для труда — своя земля, свое помещение для занятия ремеслом, свои земледельческие орудия, свои станки и инструменты»[24]).

Конечно, приведенное выше высказывание не может претендовать на исчерпывающее решение поднятого в нем вопроса. Тем не менее сама его постановка позволяет говорить о методологически содержательном подходе Кареева к решению одной из сложных проблем средневековой истории. Его концепция феодализма, изложенная в работах 90-х — начала 900-х годов, базируется на признании единства экономической основы феодального средневекового общества, с которой оказывается органически связанной его социально-политическая организация. В этой концепции свое место занимал и средневековый город. Отмечая своеобразие развивавшихся там экономических отношений, Кареев совершенно справедливо обращает внимание на принципиальную общность экономической природы средневекового города и деревни. Тем самым ему удалось избежать характерного для многих буржуазных ученых противопоставления средневекового города, как изначального носителя капиталистических по своей природе экономических отношений, общему строю жизни средневекового общества, наметить его действительное место в этом обществе.

Все сказанное, однако, не дает основания для утверждения о том, что Кареев сумел в эти годы хотя бы в общих чертах правильно понять существо феодализма как особой обще-

---

[23]) См. там же, стр. 228, 239; его же. Главные обобщения всемирной истории, стр. 74—78.

[24]) Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время. Т. III, стр. 114. Ср. там же, т. I, стр. 228—229. В то же время Кареев был далек от простого отождествления экономической природы города и деревни. В городском хозяйстве с присущими ему товарно-денежными отношениями он видит силу, взрывающую в конечном итоге всю феодальную экономику, а вместе с ней и средневековый социально-политический строй (см. там же, т. I, стр. 228, 238—240).

ственной формации. Несмотря на его несомненное стремление создать единую концепцию западноевропейского феодализма, в которой нашло бы свое место органическое сочетание присущих этому строю экономических, социальных, политических и юридических отношений, он так и не сумел достичь этой цели. Этому стремлению объективно противоречило разделение феодализма на политический и социальный, которое разрывало декларировавшееся Кареевым единство феодальной формы общественной организации, предполагая возможность раздельного существования разных ее сторон. Так, применительно к Франции Кареев считал возможным ограничивать политический феодализм 3—4 столетиями, в то время как социальный феодализм, по его мнению, охватывал период около двух тысячелетий — с времен завоевания Галии римлянами, или даже еще более древних, до 1789 г.[25]). Вновь на передний план выступала антитеза политического и социального феодализма как двух, по существу, автономных общественных структур, могущих существовать в любой исторической эпохе, где господствует натуральное хозяйство[26]).

Является очевидной научная несостоятельность взгляда, согласно которому всякое примитивное состояние общества объявляется феодальным на том только основании, что оно базируется на натуральном хозяйстве и обнаруживает элемент личной поземельной зависимости. Если к тому же такая организация общества ставится в один ряд с социальной структурой Франции конца XVIII в. и объединяется с этой последней в общем понятии «социальный феодализм», то вряд ли можно сомневаться в том, что Кареев не сумел понять действительной природы феодального общественного строя. Мы уже не говорим о том, что сведение экономических предпосылок феодализма к натуральному хозяйству является явно недостаточным для понимания тех исторических условий, которые сделали возможными утверждение и многовековое существование феодального общественного и политического строя. Разложение натурального хозяйства само по себе, как известно, отнюдь не вело к ликвидации феодализма, экономическая основа которого являлась гораздо более широкой и обусловливалась прежде всего определенным уровнем развития производительных сил европейского общества.

Рассмотренные взгляды Кареева следует признать характерными для русской либеральной медиевистики 80-х — на-

[25]) См.: Н. И. Кареев. Поместье-государство и сословная монархия средних веков, стр. 30—31.

[26]) См. его утверждение о существовании древнеегипетского феодализма (там же, 36. Ср. его же. Монархии древнего Востока и греко-римского мира. СПб., 1904, стр. 275).

чала 900-х годов. Определения феодализма, которые мы встречаем в трудах Виноградова, Ковалевского, Петрушевского Пискорского, в своем существе являются аналогичными или тождественными с кареевским пониманием этого общественного строя. Не останавливаясь поэтому на их анализе, отметим лишь некоторые моменты, которые позволяют более глубоко понять общие для всей русской либеральной медиевистики тенденции в подходе к пониманию западноевропейского феодализма. Подобно Карееву, и другие либеральные медиевисты обращали главное внимание на исследование социальных отношений в феодальном обществе, что находило свое отражение и в их определении феодализма[27]). В то же время нередко и в своих теоретических построениях и в историографической практике они исходили из признания феодализма как определенной политико-юридической организации средневекового общества, которая была связана с известным типом социальных отношений, но отнюдь не обусловливалась им.

Такое представление можно встретить даже у Ковалевского, последовательнее других русских ученых стоявшего на позициях социальной интерпретации истории феодального общества. Некоторые положения, выдвигавшиеся в его трудах, дают основание полагать, что он явно преувеличивал значение юридических признаков, свойственных этому общественному строю, неправомерно перенося их на характеристику феодализма как системы общественных отношений в целом. Так, в частности, он поступает с присущими феодальному политическому строю договорными отношениями внутри господствующего класса. Этому, в сущности, производному признаку феодальной политической организации он дает неправомерно расширительное толкование, возводя его в характерную черту всего феодального строя. Без всяких оговорок ученый утверждает, что феодальная система насквозь проникнута договорным характером, что «феодальные отношения построены в действительности на обоюдном соглашении»[28]) и т. п. Правда, в данном случае Ковалевский го-

[27]) См.: П. Г. Виноградов. История средних веков, изд. 2-е, М., 1899—1900, стр. 196; М. М. Ковалевский. Экономический рост Европы... Т. I, стр. 386, 408; Современные социологи, стр. 283 и т. п.; Д. М. Петрушевский. Тенденции современной исторической науки.— «Образование», 1899, № 5—6, стр. 96; Очерки из истории средневекового общества и государства, стр. 27; В. К. Пискорский. Феодализм на Пиренейском полуострове. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, полутом 70, СПб., 1902, стр. 542—543.

[28]) М. М. Ковалевский. Английская конституция и ее историк, стр. 5. Еще более настойчиво эту мысль проводил Виноградов, утверждавший, что «договорное начало... является самой существенной и характерной чертой феодального порядка» (П. Г. Виноградов. Государственное право Англии, стр. 44).

ворит о предпосылках возникновения средневековой сословной монархии, и в этом плане едва ли можно возразить против обращения к специфическим формам отношений внутри господствующего класса в поисках прообраза такой политической организации. Но тем более показательно, что, имея в виду эту, в общем узкую, сферу политических отношений, Ковалевский считает возможным говорить о феодальной системе, феодальных отношениях вообще, и эта терминология как раз свидетельствует о том, насколько обедненным являлось (по крайней мере в данном случае) его понимание феодализма. Фактически из этого понятия исключалась целая область отношений между феодальными сеньерами и крестьянами[29]).

Особенно неудовлетворительной уже в силу своей внутренней противоречивости является трактовка Ковалевским общественных отношений во Франции XVIII в. С одной стороны, он как будто отрицает существование в это время во Франции феодализма. Полемизируя с взглядом о том, что феодализм являлся тем злом, от которого страдало французское общество XVIII в. и от которого его избавила только революция, он пишет: «Ничто не дает более ложного представления об экономических и социальных порядках Франции, как окрещение их именем феодальных»[30]). Развивая эту мысль, он приходит к выводу, что от феодализма «в тесном смысле слова» Франция в XVIII в. сохранила, и то не вполне, лишь монополизацию земли в руках дворянства, сам же общественный строй в стране являлся феодальным[31]). С другой же стороны, Ковалевский признает существование во Франции XVIII в. крепостного права, ликвидированного только революцией[32]), видит в августовских декретах 1789 г. «естественное завершение векового процесса разложения и упадка сословно-феодального строя»[33]), который, таким образом, вопреки тому, что писал в этой же работе сам историк, все-таки не только существовал, но и сохранял, несмотря

---

[29]) Ср. постановку вопроса в другой его работе, где он пишет о феодализме и крепостничестве как о двух близких, но тем не менее качественно различных явлениях (см.: М. М. Ковалевский. Общественный строй Англии в эпоху республики. — «Юридический вестник», 1891, № 12, стр. 501—502).

[30]) М. М. Ковалевский. Происхождение современной демократии. Т. I, стр. 59.

[31]) Там же, стр. 60. Критику построений Ковалевского, исходивших из его отрицания существования феодализма во Франции XVIII в. см.: С. Д. Сказкин. Февдист Эрве и его учение о цензиве. — Сб. «Средние века», вып. 1, стр. 186—187.

[32]) М. М. Ковалевский. Происхождение современной демократии. Т. II, стр. 77—78.

[33]) Там же, стр. 105.

на свой упадок, настолько прочные позиции, что потребовалась революция для его ликвидации.

Помимо характерного для всей научной работы Ковалевского импрессионистского подхода к истории[34]), в этой противоречивой оценке природы общественного строя Франции XVIII в. нельзя не видеть естественное следствие противоречивости его понимания сущности феодализма. В последнем счете оно оказывается настолько неопределенным и изменчивым, что невольно возникает вопрос, действительно ли Ковалевский видел в феодализме известную систему сословных отношений, основанную на неравенстве и монополии собственности и насильственном прикреплении к земле ее фактических возделывателей, как о том он сам писал[35]). Во всяком случае не будет ошибкой сказать, что такое понимание феодализма Ковалевский не смог последовательно провести в своих работах.

Политическая интерпретация социальных отношений в средневековом обществе в большой мере была присуща трудам Виноградова и Петрушевского. В своей историографической практике оба они, как известно, уделяли главное внимание изучению так называемой социальной стороны феодализма. В сфере социальных отношений ими усматривалось существенное содержание всей истории западноевропейского средневековья. В ней порой искались корни важнейших событий, имевших место в феодальном обществе. Виноградов даже прямо утверждал, что в «политическом развитии всегда и везде дает основу социальный склад, характер народного труда, распределение общественных наслоений»[36]). Тем не менее их трактовка английского феодализма основывалась в своих существенных моментах на признании политического (государственного) происхождения его важнейших институтов.

Политическую подкладку феодальных отношений особенно решительно подчеркивал Петрушевский. В его концепции сам социальный феодализм оказывается, по существу, политической категорией, в создании которой едва ли не главная роль принадлежала государству. Правда, Петрушевский в своих работах много пишет о господстве натурального хозяйства в средние века как факторе, обусловливавшем характер взаимоотношений между классами феодального общества. Но сами эти классы выступают у него во многом как результат политического развития: политическая необходимость

---

[34]) См.: Д. М. Петрушевский. Восстание Уота Тайлера. Ч. I, стр. 74.

[35]) М. М. Ковалевский. Современные социологи, стр. 283.

[36]) П. Г. Виноградов. Государственное право Англии, стр. 91.

в условиях господства натурального хозяйства вызывала появление феодального дворянства и зависимого от него крестьянства. Петрушевский прямо заявляет о том, что «расчленение общества на классы, на лордов и вилланов было вызвано не экономическими причинами, не разъединением факторов производства и распределением их по разным общественным группам, а только при этом условии и может быть речь об экономической зависимости одного класса от другого, например, безземельного обладателя рабочих рук от землевладельца, а причинами чисто политическими. Они лежали в переходе германских племен, в частности англосаксов, к широким политическим формам и в передаче особому общественному классу лежавших прежде на всех членах общества натуральных государственных повинностей, для чего пришлось обеспечить этот класс единственно возможным в ту натурально-хозяйственную эпоху способом, передав ему право на часть продуктов труда и на часть самого труда сельских общин, переставших нести свои натуральные государственные повинности и занятых почти исключительно хозяйственной деятельностью»[37]).

Политического происхождения оказываются у Петрушевского и все важнейшие социальные институты средневекового общества, в том числе и феодальная вотчина. Как известно, Петрушевскому принадлежит серьезное исследование манориальной организации, в котором содержится немало глубоких наблюдений. Однако ценность их существенно снижается вследствие общих взглядов ученого на происхождение и сущность вотчинной организации. «Манориальная система, — писал он, — возникла в результате политической необходимости»[38]).

Таким образом, русская либеральная медиевистика не сумела освободиться от характерной для буржуазной историографии вообще политико-юридической интерпретации феодализма. Введение понятия «социальный феодализм», несомненно, способствовало обогащению и углублению понимания существенного содержания истории средних веков, но, как мы это сейчас видели на примере целого ряда русских историков, оно не несло с собою необходимых предпосылок для ради-

---

[37]) Д. М. Петрушевский. Очерки из истории английского государства и общества в средние века. Ч. I, стр. 62. Ср. его «Восстание Уота Тайлера», ч. 2, стр. 84—85, где подчеркивается, что вилланство в Англии возникло в результате прежде всего политического процесса.

[38]) Д. М. Петрушевский. Очерки из истории английского государства и общества в средние века. Ч. 1, стр. 62. Ср. его «Очерки из истории средневекового общества и государства», стр. 252. Особенно всесторонне это положение обосновывается во второй части «Восстания Уота Тайлера».

кального пересмотра утвердившейся в буржуазной науке трактовки феодального строя.

Слабые и сильные стороны в понимании русской либеральной историографией природы западноевропейского феодализма особенно отчетливо выступали в ее трактовке генезиса феодального строя в Западной Европе. Последние нашли свое выражение прежде всего в круге вопросов, вызывавших научный интерес русских медиевистов. Уже Виноградов своим исследованием о происхождении феодальных отношений в Лангобардской Италии словно наметил то направление, которое стало господствующим в русской либеральной медиевистике конца XIX — начала XX вв. в изучении рассматриваемой проблемы. Развитая в трудах Виноградова, Ковалевского, Петрушевского концепция генезиса западноевропейского феодализма являлась в своей основе концепцией складывания крепостнических отношений в Западной Европе. Конечно, при этом нельзя упускать из виду свойственные русской либеральной медиевистике элементы политико-юридической интерпретации феодализма, отразившиеся в полной мере и на ее понимании генезиса феодальных отношений в Западной Европе. Феодализационный процесс нередко трактовался как процесс перехода от сложных политических форм к элементарным, перехода, обусловленного опять-таки причинами политического порядка. В наиболее законченном виде эту точку зрения сформулировал Виноградов, утверждавший, что «процесс феодализации прежде всего объясняется политической незрелостью средневекового общества, реакцией от неестественного напряжения государственной жизни к простейшей узкоместной организации»[39]).

Однако в своей историографической практике русские либеральные медиевисты обращали главное внимание на область социальных сдвигов, совершавшихся в раннее средневековье. Вся их концепция генезиса феодализма была построена вокруг таких вопросов, как свободная крестьянская община и ее судьбы в раннее средневековье, характер и эволюция аграрных порядков, формы социальных отношений, складывавшихся в раннефеодальной Европе, феодальная вотчина и ее структура и т. д. Ее главными фигурами стали закрепощаемый крестьянин и крупный земельный собственник — феодал. При этом обращает на себя внимание точка зрения, с которой русские медиевисты рассматривали отношения, складывавшиеся между основными классами фео-

---

[39]) П. Г. Виноградов. Феодализм в Италии. — «Юридический вестник», 1881, № 12, стр. 566. Ср. аналогичную постановку вопроса в его лекционных курсах «Государственное право Англии», стр. 14; «История средних веков», 1884/85 акад. год, стр. 243—244 и др.

дального общества в процессе его становления. Тот «крестьянский уклон» в русской либеральной медиевистике, с проявлениями которого мы уже неоднократно встречались, сказался и в ее трактовке генезиса феодализма. Проблема развития феодальных отношений в Западной Европе рассматривалась учеными преимущественно под углом зрения эволюции положения широких масс непосредственных производителей от свободы к несвободе.

В этих исходных позициях заключается своеобразие русской либеральной медиевистики по отношению не только к теориям Сибома и Фюстель де-Куланжа, но и к взглядам многих западных ученых, являвшихся сторонниками общинной теории. В сущности говоря, уже сам основоположник этой теории при всем выдающемся значении, которое он отводил общине-марке в истории Германии, склонен был к преувеличению позитивной роли вотчины, в том числе и в судьбах самой марки[40]). Но особенно ярко идеализация раннесредневекового феодального поместья выступает в трудах представителей влиятельной в буржуазной историографии XIX в. вотчинной теории. Даже наиболее прогрессивные ее представители, сочетавшие с ней признание существования свободной общины как исходного пункта аграрного развития, последовательно осуществляли в своих работах своеобразную вотчинную интерпретацию истории раннего средневековья. Генезис феодализма рассматривался ими под углом зрения эволюции вотчины и ее влияния на все сферы жизни средневекового общества, вследствие чего, несмотря на бесспорные достижения этих ученых в разработке отдельных существенных вопросов социально-экономической истории раннего средневековья, общая картина феодализационного процесса в их изображении получалась искаженной, нарушались необходимые пропорции в оценке происходивших событий, как и сама историческая перспектива.

Покажем это на примере крупнейшего представителя вотчинной теории последней четверти XIX в. Карла Инамы-

---

[40]) См.: А. И. Данилов. Проблемы аграрной истории раннего средневековья в немецкой историографии конца XIX — начала XX вв. стр. 162—163. Подчеркивая, что Маурер не сумел правильно понять место общины-марки в феодальном обществе, А. И. Данилов, в частности, ссылается на его трактовку взаимоотношений между общиной и вотчиной: феодалов, подчинявших часть общины и входивших таким образом в ее состав, он рассматривал как главную опору независимости последней, залог сохранения в неприкосновенности ее внутреннего строя. Более того, для Маурера вотчина является таким же исконным германским учреждением, существовавшим у германских племен с незапамятной древности, как и община (см.: Г. Л. Маурер. Введение в историю общинного, подворного, сельского и городского устройства и общественной власти. М., 1880, стр. 237).

Штернегга. Его труды, в особенности т. 1 известной «Истории немецкого хозяйства», являлись значительным шагом вперед в буржуазной историографии как в области теоретического осмысления раннесредневекового периода истории Германии, так и в совершенствовании методики исторического исследования[41]). Историческая концепция Инамы-Штернегга оказала известное влияние на русскую либеральную медиевистику. Не случайно, Лучицкий называл немецкого ученого в числе создателей нового направления в исторической науке, выдвинувшего на первый план изучение экономического фактора в связи с «остальными явлениями и факторами жизни»[42]). Высокую оценку историческому методу Инамы давал Ковалевский[43]), неоднократно ссылавшийся на «Историю немецкого хозяйства» в своем исследовании генезиса феодальных отношений в Западной Европе.

Однако позитивное значение концепции Инамы-Штернегга существенно снижается ввиду того исходного пункта, который лежал в ее основе. Весь круг вопросов, связанных с генезисом феодализма, он рассматривал с позиций признания за вотчиной решающей роли в историческом развитии раннесредневекового общества. Инама не отрицает существования свободной общины у германцев. Более того, он называет ее «важнейшим фактором социальной жизни немецкого народа»[44]), уделяя в своей книге известное место характеристике ее структуры, функциям и т. п. Но в его концепции история немецкого хозяйства оказывается связанной в первую очередь с вотчиной, выступающей решающим двигателем хозяйственного, а вместе с ним и всего исторического развития Германии. Он прямо утверждает, что подъем народного хозяйства при Каролингах — результат организующей деятельности крупной вотчины — создательницы крупного производства[45]).

Нет спору, что переход от первобытнообщинного строя к феодализму, будучи продуктом определенного уровня, достигнутого производительными силами общества, в свою очередь способствовал их дальнейшему развитию. В конкретных

---

[41]) См.: А. И. Данилов. Проблемы аграрной истории раннего средневековья..., стр. 264—275. В нашу цель, конечно, не входит всесторонний анализ взглядов Инамы-Штернегга на генезис феодализма.

[42]) См.: И. В. Лучицкий. Джемс Сорольд Роджерс (некролог). — «Юридический вестник», 1891, № 2, стр. 172.

[43]) М. М. Ковалевский. Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства. Т. I, стр. 379—380.

[44]) K. Th. Inama-Sternegg. Deutsche Wirtschaftsgeschichte. Bd. I, Leipzig, 1879, S. 90.

[45]) Ibidem, S. 163. Ср. S. 298—300. Развернутую критику этих взглядов см.: А. И. Данилов. Проблемы аграрной истории раннего средневековья, стр. 275—282.

условиях раннего средневековья историческое будущее принадлежало, конечно, феодальной вотчине, а не марке, и является правомерным то большое внимание, какое Инама-Штернегг уделяет роли вотчинной организации в экономическом развитии раннего средневековья. Однако под его пером исследование раннефеодальных отношений нередко превращается в их апологетику. Он не только не вскрывает противоречивый характер раннесредневекового развития, но и всеми силами пытается доказать, будто это развитие отвечало интересам всех социальных слоев тогдашнего общества, в том числе и закрепощаемого крестьянства. Говоря об исчезновении земельного равенства и утрате свободы общинами к концу каролингского периода, он прямо подчеркивает, что «мы не имеем права видеть во всем этом зло, неблагоприятное народному благу развитие»[46]). В его изображении класс феодалов выступает не угнетателем народа, а его защитником, учителем и даже кормильцем[47]).

Эта фантастическая оценка действительного характера социальных отношений, сложившихся в раннее средневековье, являлась следствием, логически вытекавшим из общих представлений Инамы-Штернегга о движущих силах раннесредневекового общества. Эти последние олицетворялись для него всецело в феодалах-вотчинниках и королевской власти. В то же время он подчеркивает тупость и равнодушие к прогрессу крестьян, которые лишь в рамках вотчинной организации познали радость созидания[48]). Его противопоставление творческого меньшинства косному большинству становится исходным пунктом всего рассмотрения социально-экономического развития в каролингский период. Отмечая, что массовое обеднение низших слоев свободных землевладельцев имело свою причину в народнохозяйственном подъеме при Каролингах, Инама-Штернегг не скрывает, что его симпатии находятся на ином социальном полюсе. Признавая, что в этом подъеме участвовали и его плодами воспользовались немногие, он не находит достаточных слов для их прославления. По его мнению, вследствие влияния зрелой нейстринской культуры на Австразию, все дремавшие силы были пробуждены для высшей цели. «Каждая способная сила, — утверждает он, — имела высокую перспективу и необозримо широкое поле

---

[46]) K. Th. Inama-Sternegg. Deutsche Wirtschaftsgeschichte, Bd. I, S. 295. Не случайно, рассматривая далее вотчинную организацию и указывая, в частности, на возникновение в результате расчисток так называемых лесных гуф, он видит главное преимущество последних в том, что на них «искусственно не восстанавливались тягостные оковы общины» (Ibidem, S. 319).

[47]) Ibidem, S. 259.

[48]) Ibidem, S. 261—262.

для своей деятельности»[49]). Тем самым совершенно определенно масса рядовых свободных исключалась из круга здоровых социальных сил, способных к историческому развитию. Поэтому ее закрепощение в концепции Инамы-Штернегга выступает не только и не столько следствием определенным образом сложившихся объективных исторических условий, сколько результатом ее извечной субъективной неполноценности, своеобразной психической второсортности по сравнению с творческим, созидательным меньшинством.

О том, что здесь мы имеем дело не со случайной оговоркой ученого, искажающей подлинный ход его мыслей, а с четким выражением существа его взглядов на природу движущих сил раннесредневекового развития, свидетельствует уже сама его постановка вопроса об основах социально-экономического расслоения в раннее средневековье. Указывая, что конец переселения народов необходимо привел к изменению всех социальных порядков у германских племен, Инама-Штернегг далее продолжает: «Развивается имущественное неравенство: разумный, энергичный, бережливый хозяин приобретал имущество, которое терял глупец, лодырь и мот»[50]). Добавим к этому его утверждение, что общественный прогресс глубоко основывается на человеческой природе[51]). Так, вся проблема экономического расслоения германского общества как важнейшей предпосылки его феодализации получает необычайно поверхностную для такого серьезного исследователя, каким был Инама-Штернегг, трактовку. Выдвигая на первый план психологическое обоснование экономического расслоения в раннее средневековье, Инама не только уходил от решения вопроса о его действительных причинах, но и представлял в искаженном виде всю картину генезиса феодализма у германцев.

Русские либеральные медиевисты в своей концепции западноевропейского феодализма разрабатывали, по существу, те же проблемы, что и Инама-Штернегг. В их взглядах на содержание процесса феодализации можно найти немало точек соприкосновения со взглядами немецкого ученого. Подобно ему, они при изучении этого процесса обращали главное внимание на выяснение тех изменений, которые происходили в раннее средневековье в социальном строе западноевропейского общества. Разложение и закрепощение свободной общины-марки, генезис феодальной вотчины, ее внутренняя организация составляли своеобразный стержень, вокруг

---

[49]) Ibidem, S. 243.
[50]) Ibidem, S. 52—53.
[51]) Ibidem, S. VI.

которого строилась вся их концепция западноевропейского феодализма.

Однако существовали и определенные различия в подходе к этим проблемам в русской и немецкой буржуазной медиевистике. Русским либеральным историкам никогда не было свойственно характерное для немецкой науки выпячивание роли дворянства в историческом процессе вообще и в средние века, в частности. Не говоря уже о том, что в русской либеральной науке отсутствовали столь характерные для немцев специальные исследования, посвященные истории дворянства[52]), сам ее подход к этому вопросу был существенно иным. В то время как многие немецкие буржуазные ученые в своих концепциях развитого и позднего средневековья обращали преимущественное внимание на дворянство как ведущую силу общественного развития[53]), русские либеральные медиевисты в соответствии со своими представлениями о предмете исторической науки переносили в историографической практике центр тяжести на изучение положения и судеб феодально-зависимого крестьянства[54]).

Сказанное в полной мере относится и к их трактовке генезиса феодализма. Их преимущественное внимание привлекает рядовой свободный общинник, эволюция его хозяйственного, социального и правового положения в раннее средневековье. В значительной степени именно под этим углом зрения рассматривается в русской либеральной медиевистике и проблема феодальной вотчины. Уже Виноградов в своем исследовании о происхождении феодальных отношений в Лангобардской Италии стремится в первую очередь проследить судьбы трудящегося населения Италии — как римских рабов и колонов, так и лангобардских общинников. Он показывает эволюцию римского рабовладения и колоната в условиях варварских завоеваний, а с другой стороны — отводит большое место в своей книге судьбам социально-политической организации лангобардов в раннее средневековье. При этом непосредственный производитель интересует его сам по себе, а не как принадлежность рабовладельческой латифундии или феодальной вотчины. Правда, он потерял свободу и вы-

---

[52]) Сошлемся, в частности, на такие работы, как M. Duncer. Feudalität und Aristokratie. Berlin, 1858; H. Bülow. Geschichte des Adels. Berlin, 1903.

[53]) См.: G. Scherl. Der Adel in der liberalen Geschichtsschreibung Deutschland. München, 1964.

[54]) При отсутствии в русской либеральной медиевистике специальных исследований по истории дворянства крестьянская тематика нашла отражение уже в заглавиях таких книг, как «Villainage in England», «Восстание Уота Тайлера», «Крепостное право в Каталонии в средние века» и др. Дело, конечно, не просто в заглавии перечисленных книг, а в их содержании, в тех аспектах феодальных отношений, которые привлекали преимущественное внимание русских либеральных медиевистов.

ступает в социальных отношениях того времени как лицо зависимое. Однако произошло это, по глубокому убеждению Виноградова, не в силу его психической неполноценности, а вследствие объективных обстоятельств, коренившихся в общих исторических условиях того времени и обусловивших именно такое, а не иное членение общества. Для Виноградова течение феодализационного процесса, складывание определенных, присущих средневековому обществу социальных форм, распад этого общества на два противоположных класса является результатом не психической неравноценности этих классов, а причин прежде всего экономического порядка. «Фактические неравенства богатства и могущества, — утверждает он, — порождают в малоразвитом обществе не только социально-политические неравенства сословий и классов, ведут не только к расчленению общественной массы и к обособлению ее частей: они в то же самое время вызывают соединения сильных и слабых, при которых первые призваны преобладать, покровительствовать и распоряжаться, последние — подчиняются и служат»[55]).

Наиболее полную в русской либеральной историографии картину генезиса западноевропейского феодализма воссоздал Ковалевский. Посвятив этой проблеме большую часть т. I «Экономического роста Европы...» и некоторые разделы т. II, Ковалевский сделал грандиозную, не имевшую себе равных в современной ему мировой историографии попытку исследовать генезис феодализма на всем материале Западной Европы, вскрыть как его общие закономерности, так и своеобразие их проявления в различных европейских государствах. В своих построениях ученый уделяет значительное внимание генезису феодальной вотчины. Он рассматривает пути складывания ее в различных конкретных условиях, исследуя ее структуру и внутреннюю организацию, характер взаимоотношений с крестьянской общиной. Под несомненным влиянием вотчинной теории он даже утверждает, что «с поглощением мелкой аллодиальной собственности крупными поместьями, с обращением некогда свободных общин в зависимые, главными факторами народного хозяйства сделались крупные земельные собственники»[56]).

Однако было бы ошибочным заносить Ковалевского на этом основании в число последователей Инамы-Штернегга. В отличие от немецкого ученого он отнюдь не олицетворял в вотчине источник экономического прогресса общества

---

[55]) П. Г. Виноградов. Происхождение феодальных отношений в Лангобардской Италии, стр. 167.

[56]) М. М. Ковалевский. Экономический рост Европы..., т. I, стр. 478.

и не рассматривал феодальных собственников как его главных носителей. В соответствии со своими общими теоретическими представлениями он видел конечную причину феодализации Западной Европы в росте плотности ее населения. В ряде случаев Ковалевский прямо стремится показать влияние увеличения густоты населения на эволюцию хозяйственных порядков в различных областях Европы, рассматривая под этим углом зрения особенности развития аграрных отношений[57]).

Тщательно прослеживая на обширном историческом материале процесс феодализации западноевропейского общества, Ковалевский все время пытается раскрыть объективные обстоятельства, сделавшие возможным массовое закрепощение свободных германских общинников. Подобно Инаме-Штернеггу он отводит в этом процессе большую роль возникновению крупного землевладения как экономического фундамента, на котором возникает феодальная система[58]). Но в то время как немецкий ученый выступал, по существу, апологетом крупной феодальной собственности и связанной с ее развитием социально-экономической дифференциации общества, Ковалевский пошел по иному пути. Прежде всего заслуживает быть отмеченным тот факт, что для Ковалевского победа вотчины в аграрном строе раннего средневековья отнюдь не означала торжество крупного производства над мелким. Он прямо подчеркивает, что феодальная вотчина являлась «конгломератом мелких и средних хозяйств»[59]).

Несомненный интерес представляют попытки Ковалевского показать пути складывания феодально-зависимого и крепостного крестьянства. Ученый последовательно проводит мысль о том, что этот класс в Западной Европе формировался за счет двух главных источников — позднеримских рабов и колонов и германских свободных общинников (хотя, как мы увидим далее, он и не сумел установить действительное соотношение каждого из этих источников в складывании класса средневековых крепостных). Рассматривая французское феодальное поместье в конце раннего средневековья, Ковалевский подчеркивает фактическое сближение реального положения многочисленных юридических категорий зависимого населения. «К концу занимающего нас периода, — указывает он, — из поселенных в поместии рабов и прикрепленных к нему обывателей незаметно образуется новый общест-

---

[57]) См. в особенности там же, т. I, гл. XX и XXI.

[58]) Там же, т. I, стр. 408. Ср. K. Th. Inama-Sternegg. Op. cit., Bd. I, S. 101, 131, 273.

[59]) М. М. Ковалевский. Экономический рост Европы..., т. I, стр. 304.

венный слой — крепостное крестьянство»[60]). Особенно большое внимание ученый обращает на нивелирующее воздействие феодальной действительности на положение зависимого населения с различным юридическим статусом. На основании изучения известного полиптика Сен-Жерменского аббатства он приходит к принципиально важному выводу о том, что при численном преобладании в социальном составе зависимого населения недавних свободных над рабами именно последние определяли своими службами и платежами размер требований, предъявлявшихся к свободным[61]). В целом же Ковалевский подчеркивает, что «размер служб и платежей обусловливается все более и более не столько свободным или несвободным характером манса, сколько размером надела»[62]).

Рассматривая взаимосвязанные процессы образования классов зависимого крестьянства и феодальных земельных собственников, Ковалевский уделяет значительное место действию факторов политических. Более того, он считает возможным говорить даже о двоякой основе генезиса феодализма — экономической и политической. Ученый пишет о «тех своеобразных, наполовину экономических, наполовину политических отношениях, совокупность которых образует процесс феодализации»[63]). Реализуя это положение в исследовании конкретного хода генезиса феодализма в различных странах Западной Европы, он обращает серьезное внимание на роль прямого насилия в складывании феодальных отношений. В частности, Ковалевский подчеркивает место насилия в разложении раннесредневековой свободной общины. Он указывает на три силы, сыгравшие роковую роль в ее судьбах: королевскую власть, католическое духовенство и зарождающуюся светскую аристократию,—отмечая их неизменно враждебное отношение к общинным порядкам землепользования[64]). «Среди феодального бесправия, в постоянной борьбе сильных со слабыми, — пишет Ковалевский, — обращение свободных, но плохо защищенных общин в зависимые, покровительствуемые сеньером крепостные союзы становится повседневным явлением»[65]). Это положение он формулирует применительно к Ломбардии, однако оно в такой же мере выражает точку зрения ученого на ход феодализационно-

---

[60]) Там же, стр. 470. В другом месте он указывает, что в состав крепостного крестьянства вошли также бывшие римские колоны (там же, стр. 557).
[61]) Там же, стр. 167.
[62]) Там же, стр. 167.
[63]) Там же, стр. 485—486.
[64]) Там же, стр. 220—221.
[65]) Там же, т. II, стр. 251.

го процесса во всей Западной Европе. Об этом свидетельствуют не только рассыпанные по всей книге указания на аналогичные явления, имевшие место в других странах, но и прямые авторские обобщения, дающие возможность утверждать, что в феодальных насилиях и произволе Ковалевский видел существенную черту всего процесса феодализации.

Отметим одно из них. Рассматривая складывание феодальных отношений в Испанской марке, Ковалевский генерализирует свои наблюдения, указывая на их общеевропейскую значимость. «Процесс образования поместья в Испанской марке, как и на протяжении всей феодальной Европы,— подчеркивает он, — не обошелся без насилий и произвольных захватов... В основе добровольных передач себя и имущества в чужую зависимость... лежало нередко столько же физическое, сколько и нравственное принуждение»[66]). Обращает на себя внимание последнее утверждение Ковалевского. Оно свидетельствует о его несомненной научной проницательности, позволявшей за внешними формами всякого рода «добровольных» сделок, игравших столь значительную роль в формировании феодальной собственности в раннее средневековье, разглядеть подлинный, антагонистический характер совершавшихся в этот период в Западной Европе социальных процессов.

Взгляды Ковалевского на генезис феодализма в Западной Европе имели и свои слабые стороны, обусловленные как индивидуальными особенностями исследовательского метода ученого, так и общими для всей русской либеральной медиевистики идейно-теоретическими предпосылками. Эти слабые стороны, как мы увидим ниже, особенно ярко сказались в его трактовке перехода от античности к средним векам. Ковалевский не сумел раскрыть качественное своеобразие раннего средневековья как периода формирования принципиально нового по сравнению со всеми ранее существовавшими социальными формами общественного строя. Однако при всем этом нельзя не признать, что свою концепцию генезиса западноевропейского феодализма Ковалевский основывает на учете реальных явлений, имевших место в жизни западноевропейского общества в раннее средневековье. Можно спорить относительно того, насколько глубоко ему удалось осмыслить эти явления, насколько четким было его общее представление о существе совершавшихся в этот период процессов, но не подлежит сомнению одно — генезис феодализма выступает у Ковалевского как объективный процесс, коренящийся

[66]) Там же, стр. 324. Отметим также высказывания Ковалевского об обременении рядовых свободных налогами и военной службой в условиях часто повторявшихся неурожаев и голодовок как причине быстрого развития коммендации (см. там же, т. I, стр. 217, 426).

в определенным образом сложившихся экономических, социальных и политических отношениях в раннесредневековой Европе, органической чертой которого являлись произвол и насилие. Вследствие этого он сумел избежать характерной для немецкой историографии апологетики раннефеодальной вотчины и тем самым более адекватно отразить действительный характер совершавшихся в раннее средневековье социальных сдвигов.

Рассмотренные взгляды Ковалевского являются типичными для подхода к решению проблемы генезиса феодализма во всей русской либеральной медиевистике. В частности, это в определенной степени относится к Петрушевскому, предпринявшему в своих «Очерках из истории средневекового общества и государства» и «Очерках из истории английского государства и общества в средние века» вторую, вслед за Ковалевским, попытку синтетического освещения путей становления феодального общества в Западной Европе. Не останавливаясь на общих моментах во взглядах Петрушевского и Ковалевского на генезис феодализма, отметим лишь его постановку вопроса о характере производства в раннефеодальной вотчине. Отвергая, подобно Ковалевскому, представления на этот счет вотчинной теории, он примечательным образом стремится обосновать свою точку зрения указанием на общие хозяйственные условия времени, делавшие неизбежным господство мелкого производства даже в рамках крупных владений. «При господстве натурально-хозяйственных условий, — подчеркивает он, — образование крупных владений не привело к образованию крупных хозяйств и не оторвало от земли обезземеленных. Крупные владения по необходимости разбились на ряд мелких хозяйств, включая и то хозяйство, которое вел с чисто потребительскими чертами сам крупный землевладелец на оставленной им для этой цели земле»[67]).

Вместе с тем в своих взглядах на генезис феодализма Петрушевский делает несомненный шаг назад по сравнению с Ковалевским в изображении самого характера феодализационного процесса. Рисуя картину феодализации западноевропейского общества, он тщательно изгоняет из нее всякие мрачные тона, пытаясь доказать, что этот процесс был выгоден всем членам общества, носил сугубо эволюционный характер. Не отрицая самого факта обезземеливания свободных общинников в раннее средневековье, он считает возможным утверждать, будто «едва ли обезземеленье массы явля-

---

[67]) Д. М. Петрушевский. Очерки из истории средневекового общества и государства, стр. 292.

лось источником роста крупного землевладения»[68]). Не продолжая цитирование подобных мыслей Петрушевского, отметим, что в них, как и во всех его взглядах на характер генезиса феодализма, нашло свое выражение дальнейшее усиление эволюционистских представлений об историческом развитии, показательное для младшего поколения русских либеральных медиевистов[69]).

В созданной русскими либеральными учеными концепции генезиса западноевропейского феодализма важное место занимает освещение вопроса о переходе от античности к средним векам. Наши ученые сумели сказать свое слово и в решении пресловутой германо-романской проблемы, в течение полутора веков разделявшей западноевропейских медиевистов на два непримиримых лагеря. Утратив присущую ей до половины прошлого столетия острую социальную направленность, полемика вокруг этой проблемы в буржуазной науке Запада приобрела откровенно националистический характер, вылившись в бесконечные пререкания по поводу того, какому элементу — германскому или романскому — обязана Европа своей цивилизацией. В русской либеральной медиевистике был сделан определенный шаг по пути преодоления такого односторонне-националистического подхода к проблеме перехода от античности к средним векам. Уже в историографическом введении к своей магистерской диссертации молодой Виноградов подчеркивал неудовлетворительность состояния разработки этой проблемы в современной ему буржуазной историографии Запада, указывая на характерный для нее пристрастно-односторонний подход к ее решению[70]).

Для историографической практики русских ученых является показательным четко выраженное стремление осмыслить становление феодальных отношений в Западной Европе как продукта взаимодействия двух начал — римского и германского. Не искусственное противопоставление их, не стремление любой ценой выпятить «приоритет» одного из них в раз-

---

[68]) Там же, стр. 237. Правда, последовательно он этого взгляда не придерживается (см. там же, стр. 247, 292).

[69]) Подробнее о взглядах Петрушевского на процесс феодализации см. в нашей статье «Д. М. Петрушевский о генезисе феодализма в Западной Европе» («Труды Томского государственного университета», т. 150, Томск, 1961).

[70]) См.: П. Г. Виноградов. Происхождение феодальных отношений в Лангобардской Италии, стр. 2—16. Особенно решительным критиком западноевропейской историографии рассматриваемого вопроса был Петрушевский, подчеркивавший характерные как для германистов, так и в особенности для романистов «постоянные натяжки, насилование текстов и искажение фактов в силу стремления подогнать их под заранее составленные рубрики» (Д. М. Петрушевский. Новое исследование о происхождении феодального строя. — ЖМНП, 1892, № 12, стр. 315).

витии западноевропейского феодализма, а настойчивое желание понять их действительное место в процессе феодализации, проследить конкретные пути взаимодействия римских и германских социальных и политических форм, а также юридических принципов в становлении нового европейского общества — такова была характерная черта всех построений перехода от античности к средним векам, созданных в русской либеральной медиевистике изучаемого периода.

Даже рассматривая складывание феодальных отношений на территории Италии, Виноградов считал возможным и необходимым принимать во внимание не только римскую традицию, бесспорно, игравшую огромную роль в процессе феодализации Италии, но и те новые отношения, которые были принесены сюда германскими племенами. Вывод, к которому он приходит в итоге своего исследования, звучит как своего рода программная установка всей русской либеральной медиевистики в ее решении данной проблемы: «И романский, и германский элементы одинаково участвуют в образовании феодального порядка, но при этом каждый из них играет свою специальную роль»[71]). Положение о взаимодействии германского и романского начал как основе западноевропейского средневекового общественно-политического развития образует исходный пункт предпринятой Ковалевским грандиозной попытки показать на широком материале стран Запада генезис и развитие феодального общества[72]).

В особенности следует подчеркнуть настойчивую борьбу русской либеральной медиевистики против широко распространенного в западной, прежде всего немецкой, буржуазной историографии стремления объяснять генезис и развитие европейского феодализма специфическими этническими особенностями того или иного народа. Уже Виноградов, отмечая роль германского племени в процессе феодализации, специально подчеркивал, что «во влиянии его сказались не какие-либо всегда присущие этнографические свойства, а особенности исторического возраста и положения»[73]). Это положение получило дальнейшее развитие и обоснование в трудах Ковалевского и Кареева.

Вызывает интерес уже сама постановка вопроса названными учеными. Для Кареева взгляд о решающей роли расо-

[71]) П. Г. Виноградов. Происхождение феодальных отношений в Лангобардской Италии, стр. 336—337.

[72]) М. М. Ковалевский. Экономический рост Европы..., т. I, стр V. Ср. характерный заголовок, который он дает первой части своего исследования, посвященной происхождению феодальных отношений в Западной Европе: «Римские и германские элементы в образовании средневекового поместья и сельской общины».

[73]) П. Г. Виноградов. Происхождение феодальных отношений в Лангобардской Италии, стр. 337.

вых особенностей германцев в переходе к средним векам является частным случаем общей теории расы как главного фактора исторического развития. Он подвергает эту так называемую теорию резкой критике, подчеркивая ее ненаучность, указывая, что она служит целям «национальных пристрастий»[74]). «Ход истории европейских народов, — справедливо заявляет ученый,—зависел не от того, в какой пропорции смешалась кровь римлян и варваров, а от того, насколько варвары разрушили социальные формы и культуру древнего мира или им подчинились»[75]).

Для Ковалевского расовая интерпретация проблемы перехода от античности к средним векам являлась частным случаем всегда резко критиковавшейся им теории о «народном духе» как главной движущей силы исторического развития. Доказывая ее научную несостоятельность, он широко привлекал материал раннего западноевропейского средневековья. Уже в первой своей методологической работе, высмеивая теорию о влиянии психических особенностей народа («народного духа») на характер его общественных и политических институтов и подчеркивая ее «крайнее детство», он в числе прочих ее несообразностей указывал на приписывание германскому духу происхождение феодальной системы вследствие якобы присущего ему исключительного пристрастия к свободе[76]).

Особенно основательной критике эта теория подвергается в «Экономическом росте Европы». В прямой полемике с ее представителями Ковалевский, исследуя генезис западноевропейского феодализма, убедительно показывает решающую роль экономических и социальных отношений людей, условий их хозяйственной деятельности в становлении феодальных отношений. В известном смысле не будет ошибкой сказать, что вся созданная Ковалевским концепция перехода от античности к средним векам своим острием направлена против попыток националистической интерпретации этого грандиозного переворота в судьбах Европы, столь характерных для немецкой буржуазной историографии. Ученый решительно отвергает расистское истолкование любого сколько-нибудь значительного явления социально-экономической истории этой эпохи, последовательно проводя мысль о том, что так называемая «народная психология» не в состоянии

---

[74]) Н. И. Кареев. Основные вопросы философии истории. Т. II, стр. 175.

[75]) Там же, стр. 233.

[76]) М. М. Ковалевский. О методологических приемах при изучении раннего периода в истории учреждений, стр. 5.

объяснить как процесс складывания феодальных отношений в целом, так и его существенные детали, в частности[77]).

Представляется возможным полагать, что решительная борьба Ковалевского против расовой интерпретации истории в значительной степени повлияла на его оценку работ Фюстель де-Куланжа. Как известно, Ковалевский являлся решительным противником куланжистской исторической концепции, выступившим в русской историографии одним из первых критиков ее[78]). Вместе с тем Фюстель для него — «талантливейший представитель французской историографии»[79]), он неоднократно сочувственно ссылался на некоторые выводы французского ученого, подчеркивая их значение для правильного понимания генезиса феодальных отношений в Западной Европе[80]). Для Ковалевского Фюстель де-Куланж является союзником в борьбе против попыток объяснить возникновение западноевропейского феодализма и его отдельных институтов расовыми особенностями того или иного народа. Выводы Фюстеля о зарождении феодальных отношений в римской Галлии вне германского влияния он использует как дополнительный аргумент в этой борьбе. На наш взгляд, незаслуженно высокая оценка работ Фюстель де-Куланжа, которую мы встречаем у Ковалевского, объясняется как раз этим обстоятельством. Достаточно определенно об этом пишет сам Ковалевский. Отметив факт существования крупных поместий в римской Галлии и их влияние на развитие феодальных отношений в раннее средневековье, он подчеркивал: «Никто в большей мере не содействовал упрочению этого взгляда, как Фюстель де-Куланж. Как бы строго ни относилась критика к его методологическим приемам и вызванной ими односторонности некоторых учений, позднейшая историография отметит появление его шести томов по истории политических учреждений древней Франции как поворотный момент к правильному пониманию не римского или германского, а самопроизвольного характера... процесса феодализации»[81]).

Конечно, мы сегодня не можем согласиться с такой оценкой места Фюстель де-Куланжа в развитии исторической на-

---

[77]) См.: М. М. Ковалевский. Экономический рост Европы..., т. II, стр. 136.

[78]) См.: М. М. Ковалевский. Древнегерманская марка (ответ Фюстель де-Куланжу). — «Юридический вестник», 1886, № 4.

[79]) М. М. Ковалевский. Английская конституция и ее историк, стр. 45.

[80]) См., в частности, его «Экономический рост Европы...», т. I, стр. 3, 5, 93—94, 565 и др.

[81]) М. М. Ковалевский. Экономический рост Европы..., т. I, стр. 383. Ср. Английская конституция и ее историк, стр. 43.

уки[82]). Она является односторонней и поэтому необъективной. Вместе с тем приходится признать, что эта оценка во многом показательна для понимания самим Ковалевским (как и другими русскими историками) существа проблемы перехода от античности к средним векам. Не случайно он акцентирует внимание своих читателей на положении Фюстеля о средневековом поместье как прямом продолжении римского, о их качественной однородности. Именно здесь обнаруживается несомненное созвучие взглядов французского ученого со взглядами самого Ковалевского. В его взглядах, как и во всей концепции перехода от античности к средним векам, созданной русской либеральной историографией, неоправданно большое место занимает римская традиция, что находит свое выражение в первую очередь в идентификации социальных отношений, господствовавших в римской Галлии и раннесредневековой Европе.

На первый взгляд это положение вызывает недоумение. Не говоря уже о том, что русские ученые прямо заявляли о своем понимании феодализма как продукта взаимодействия римского и германского элементов, все они, как известно, являлись горячими приверженцами общинной теории, рассматривая германскую свободную общину как один из важнейших компонентов западноевропейского феодализма. Подвергая глубокому исследованию судьбы сельской общины в средневековой Европе, они тем самым изучали существенное содержание «социальной стороны» феодализма. Тем не менее решающее значение в становлении феодальных отношений в Западной Европе они, как правило, придавали элементу римскому. При этом нельзя не заметить определенной эволюции в представлениях русской либеральной медиевистики на этот счет. Если в 1880 г. Виноградов вполне определенно заявлял, что «наибольшее значение имел в истории феодализации вклад германского племени»[83]), то в дальнейшем преобладающее распространение приобретает точка зрения, отводившая решающую роль в утверждении западноевропейского феодализма социальным отношениям, существовавшим до прихода германцев в поздней Римской империи. Показательно, что со временем к ней начинает, по-видимому, склоняться и сам Виноградов. По-прежнему рассматривая западноевропейский феодализм как продукт взаимодействия римского и германского элементов и даже сосредоточивая

---

[82]) Марксистскую оценку исторических взглядов Фюстель де-Куланжа и его места в развитии буржуазной исторической науки см.: М. А. Алпатов. Политические идеи французской буржуазной историографии XIX в., М.—Л., 1949.

[83]) П. Г. Виноградов. Происхождение феодальных отношений в Лангобардской Италии, стр. 337.

свои научные интересы в сфере изучения феодальных отношений в слабо романизированной Англии, он в области теории переносит центр тяжести на элемент римский. Утверждая вслед за Фюстель де-Куланжем, что в «Римской империи совершается переход от рабского труда древнего мира к крепостному труду средних веков», он видит значение этого перехода в том, что «им создается основа для средневекового крепостничества»[84]). Даже средневековая община выступает у него как продукт не только германского, но и римского влияния. Он указывает на два условия, вызвавшие ее к жизни, подчеркивая, что сельская община в средневековой Европе является результатом, «во-первых, развития римского имения и его повинностей, а во-вторых, общинной организации свободных германцев и ее постепенного перерождения»[85]).

Положение о том, что в социальных отношениях, сложившихся в римской Галлии в последние столетия существования империи, следует искать истоки социальных форм, господствовавших в феодальной Европе, получает все более широкое распространение в русской либеральной медиевистике 80-х — начала 900-х годов, становится ее общим местом. Особенно большую роль в этом сыграли труды Ковалевского. В своем подходе к данному вопросу Ковалевский исходил из положения о том, что «феодализм был бы возможен и без нашествия так называемых варваров»[86]). Руководствуясь этим взглядом, он и рассматривал генезис западноевропейского феодализма в «Экономическом росте Европы».

Конечно, и в своих теоретических взглядах, и в историографической практике Ковалевский был далек от заурядного романизма. Он не только провозглашал взаимодействие римского и германского элементов в становлении феодального общества, но и стремился показать роль каждого из них. Значительная часть «Экономического роста Европы» посвящена исследованию хозяйственного строя и общественных отношений у германских племен в эпоху перехода от античности к средним векам. Ковалевский анализирует сложившиеся на германской почве политические и правовые формы, оказавшие влияние на развитие западноевропейского феодализма, уделяет особенно большое внимание судьбам германской свободной общины. Он подчеркивает изменения, которые принесли с собою германские племена, в сфере социаль-

---

[84]) П. Г. Виноградов. История средних веков, М., 1899—1900, стр. 57.

[85]) П. Г. Виноградов. История средних веков. М., 1903, стр. 25.

[86]) М. М. Ковалевский. Английская конституция и ее историк, стр. 43.

ных и аграрных отношений, констатируя их наличие после лангобардского завоевания даже в Италии[87]).

Ковалевский решительно полемизирует с развивавшимися Фюстель де-Куланжем и его единомышленниками взглядами на переход от античности к средним векам как на простое продолжение в новых исторических условиях римских социальных форм. Отмечая сходство средневекового и римского поместья, он тем не менее считает нужным показать несостоятельность представлений реакционной романистической историографии о непрерывности римской традиции в сфере аграрных отношений раннего средневековья. «Говорить, как это делает, например Ашлэ, — подчеркивает ученый, — о непрекращающемся существовании даже в такой слабо романизированной стране, какой была Англия, всех особенностей римских земельных порядков и о незаметном переходе «виллы» в норманский «манор» можно только при большой вере в verba magistri (т. е. Фюстель де-Куланжа. — *Б. М.*), слабом знакомстве с источниками и отсутствии всякого критического такта»[88]). Особенного внимания заслуживает критика Ковалевским исследовательских приемов Фюстель де-Куланжа и его сторонников, с помощью которых они доказывают непрерывность римской традиции в средневековой Европе. Он подчеркивает юридический формализм французского историка, выражавшийся в приписывании терминам решающего значения вне зависимости от того, какое реальное содержание за ними скрывается. Таким путем, игнорируя радикальным образом изменившееся содержание тех или иных сохранившихся в средневековом обществе латинских терминов, Фюстель де-Куланж, как известно, утверждал непрерывность существования на протяжении столетий римских учреждений. Вскрывая несостоятельность этого приема, Ковалевский справедливо указывает, что «под одними и теми же названиями в разное время выступают весьма отличные друг от друга институты»[89]). Наконец, необходимо подчеркнуть последовательную борьбу, которую вел Ковалевский с фальсификацией Фюстелем аграрных отношений в древнегерманском и раннесредневековом обществе, отмечая место и значение свободной германской общины в процессе феодализации Западной Европы[90]).

Тем не менее при чтении «Экономического роста Европы...» обращает на себя внимание совпадение ряда существенных положений этой книги с куланжистской концепцией

---

[87]) См.: М. М. Ковалевский. Экономический рост Европы..., т. I, стр. 315—316.

[88]) Там же, стр. 4.

[89]) Там же, т. III, стр. 10.

[90]) Подробнее об этом см. следующий раздел настоящей главы.

перехода от античности к средним векам. В самом деле, критикуя взгляды Фюстеля о непрерывности римской традиции в средневековом обществе, Ковалевский вместе с тем фактически разделял его точку зрения на галло-римские и средневековые общественные формы как на качественно однородные. Именно так, в частности, он рассматривает раннефеодальную вотчину (поместье, по его терминологии). Ковалевский утверждает «решительное торжество римских начал собственности над германскими»[91]). С этим утверждением можно, конечно, согласиться, понимая его в том смысле, что в процессе генезиса феодализма разлагается общинная собственность, принесенная на территорию Римской империи германскими племенами, и торжествует принцип частной собственности на землю, получивший свое классическое выражение в римском праве. Однако сам Ковалевский вкладывает в него иной смысл. Он пытается доказать, будто в ходе феодализации Западной Европы шло восстановление римских аграрных порядков, первоначально разрушенных германским завоеванием. Он утверждает, что франкское поместье начала IX в. как по своей структуре, так и по хозяйственным порядкам, господствующим в нем, является прямым преемником римского поместья[92]).

На многих страницах первого тома «Экономического роста Европы» подчеркивается большое сходство позднеримских и средневековых аграрных отношений, форм эксплуатации поместного населения и т. п. Разложение общинного землевладения, рост крупной частной собственности, развитие отношений частного покровительства в условиях бессилия центральной власти и ее органов на местах — все эти явления, свидетельствовавшие о сложном и трудном процессе рождения на обломках старого мира качественно нового общественного строя, рассматриваются Ковалевским как простое возрождение уже существовавших ранее в римской Галлии порядков. Поэтому не случаен его конечный вывод. «Десятое столетие, — пишет он, подводя итоги своему исследованию генезиса раннефеодальной вотчины, — как известно, завершает собою процесс воссоздания на почве франкской монархии римской системы латифундий. С поглощением мелкой аллодиальной собственности крупными поместьями, с обращением некогда свободных общин в зависимые, главными факторами народного хозяйства сделались крупные земельные собственники и, в ряду их, прежде всего, церкви и монастыри»[93]). Сводя существенное содержание феодализацион-

---

[91]) М. М. Ковалевский. Экономический рост Европы..., т. I, стр. 226.
[92]) Там же, стр. 165.
[93]) Там же, стр. 478.

ного процесса в Западной Европе к возрождению римской поместной системы, Ковалевский этим не ограничивается. В значительной степени, вопреки собственным исследованиям, он утверждает, что главный контингент класса крепостных крестьян в средневековой Франции составили потомки посаженных на землю римских рабов и колонов и древнегерма́нских сервов[94]).

С аналогичных позиций подходит Ковалевский к выяснению генезиса средневекового городского и церковного строя. Отмечая взаимодействие римского и германского элементов в этом процессе[95]), он склоняется, правда, гораздо более осторожно, к выводу об их римском происхождении, хотя и отказывается, ввиду отсутствия необходимых данных, решать вопрос о прямой преемственности римских и средневековых порядков в городском и цеховом строе[96]).

Романистические тенденции в освещении перехода от античности к средним векам еще более усиливаются у отдельных представителей младшего поколения русских либеральных медиевистов, что нашло свое выражение, в частности, в известных «Очерках из истории средневекового общества и государства» Петрушевского. После «Экономического роста Европы» «Очерки» являются крупнейшей в русской либеральной медиевистике попыткой синтетического исследования генезиса западноевропейского феодализма. Почти во всех существенных моментах взгляды обоих ученых по этому вопросу совпадают. Подобно Ковалевскому, Петрушевский исходит из признания взаимодействия германского и римского элементов в становлении феодального общества в Западной Европе (что отразилось уже на самой структуре «Очерков»), рассматривает общественный строй германских племен с позиций общинной теории. В то же время он, как и его старший коллега , решающее значение в развитии западноевропейского феодализма отводит социально-экономическим отношениям, сложившимся на почве поздней Римской империи (что, между прочим, тоже нашло свое выражение в структуре книги — большая ее часть посвящена чрезвычайно обстоятельному освещению истории позднего Рима). Он подчеркивает, что германские завоевания не сыграли существенной роли в судьбах Западной Европы. С его точки зрения, это преходящее явление, значительно изменившее политическую обстановку, но не принесшее с собою сколько-нибудь серьез-

---

[94]) Там же, стр. 558. Показательно, что этот важный вывод Ковалевский, по существу, не аргументирует.

[95]) Там же, т. III, стр. 2.

[96]) Там же, гл. I—III. Ср. «Развитие народного хозяйства в Западной Европе», стр. 58, где Ковалевский высказывает свое сочувствие гипотезе о римском источнике происхождения средневековых цехов.

ных перемен в хозяйственные условия, в которых тогда находилось римское общество. Сами варварские королевства он рассматривает как мимолетный этап в процессе перехода европейских народов к элементарным общественным и политическим формам, процесса, который неизбежно привел бы римское общество к феодализму и без германского вмешательства[97]).

Однако в определенном отношении Петрушевский идет дальше Ковалевского. Стремясь последовательно провести мысль о решающем влиянии социально-экономических форм, сложившихся в римской Галлии, на развитие европейского феодализма, он приходит к выводу о том, что переход от античности к средним векам якобы вообще не знал внезапных и резких потрясений, будучи по своей природе не радикальным переворотом во всех сферах общественной жизни, а плавным эволюционным процессом. «Не внезапная катастрофа, — утверждает он, — но постепенный процесс довольно медленного перерождения римского государства и общества, постепенно воспринявшего в себя варварские элементы, — вот факт, который вполне может быть констатирован при изучении смены древнего мира средневековым»[98]). Так, неправомерное преувеличение значения римского элемента в генезисе феодализма привело в конечном итоге русскую либеральную медиевистику в лице одного из своих последних крупных представителей к восприятию излюбленного в реакционной историографии положения о том, что «история скачков не делает».

Задаваясь вопросом о причинах, обусловивших распространение в русской либеральной медиевистике определенного «романистического оттенка» в решении вопроса о переходе от античности к средним векам, необходимо отметить несомненное влияние на ее ведущих представителей исторических построений Фюстель де-Куланжа. «Бесспорно, — писал Петрушевский, — работы школы романтиков (в частности, Фюстель де-Куланжа) внесли очень много нового и верного в понимание западноевропейского развития и в положительном смысле, в смысле новой постановки и нового освещения целого ряда крайне важных вопросов хозяйственной и социальной истории Римской империи и ее занятых германцами частей, и в отрицательном смысле, в смысле разрушения немалого числа утвердившихся было в западноевропейской историографии догматов и предрассудков и привлечения к новому пересмотру в целом и в частях всей конструкции за-

---

[97]) См.: Д. М. Петрушевский. Очерки из истории средневекового общества и государства, стр. 27, 164, 187—188.

[98]) Там же, стр. 176.

падноевропейской истории»[99]). Мы привели это высказывание Петрушевского потому, что оно во многом является показательным для отношения к Фюстелю в русской либеральной медиевистике[100]).

Взгляды последнего на характер перехода от античности к средним векам и в особенности на роль римской традиции в генезисе западноевропейского феодализма были сочувственно встречены ее ведущими представителями, оказав определенное воздействие на развитие их собственных воззрений по этим вопросам. Не случайно, их работы изобилуют многочисленными ссылками на французского историка.

Вместе с тем было бы глубоко неверным сводить все дело к этому влиянию. Мы хорошо знаем, что русские либеральные медиевисты отнюдь не выступали слепыми поклонниками исторической концепции Фюстеля. Давая высокую оценку его работам, они в то же время решительно отвергали «крайности» и «односторонности» его концепции, т. е. ее антиобщинную направленность и представление о прямом и непрерывном продолжении в средние века римских общественных и политических форм. Характерно, что даже Петрушевский, при всем своем сочувствии к «новаторству» французского ученого, далеко не разделял его концепцию перехода от античности к средним векам в целом. Не говоря уже о принци-

---

[99]) Там же, стр. 27. Показательно, что Петрушевский здесь же возводит в заслугу Фюстелю утверждения последнего о мирном эволюционном характере перехода от античности к средним векам и о наличии в поздней Римской империи некоторых типичных для феодализма социальных форм.

[100]) Помимо уже цитировавшихся оценок Ковалевского, сошлемся на Виноградова, который отводит взглядам французского ученого значительное место в своем историографическом введении к курсу «История средних веков». Отмечая «крайности и односторонности» Фюстель де-Куланжа, Виноградов подчеркивает в общем положительное значение его трудов для развития исторической науки. В частности, он указывает на значение куланжистской постановки вопроса об эволюции древнего рабства и переходе от несвободного труда к свободному (см.: П. Г. Виноградов. История средних веков. М., 1899—1900, стр. 23—26). В другой своей работе, подвергая резкой критике метод Фюстель де-Куланжа, подчеркивая его научную несостоятельность, он тем не менее в заключение утверждает, что «каждый, желающий дать себе отчет о том, как усваивалось и перерабатывалось наследие Рима новыми поколениями германо-римской Европы, ни у кого не найдет более драгоценных указаний, нежели у Фюстель де-Куланжа» (П. Г. Виноградов. Фюстель де-Куланж. Итоги и приемы его ученой работы. — «Русская мысль», 1890, № 1, стр. 99). Наконец, упомянем Лучицкого, еще в 1875 г. выступившего с восторженной оценкой «Истории общественного строя древней Франции» как книги, «которая, несомненно, составляет эпоху в исторической литературе» (см.: «Университетские известия», Киев, 1875, № 11, стр. 318). Характерным образом Лучицкий рассматривает французского историка как союзника в критике «гармонического хора германофильствующей науки», сводящего всю историю средневековой Европы к развитию пресловутого германского элемента (там же, стр. 316—318).

пиально ином взгляде на характер общественного строя и политической жизни германских племен, Петрушевский считал неприемлемым утверждение Фюстель де-Куланжа о полной преемственности и непрерывности римского и средневекового развития, о том, что феодализм был оставлен древним миром в наследство новому[101]) и т. д.

Очевидно, существовали некоторые общие предпосылки, обусловливавшие принятие русской либеральной медиевистикой одних положений Фюстель де-Куланжа и решительное отрицание других. Предпосылки эти следует искать в ее идейно-методологических принципах, воплотившихся, в частности, в ее понимании феодализма. С одной стороны, с этими принципами была несовместима антимарковая направленность концепции Фюстеля, его решительное отрицание существования свободной общины и ее последующего закрепощения в процессе генезиса феодализма. В то же время характерный для русской либеральной медиевистики эволюционизм облегчал восприятие ею других сторон куланжистской концепции, связанных с отрицанием качественного своеобразия позднеримских и средневековых социальных отношений. Сочувственное отношение ее представителей к этим сторонам определялось в значительной мере той идейно-методологической интерпретацией, которую они получали как у самого Фюстеля, так и в русской историографии[102]).

Обнаружив действительно имевшее место сходство между определенными социальными формами позднего Рима и средневекового Запада, русские либеральные медиевисты не вышли за пределы простого описания лежащих на поверхности явлений и тем самым не сумели раскрыть подлинное содержание эпохи перехода от античности к средним векам. Порочность такого подхода особенно наглядно проявилась в их трактовке раннесредневековой феодальной вотчины. Настойчиво подчеркивая ее внешнее сходство с галло-римским поместьем, Ковалевский и другие либеральные историки игнорировали глубокое внутреннее различие их, определявшееся радикальным изменением всей социальной атмосферы Западной Европы после германских завоеваний. Вырывая из всей системы социальных и политических отношений, складывавшихся в раннесредневековой Европе, один, хотя и бес-

[101]) Д. М. Петрушевский. Очерки из истории средневекового общества и государства, стр. 27, 34.

[102]) Известный популяризатор идей Фюстель де-Куланжа в русской историографии И. Гревс писал о французском историке, выражая в данном отношении общее мнение русских либеральных ученых: «Ему принадлежит очень важная заслуга в разрушении совершенно неправильного взгляда на ход истории, как на ряд катаклизмов, сменявших резко одну эпоху с ее цивилизацией и носителями другою» (см.; Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, 72-й полутом, СПб., 1902, стр. 940).

спорно чрезвычайно важный, элемент, они совершали крупную методологическую ошибку, проистекавшую во многом из надуманного разграничения феодализма на социальный и политический. Именно это разграничение, искусственно разрывавшее единство феодализма как определенной внутренне единой системы отношений, и давало возможность искать разные его стороны в различных эпохах. Отсюда появился и римский, и древнегреческий, и даже древневосточный феодализм. Западноевропейский феодализм с этой точки зрения являлся лишь одним из типов в этом социологическом ряду, причем отнюдь не самым прогрессивным.

Более того, в отдельных работах русских либеральных медиевистов возникновение западноевропейского феодального поместья, да и всего западноевропейского феодализма, рассматривалось как шаг назад по сравнению с предшествовавшими социальными формами. Именно так ставил вопрос Кареев. «Западноевропейская феодальная сеньерия средних веков, — утверждает он, — является в истории как продукт разложения, неизмеримо более развитой формы, и, следовательно, результатом некоторого исторического регресса»[103]). И далее уже обобщающе: «Феодализм в общем виде был возвращением общества к более низкой культурной ступени исторического существования»[104]).

2. Община и вотчина в исторической концепции русских либеральных медиевистов

В связи с разработкой проблем социального феодализма в русской либеральной медиевистике необходимо должно быть рассмотрено ее отношение к двум важнейшим теориям, созданным буржуазной исторической мыслью XIX в. для объяснения развития аграрных отношений и социального строя в средневековой Западной Европе — общинной и вотчинной. Каждой из этих теорий, как известно, были присущи определенные моменты объективно-истинного отражения феодальной действительности. Обе они знаменовали значительный шаг вперед в познании ряда важных сторон жизни средневекового общества, хотя вследствие ограниченности исходных идейно-методологических позиций их основоположников и оказались не в состоянии вскрыть существенные черты феодального строя в целом[105]).

---

[103]) Н. И. Кареев. Поместье-государство и сословная монархия средних веков, стр. 11—12.

[104]) Там же, стр. 21.

[105]) Марксистский анализ общинной и вотчинной теории см. в книге А. И. Данилова «Проблемы аграрной истории раннего средневековья в немецкой историографии конца XIX — начала XX вв.».

В русской либеральной медиевистике была предпринята попытка соединить ряд принципиальных положений как общинной, так и вотчинной теории в объяснении становления и развития феодальных отношений в Западной Европе. Эта попытка получила наиболее полное воплощение в теоретических воззрениях и историографической практике школы Виноградова в изучении аграрных отношений английского средневековья. Как писал Е. А. Косминский, «в изложении Виноградова общинная и вотчинная теория получили свое классическое завершение»[106]). Аналогичные тенденции имели место в творчестве и других русских либеральных медиевистов, в особенности Ковалевского.

В созданной русскими либеральными медиевистами концепции западноевропейского феодализма община и вотчина занимали ключевые позиции, вокруг их судеб строилось все изложение аграрной эволюции в средневековой Западной Европе. Если свободная германская община образовывала в их построениях исходный пункт феодализационного процесса, то в условиях сложившегося феодального общества центральное место в аграрном строе отводилось вотчинной организации.

Сказанное, однако, не означает, что в исторической концепции русских либеральных медиевистов имело место механическое соединение отдельных положений обеих теорий. У Виноградова и других ученых речь шла о попытке органического слияния положений той и другой теории в единую концепцию развития феодальных отношений в Западной Европе. При этом важно подчеркнуть, что сама эта концепция основывалась на признании важного значения общинного строя на всех этапах истории средних веков вплоть до его гибели в эпоху становления капитализма в европейской деревне. В таком признании, несомненно, сказались политические идеалы русских либеральных медиевистов, обусловившие их преимущественное внимание к общинной теории. Основные положения этой теории, развитые Георгом Людвигом фон Маурером, составляли своеобразный исходный пункт в построениях русских либеральных медиевистов о характере и направлении аграрной эволюции в средневековой Европе, оказали большое плодотворное влияние на всю их концепцию генезиса западноевропейского феодализма. Недаром самое имя родоначальника общинной теории было окружено пиете-

---

[106]) Е. А. Косминский. Проблемы английского феодализма и историографии средних веков, стр. 116.

том в русской либеральной историографии, пользовалось заслуженной славой[107]).

Однако, отмечая серьезное влияние общинной теории на формирование теоретических представлений русской либеральной медиевистики и ее историографическую практику, необходимо сразу же подчеркнуть, что в лице крупнейших русских ученых эта теория не только встретила горячих приверженцев, но и нашла своих талантливых продолжателей, которые в условиях наступавшей в западноевропейской буржуазной науке реакции против идей Маурера сумели сказать собственное слово в их защите, обосновании и дальнейшем позитивном развитии.

Начало научной деятельности старшего поколения русских либеральных медиевистов приходится как раз на время первых ожесточенных нападок реакционной буржуазной историографии на общинную теорию. Крупнейшим событием в научной жизни Западной Европы 70-х — начала 80-х годов явился выход в свет известных книг Фюстель де-Куланжа и Сибома. Обе они представляли собою развернутый пересмотр сложившихся под влиянием общинной теории взглядов о характере социальных отношений на ранних этапах развития человеческого общества и оказали определяющее влияние на все последующее развитие буржуазной медиевистики. Даже на родине общинной теории в эти годы намечается если не открытая реакция против ее основных положений, то во всяком случае тенденция к ограничению выводов Маурера о значении общины в истории Германии[108]).

---

[107]) Ковалевский пишет о «великом Маурере» (см. его «Общинное землевладение, причины, ход и последствия его разложения», стр. III), называет его «замечательнейшим из историков германского права» («История полицейской администрации (полиция безопасности) и полицейского суда в английских графствах с древнейших времен до смерти Эдуарда III», стр. 9). Для Виноградова — его теория «великий капитал», хотя и заключенный в неудобную форму. (См. его «Историю средних веков» 1884/85 акад. год, стр. 25).

[108]) Проявление этой тенденции можно обнаружить даже в исторических взглядах Инамы-Штернегга, в целом придерживавшегося взглядов Маурера на направление аграрной эволюции в Германии. Придавая важную роль марке в истории германского народа, он тем не менее ограничивал эту роль хозяйственными функциями (см.: K. Th. Inama-Sternegg. Op. cit., Bd. I, S. 75). Известный отход Инамы от общинной теории сказался и в его изображении характера поселений германских племен, в стремлении доказать, что германцы селились отдельными дворами. Показательно, что его трактовка термина «villa» в варварский правдах совпадает с трактовкой Фюстель де-Куланжа. Как и последний, Инама утверждает, что Салическая и другие германские правды под виллой понимают не деревню, а отдельное имение (Einzelngutes). Ibidem, S. 41—42. Ср. Фюстель де-Куланж. История общественного строя в древней Франции. СПб., 1907, т.IV, стр. 241—267.

В этих условиях принципиально важное значение приобретала последовательная защита общинной теории в русской либеральной историографии. С начала 80-х годов на страницах русской периодической печати появляются рецензии, статьи, обзоры, в которых дается решительный отпор нападкам на общинную теорию, а иногда и делаются попытки вскрыть подлинные причины развернувшегося в англо-французской буржуазной историографии похода против нее. Уже в 1883 г. в своем обзоре современной англо-германской исторической литературы с резкой критикой концепции Сибома выступил Виноградов[109]). Отмечая нелепости и несообразности, которыми изобилует книга Сибома «Английская сельская община», подчеркивая насильственное обращение английского ученого с источниками, Виноградов в то же время отказывается видеть в общей идейной направленности книги случайное явление. «Нет недостатка в признаках, — пишет он, — что теория Маурера и его последователей относительно свободной сельской общины вызывает реакцию»[110]). Книга Сибома и рассматривается Виноградовым как крупнейшее проявление этой реакции. В другой своей работе, возвращаясь к вопросу о наступлении на общинную теорию в западноевропейской историографии, Виноградов подходит к пониманию того, что причины ее не имеют ничего общего с развитием собственного исторического знания, обусловливаясь обстоятельствами иного порядка. «Ученая реакция против школы Маурера, — указывает он, — прошла так далеко, являясь в одинаковых формах при таких различных местных условиях, что общую подкладку ее приходится искать в фактах, лежащих за пределами чисто исторического изучения»[111]). Что понимал Виноградов под этим, свидетельствует уже его отношение к Сибому. Он прямо подчеркивает, что этот последний, «банкир, экономист и практический политик», обратился к изучению аграрных отношений в средневековой Англии «не по случайным причинам, не ради отвлечения мысли от обычных занятий, а в теснейшей связи со своими политическими и экономическими убеждениями»[112]).

Это положение Виноградова получило своеобразное развитие в большой статье известного русского византиниста Ф. И. Успенского «Сельская община в Англии»[113]), содер-

[109]) См.: П. Г. Виноградов. Очерки западноевропейской историографии. — ЖМНП, 1883, № 11.

[110]) Там же, стр. 183.

[111]) П. Г. Виноградов. Исследования по социальной истории Англии в средние века, стр. 28—29.

[112]) П. Г. Виноградов. Очерки западноевропейской историографии. — ЖМНП, 1883, № 11, стр. 177.

[113]) См.: Ф. И. Успенский. Сельская община в Англии. — ЖМНП, 1885, № 10.

жащей наиболее полный и обстоятельный в русской науке анализ как самой книги, так и тех побудительных мотивов, которые вызвали ее к жизни и обусловили ее специфическую направленность. Отдавая должное исследовательскому таланту английского ученого, Успенский вместе с тем решительно осуждает его главный вывод о том, что история не знает другого крестьянского владения землей кроме зависимого. Подчеркивая политическую тенденциозность этого вывода, он пишет: «Переводя на простой язык, задача г. Сибома выражается в том, чтобы оправдать с точки зрения истории и форм землевладения обезземеление крестьянства и сосредоточение крупного землевладения в руках немногих избранников»[114]). Характеризуя эту политическую тенденцию, лежащую в основании теории Сибома, как «весьма несимпатичную», Успенский посвящает свою статью хорошо аргументированному доказательству научной несостоятельности основных положений, выдвинутых английским ученым. Прежде всего он подмечает такой крупный порок сибомовской концепции, как ее метафизичность. Он справедливо указывает, что концепция Сибома построена на отрицании всякого поступательного движения в сфере социально-экономических отношений[115]). На большом конкретно-историческом материале Успенский показывает противоречие взглядов Сибома реальной действительности раннего средневековья, отмечает множество его фактических ошибок[116]), подчеркивает прямую недобросовестность в использовании источников[117]).

В еще большей степени в русской историографии были подвергнуты критике антимарковые построения Фюстель де-Куланжа. В работах Ковалевского, Виноградова и других русских ученых был дан решительный отпор попыткам Фюстеля ревизовать основные положения общинной теории на классическом материале истории германских племен в первобытную эпоху и раннее средневековье, т. е. как раз на том материале, на каком она была создана. Будучи не в состоянии в силу классовой ограниченности последовательно раскрыть идейные основы концепции Фюстель де-Куланжа, русские либеральные медиевисты тем не менее проделали большую и плодотворную работу по разоблачению исследовательских приемов французского ученого и доказательству фактической несостоятельности его аргументации. Такой характер, в частности, носила статья Ковалевского «Древнегерманская марка (Ответ Фюстель де-Куланжу)», где на обширном материале источников доказывалась несо-

[114]) Там же, стр. 301.
[115]) Там же.
[116]) Там же, стр. 318—319.
[117]) Там же, стр. 316—317.

стоятельность фюстелевской трактовки термина «марка»[118]). Глубокий анализ исследовательских приемов французского ученого, его исторического метода содержит статья Виноградова «Фюстель де-Куланж. Итоги и приемы его ученой работы»[119]). Поставив в статье вопрос о том, насколько куланжистские построения выдерживают научную критику[120]), он всей своей работой дает аргументированный отрицательный ответ на него. Убежденным противником антиобщинных теорий Фюстель де-Куланжа и Сибома был Петрушевский. Отмечая «крупные заслуги» этих ученых, он в то же время признает их общее построение «совершенно искусственным, идущим в разрез с массой совершенно бесспорных фактов, которые поэтому им приходится истолковывать в смысле, как раз противоположном их прямому и единственному значению»[121]).

Решительно защищая основные принципы общинной теории от нападок ее противников, русские либеральные медиевисты вместе с тем не закрывали глаза на некоторые ее действительные слабости. Так, Виноградов указывал на свойственное Мауреру некритическое смешение в своей аргументации данных различных эпох[122]). Самый горячий в русской либеральной историографии приверженец Маурера, Ковалевский хорошо сознавал, что труды немецкого ученого положили лишь основание новому пути в изучении аграрных отношений на ранних этапах развития человеческого общества, что высказанные им положения нуждаются в дальнейшем обосновании — не только фактическом, но и теоретическом. Уже в одной из своих первых работ, посвященных общинному землевладению, формулируя ее цель, Ковалевский писал: «Нам показалось небесполезным приложить и свою руку к возведению гипотезы, высказанной впервые Маурером на счет происхождения частной собственности из общей, на степень научного положения, к выяснению как причин, породивших это мировое явление, так и созданных ими последствий»[123]). На наш взгляд, эта формулировка достаточно

---

[118]) См.: М. М. Ковалевский. Древнегерманская марка (Ответ Фюстель де-Куланжу). — «Юридический вестник», 1886, № 4.

[119]) См.: П. Г. Виноградов. Фюстель де-Куланж. Итоги и приемы его ученой работы. — «Русская мысль», 1890, № 1.

[120]) Там же, стр. 84.

[121]) Д. М. Петрушевский. Новое исследование о происхождении феодального строя. — ЖМНП, № 12, стр. 315. Подробнее о критике антимарковых взглядов Фюстель де-Куланжа в русской либеральной медиевистике см.: М. А. Алпатов. Политические идеи французской историографии XIX в., гл. VI.

[122]) П. Г. Виноградов. Исследования по социальной истории Англии в средние века, стр. 28.

[123]) М. М. Ковалевский. Общинное землевладение, причины, ход и последствия его разложения, стр. IV.

точно выражает то соотношение, которое имеет место между учением Маурера и исследованиями русских медиевистов, и прежде всего самого Ковалевского, в области истории общинного землевладения.

Отношение к общинной теории, ее последователям и противникам наиболее полное выражение получило в историографической практике русских либеральных медиевистов. Своими исследованиями аграрных отношений в средневековой Европе они дали самое глубокое в буржуазной науке последней четверти XIX в. обоснование и развитие применительно к аграрным отношениям раннего средневековья общинной теории. Эти работы русских ученых, в особенности труды Виноградова и Ковалевского, оказали несомненно благотворное влияние на общее состояние исторической науки. Они, конечно, не могли предотвратить окончательное торжество антиобщинных концепций в буржуазной историографии, наступившее уже в XX столетии, но в то же время в определенной степени замедлили его, научно дискредитируя наиболее реакционные выводы этих концепций и вместе с тем способствуя распространению научно-достоверных представлений о природе социальных отношений в первобытную эпоху и раннее средневековье[124]).

В этом плане необходимо прежде всего отметить значение исследований Виноградова. Не будет преувеличением сказать, что в последней четверти XIX в. Виноградов был единственным крупным ученым, исследовавшим аграрные отношения раннесредневековой Англии с позиций последовательного сторонника общинной теории. Не говоря уже о Сиборне, и другие видные авторитеты английской медиевистики того времени нередко подвергали в своих работах критике основные положения учения Маурера, развивали взгляды, исключавшие признание свободной общины как исходного пункта аграрной эволюции Англии. Даже Мэн, много сделавший для развития общинной теории, на закате своей научной деятельности, по выражению Виноградова, «странным образом» в сущности присоединился к некоторым принципиаль-

---

[124]) О заслугах русских ученых в исследовании общины см.: Е. А. Косминский. Роль русских историков в разработке истории Англии (в кн.: Е. А. Косминский. Проблемы английского феодализма и историографии средних веков); его же. Изучение истории крестьянства и аграрных отношений в Англии (там же); Ф. Я. Полянский. Проблемы общины в работах М. М. Ковалевского (Вестник МГУ, серия общественных наук, 1952, № 7); П. Ф. Лаптин. Проблемы общины в трудах М. М. Ковалевского («Вопросы истории», 1955, № 9); его же. Проблемы общины в трудах И. В. Лучицкого (сб. «Средние века», вып. 23, М., 1963). См. также ряд работ о Ковалевском, принадлежащих перу советских этнографов. Их перечень дает Б. Г. Сафронов в монографии «М. М. Ковалевский как социолог», стр. 6—7.

ным положениям Сибома [125]). Решительным противником учения Маурера был создатель фискальной теории манора, крупнейший в английской буржуазной науке конца XIX — начала XX вв. авторитет в области феодального права Мэтланд. Он утверждал, что у германских племен изначально господствовала индивидуальная собственность на возделываемую землю. Правда, он делает некоторые оговорки относительно лугов, пастбищ и леса. Он готов даже признать, что при определенных благоприятных условиях деревня могла стать корпорацией, обладавшей земельной собственностью. Но и в этом случае общинная организация оставалась крайне слабой, единственной общинной связью была связь хозяйственная. Лишь впоследствии, заявляет Мэтланд, община приобретает политическое (фискальное) значение, что было обусловлено политикой государственной власти, превратившей ее в свою фискальную ячейку[126]). В другой своей работе он утверждал, что единицей древнего права являлся индивид, в то время как корпорация выступает единицей нового права[127]).

В этой научной атмосфере исследования Виноградова по истории английского феодализма приобретали значение принципиально нового подхода не только к изучению тех или иных конкретных вопросов истории средневековой Англии, но и прежде всего к пониманию самого существа исторической эволюции. Его глубоко аргументированный вывод о свободной сельской общине как исходном пункте аграрного развития средневековой Англии явился крупнейшим завоеванием общинной теории в изучении английской истории, имел своим следствием известное переосмысление взглядов, господствовавших в британской буржуазной историографии. Не случайно его исследования по истории средневековой Англии получили широкое признание в английской науке, принесли ему всемирную известность[128]). Даже Сибом под их влиянием вынужден был отчасти изменить свои собственные представления о характере аграрной эволюции Англии. В своем отклике на «Вилланство в Англии» он признал это исследование Виноградова несравненным по знанию источников и имеющим силу «судебного решения»[129]).

---

[125]) См.: П. Г. Виноградов. Очерки западноевропейской историографии. — ЖМНП, 1883, № 11, стр. 183, прим. 1.

[126]) См.: F. M. Maitland. Domesday Book and beyond, pp. 340—356.

[127]) F. M. Maitland. Township and borough. Oxford, 1898, p. 15.

[128]) О месте и значении Виноградова в английской и мировой науке см. в особенности H. A. L. Fisher. Paul Vinogradoff. A Memoir. Oxford, 1927.

[129]) См.: F. Seebohm. Villainage in England — «The English Historical Review», 1892, July, pp. 444—465.

Исключительно большое место в обосновании и развитии общинной теории принадлежит Ковалевскому. В его трудах эмпирические наблюдения Маурера, сделанные на материале германских племен (что и привело его, как известно, к заключению, что община является специфически германским учреждением), получили глубокое теоретическое обоснование, были обобщены как явление всемирно-исторического порядка[130]). Энгельс признает за этими трудами значение окончательного решения вопроса о господстве общественной собственности у всех народов в начальный период их развития. «После того, — писал он, — как Ковалевский доказал широкое, если не повсеместное распространение патриархальной домашней общины как промежуточной ступени между коммунистической семьей, основанной на материнском праве, и современной изолированной семьей, речь идет уже больше не о том, как это было в споре между Маурером и Вайцем, — общая или частная собственность на землю, а о том, какова была форма общей собственности»[131]).

Решительно отвергая теорию о том, что частная собственность «коренится в самой природе вещей»[132]), Ковалевский всеми своими трудами убедительно показал, что господство общественной собственности на определенной ступени исторического развития каждого народа являлось не результатом тех или иных случайных обстоятельств, а органически вытекало из объективных условий его материального существования. «Общение имуществ на низших ступенях гражданственности, — писал он, — обусловливается невозможностью успешной борьбы с природой иначе, как под условием соединения сил»[133]). Развивая положение о невозможности для первобытного человека в одиночку бороться с природой и добывать средства к существованию, ученый в другой своей работе связывает господство общественной собственности с существованием в первобытную эпоху совместного производства как следствия интеллектуального и физического бес-

---

[130]) Тем самым мы отнюдь не хотим преуменьшить значение других русских и зарубежных исследователей общинного землевладения. В частности, исключительно важная заслуга в обосновании положения об общественной собственности как всемирно-историческом явлении, присущем всему человечеству на определенной стадии его развития, принадлежит Моргану, Мэну, Лавелэ. Однако никто из корифеев марковой теории не сочетал в такой степени, как Ковалевский, углубленное исследование кардинальных проблем первобытной истории с синтетическим освещением на широком материале всемирной истории общих судеб общинного землевладения. В этом смысле труды Ковалевского представляют собою наиболее полное и цельное обоснование и развитие марковой теории.

[131]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, стр. 139—140.

[132]) См.: М. М. Ковалевский. Очерк происхождения и развития семьи и собственности, стр. 58.

[133]) М. М. Ковалевский. Общинное землевладение..., стр. 34.

силия человека в его борьбе с окружающим миром и одновременно основы всей общественной организации того времени[134]).

Стремление дать общинной теории глубокое экономическое обоснование, связать господство общественной собственности с определенным уровнем производства материальных благ в той или иной форме присутствует во всех трудах Ковалевского, посвященных общинной тематике. С этих позиций он в ряде случаев подходит к изучению эволюции форм общинной собственности и в особенности к исследованию причин ее разложения. Правда, и по этому вопросу, как и по многим другим, взгляды Ковалевского особой последовательностью не отличались. Нередко он в соответствии со своими исходными методологическими посылками преувеличивал значение роста плотности народонаселения, абсолютизируя его в качестве непосредственной и единственной причины перехода от одной формы общины к другой[135]). В ряде случаев исследование подлинных закономерностей в развитии общины подменяется указанием на обстоятельства вторичного и третичного порядка[136]).

Уделяя в своей историографической практике большое внимание выяснению условий разложения общинного землевладения, Ковалевский в то же время недостаточно учитывает специфику развития общины в различных типах классо-

---

[134]) М. М. Ковалевский. Очерк происхождения и развития семьи и собственности, стр. 57 — 58.

[135]) Так, в частности, обстоит дело с его трактовкой возникновения сельской передельной общины. Практика переделов, с его точки зрения, появляется вследствие того, что оказываются исчерпанными все другие способы установления поземельного равенства ввиду все увеличивающегося населения и исчезновения пустопорожней земли, которую можно было бы расчистить под обработку (см. его «Очерк происхождения и развития семьи и собственности», стр. 157). Конечно, трудно спорить с утверждением, что возрастание плотности населения ведет к исчезновению свободной площади, годной под обработку, и тем самым способствует возникновению практики ежегодных переделов земли. Однако Ковалевский явно упрощает в угоду своим излюбленным взглядам реальную историческую действительность, когда только к этой причине сводит появление сельской передельной общины. Не говоря уже о необходимости при решении данного вопроса принимать во внимание всю совокупность материальных условий существования общества на определенной стадии его развития, которые никак не могут быть сведены к росту населения, его объяснение игнорирует даже тот фактор, который ученый обычно широко привлекает в своем толковании причин разложения общинного землевладения — внутреннюю борьбу в самой общине.

[136]) См., например, его утверждение, что «семейную общину как учреждение подтачивает и разлагает инстинкт индивидуализма» (там же, стр. 116). Само по себе это утверждение возражений не вызывает. Но дело заключается как раз в том, чтобы выяснить условия, при которых этот инстинкт начинает проявляться, а тем более оказывать могущественное влияние на весь ход общественного развития.

вого общества. Указывая,что «источник движения, приведшего к распадению сельской общины, приходится искать в причинах социального порядка»[137]), Ковалевский тем не менее отказывается от дифференцированного подхода к выяснению влияния на судьбы общины феодальных общественных отношений, с одной стороны, и буржуазных — с другой. В его работах, посвященных общинной собственности, это влияние нередко как бы выносится за одни скобки, без достаточного учета того принципиального различия в условиях существования, какое создавали для общины строй феодальный и строй капиталистический[138]). В его изображении силы, разрушающие общину, действуют в течение столетий, качественно не изменяясь. «Всюду, — утверждает он, — замена общинной собственности частной явилась результатом действия одного и того же мирового явления — борьбы интересов»[139]). И далее, разъясняя эту формулу, он рассматривает разложение общины как следствие возникновения дворянства, торгово-промышленных классов и т. п.[140]).

С другой стороны, Ковалевский недооценивает значение тех перемен в судьбах общины, которые принесло с собою торжество феодального строя. Справедливо указывая, что решающее влияние на судьбы общинного землевладения имело развитие капиталистического производотва, он утверждает, что установление феодализма лишь «сузило и изменило характер аграрных общин»[141]). Он, конечно, не мог пройти мимо закрепощения общины, но для него этот факт представляет собою не радикальный переворот в самом существе общинной организации, а в определенном смысле внешнее явление по отношению к природе общинных порядков, которое привело лишь к изменению личного положения крестьянина, но оставило в неприкосновенности его отношение к земле[142]).

Вследствие такого формально-юридического подхода Ковалевский не сумел понять действительное место общины в системе феодальных отношений, а тем самым и подлинный характер этих отношений. Объективно это вело к идеализации феодального порядка вещей.

---

[137]) Там же, стр. 162.

[138]) Ср. Ф. Я. Полянский. Проблемы общины в работах М. М. Ковалевского. — «Вестник Московского университета», Серия общественных наук, 1952, № 7, стр. 99.

[139]) М. М. Ковалевский. Общинное землевладение..., стр. 4.

[140]) Ср. М. М. Ковалевский. Очерк происхождения и развития семьи и собственности, стр. 166.

[141]) М. М. Ковалевский. Развитие народного хозяйства в Западной Европе, стр. 210.

[142]) Там же, стр. 204—213; его же: Очерк происхождения и развития семьи и собственности, стр. 171.

Однако, несмотря на отмеченные недостатки, усугубившиеся общими эволюционистскими представлениями Ковалевского о характере исторического развития, в целом его исследования, посвященные общинной тематике, справедливо рассматриваются в марксистской науке как одна из вершин, достигнутых прогрессивной буржуазной мыслью прошлого столетия. Мы не ставим перед собою цели дать всестороннюю оценку взглядов Ковалевского по данному вопросу, тем более, что во многих его работах делается акцент на исследовании общественных отношений в доклассовый период, что, естественно, выходит за рамки настоящей работы. Наша задача гораздо у́же — показать значение трудов Ковалевского для обоснования общинной теории применительно к истории раннего западноевропейского средневековья. В этой связи необходимо вновь обратиться к его «Экономическому росту Европы...». При всех своих недостатках первый том этой книги является фактически фундаментальным обоснованием общинной теории на конкретном материале раннефеодального европейского Запада. Воссоздавая грандиозную картину генезиса западноевропейского феодализма, вскрывая особенности этого процесса в различных исторических условиях, Ковалевский видел одну из центральных своих задач в том, чтобы проследить судьбы свободной сельской общины. На протяжении всего тома он полемизирует со взглядами тех реакционных ученых, кто, подобно Фюстель де-Куланжу и Сибому, отрицал существование свободной общины в истории, и нужно сказать, что страницы, посвященные полемике с противниками общинной теории, принадлежат к числу лучших в книге.

В первом томе «Экономического роста Европы...» Ковалевский, как известно, рассматривает генезис феодализма у различных народов Западной Европы под углом зрения соотношения римских и германских элементов в этом процессе. В силу этого проблема общины в разных разделах книги занимает неодинаковое место. Наряду с главами, где вокруг нее фактически строится все изложение (главы, посвященные древним германцам, аграрным отношениям у франков в эпоху «Салической правды» и т. п.), мы встречаем здесь и такие разделы, в которых в соответствии с реальной исторической действительностью этот сюжет не играет серьезной роли.

Однако независимо от того, много или мало, смотря по обстоятельствам дела, Ковалевский говорит о свободной общине, она неизменно присутствует во всех его построениях по генезису феодализма в Западной Европе. Свободная община рассматривается им как необходимый атрибут тех общественных отношений у германских племен, которые составили исходный пункт феодализационного процесса у них.

Ковалевский вводит в книгу специальную главу «Древнегерманская марка» (гл. XV)[143]), посвященную утверждению той мысли, что аграрные порядки средневековой Европы не могут быть поняты без признания господства свободной общинной собственности на землю у древних германцев. В этом обстоятельстве он усматривает кардинальный факт всей аграрной истории Европы, объясняющий не только характер общественных отношений в первобытную эпоху, но и некоторые существенные особенности землепользования в средние века. В полемике с Фюстель де-Куланжем, которая ведется на протяжении всей главы, он утверждает, что средневековые сервитуты уходят своими корнями к седой древности, будучи генетически связанными с древнейшими формами собственности, существовавшими у первобытных племен. «Недостаточно показать неосновательность взгляда, будто марка равнозначительна с поместьем, — пишет в этой главе Ковалевский, — необходимо доказать еще, что отождествление ее с общинными угодьями, так часто встречающееся в грамотах XII и следующего столетия, имеет за себя глубокие исторические причины»[144]). В сущности говоря, доказательству этого последнего положения и посвящена в значительной своей части книга Ковалевского.

Не останавливаясь на трактовке ученым таких вопросов, как аграрные отношения у древних германцев в эпоху Цезаря и Тацита и франков в эпоху «Салической правды» (гл. II, III), где и до него в буржуазной медиевистике имелась сильная традиция в освещении этих вопросов с позиций общинной теории, да и сам характер источников облегчал осуществление такой задачи, отметим его стремление установить следы свободной общинной собственности на землю в случаях спорных, когда отсутствуют прямые указания на ее существование. Скудость источников, отрывочность и противоречивость сообщаемых ими свидетельств он пытается преодолеть, исходя из общих теоретических представлений о характере аграрных отношений на определенном этапе развития общества, с точки зрения которых и оценивается вся совокупность фактических данных, которыми обладает ученый. Так, в частности, подходит Ковалевский к выяснению характера аграрного строя у алеманнов. Несмотря на то, что «Алеманнская правда» содержит лишь косвенные данные об общинном землевладении, ученый приходит к выводу, что «последнее было господствующим типом поземельных отношений

[143]) Эта глава представляет собою почти дословную перепечатку его статьи «Древнегерманская марка (Ответ Фюстель де-Куланжу)», опубликованной в журнале «Юридический вестник», 1886, № 4.

[144]) М. М. Ковалевский. Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства, т. 1, стр. 444.

в эпоху ее редактирования»[145]). Этот вывод основывается на всестороннем учете и обобщении с позиций общинной теории всех свидетельств, относящихся к социальным отношениям и аграрным порядкам алеманнов на всем протяжении их истории — от времени древнейших поселений до IX—X вв.[146]).

Следует особо отметить стремление Ковалевского обнаружить следы свободной общины даже в сильно романизированных областях бывшей Римской империи после поселения там германцев. Несмотря на отмеченное выше несомненное преувеличение ученым роли римской традиции в становлении феодальных отношений в средневековой Европе, он не только не отрицал сам факт существенных перемен, принесенных германцами на территорию Римской империи, но и посвятил их изучению значительное место в своей книге. В числе этих перемен особенно большое внимание Ковалевский уделял сдвигам в аграрных отношениях, обусловленным влиянием германской общины. Показательна в этой связи его трактовка аграрных отношений в Лангобардской Италии. Полагая, что утверждение лангобардов в Северной Италии не привело к радикальной ломке существовавших там со времени Империи аграрных порядков, он в то же время решительно отвергает и точку зрения тех ученых, кто вообще отрицал всякое серьезное значение лангобардского завоевания в социальной и аграрной эволюции раннесредневековой Италии. «Сказать, однако, что лангобардское завоевание не вызвало никаких перемен в сфере собственности и владения, — заявляет он, — было бы решительным преувеличением»[147]). Один из важнейших результатов этого завоевания он и усматривает в широком распространении в северной Италии общинных форм землепользования[148]). Как уже отмечалось, в римском влиянии Ковалевский видел одну из важнейших причин разложения свободной сельской общины в раннее средневековье. В то же время, говоря даже о таких подвергшихся сильной романизации племенах, какими были уже в конце V — первой половине VI вв. бургунды, он считал необходимым подчеркивать сохранение у них известных форм общинного землевладения. В полемике с Фюстель де-Куланжем он доказывает наличие в «Бургундской правде» указаний на существование у бургундов общинных угодий[149]).

Обосновывая общинную теорию, Ковалевский приходит к важному выводу о наличии опосредствующих форм между

---

[145]) Там же, стр. 215,
[146]) См. там же, гл. VIII, §§ 1—4.
[147]) Там же, стр. 315.
[148]) Там же, стр. 325.
[149]) Там же, стр. 119 и след.

частной собственностью на землю и общинным землевладением. Он указывает, что историко-сравнительное изучение аграрных порядков раскрывает длинный ряд форм коллективной поземельной собственности, не нуждающихся в пределах земли, показывает возможность сочетания общинного принципа земельной собственности и дворового владения и т. п.[150]).

Своеобразным дополнением к нарисованной Ковалевским картине генезиса западноевропейского феодализма является большая статья Лучицкого о пиренейской общине. Убежденный сторонник общинной теории, Лучицкий, формулируя цели этой статьи, одну из них видел в том, чтобы способствовать утверждению «на более прочных научных основаниях той часто забываемой истины, что формы общинного владения, как и целый ряд других явлений и учреждений народных, не суть исключительная или специфическая принадлежность или свойство той или иной нации или расы, не составляют результата какого-то самобытного народного духа, славянского или иного, а представляют собою факты развития, формы его, свойственные всему человечеству, всем его расам»[151]).

Прослеживая с этих позиций судьбы пиренейской общины, Лучицкий уделяет серьезное внимание ее древнейшим формам. Он подчеркивает безраздельное господство общественной собственности в первобытную эпоху. Словно полемизируя с Маурером и другими учеными, признававшими изначальное существование наряду с общинным землевладением вотчины, он решительно утверждает, что в первобытную эпоху вся пахотная земля находилась в общем владении, «вне общинной собственности не существовало никакой иной, частной собственности»[152]). Из этой архаической формы общины и вырабатываются постепенно другие, более развитые. Одной из них являлась форма, господствовавшая на Пиренеях в раннее средневековье. Несмотря на скудость относящихся к этому времени источников, Лучицкий, мастерски исследуя отрывочные данные, содержащиеся в раннем тексте вестготского кодекса и хартиях IX в., приходит к выводу о су-

---

[150]) Там же, стр. 51. О научных заслугах Ковалевского в решении вопроса о конкретных формах сельской общины см.: Ф. Я. Полянский. Проблема общины в работах М. М. Ковалевского. — «Вестник Московского университета». Серия общественных наук, 1952, № 7, стр. 96—98.

[151]) И. В. Лучицкий. Поземельная община в Пиренеях. — «Отечественные записки», 1883, № 9, стр. 57—58.

[152]) Там же, № 12, стр. 425. При этом показательно стремление Лучицкого к генерализации своего утверждения. Выводы, сделанные на материале древней Иберии, он сопоставляет с данными, относящимися к общественному устройству других народов, находившихся на более или менее одинаковой ступени развития (см. там же, стр. 428—430), подчеркивая тем самым их всеобщность.

ществовании общинной поземельной собственности на Пиренейском полуострове в эпоху вестготов и непосредственно после арабского завоевания, хотя и отказывается ввиду отсутствия необходимых фактов сколько-нибудь подробно рассматривать характер и внутреннюю структуру раннесредневековой пиренейской общины[153]).

Трудами Ковалевского, Виноградова, Лучицкого русская либеральная медиевистика внесла выдающийся вклад в исследование генезиса западноевропейского феодализма с позиций общинной теории. На огромном фактическом материале, относящемся почти ко всем народам Западной Европы, она показала повсеместное распространение в раннее средневековье свободной сельской общины как важнейшего элемента общественного устройства варварских племен, с которым они вступили в феодализационный процесс[154]). В ее концепции генезиса феодализма общинная теория освободилась от ряда противоречий, присущих учению Маурера, преодолела в известной степени свойственные ему ограниченность и непоследовательность.

Стойкая приверженность русских либеральных медиевистов к общинной теории нашла свое выражение и в их трактовке феодальной вотчины. В их концепции западноевропейского феодализма вотчина занимает центральное место как важнейшая социальная ячейка феодального общества, оказывающая серьезное влияние на все стороны его жизни. Достаточно указать на труды Виноградова и Петрушевского, составившие эпоху в изучении английского манора. Судьбы средневековой вотчины на разных этапах ее истории вызывали научный интерес и других русских либеральных медиевистов.

В трактовке природы феодальной вотчины и ее места в средневековом обществе русские либеральные медиевисты во многом следовали в русле вотчинной теории, что особенно отчетливо выступает в трудах Виноградова и Петрушевского. Классическая теория манора, в создании и разработке которой Виноградову и Петрушевскому принадлежит выдающаяся роль, является по существу модификацией вотчинной теории применительно к условиям средневековой Англии. В соот-

---

[153]) См. там же, стр. 423.

[154]) В значительной степени благодаря трудам Ковалевского, Виноградова, Лучицкого это положение стало общепризнанным в русской исторической науке конца XIX — начала XX в. Любопытный пример того, насколько оно сделалось общим местом в науке, представляет официальная рецензия в «Журнале Министерства народного просвещения» на учебник для V класса гимназий. Один из крупных недостатков учебника рецензент усматривает в игнорировании существования общинного землевладения у древних германцев (см. ЖМНП, 1901, № 4, стр. 27).

ветствии с канонами этой теории английский манор рассматривался как важнейшее социальное образование средневековья, «образующая клеточка» феодального общества[155]) а сфера манориальных отношений — как ведущая в народной жизни. Не случайно кризис манориальной организации в XIV в. Петрушевский расценивает как народнохозяйственный кризис, основывая на этом всю свою концепцию восстания Уота Тайлера.

Рассматривая манориальную организацию как основную экономическую и социальную ячейку английского средневекового общества, Виноградов и Петрушевский соответственно с этим и строили свои исследования. В центре их внимания — структура манора и его эволюция, характер взаимоотношений между барским двором и крестьянской общиной, манориальный обычай и манориальная юрисдикция, другими словами — весь сложный комплекс вопросов, связанных с функционированием манориальной организации. Общеизвестны успехи, достигнутые ими в решении этих вопросов. Виноградовская характеристика манора стала классической, оказала большое плодотворное влияние на современную ей науку, надолго определив сам подход к изучению английской вотчины XIII в. Исследования Петрушевского явились дальнейшим шагом вперед в изучении манора. Во второй части «Восстания Уота Тайлера» на обширном документальном материале Петрушевский поставил вопрос о характере и путях разложения манориальной организации в условиях развития товарно-денежных отношений.

Аналогичный круг вопросов привлекал внимание и других русских либеральных исследователей западноевропейского феодализма. Так, в частности, обстояло дело с Ковалевским, рассматривавшим в первых томах «Экономического роста Европы...» социально-экономические отношения в средние века под углом зрения генезиса, природы и разложения феодальной вотчины (поместья, по его терминологии).

Вместе с тем обращает на себя внимание специфика постановки вопроса о вотчине в русской либеральной историографии. В отличие от зарубежных представителей вотчинной теории русские либеральные медиевисты подходили к проблеме феодальной вотчины с позиций признания важной роли в аграрных отношениях и социальном строе сельской общины даже после ее закрепощения. В то время как Инама-Штернегг, Лампрехт и их последователи в анализе средневековой вотчины фактически элиминировались от проблемы места крепостной общины в системе феодальных отношений,

---

[155]) Ср. Е. А. Косминский. Проблемы английского феодализма и историографии средних веков, стр. 116.

русские либеральные медиевисты в своих исследованиях акцентировали внимание именно на этой проблеме, с чем были связаны как сильные, так и слабые стороны в их трактовке природы этих отношений.

Рассматривая процесс феодализации западноевропейского общества в значительной мере под углом зрения подчинения свободной общины власти крупного земельного собственника-феодала, русские либеральные медиевисты видели в закрепощенной общине существенный факт всей социальной структуры феодального общества. В их концепции так называемого социального феодализма крепостной общине наряду с феодальным поместьем отводилась роль важнейшего компонента аграрной организации средневековья. Взаимоотношения между крепостной общиной и феодальным поместьем, с их точки зрения, определяли собою существенное содержание аграрного, а с ним вместе и всего социального строя европейского средневекового общества.

Особенно полное воплощение эти взгляды нашли в теории английского манора, развитой в трудах Виноградова и Петрушевского. Вся виноградовская концепция английского феодализма, оказавшая большое влияние на русскую и зарубежную медиевистику, в сущности, построена на признании решающего влияния общинной организации на характер земельных отношений, да и на структуру самого манора. Феодальные отношения, господствовавшие в средневековой Англии, словно пропускаются ученым сквозь призму крепостной общины, что дает ему возможность построить оригинальную теорию манора как своеобразной политической надстройки над крестьянской общиной. Уже в своей докторской диссертации Виноградов рассматривает аграрный строй развитого английского средневековья как продукт взаимодействия двух тесно связанных между собою, но сохраняющих при этом относительную самостоятельность организмов — феодального поместья и вилланской общины. Под этим углом зрения рассматриваются как общие закономерности средневекового аграрного строя, так и внутренняя организация манора[156]).

---

[156]) См.: П. Г. Виноградов. Исследования по социальной истории Англии в средние века, гл. II. Правда, в свои построения Виноградов вводит и третий компонент — свободное население поместья, которому придается важное значение в объяснении характерных особенностей манориальной организации, однако это обстоятельство лишь с новой силой подчеркивает приверженность ученого к марковой теории. Ведь в его концепции свободные крестьяне средневековья — это осколок некогда могущественного класса, являвшегося главным элементом общественной жизни дофеодальной эпохи, а самое их существование в качестве обязательного условия образования манориальной курии рассматривается как свидетельство того, что манориальное собрание по самому существу своему — не вотчинного происхождения и является учреждением свободным, хотя большинст-

Дальнейшее развитие и конкретизацию взгляды Виноградова на место крепостной общины в аграрном строе средневековья получили в его исследовании о вилланстве в Англии. Посвящая второй очерк книги специально изучению вопроса о взаимоотношении манора и сельской общины в XIII в., Виноградов всем ходом своего изложения подчеркивает первенствующее значение последней в аграрном строе страны. В его изображении сельская община выступает в отношении к манору первичным элементом аграрной жизни, вследствие чего характерные для нее хозяйственные распорядки рассматриваются как типичные для всего аграрного строя. Неоднократно подчеркивая, что манориальный элемент наложен сверху на общинный[157]), он в этом последнем усматривает главную ячейку аграрной жизни средневековой Англии. «В большом числе случаев поместье и община совпадают и о таких случаях нет надобности распространяться, — пишет ученый, — но если не совпадают, аграрной единицей является деревня, а не манор»[158]).

Аналогичные взгляды легли в основу и созданной Петрушевским концепции восстания Уота Тайлера. Определяя вслед за Виноградовым хозяйственную связь между общиной и манором как основу средневекового социального строя, Петрушевский в разрыве этой связи усматривает решающую причину крушения всего «социального феодализма», что привело к росту социальной напряженности в английской деревне, а в конечном итоге и к восстанию 1381 г.[159]).

На примере Петрушевского особенно явственно выступают слабые стороны развитой в русской либеральной медиевистике теории английского манора. Подчеркивание роли крепостной общины в аграрном строе средневекового общества оказалось в русской либеральной медиевистике органически связанным с идеализацией социальных отношений в этом обществе. Отчетливо выступая уже в построениях Виноградова, она доводится до своего логического конца в пресловутой теории гармонии интересов лорда манора и крепостной об-

во его членов уже потеряло свое независимое положение (см. там же, стр. 170, 176—177). К тому же следует иметь в виду, что, с точки зрения Виноградова, свободные крестьяне в период развитого средневековья составляли незначительное меньшинство крестьянского населения, вследствие чего главными элементами аграрного строя и выступают у него феодальное поместье и зависимая от него община, куда, кстати, входят и свободные люди (см. там же, стр. 186).

[157]) См., в частности, P. Vinogradoff. Villainage in England. pp. 404, 408.

[158]) Ibidem, p. 395.

[159]) См.: Б. Г. Могильницкий. К вопросу об эволюции концепции Д. М. Петрушевского о восстании Уота Тайлера. — «Труды Томского государственного университета им. В. В. Куйбышева», т. 171, Томск, 1963, стр. 145—147.

щины, на которой строится Петрушевским вся его концепция аграрных отношений в Англии до середины XIII в.[160]). Но тем самым приходится признать, что стремление к сочетанию общинной и вотчинной теории, обусловив существенные успехи в объяснении истории средневекового общества, оказалось связанным с одним из наиболее слабых пунктов в концепции западноевропейского феодализма, присущим ряду русских либеральных медиевистов. Признание гармонии интересов феодалов и крепостных крестьян, объединенных в общину как автономный хозяйственный и социальный союз, является органической частью общинной теории. Неизбежным следствием этого являлась идеализация феодальных общественных отношений, забвение качественного различия между общиной крепостной и свободной. Все эти недостатки оказались вполне присущими и историческим взглядам русских либеральных медиевистов.

3. Русская либеральная медиевистика о феодальном государстве

Концентрируя свои усилия в сфере исследования аграрных отношений западноевропейского средневековья, русские либеральные медиевисты вместе с тем рассматривали их эволюцию в тесной связи с общими историческими условиями, характеризовавшими жизнь средневекового общества. В частности, в их концепции западноевропейского феодализма большое место занимает вопрос о средневековом государстве, его природе и роли в социальном развитии средневековья. На его трактовке с особой силой сказались исходные идейно-методологические позиции русской либеральной медиевистики[161]).

Обращает на себя внимание глубокий и стойкий интерес ее представителей к этому вопросу. Не будет преувеличением отметить его присутствие во всех работах русских медиевистов, посвященных исследованию социальных отношений западноевропейского средневековья. Не говоря уже о той политической актуальности, которую идеологи либерализма сумели придать этому вопросу, его изучение имело большое чисто

---

[160]) Критику этой теории, как и всей концепции английского манора, созданной в русской медиевистике, см.: Е. А. Косминский. Исследования по аграрной истории Англии XIII в., в особенности, стр. 402—409.

[161]) О взглядах русских либеральных медиевистов на средневековое государство в связи с их общими теоретическими представлениями см.: П. Лаптін. «Економізм» і проблеми держави західно-европейського середньовіччя в російській ліберально-буржуазній позитивістській історіографії. Кам'янець-Подільскій, 1965.

научное значение, образуя необходимый компонент всей их концепции западноевропейского феодализма. В своих трудах русские либеральные медиевисты подняли широкий круг вопросов, связанных с генезисом различных форм средневекового государства, его взаимоотношением с классами феодального общества, местом в экономической жизни этого общества. Не задаваясь целью систематического освещения всех этих сюжетов, мы в дальнейшем остановимся лишь на рассмотрении наиболее существенных вопросов, выяснение которых позволяет наметить ведущие линии в интерпретации проблемы феодального государства в русской либеральной медиевистике середины 70-х — начала 900-х годов.

Не подлежат сомнению известные успехи, достигнутые русскими либеральными историками в изучении рассматриваемой проблемы. С большой силой в целом ряде их трудов была подчеркнута феодальная природа средневекового государства, приводились многочисленные факты, свидетельствовавшие о том, что его политика обусловливалась определенными классовыми интересами. Уже в одной из своих ранних работ Ковалевский подвергает решительной критике представления о королевской власти в средние века как воплощении справедливости и беспристрастия. Он высмеивает центральную мысль социологической теории Л. Штейна о королевской власти и бюрократии как спасителях общества от сословной розни, порождаемой различием сословных или классовых интересов. Указывая затем, что эта мысль лежит в основе всех исторических построений ученика Штейна — Гнейста, он отмечает ее ненаучность, подчеркивая, что идеализируемые Гнейстом английские короли являлись в действительности «односторонними защитниками интересов владетельных классов»[162]).

Особенный интерес, конечно, представляет изложение Ковалевским собственных взглядов по этому вопросу. В подходе к его решению он исходит из своих общих представлений о государстве, согласно которым в средние века, в отличие от нового времени, государственная власть была тесно связана с защитой определенных классовых интересов и проводила их в своей политике. Ковалевский прямо подчеркивает, что даже в позднее средневековье королевская власть еще не порвала своей вековой связи с владетельными классами[163]). Не возвращаясь вновь к общей оценке всей совокупности взглядов ученого на государство, отметим, что, взятые применительно к феодальному государству, они открывали

[162]) М. М. Ковалевский. Английская конституция и ее историк, стр. 32.

[163]) М. М. Ковалевский. Экономический рост Европы..., т. II, стр. 525.

определенные возможности для понимания его социальной природы.

Ковалевский рассматривает средневековое государство как силу, все действия которой в конечном итоге обусловлены потребностями развития и укрепления господствовавших при феодализме общественных отношений. Он подчеркивает активную роль королевской власти в складывании крупной частной собственности на землю в раннее средневековье[164]) и, в особенности, в закрепощении свободных общинников, неправомерно объявляя государство даже в отдельных случаях инициатором этого процесса[165]). Ковалевский обращает внимание на борьбу королевской власти с бегством крепостных[166]) и крестьянскими восстаниями[167]). Он прямо пишет, что в любой период истории средних веков существовала государственная санкция экономических отношений[168]).

Особенно четко Ковалевский ставит вопрос о классовой природе сословной монархии. Говоря об этой последней и о средневековой городской республике (которую он неправомерно называет буржуазной республикой), ученый подчеркивает: «При всем различии обеих они имеют то общее, что к участию в суверенитете, к разделу политической власти и представительству в законодательных собраниях страны призываются одни владетельные классы при совершенном исключении простонародья сел и городов»[169]). Это положение Ковалевского реализуется в его анализе рабочего законодательства в европейских странах середины XIV в. Ученый подчеркивает его узкосословный характер[170]). Под этим углом зрения в т. III «Экономического роста Европы...» обстоятельно рассматриваются принятые в различных странах Западной Европы после эпидемии чумы 1348—1349 гг. законы о рабочих. Рабочее законодательство XIV в. для Ковалевского выступает ярким примером классовой политики государства, который он, в частности, использует в полемике с французским социологом Дюркгеймом. Критикуя взгляды последнего о регулирующей роли средневекового государства в отноше-

---

[164]) Там же, т. I, стр. 64, 91 и многие другие.

[165]) См.: М. М. Ковалевский. История полицейской администрации (полиция безопасности) и полицейского суда в английских графствах с древнейших времен до смерти Эдуарда III, стр. 16. Ср. его же. «Очерки по истории политических учреждений России», стр. 33.

[166]) Там же, стр. 108.

[167]) М. М. Ковалевский. Экономический рост Европы..., т. II, стр. 525.

[168]) М. М. Ковалевский. Современные социологи, стр. 285.

[169]) М. М. Ковалевский. Экономический рост Европы..., т. III, стр. 176.

[170]) М. М. Ковалевский. Мое научное и литературное скитальчество. — «Русская мысль», 1895, № 1, стр. 176.

ниях между классами, Ковалевский на данном примере показывает, что государство отнюдь не выступало бесстрастным посредником в этих отношениях и тем более не защищало интересы трудящихся. «Да и есть ли возможность предаваться иллюзии, — продолжает он, — что власть, выражающая собою интересы владетельных классов, а такой она только и могла быть в средневековом обществе, возьмет на себя заботу о повышении заработков и даже о сохранении их на их нормальном уровне, определяемом отношением спроса к предложению»[171]).

Вместе с тем, как и другие буржуазные ученые, Ковалевский не сумел понять классовой природы феодально-абсолютистского государства. В соответствии с господствующей в буржуазной историографии традицией он рассматривает политику абсолютистского государства как политику, по сути своей антифеодальную. Самое возникновение абсолютизма он расценивает как процесс, происходивший «скорее в интересах, нежели против интересов простого народа»[172]).

Взгляды Ковалевского на природу феодального государства не являются исключительными в русской либеральной медиевистике. В целом ряде моментов с ними соприкасаются воззрения его коллег, в частности, Кареева. Подобно Ковалевскому, Кареев настойчиво подчеркивает феодальную природу сословной монархии. Он определяет ее как «организованное господство главным образом землевладельческих сословий, т. е. духовенства и дворянства, составлявших в обществе так сказать помещичьий класс», отмечая при этом ее неблагоприятное отношение к народной массе, в частности, к крестьянству[173]). Кареев указывает на феодальный характер королевской власти в средние века, подчеркивая, что сила ее определялась собственно феодальными владениями государя[174]).

Однако в целом трактовка феодального государства Кареевым являлась более поверхностной, чем у Ковалевского, в гораздо большей степени на ней отразилось характерное для буржуазной науки представление о надклассовой природе государства. Применительно к истории средних веков это представление, как известно, трансформируется в тезис об антифеодальной природе средневекового государства. В ряде случаев этот тезис получает поддержку и у Кареева.

---

[171]) М. М. Ковалевский. Современные социологи, стр. 151.

[172]) М. М. Ковалевский. Английская конституция и ее историк, стр. 59.

[173]) Н. И. Кареев. Поместье-государство и сословная монархия средних веков, стр. 314 — 315.

[174]) Н. И. Кареев. Введение в курс истории нового времени, стр. 16, 51.

Для него начало государственности и феодальное начало — понятия, исключающие друг друга. Он считает возможным даже говорить о процессе перехода от «феодальной системы к государственности» как одной из интереснейших сторон европейской истории в позднее средневековье[175]). Существенное содержание истории западноевропейского государства XVI—XVIII вв. он видит в борьбе с «враждебными ему силами феодализма и католицизма», рассматривая его развитие как преодоление этих сил, высвобождение из-под феодальных начал[176]).

Нетрудно увидеть предпосылки такого понимания взаимоотношений государства и феодализма в средние века. Оно коренится не только в отрицании классовой природы государства, но и в понимании феодализма как состояния политической раздробленности по преимуществу. Борьба королевской власти за государственную централизацию превращается с этой точки зрения в «преодоление» феодализма. Отсюда становятся понятны утверждения того типа, что феодальная сеньерия находится в антагонизме с государством[177]). Следствием такой трактовки феодального государства является искаженное предотавление о его социальных функциях. В изображении Кареева королевская власть выступает противником не только политического могущества феодальных сеньеров, но и всего общественного строя, основанного на феодальной эксплуатации крепостного и зависимого крестьянства, правда, противником, с его точки зрения, далеко не всегда последовательным, что он с неудовольствием и отмечает в своих работах. Так, он пишет, что королевская власть, разрушая феодализм в политической сфере, оставляла его неприкосновенным в области гражданского права и социально-экономических отношений, сохраняя сословные привилегии. При этом либеральный ученый упрекает государство за то, что оно обращало мало внимания на тягостность для народных масс этих привилегий. С его точки зрения, такое забвение интересов народа являлось не закономерным следствием социальной природы государства XVI—XVIII вв., а роковым извращением этой последней.

Нормальным типом отношений между королевской властью и народными массами Кареев считает их взаимное сотрудничество, стремясь при этом доказать антикрепостническую направленность, якобы присущую политике государства.

---

[175]) Н. И. Кареев. Введение в курс истории средних веков, стр. 41.

[176]) См.: Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время, Т. I, стр. 19 — 20, 24; Философия культурной и социальной истории нового времени, стр. 29 — 30.

[177]) Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время, Т. I, стр. 23.

Он утверждает, что во Франции уже в XII в. «начинается союз правительства с народной массой», хотя и признает, что последней часто приходилось разочаровываться в своих упованиях на королевскую власть, ибо короли были покровителями, далеко не искренними[178]). О союзе королевской власти и народных масс в борьбе с феодальными сеньерами Кареев говорит и применительно к истории средневековой Англии[179]). Кареев не мог не видеть[180]), что за исключением отдельных частных случаев политика средневекового государства в отношении народных масс и прежде всего крепостного крестьянства была неизменно враждебной. Показательно, что его положение о союзе «правительства и народа» в средние века остается, в сущности, декларативным, да к тому же оснащенным многочисленными оговорками. Но в то же время это не изменяло его общей трактовки природы феодального государства.

Характерным образом, руководствуясь своими общими теоретическими представлениями, Кареев не только не отождествлял средневековое государство, как определенную социологическую категорию, с его конкретно-историческими формами, но и последовательно проводил между ними принципиальное различие.

Рассматривая ту или иную государственную форму, отмечая враждебный широким массам характер ее политики, он в то же время обращал внимание своих читателей на специфику этой формы, ее противоречие самой государственной идее. Именно так обстоит дело с его трактовкой сословной монархии. Он подчеркивает, что средневековое сословное представительство являлось органом социальных интересов землевладельческих классов, орудием, с помощью которого эти классы могли осуществлять свои цели в ущерб народным интересам[181]). Но само сословное представительство рассматривается Кареевым как орган, возникший в борьбе с королевской властью и по самой своей природе враждебный этой последней. История сословной монархии для Кареева, как, впрочем, и многих других буржуазных историков, это — история борьбы двух враждебных друг другу начал: королевской власти и привилегированных сословий[182]). Ее результаты

[178]) Там же, стр. 167—168.

[179]) Н. И. Кареев. Поместье-государство и сословная монархия средних веков, стр. 158.

[180]) Об этом свидетельствует в первую очередь его собственная историографическая практика.

[181]) Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время. Т. I, стр. 202; Философия культурной и социальной истории нового времени, стр. 48 — 49.

[182]) См.: Н. И. Кареев. Поместье-государство и сословная монархия средних веков, стр. 222 — 282.

в разных странах могли складываться по-разному, но та интерпретация, которую он дает борьбе королевской власти с феодальной знатью, неправомерно отождествляя последнюю со всем господствующим классом, наводит на мысль о том, что королевская власть отрывается Кареевым от ее социальных основ; из выразителей интересов известных классов средневековые государи превращаются в носителей государственной идеи, необходимо не связанной с каким-либо определенным классом феодального общества. Правда, весьма часто тот или иной государь в своей конкретной политике выражал интересы феодального дворянства, и Кареев об этом пишет в своих работах. Но как бы такие факты ни были многочисленными, они по самой своей сути остаются единичными и ни в коей мере не могут, с точки зрения Кареева, рассматриваться как отражение классовой природы государства, ибо таковая для него вообще не существует[183]).

Говоря о трактовке феодального государства в русской либеральной медиевистике, необходимо отметить наличие точки зрения, несомненно, преувеличивавшей роль королевской власти в развитии социальных отношений в средневековом обществе. Эта точка зрения явственно прослеживается в работах Виноградова. Признавая, что «отчасти, если только не по большей части, самые государственные установления до некоторой степени выходят из общественных группировок, высшая форма которых есть образование классов»[184]), Виноградов тем не менее в своем анализе социальных отношений в средневековой Англии нередко поступал наоборот, пытаясь обнаружить пружины эволюции этих отношений в политике королевской власти. Характерна уже сама его постановка вопроса. Виноградов подчеркивает двоякую природу происхождения всякой классовой структуры в обществе. «С одной стороны, они, — говорит ученый о классах, — слагаются под влиянием экономических законов, под влиянием разделения труда и комбинации его; с другой стороны, рядом с этим действуют политические причины: именно общественный строй

---

[183]) Справедливости ради следует отметить известную непоследовательность Кареева в этом вопросе. Он может, например, заявлять, что крупные землевладельцы — светские и духовные — составляли правящий класс в период абсолютизма (Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время. Т. I, стр. 147), что «западноевропейское государство—и в форме сословной монархии, и в абсолютной до поворота в политике последней в эпоху просвещенного абсолютизма — игнорировало народные массы» (Н. И. Кареев. Философия культурной и социальной истории нового времени, стр. 56) и т. п. Конечно, высказывания подобного рода должны учитываться при оценке исторических взглядов Кареева, но значение их, однако, снижается в свете его общих воззрений на государство.

[184]) П. Г. Виноградов. История средних веков. М., 1899—1900, стр. 35.

зависит от того, как распределилась власть, каково ее устройство и функции»[185]). И если он готов признать тут же, что в первобытном обществе экономические факторы преобладают над политическими, то применительно к средним векам соотношение этих факторов, по его мнению, принципиально изменяется.

Конечно, было бы несправедливым видеть в Виноградове сторонника распространенного в буржуазной историографии взгляда, усматривающего в государстве решающую силу общественного процесса. В его изображении само государство является продуктом исторического развития. В своем лекционном курсе по истории средних веков он пытается проследить различие в политическом устройстве главных европейских стран в зависимости от определенным образом сложившихся в каждой из них социальных отношений. Так, поднимая вопрос о своеобразии политического развития средневековой Англии, Виноградов указывает, что он может быть решен только на почве изучения социальных отношений. «Поэтому, — продолжает он, — в самом исходном пункте, при самой оценке положения в XI в...., которое было так похоже на положение соседней Франции, крайне важным является вопрос, каковы были общественные и социальные условия, в каких отношениях находились отдельные классы населения друг к другу, и как для них представлялись политические задачи»[186]). Руководствуясь этими соображениями, Виноградов и строит свое изложение истории средневековой Англии, уделяя большое внимание развитию социальных отношений в стране. Вместе с тем для Виноградова характерно несомненное преувеличение роли средневекового государства. Целый ряд существенных моментов в истории средневековой Англии Виноградов объясняет преимущественно или главным образом причинами политического порядка, и в первую очередь политикой государственной власти, отводя ей особенно большую роль в процессе классообразования.

Его концепция английского вилланства фактически исходит из признания решающей роли государства в судьбах этого класса. И закрепощение английского крестьянства, и его последующее освобождение от крепостной зависимости Виноградов в конечном итоге связывает с эволюцией английской государственности, с различными поворотами в ее отношении к крестьянству. В этом плане особенно большое значение придается юридическому статусу виллана, который,

[185]) Там же, стр. 107.

[186]) Там же. Добавление, стр. 3—4. При этом нужно иметь в виду, что, как и другие буржуазные ученые, Виноградов идеализирует политический строй средневековой Англии, определяя его как конституционную монархию.

в свою очередь, объясняется из развития права под решающим влиянием государства. Подчеркивая, что отказ королевских судов вилланам в судебной защите явился главной причиной их закрепощения, Виноградов рассматривает наступивший в XIII в. поворот в положении значительной части крепостных крестьян к лучшему («сильное движение в пользу свободы», по его выражению) как результат соответствующей политики государства. Он указывает, что право развивалось в направлении освобождения крестьян, в первую очередь, «благодаря развитию государства, которое берет в свое ведение всех своих граждан»[187]).

Виноградов настоятельно подчеркивает политическую основу взаимоотношений между лордом и вилланами, определяющее влияние на их характер государственной власти. Вот как он сам пишет об этом: «Виллан находится под властью своего лорда в значительной степени не потому, что он представляет собою его движимость, но оттого, что суды отказывают ему в иске против своего лорда. Он может иметь права, признаваемые за ним нравственностью и обычаем, но у него нет средств осуществить их, а не имеет он средств осуществить их потому, что феодализм обессиливает государство и отстраняет его от вмешательства в эти отношения. Политический корень всего развития становится очевидным и делается вполне ясным, с одной стороны, что освобождение будет зависеть в значительной степени от усиления государства, а с другой — что начало порабощения нужно искать в политических условиях до и после завоевания»[188]). Так, государственная власть под пером Виноградова превращается в творца социальных отношений.

В трактовке природы феодального государства не было единства и среди младшего поколения русских либеральных медиевистов. В то время как Савин в своих известных исследованиях аграрных отношений Англии XVI в. сделал немало глубоких наблюдений о классовом характере и политике английского феодального государства[189]), Петрушевский настойчиво подчеркивал надклассовую природу государственной власти в средневековом обществе. На этом положении основывается вся его концепция феодализма как системы соподчиненных сословий, организованной государственной

---

[187]) P. Vinogradoff. Villainage in England, p. 131.

[188]) Ibidem, p. 134.

[189]) О взглядах Савина на природу средневекового государства см. нашу статью «К вопросу о методологических основах исторических взглядов А. Н. Савина» — сб. «Средние века», вып. XVI, М., 1959, стр. 116—121. Правда, не всегда последовательно, Савин пытается показать классовую (дворянскую) обусловленность социальной политики правительства Тюдоров.

властью для удовлетворения своих потребностей. С этих позиций он исходит и в своей трактовке тех или иных конкретных политических актов средневекового государства. О том, насколько при этом в угоду предвзятой идее нарушается историческая правда, свидетельствует его анализ английского рабочего законодательства середины XIV в. В этом анализе содержится ряд ценных наблюдений. Петрушевский справедливо вскрывает внутреннюю противоречивость рабочей политики английского правительства, указывает причины ее неудачи, устанавливает ее связь с восстанием Уота Тайлера, показывает кровавый характер так называемых рабочих законов. Он подчеркивает, что ордонанс 1349 г. и все следовавшие за ним и дополнявшие его законы были изданы в интересах средних землевладельцев, особенно нуждавшихся в рабочей силе и страдавших как от действий рабочих, так и от конкуренции крупных духовных и светских собственников[190]). Но в то же время Петрушевский считает возможным утверждать, что авторы рабочих законов были воодушевлены самыми высокими и искренними устремлениями ко всеобщему благу и всеобщей справедливости[191]). Таким образом, с его точки зрения, антирабочая политика королевской власти и парламента определялась не социальной природой английского средневекового государства как выразителя интересов господствующего класса феодального дворянства, а морально-этическими принципами, ибо из всего его анализа рабочего законодательства фактически следует, что правительство потому стояло на страже интересов средних землевладельцев, что это соответствовало исповедуемой им точки зрения о всеобщем благе и справедливости.

Не менее показательны взгляды по этому вопросу Пискорского. Вся его трактовка кастильского средневекового представительства — кортесов — исходит из убеждения в надклассовой природе государственной власти. Он рассматривает кортесы как голос нации, орган выражения народных интересов[192]). Ученый не скрывает своего сочувствия к этому средневековому сословному представительству и сожалений по поводу его упадка[193]). Однако вся проблема взаимоотношений между кортесами и королевской властью сводится им к коллизии между парламентарным строем и носителями монархической идеи. Королевская власть выступает у него ли-

---

[190]) Д. М. Петрушевский. Восстание Уота Тайлера. Ч. 2, стр. 284.
[191]) Там же, стр. 263—265.
[192]) См.: В. К. Пискорский. Кастильские кортесы в переходную эпоху от средних веков к новому времени. Киев, 1897, стр. 144, 161 — 162.
[193]) Этот упадок в числе прочих причин объясняется тем, что «кастильцы никогда не отличались практическою деловитостью английского народа» в отношении с короной (там же, стр. 145).

шенной всякой классовой окраски, классово независимой в своей социальной политике. Более того, отмечая ее враждебное отношение к феодальной знати и городам, Пискорский подчеркивает ее доброжелательную, хотя и не последовательную в этом плане, политику в отношении к широким народным массам, а правление Карла V даже квалифицируется им как «демократическая монархия»[194]).

4. Классовая борьба в средневековом обществе в освещении русской либеральной медиевистики

Важное место в созданной русской либеральной медиевистикой концепции западноевропейского феодализма занимает проблема классовой борьбы в средние века, в подходе к решению которой ярко проявились как сильные, так и слабые стороны идейно-методологических принципов наших медиевистов, равно как и их понимание природы феодальных общественных отношений. Не говоря уже о специальных монографических исследованиях (Ковалевский, Петрушевский), эта проблема нашла свое отражение в целом ряде лекционных курсов, общих работ, отдельных статей. Очевидный интерес либеральных медиевистов к народным движениям в средние века, вполне объяснимый условиями русской пореформенной действительности, отнюдь, однако, не являлся лишь легкой данью современности или даже простым отражением их стремления извлечь из изучения прошлого определенные политические уроки. Хотя такое стремление в той или иной мере имело место и с ним необходимо считаться, изучение народных движений в русской либеральной медиевистике преследовало прежде всего, несомненно, научные цели, вытекая из самого ее понимания предмета исторической науки, и составляло неотъемлемую часть всей ее концепции западноевропейского феодализма. Различаясь между собою в оценке тех или иных фактов, либеральные историки, как правило, были едины в одном — в признании необходимости изучения народных движений для решения существенных проблем истории феодализма.

Наиболее четко и последовательно мысль о значении классовой борьбы в эпоху феодализма провели в своих работах историки, испытавшие в молодости известное влияние народнических идей, — Лучицкий и Кареев. При этом оба они исходили из признания существования феодально-крепостнического гнета в различных его формах как решающей причины

---

[194]) В. К. Пискорский. Главные моменты представительного строя Кастилии. — «Университетские известия», Киев, 1894, № 5, стр. 3.

классовой борьбы в средневековой деревне. Заслуживает быть отмеченным тот факт, что уже на заре своей научной деятельности, в годы работы над историей гугенотских войн, Лучицкий обращает самое серьезное внимание на классовую борьбу во французском обществе второй половины XVI в., подчеркивая ее большое, а подчас и решающее влияние на ход этих войн. Естественно, что при этом ученый рассматривает преимущественно городские движения. В этой связи будет уместным подчеркнуть заслугу Лучицкого как первого русского ученого, сделавшего предметом своего исследования классовую борьбу в средневековом городе. В целом ряде своих работ, опубликованных в 70-е годы прошлого столетия, Лучицкий подчеркивает наличие острых социальных противоречий в позднесредневековом городе. Он показывает тяжелое экономическое положение и политическое бесправие городских низов, с одной стороны, и своекорыстие захватившей все ключевые позиции в жизни города верхушки — с другой, и как неизбежное следствие этого — непримиримую борьбу между ними[195]).

В известном смысле продолжателем этой традиции Лучицкого в русской либеральной медиевистике можно рассматривать Ковалевского. Посвящая т. III «Экономического роста Европы...» средневековому ремеслу, Ковалевский дает ему характерный подзаголовок: «Организация промышленности и рабочий вопрос в средние века». Критикуя катедер-социалистических «идеализаторов средневековых порядков», он, в частности, указывает на наличие глубокой дифференциации в цеховом строе в XIV—XV вв.[196]). Ученый отмечает социальную рознь в средневековом городе, говорит о рабочих сообществах, восстании чомпи и т. п.[197]). Однако в отличие от Лучицкого его интересует не столько социальная борьба в средневековом городе, сколько экономические отношения в цеховом производстве и возникающий на этой основе рабочий вопрос.

Несравненно большее внимание русские медиевисты уделяли освещению классовой борьбы в средневековой деревне. Уже во время работы над историей гугенотских войн, воссоздавая картину острой социально-политической борьбы, развернувшейся во Франции 70-х годов XVI в., Лучицкий

---

[195]) Подробнее об этом см. нашу статью «И. В. Лучицкий о роли народных масс в религиозных войнах во Франции XVI в.» — Сб. «Методологические и историографические вопросы исторической науки», Томск, 1963.

[196]) М. М. Ковалевский. Экономический рост Европы..., т. III, стр. 142.

[197]) Там же, стр. 138—141. Отметим, что и в своем изложении восстания 1381 г. он отводит известное место движению городских низов, в особенности лондонской бедноты (см. там же, т. II, стр. 552—554, 627 и др.).

не оставляет в стороне и процессы, протекавшие во французской деревне того времени. Он отмечает усиление феодального гнета, подчеркивая, что в обстановке дворянского произвола у крестьян «оставался единственный выход — восстание»[198]). На примере крестьянских движений в период гугенотских войн он, в сущности, показывает, какую грозную для господствующего класса силу представляют народные восстания, даже если они и заканчиваются поражением. Давая общую оценку крестьянским восстаниям в то время, он писал: «Крестьяне не достигли той цели, ввиду которой они подняли оружие, но сильный удар был тем не менее нанесен и правительству, и существовавшему строю: их ветхость и несостоятельность обнаружились вполне, как обнаружилось и то, что в массе народа началось движение, которое, особенно в той форме, как оно проявлялось в Дофинэ и некоторых других провинциях (Оверни, Нормандии), грозило радикально изменить установившиеся общественные отношения. Народ показал, что он может и хочет действовать, что он не желает оставаться пассивным зрителем происходящих событий и стремится к разрушению тесных рамок, в которых ему стало слишком тяжело жить»[199]). В этом высказывании Лучицкого, взятом в контексте со всей трактовкой народных движений в период гугенотских войн, нельзя не видеть выражение столь нехарактерного для буржуазного ученого убеждения в прогрессивности классовой борьбы средневекового крестьянства, сочетавшееся с признанием возможности (при определенных условиях) самостоятельного действия народных масс на исторической сцене. Объективно вся его трактовка классовой борьбы во французской деревне XVI в. была направлена против излюбленного в буржуазной науке тезиса о бесперспективности и бесполезности крестьянских восстаний.

Правда, в дальнейших исследованиях Лучицкого тема классовой борьбы в феодальном обществе не получила такого звучания, как в его работах 70-х годов, что, возможно, в какой-то мере было связано с наступившей в России 80-х годов политической реакцией. Тем не менее представляется возможным полагать, что и в последующие годы Лучицкий был далек от отрицания значения классовой борьбы

---

[198]) И. В. Лучицкий. Католическая лига и кальвинисты во Франции, стр. 518.

[199]) Там же, стр. 521—522. Аналогичную мысль Лучицкий проводит и в своем «Отчете о занятиях за границей» («Университетские известия», Киев, 1874, № 5, стр. 311). Заслуживает внимания его попытка установить взаимодействие крестьянских выступлений и движения городских низов (см. там же, стр. 299; Католическая лига и кальвинисты во Франции, стр. 499, 522).

в средние века. Так, он подчеркивает важную роль крестьянских восстаний в истории средневековой Швеции[200]). Несомненный интерес представляет его постановка вопроса о крестьянских восстаниях XV—XVI вв. в Центральной Европе. Отмечая наступление феодалов и королевской власти на крестьянские права и земли, Лучицкий подчеркивает, что следствием его была «масса крестьянских восстаний, которыми изобилует история XV и XVI вв. и результаты которых были весьма различны». В частности, он считает нужным указать на те местности (Швейцария, Дитмаршен), где борьба крестьян завершилась относительным успехом[201]). Вместе с тем следует признать, что поднимая вопрос об освобождении крестьян от крепостной зависимости в широком плане, Лучицкий обращал главное внимание на политику государственной власти в этом вопросе[202]).

Положение о классовой борьбе средневековых крестьян как одном из существенных факторов исторического процесса наиболее последовательное отражение в русской либеральной медиевистике нашло в трудах Кареева. В борьбе закрепощенной народной массы с феодалами для него «заключается одна из наиболее важных сторон социальной истории Запада»[203]). В соответствии с таким пониманием места классовой борьбы в средневековом обществе Кареев в ряде своих работ рассматривает ее отдельные проявления. Как известно, ученый не оставил после себя исследований, специально посвященных тем или иным народным движениям в средние века. Однако в своих общих работах, рассматривая феодальные отношения на Западе, он неоднократно обращался к истории социальной борьбы в феодальном обществе, подчеркивая тем самым ее значение для понимания существа западноевропейского феодализма и его эволюции.

Кареев отмечает наличие крестьянских восстаний как следствие феодального гнета уже в X—XI вв.[204]). Но преимущественное внимание им уделяется, естественно, классовой

---

[200]) См.: И. В. Лучицкий. Очерк развития исторической науки в Швеции. — «Университетские известия», Киев, 1885, № 4, стр. 187, Ср. его же. Попытки крестьянской реформы в Лифляндии в XVII в.—«Северный вестник», 1892, № 2, стр. 6.

[201]) Э. Зеворт. История нового времени, стр. 290.

[202]) См. его «Историю крестьянской реформы в Западной Европе» («Университетские известия», Киев, 1878, № 10 — 12; 1879, № 2; 1880, № 11; 1881, № 2, 3).

[203]) Н. И. Кареев. Философия культурной и социальной истории нового времени, стр. 33.

[204]) См.: Н. И. Кареев. Введение в курс истории нового времени, стр. 16—16; его же. Поместье-государство и сословная монархия средних веков, стр. 332. Ср. его «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII в.», стр. 95, где ставится вопрос о значении крестьянских движений в раннее средневековье.

борьбе в европейской деревне XIV—XVI вв. «Вторая половина средних веков, — пишет он, — полна крестьянскими восстаниями»[205]). Не ограничиваясь простой констатацией факта, Кареев пытается показать место этих восстаний в истории, обращая особое внимание на их роль в ликвидации «социального феодализма». Уже в своей магистерской диссертации он ставит вопрос о значении классовой борьбы крестьян для их освобождения от феодально-крепостнического гнета. «Как ни царствовал произвол сильного человека в средневековом обществе, — пишет ученый по этому поводу, — какими неудачами ни оканчивались крестьянские восстания, господа должны были делать уступки за уступками, которые привели к постепенному освобождению личности поселянина во многих частях Европы без вмешательства государственной власти»[206]). При всей несовершенности и односторонности этой формулы, игнорирующей решающую роль в ликвидации крепостнических отношений экономического развития общества, она имела для своего времени и несомненно позитивное значение, заостряя внимание на той стороне вопроса, которая, как правило, игнорировалась буржуазной историографией.

Спустя четверть века, Кареев вновь обращается к этому вопросу, формулируя свою точку зрения несколько по-иному, на наш взгляд, более четко. Указывая, что с историей раскрепощения на Западе были тесно связаны крестьянские движения, принимавшие нередко весьма крупные размеры и являвшиеся симптомами начинавшегося разложения сеньериального режима, он отводит им «известное место среди факторов раскрепощения»[207]). В этой связи представляет интерес его оценка, относящаяся, правда, к более раннему времени, восстания Уота Тайлера. Он подчеркивает, что, несмотря на страшную жестокость, с какой было подавлено восстание, оно не прошло бесследно, напугав имущие классы и заставив «их не только быть осторожнее, но и значительно изменить свою тактику»[208]).

Вместе с тем на трактовке Кареевым крестьянских движений в средние века в полной мере отразились и слабые

---

[205]) Н. И. Кареев. Введение в курс истории нового времени, стр. 106.

[206]) Н. И. Кареев. Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII в., стр. 12—13.

[207]) Н. И. Кареев. Поместье-государство и сословная монархия средних веков, стр. 332. Исключение, с его точки зрения, составляют Жакерия (стр. 334) и крестьянская война в Германии (стр. 338), приведшие лишь к ухудшению на значительное время экономического и юридического положения крестьян.

[208]) Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время. Т. I, стр. 206.

стороны его методологии истории, в частности, его идеалистическое представление о классовой борьбе в обществе как порождении несовершенства человеческой природы[209]). Руководствуясь этим представлением, он усматривает главную причину классовой борьбы в средневековом обществе в низком культурном развитии составлявших его классов, отсутствии у них подлинного понимания общественного интереса. «Для истинного понимания общественной солидарности и самоограничения личности во имя социального интереса, — утверждает Кареев, — нужна известная степень индивидуального развития, которой, конечно, не могло быть в малокультурных массах. Эгоистичные стремления, которые у представителей высших классов общества выражались в желании политического, юридического и экономического господства над массой, в самой народной среде проявлялись в форме желания отдельных ее членов к уклонению от обязанностей, налагавшихся указанным бытом»[210]). Сами мотивы классовой борьбы в средние века подчас получают у Кареева преимущественно юридическую интерпретацию. Движение, коренящееся в материальных условиях жизни средневекового крестьянства, превращается в этом случае в борьбу крестьян главным образом за свои юридические права[211]).

Как сильные, так и слабые стороны в трактовке Кареевым классовой борьбы в средневековом обществе особенно рельефно отразились на его понимании реформации и крестьянской войны в Германии. Продолжая традицию, уже имевшуюся в русской науке, Кареев подходит к реформации и крестьянской войне как к событиям эпохального значения не только для Германии, но и всей Европы на рубеже перехода от средних веков к новому времени. Недаром эти события занимают центральное место во II т. его «Истории Западной Европы в новое время», где они рассматриваются как один из главных переворотов в жизни европейского Запада, с которым по своему значению могут сравниться лишь революция XVII в. в Англии и XVIII в. во Франции.

В то же время сравнение соответствующих глав «Истории Западной Европы в новое время» с «Лекциями по новой

---

[209]) См.: Н. И. Кареев. Основные вопросы философии истории, т. II, стр. 133.

[210]) Н. И. Кареев. Философия культурной и социальной истории нового времени, стр. 44. Нет нужды доказывать, что такое «объяснение» по принципу «все виноваты» не только не имеет ничего общего с реальной действительностью, но и противоречит неоднократным высказываниям самого Кареева, справедливо видевшего причину социальных противоречий и социальной борьбы в средневековой деревне в феодальном гнете.

[211]) См.: Н. И. Кареев. Философия культурной и социальной истории нового времени, стр. 33.

истории» В. В. Бауера, относящимися к 70-м годам XIX в.[212]), обнаруживает значительный прогресс русской либеральной историографии в понимании существа этих событий и в первую очередь крестьянской войны. Принципиальное различие выступает уже в самой постановке вопроса. Если для Бауера крестьянская война являлась всего лишь извращением подлинных принципов реформации, то Кареев уделяет значительное место критике этого взгляда, подчеркивая его научную несостоятельность[213]). В его изображении крестьянская война выступает как закономерное следствие феодального гнета, царившего в немецкой деревне и делавшего неизбежным выступления крестьян. В свою книгу он вводит специальную главу «Происхождение крестьянской войны»[214]), где подчеркивается, что реформационное движение не вызвало крестьянскую борьбу, существовавшую задолго до него, а лишь усилило ее, дав ей необходимое идейное знамя[215]). Кареев указывает, что к XV в. в положении немецкого крестьянства произошла перемена к худшему, вызванная усилением феодального натиска на землю и личность крестьян. Следствием этого явился длинный ряд крестьянских восстаний, переросших, наконец, в крестьянскую войну. «Народное недовольство, имевшее свои причины, и политическая агитация, давно уже делавшая свое дело, — подчеркивает он в заключение, — и вызвали великую крестьянскую войну..., а санкцию всему движению давала евангелическая и мистическая реформация, у коих вожди движения заимствовали свои принципы»[216]).

Однако, признавая закономерность крестьянской войны в Германии, Кареев решительно осуждает ее характер. Он акцентирует внимание своих читателей на жестокостях повстанцев, пишет о «крестьянских бандах, предававшихся грабежу»[217]) и т. п. Всего более непримирим русский либерал к народным реформационным течениям, в особенности к анабаптизму, на который возлагается ответственность за «осо-

---

[212]) О русском либеральном историке В. В. Бауере и его концепции реформации и крестьянской войны в Германии см.: Очерки истории исторической науки в СССР, т. II, стр. 400—410; Б. Г. Могильницкий. У истоков социально-экономического направления в русской буржуазно-либеральной медиевистике. — Сб. «Методологические и историографические вопросы исторической науки», вып. 3, стр. 202—206.

[213]) См.: Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время. Т. II, стр. 70—75, 89.

[214]) Отметим, что в списке литературы к этой главе названа книга Энгельса «Крестьянская война в Германии», которая игнорируется в немецкой буржуазной историографии вопроса (см. там же, прим. к стр. 88).

[215]) Там же, стр. 88—89.

[216]) Там же, стр. 97.

[217]) Там же, стр. 98—99.

бенно кровавый характер крестьянской войны» и идеи которого он тенденциозно отождествляет с идеями социализма и коммунизма[218]).

В связи с проблемой реформации Кареев поднимает вопрос о характере средневековых еретических и сектантских движений. Заслуживает быть отмеченным его стремление при рассмотрении этого вопроса выйти за узкие конфессиональные рамки, связать распространение религиозных движений в массах с материальными условиями их жизни. Отмечая, что такие движения возникали «на почве личной мысли или коллективной неудовлетворенности данным состоянием церкви», Кареев подчеркивает, что они получали нередко социально-политический характер, ставя перед собою цель добиться изменений в самом общественном строе[219]). Именно такого рода движения и привлекают преимущественное внимание ученого. Совершенно недвусмысленно он подчеркивает, что сама почва для распространения религиозных движений в народных массах является экономической, материальной[220]).

Естественно, что Кареев, рассматривая вопрос о народных религиозных движениях, обращался в первую очередь к наиболее зрелым их проявлениям, имевшим место в Германии начала XVI и Англии середины XVII вв. Однако это не означает, что он не видел социально-политический характер, по всяком случае отдельных, еретических движений и в более раннее время. «Конечно, религиозные идеи стали служить знаменем для социально-политических движений еще раньше XVI в.», — указывает он[221]), отмечая тесную связь, существовавшую в средневековом обществе между классовой борьбой и религиозными движениями[222]). Давая общую характеристику средневекового еретического (сектантского) движения, Кареев специально подчеркивает его глубоко земную, материальную основу. Он включает в т. I своей «Истории Западной Европы в новое время» особые главы (40 и 41-ю), посвященные обоснованию этого взгляда.

Сама реформация в концепции Кареева выступает как закономерное следствие и развитие всего предшествующего религиозного движения на социальной основе. Характеризуя XIV—XVII вв. как реформационную эпоху, Кареев решитель-

---

[218]) Там же, стр. 111—114.
[219]) Н. И. Кареев. Главные обобщения всемирной истории, стр. 112—113.
[220]) Н. И. Кареев. Философия культурной и социальной истории нового времени, стр. 106.
[221]) Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время. Т. I, стр. 537.
[222]) См. там же, стр. 526 и след.

но подчеркивает, что во всех бурных событиях этого времени народные массы боролись за свои насущные жизненные интересы, которые лишь облекались в определенную религиозную форму. «Вопросы церковной догмы и организации, конечно, были вполне понятны только специалистам богословия и канонического права, — справедливо указывает он, — для светского же общества, для народной массы, когда они становились под знамя новых идей, последние имели значение главным образом по своей связи с моральными и социальными вопросами, с тем исканием правды в жизни, которое увлекало многих в сектантство, с теми попытками улучшить свое положение, которые весьма естественно объясняются политическими, юридическими и экономическими отношениями, имевшими начало в феодальном строе, или создававшимися на его развалинах в эту переходную эпоху от средних веков к новому времени. Народы в разных своих слоях дорожили не столько реформою отвлеченных догматов религии или внешнего строя церкви, сколько реформою практических отношений жизни..., ища принципиальной санкции своим стремлениям в религиозных истинах совершенно так же, как позднее политические и социальные стремления оправдывали себя ссылками на истины философские. Другими словами, реформированная религия должна была служить арсеналом таких аргументов, которые с высших точек зрения оправдывали бы желательные изменения в государственном и общественном быту, в праве и экономических отношениях»[223]).

Мы привели это пространное высказывание Кареева ввиду важности содержащихся в нем положений. Несмотря на нечеткость некоторых его формулировок, нельзя не признать, что в целом его постановка вопроса о социальной природе религиозных движений в средние века на голову превосходила взгляды, господствовавшие в конце XIX в. в буржуазной историографии, где, как известно, вплоть до появления работ М. Вебера и Э. Трельча религиозные движения, как правило, рассматривались в отрыве от их социально-экономических основ. В этой связи представляется возможным высказать предположение, что на подход Кареева к данному вопросу оказало влияние известное положение Энгельса о ре-

---

[223]) Там же, стр. 536—537. С рассмотренными взглядами Кареева соприкасается оценка Петрушевским лоллардизма. Автор «Восстания Уота Тайлера», подчеркивая тесную связь этой средневековой ереси с восстанием 1381 г., показывает, что лолларды являлись выразителями народных чаяний; в их взглядах повстанцы находили высшую санкцию и обоснование своих требований (см.: Д. М. Петрушевский. Восстание Уота Тайлера. Ч. I, стр. 373—375). Ср. оценку лоллардизма Кареевым, усматривавшим в нем не только религиозный протест, но и выражение социального недовольства (Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время. Т. I, стр. 538—539).

лигиозной оболочке классовой борьбы в средневековом обществе, развитое в «Крестьянской войне в Германии»[224]) — книге, которую Кареев хорошо знал и, как мы можем судить на основании включения ее в список рекомендованной литературы по теме, ценил.

Важное место в изучении истории Реформации принадлежит известному исследованию Виппера о кальвинизме[225]). Рассматривая религиозные движения эпохи Реформации как специфическое отражение социально-политических отношений своего времени, Виппер сумел по-новому в буржуазной историографии поставить вопрос о природе кальвинизма. Исходя главным образом из анализа эволюции социально-политических отношений в Женеве, он, вопреки широко распространенным в буржуазной, в том числе русской, историографии взглядам об аристократическом характере учения Кальвина, показал его буржуазную сущность.

Отмечая «враждебное отношение к дворянству», «злую критику» его, которую Кальвин повторяет повсюду с «редкой настойчивостью», Виппер указывал, что «в характере раздражения, в содержании нападок на высший класс, по-видимому, чувствуется критика представителя дельного и экономного буржуазного слоя...»[226]). Самое утверждение Кальвина в Женеве он связывал с протекавшими в городе на протяжении XV—XVI вв. социальными сдвигами, которые привели к тому, что «старые, в значительной мере дворянские, фамилии уступают место новому, исключительно буржуазному слою»[227]).

Значительную роль классовой борьбы в средневековом обществе среди младшего поколения русских либеральных медиевистов признавал Пискорский. Рассматривая классовую борьбу в средневековой деревне как закономерное следствие феодального гнета[228]), Пискорский на примере Испании

---

[224]) См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 7, стр. 360—364.

[225]) См.: Р. Ю. Виппер. Церковь и государство в Женеве XVI века в эпоху кальвинизма. М., 1894.

[226]) Там же, стр. 81. В то же время Виппер подчеркивает резко враждебное отношение Кальвина к анабаптизму (там же, стр. 131), его осуждение «полной демократии» (там же, стр. 523).

[227]) Там же, стр. 11. «Для изучивших его книгу, — писал Виноградов о Виппере, — кальвинизм будет не измышлением книжников, а продуктом живой общественной борьбы» (П. Г. Виноградов. Кальвин и Женева.— «Русская мысль», 1894, № 9, стр. 141). Виноградов видит главную заслугу Виппера в том, что он впервые в историографии вопроса проследил генезис и развитие церковной программы Кальвина под влиянием современной ей социальной действительности (см. там же, стр. 134).

[228]) См.: В. К. Пискорский. Крепостное право в Каталонии в средние века. Киев, 1901, стр. 168—169. Он решительно подчеркивает «противоположность интересов крестьянства и высших сословий» (там же, стр. 169).

показывает ее большое прогрессивное значение в истории. В крестьянских восстаниях он видит существенный фактор, значительно ускоривший процесс ликвидации крепостнических отношений в Каталонии[229]). Не случайно из четырех глав его книги две последние посвящены классовой борьбе каталонского крестьянства.

Вместе с тем в русской либеральной медиевистике середины 70-х — начала 900-х годов существовало и другое направление в трактовке классовой борьбы в средние века. Перекликаясь в ряде существенных моментов с только что рассмотренными взглядами, оно в то же время в самом подходе к пониманию места классовой борьбы в средневековом обществе, несомненно, отличалось от них. Представителей этого направления — Виноградова, Ковалевского, Петрушевского — при всем их различии объединяло признание того факта, что феодальные общественные отношения якобы не заключали в себе объективной необходимости классовой борьбы. В той или иной степени их работам присуща идеализация отношений, сложившихся в средневековом обществе между феодалами и крестьянами, выражавшаяся, в частности, в изображении феодального поместья как сферы гармонии хозяйственных интересов его владельца и зависимого населения. Признавая факт закрепощения непосредственных производителей в феодальном обществе, они тем не менее пытались доказать, что потеря свободы «уравновешивалась» другими выгодами хозяйственно-политического порядка, и чуть ли ни отвечала интересам самих закрепощенных масс. Так, характеризуя манориальную систему, Виноградов прямо подчеркивал, что так называемое политическое покровительство, оказывавшееся лордом манора зависимому от него населению, было «более или менее эквивалентным выгодам, получаемым лордом от крестьян»[230]).

Вся книга Виноградова об английском вилланстве посвящена в значительной мере утверждению той мысли, что под сенью манориальной организации крепостной крестьянин находил как элементарную защиту своих личных прав, так и обеспечение своего хозяйственного положения. Виноградов решительно полемизирует с так называемой юридической теорией вилланства, доказывая ее полное несоответствие реальной английской средневековой действительности. Конечно, в определенном смысле он прав, ибо виллан в своей повседневной жизни отнюдь не был подобен античному рабу, как это следовало из принципов, формулированных создателями этой теории, английскими средневековыми юристами Гланвиллем и Брактоном. Однако, не говоря уже о том, что

[229]) Там же, стр. 220.
[230]) P. Vinogradoff. Villainge in England, p. 404.

сам факт ее появления служил красноречивым симптомом начинавшейся феодальной реакции и вместе с тем ее теоретическим обоснованием — обстоятельство, совершенно оставшееся вне поля зрения Виноградова, — он явно преувеличивает степень юридической свободы крепостного крестьянина. Он даже утверждает, что за пределами манора виллан был, по существу, свободным человеком[231]). Но и в самом маноре, подчиняясь лорду, крепостной в то же время имел определенные гарантии против произвола своего господина. В этом плане Виноградов придает большое значение общине как оплоту несвободного населения манора против феодального собственника[232]).

В особенности преувеличивается Виноградовым благодетельная для крепостного крестьянства роль манориальной организации и манориального обычая. Он утверждает, что манориальное собрание и по своему происхождению, и по своей сущности является учреждением свободным[233]). Тем самым становится очевидным его значение в защите интересов вилланов. В обеспечении хозяйственного положения крепостных крестьян Виноградов отводит большую роль манориальному обычаю, определяя его как «важнейший признак средневекового хозяйственного строя»[234]). Конечно, нельзя спорить с тем, что феодальный обычай, определенным образом регулируя хозяйственный распорядок поместья, фиксируя повинности, утверждая наследственное пользование крестьянина его наделом и общинными угодьями, в известном смысле обеспечивал его от произвола своего господина. Но при этом нельзя упускать из виду, что феодальный обычай в неизмеримо большей степени был выгоден самим феодалам, поскольку он своим авторитетом закреплял сеньериальные отношения, придавал им силу освященного временем нерушимого закона. Как справедливо указывал Е. А. Косминский на основании глубокого изучения английской феодальной действительности XIII в., «манориальный обычай упорядочивал эксплуатацию вилланов, охранял порядок и дисциплину внутри крепостной общины, обеспечивал бесперебойное поступление феодальной ренты. Но он очень мало стеснял «voluntas domini», под регулирующим воздействием которой он и сложился»[235]). К тому же соблюдение феодального обы-

[231]) Ibidem, pp. 85—86, 389.
[232]) Ibidem, p. 354.
[233]) П. Г. Виноградов. Исследования по социальной истории Англии в средние века, стр. 177.
[234]) Там же, стр. 217.
[235]) Е. А. Косминский. Исследования по аграрной истории Англии XIII в., стр. 406—407. Следует отметить, что уже Савин убедительно показал своими исследованиями, что манориальный обычай сложился в общем невыгодно для держателей. «Один из главных выводов моего очерка

чая для лорда всегда определялось его доброй волей и зависело всецело от того, насколько он соответствовал его интересам. Как известно, в той же Англии скоро наступило время, когда в новых экономических условиях лорды, сгоняя крестьян с земли, чрезвычайно убедительно показали действительные возможности манориального обычая в защите крестьянских интересов.

Не принимая во внимание эту вторую (и главную) сторону феодального обычая, Виноградов тем самым искажал подлинную природу классовых взаимоотношений в средневековой английской деревне, идеализировал положение крепостного крестьянства. Неудивительно поэтому, что в нарисованной ученым картине «социального феодализма» не оказалось места для классовой борьбы. Даже восстание Уота Тайлера, о котором он упоминает лишь мимоходом, является для него продуктом не столько реальных социально-экономических отношений в английской феодальной деревне, сколько юридических теорий, противоречивших этим отношениям и вызвавших вследствие этого недовольство крестьян. «Противоположность между фактическим освобождением и теоретическими взглядами юристов, — утверждает он, — вызвала известное столкновение между классами в конце XIV в.»[236]).

В еще большей степени в идеализации феодальных отношений был повинен Ковалевский. Уже в одной из своих ранних работ Ковалевский указывает на солидарность имущественных интересов помещиков и крепостных крестьян, придавая этому обстоятельству серьезное значение в объяснении политики английской аристократии в средние века[237]). Это

состоит в том, — прямо подчеркивает он, — что обычное право сложилось неблагоприятно для большинства крестьян и недостаточно их обеспечивало» (А. Н. Савин. Английская деревня в эпоху Тюдоров. М., 1903, стр. 206). Аналогичные мысли он развивает и далее, показывая, что манориальный обычай на всем протяжении своего существования являлся орудием феодальной эксплуатации крестьян (там же, стр. 207—211). В этой связи показательно, что Савин, отвергая взгляд американского историка Пэджа об обеспеченности виллана вплоть до конца XV в. против произвольного захвата своей земли, подчеркивал «жизненность юридической теории вилланства» (там же, стр. 47). Неудивительно поэтому, что Савин считает классовую борьбу естественным состоянием английского феодального общества (см. там же, стр. 59, 150, 274, 310, 345, 389), примыкая тем самым к первому из отмеченных нами направлений в русской либеральной медиевистике.

[236]) П. Г. Виноградов. Исследования по социальной истории Англии в средние века, стр. 106.

[237]) М. М. Ковалевский. Общественный строй Англии в конце средних веков, стр. 95—96. Впрочем, в это же время, критикуя английского историка Галлама, Ковалевский достаточно мрачными красками рисует положение изнуренного барщиной и другими феодальными повинностями и платежами бесправного крепостного крестьянина (там же, стр. 327), полагая, видимо, что подобное состояние крестьянина не мешало «солидарности» его интересов с помещичьими.

положение получает развитие в его последующих работах, поднимаясь до роли одного из важнейших признаков «социального феодализма». Он подчеркивает, что феодальная система была всецело построена «на начале обоюдности услуг и совместимости пожертвований», а поэтому одинаково отвечала интересам помещиков и крестьян[238]). Мало того, Ковалевский говорит о том, что в раннее средневековье «в низших слоях европейского общества чувствовалась потребность в создании того военно-оборонительного союза, каким Огюст Конт справедливо считает феодальную систему»[239]). Словно полемизируя со своей прежней оценкой тяжести крепостного состояния, Ковалевский в позднейших работах стремится доказать, будто все крестьянские повинности и платежи находят обоснование в предоставленных помещиками своим крепостным имущественных выгодах[240]); он оправдывает даже баналитеты, утверждая, что их источником является «не присвоение... прав на чужую личность, а затраты капитала на постройку и содержание мельниц, прессов и пекарен»[241]). Ученый, по существу, отрицает сам факт наличия феодальной эксплуатации в средневековой деревне. Говоря о труде крепостных крестьян, он заявляет: «Мы не должны терять из виду, что этот труд, по-видимому, даровой, был оплачиваем не только в форме покровительства и защиты, оказываемой сеньером поместному населению, но и в форме наследственного владения последним надельной землей и общинными угодьями»[242]). Наконец, подобно Виноградову, он доказывает условный характер крестьянской несвободы, утверждая, что даже по отношению к помещику положение крепостного не могло считаться бесправным, в отношении же третьих лиц он выступал практически как свободный человек[243]).

Вместе с тем, в отличие от Виноградова, Ковалевский уделяет сравнительно много внимания народным движениям в средние века. Он — автор первого в мировой литературе монографического исследования о восстании Уота Тайлера[244]); классовой борьбе в средневековой деревне посвящен

---

[238]) М. М. Ковалевский. Происхождение современной демократии, т. I, гл. II, в особенности стр. 60—62, 116.

[239]) Там же, стр. 62.

[240]) М. М. Ковалевский. Экономический рост Европы..., т. I, стр. 696.

[241]) М. М. Ковалевский. Происхождение современной демократии, т. II, стр. 115—116.

[242]) М. М. Ковалевский. Экономический рост Европы, т. II, стр. 92.

[243]) Там же, стр. 56.

[244]) См.: М. М. Ковалевский. Английская пугачевщина. — «Русская мысль», 1895, № 5, 7, 9, 10. Впоследствии эта работа вошла составной частью во второй том «Экономического роста Европы...».

ряд глав второго тома «Экономического роста Европы...» (главы 13—18). Для Ковалевского изучение классовой борьбы является необходимой задачей социальной истории. Он видит один из существенных недостатков известной книги немецкого ученого Гнейста по истории английских учреждений в игнорировании ее автором народных движений и их влияния на политический строй средневековой Англии[245]).

Отношение самого Ковалевского к борьбе народных масс в средние века достаточно сложно и противоречиво. Было бы неверным безоговорочно утверждать, как это делает, например, С. С. Лукичев, что Ковалевский, признавая известную прогрессивность низших форм классовой борьбы, давал «отрицательную оценку роли народных восстаний»[246]). Действительно, он подчеркивает бесплодность таких крупнейших народных движений средневековья, как Жакерия и восстание Уота Тайлера, на что ссылается С. С. Лукичев. Но отсюда еще не следует, что Ковалевский вообще отрицал значение крестьянских восстаний, в особенности в процессе ликвидации крепостнических отношений. Он, в частности, подчеркивает огромное значение кретьянских восстаний для отмены крепостного права в Испании[247]), указывает на их роль в освобождении крестьян в России[248]). О том, что Ковалевский принципиально не отвергал возможность достижения крестьянами свободы от крепостнических отношений путем вооруженной борьбы, свидетельствует, наконец, сама его постановка вопроса. Так, рассматривая пути ликвидации крепостного права в Пьемонте, он указывает, что крестьяне «в одних общинах достигли свободы путем открытого восстания, в других» — мирным соглашением с помещиками[249]). Даже применительно к Англии, являвшейся для буржуазной историографии классической страной эволюционного развития, он отмечает значение классовой борьбы в ее средневековой истории. Ученый даже считает необходимым, давая высокую оценку «Конституционной истории Англии» Стеббса, отметить, как один из ее недостатков, что «эмансипационные движения самого английского простонародья, в значительной мере содействовавшие достижению этого результата

---

[245]) М. М. Ковалевский. Английская конституция и ее историк, стр. 31.

[246]) С. С. Лукичев. Цит. соч., стр. 214.

[247]) М. М. Ковалевский. Экономический рост Европы..., т. II, стр. 508—510; т. III, стр. 288.

[248]) М. М. Ковалевский. Очерки по истории политических учреждений России, стр. 155—156.

[249]) М. М. Ковалевский. Экономический рост Европы..., т. II, стр. 450.

(т. е. уничтожения крепостного права. — *Б. М.*), оценены проф. Стеббсом далеко не по их достоинству»[250]).

Можно приводить и другие примеры, свидетельствующие о том значении, какое придавал Ковалевский классовой борьбе народных масс в средние века[251]). Заслуживает быть отмеченным его стремление проследить взаимодействие крестьянских и городских движений в средние века. Как ни один другой русский ученый, он обращал внимание на этот вопрос, подчеркивая общность целей у городских и сельских низов[252]).

Вместе с тем на всех взглядах Ковалевского на классовую борьбу в средние века лежит неизгладимый отпечаток его общего понимания «социального феодализма» как учреждения, всецело построенного на взаимовыгодных началах, и, таким образом, не содержащего в себе самом объективных предпосылок для социальных антагонизмов, тем более в такой их форме, как крестьянские восстания. Классовая борьба для него начинается лишь в условиях разложения феодального строя, когда в социально-экономической жизни Западной Европы вступают в действие новые силы, связанные с развитием товарно-денежных отношений, коренящимся, в свою очередь, в росте народонаселения. Разложение средневековых форм хозяйства находит свое выражение в замене феодальными сеньерами натуральных сборов с крестьян денежными. Однако, продолжает далее Ковалевский, голодовки и эпидемии, в особенности Черная смерть 1348 г., задерживая естественный рост народонаселения и сокращая число сельских и городских рабочих, действовали в обратном направлении. Отсюда — стремление помещиков во второй половине XIV в. вернуться к барщине и крепостному праву. Ответом на это и явились крестьянские выступления и социальная борьба низших городских слоев, потрясшие в XIV—

---

[250]) М. М. Ковалевский. Английская конституция и ее историк, стр. 53. В этой же работе представляет интерес его постановка вопроса о значении крестьянских восстаний XIV в. для понимания особенностей политического развития Англии и Франции в позднее средневековье (стр. 16—19).

[251]) Уже в одной из своих ранних работ Ковалевский отмечает значение союзов сельских рабочих для провала антирабочего законодательства середины XIV в. в Англии (М. М. Ковалевский. Полиция рабочих в Англии в XIV веке и мировые судьи как судебные разбиратели споров между предпринимателями и рабочими. Лондон, 1876, стр. 30—35). В другой своей работе он подчеркивает «некоторую роль» заговоров и открытой борьбы крестьян в процессе эмансипации французского крестьянства (см. его «Экономический рост Европы...», т. I, стр. 618).

[252]) См.: М. М. Ковалевский. Экономический рост Европы..., т. I, стр. 619; т. II, стр. 524 и след.; Английская конституция и ее историк, стр. 16—17, 54.

—XVI вв. многие страны Западной Европы, где вольнонаемный труд еще не успел упрочиться[253]).

Правда, при этом может возникнуть вопрос, почему крепостнические отношения, ранее, согласно точке зрения Ковалевского, удовлетворявшие крестьян, теперь стали вызывать у них такую бурную реакцию. Однако для Ковалевского речь идет не просто о возвращении к барщине и крепостному праву, а о возвращении в новых исторических условиях, вызвавших деформацию феодальных отношений. Как выражается ученый в другой своей работе, феодальное право вырождается в сеньориальное[254]). Говоря другими словами, исчезает прежняя основа, а вследствие этого и прежний характер отношений между крестьянами и помещиком, который усиливает натиск на них, не обеспечивая взамен эквивалентных выгод. В этом плане показательна его трактовка причин Жакерии. Предостерегая против всяких попыток связать восстание с сознательным стремлением к отмене барщины или оброка, Ковалевский видит в нем скорее подъем крестьянства против недобросовестного выполнения феодалами своих обязанностей в отношении крестьян.

«Жакерия, — утверждает он, — протест не столько против средневекового хозяйственного и общественного строя, сколько — против его вырождения, произведенного несоблюдением одной из сторон, а именно — земельными собственниками, того обязательства охранять мир и оказывать поддержку и заступничество всем живущим под их властью лицам, которым объясняется возможность векового существования надельной системы и крепостного права»[255]).

Переходя к объяснению причин восстания Уота Тайлера, Ковалевский ставит вопрос несколько в иной плоскости. Противореча себе самому, он здесь провозглашает невозможность сведения причин восстания к попыткам лордов оживить крепостное право и восстановить барщину, пытается показать их многообразие[256]). Однако эту попытку никак нельзя назвать удачной. Сводя все дело к беглому перечислению самых разнообразных фактов, сыгравших роль в возникновении восстания, он в конце концов неожиданно солидаризируется с мнением английского поэта-моралиста XIV в. Гауера, утверждавшего, что различные классы английского общества одинаково виновны в постигших страну бедствиях

---

[253]) М. М. Ковалевский. Экономический рост Европы..., т. I, стр. XXII—XXIII.

[254]) М. М. Ковалевский. Происхождение современной демократии, т. 1, стр. 205.

[255]) М. М. Ковалевский. Экономический рост Европы..., т .II, стр. 542.

[256]) Там же, гл. II, гл. XV, § 1.

и объявлявшего восстание Уота Тайлера столь же небесной карой, сколько естественным последствием водворившейся в мире неправды. «Этот вывод, — заявляет Ковалевский, — должен быть принят и современным историком, которому остается только выразить свое изумление перед той проницательностью и объективностью, с какими великий английский моралист и поэт сумел открыть действительный и, как видно из сказанного, многообразный источник народного недовольства и народных волнений»[257]). Впрочем, в другом месте этой же книги Ковалевский высказывает свое убеждение в том, что при разумной политике правительства восстание Уота Тайлера, как и аналогичные движения в других европейских странах, можно было предотвратить[258]).

Взгляды Виноградова и Ковалевского на характер социальных отношений и классовую борьбу в феодальном обществе получили наиболее целостное и законченное выражение в трудах Петрушевского, в особенности в его концепции восстания Уота Тайлера. На первый взгляд это выглядит парадоксальным: автор лучшего для своего времени исследования о классовой борьбе в феодальном обществе отрицал ее существование. Однако для Петрушевского в еще большей степени, чем для Ковалевского, восстание Уота Тайлера является не закономерным продуктом господствовавших при феодализме социальных отношений, а результатом их разложения, к тому же протекавшего в ненормальной обстановке (Черная смерть и ее последствия), на чем и строится его концепция восстания. Он писал: «Интересы манориального, домениального хозяйства в его чистом виде и интересы крестьянских вилланских хозяйств в общем совпадали, и как только они начинают расходиться, это — несомненный признак, что собственно манориальная хозяйственная система начинает вырождаться и перерождаться»[259]).

Вся его концепция восстания Уота Тайлера фактически и представляет собою развитие и обоснование этого положения. Ее существенное содержание можно свести к следующим моментам. В середине XIV в. Англия переживала период разложения феодализма. В английской деревне развиваются капиталистические экономические отношения, основанные на эксплуатации наемного труда. Однако эти отношения отличались неустойчивостью, были подвержены разрушительному действию стихийных катастроф (под которыми Петрушевский понимал частые в средние века стихийные бедствия, эпидемии и т. п.). Такой стихийной катастрофой и явилась

---

[257]) Там же, т. II, стр. 591—592.
[258]) См. там же, т. III, стр. 244—245.
[259]) Д. М. Петрушевский. Восстание Уота Тайлера. Ч. II, стр. 100.

Черная смерть, непосредственным результатом которой был «рабочий кризис во всем народнохозяйственном его значении»[260]). Государство и землевладельцы пытались преодолеть этот кризис с помощью рабочего законодательства, а также путем усиления феодальных повинностей, в частности, возвращения к барщине там, где ее уже не было. На этой почве происходит обострение классовой борьбы, появившейся в английском маноре с приходом туда капиталистических отношений, которая в конечном итоге и привела к восстанию Уота Тайлера[261]). Таким образом, подобно Ковалевскому, он рассматривает классовую борьбу в средние века как продукт вырождения феодального строя, а в восстании Уота Тайлера видит следствие неблагоприятного стечения обстоятельств в условиях перехода английского общества к капитализму. Нет необходимости в настоящее время останавливаться на критике такой точки зрения, не только несостоятельной самой по себе, но и искажающей действительную природу феодальных отношений[262]).

Вместе с тем трудно переоценить значение этой книги Петрушевского в общей концепции западноевропейского феодализма, созданной в русской либеральной медиевистике. С невиданной в русской буржуазной науке ранее силой в ней прозвучала присущая в той или иной мере и некоторым другим работам наших историков тема классовой борьбы как явления, органически свойственного эпохе, переходной от феодализма к капитализму. Для Петрушевского восстание Уота Тайлера — крупнейшее явление средневековой истории Анг-

---

[260]) Там же, стр. 260.

[261]) Подробнее об этом см. нашу статью «К вопросу об эволюции концепции Д. М. Петрушевского о восстании Уота Тайлера». — «Труды Томского государственного университета им. В. В. Куйбышева», т. 171, Томск, 1963.

[262]) Уместно будет в этой связи заметить, что русские историки, отрицавшие классовую борьбу как необходимое следствие феодальных общественных отношений, делали несомненный шаг назад даже по сравнению с некоторыми представителями вотчинной теории, которые при всей своей идеализации феодальной вотчины в той или иной степени признавали и присущие ей социальные антагонизмы. Даже такой певец вотчины, каким был Инама-Штернегг, многократно указывавший на блага, которые принесло крестьянам их закрепощение и включение в состав вотчинной организации, отмечал и тяжесть положения крепостных, и их борьбу с феодальными собственниками. Он пишет о тайных крестьянских братствах, с которыми вел борьбу Карл Великий (K. Th. Inama-Sternegg. Op. cit., S. 264—266), о крестьянских восстаниях как следствии «чрезмерного гнета» и стремления народа самостоятельно защищаться от «дурных последствий вотчинной организации народного хозяйства» (Ibidem, S. 439), особенно подчеркивает тяжесть положения крестьян как в экономическом, так и в правовом отношении в XIII—XIV вв., когда выражение «бедный человек» стало синонимом для крестьянина (см. особенно ibidem, Bd. III, S. 52).

лии, фокус, в котором сходятся все нити ее хозяйственного и социального развития.

Петрушевскому принадлежат несомненные заслуги в изучении этой крупнейшей классовой битвы средневекового английского крестьянства. Как никто другой, он провел громадную работу по критическому изучению разнообразных источников, относящихся к этому периоду, благодаря чему сумел воссоздать яркую картину восстания, до настоящего времени не имеющую себе равных в историографии вопроса. Детальное изучение многообразного документального материала позволило ученому прийти к важному выводу о чрезвычайно широком распространении движения. «По-видимому, — писал он, — в той или другой форме взрыв в центре отразился во всех без исключения графствах Англии»[263]). Для изображения Петрушевским хода восстания является показательным его сочувственное отношение к повстанцам. Красной нитью проходит мысль о справедливости их целей, прогрессивности восстания[264]). Он сделал ряд содержательных наблюдений о программах восстания и его характере. Все это в сочетании с глубоким анализом изменений, происходивших в XIII—XIV вв. в английском маноре под влиянием развития товарно-денежных отношений, делает книгу Петрушевского неустаревшей и в настоящее время[265]).

Не продолжая далее характеристики этой книги, подчеркнем лишь, что, несмотря на несомненную модернизацию Петрушевским социальных отношений в Англии XIV в., самое

---

[263]) Д. М. Петрушевский. Восстание Уота Тайлера. Ч. I, стр. 290.

[264]) В свете этого вызывает недоумение бездоказательное обвинение П. Ф. Лаптиным автора «Восстания Уота Тайлера» в ... «открытой апологии крепостничества и феодального гнета» (П. Ф. Лаптін. Економізм і проблеми держави..., стр. 53). Достаточно самого беглого анализа последнего издания книги Петрушевского, чтобы убедиться в неизменности его сочувственного отношения к крестьянам на всем протяжении своей научной деятельности.

[265]) Книга Петрушевского «Восстание Уота Тайлера» получила заслуженно высокую оценку в современной ей исторической литературе (см., в частности, обстоятельные рецензии Лучицкого и Фортинского в киевских «Университетских известиях», 1897, N 11; Виноградова в ЖМНП, 1902, № 4 и «Deutsche Literaturzeitung», 1902, л 8; Савина в «English Historical Review», 1902, v. XVII и «Virteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte», 1903, Bd. I, H. 4 и др.). Исключение составляет статья Ковалевского «Новое сочинение о восстании Уота Тайлера в Англии» («Русская мысль», 1897, № 5). Однако содержащаяся в этой статье уничтожающая оценка книги Петрушевского вытекала не из принципиальных расхождений обоих исследователей, не из несогласия Ковалевского с методологическими позициями Петрушевского, с его взглядами на существо вопроса. Ее побудительным мотивом являлся критический отзыв Петрушевского о монографии Ковалевского «Английская пугачевщина» (см.: Д. М. Петрушевский. Pro domo suo (письмо в редакцию), — «Русская мысль», 1897, № 10).

его обращение к изучению восстания Уота Тайлера свидетельствует о том, какое значение придавал он классовой борьбе на определенном этапе исторического развития. В этой книге нашла свое наиболее полное выражение имевшаяся в русской либеральной медиевистике тенденция (Ковалевский) рассматривать вторжение товарно-денежных отношений в средневековую деревню (что расценивалось как начало капиталистической эры в сельском хозяйстве) как время острых социальных потрясений. Тем самым проблема перехода от феодализма к капитализму в русской либеральной медиевистике была поднята как проблема классовой борьбы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Становление и развитие политических и методологических идей либеральной медиевистики середины 70-х — начала 900-х годов протекало в условиях решающего влияния на них русской пореформенной действительности. Не принимая во внимание этого обстоятельства, нельзя правильно понять как место русской либеральной медиевистики в мировой исторической науке своего времени, так и характерные особенности ее внутреннего развития. Печать современности с ее острыми социальными противоречиями, своеобразной расстановкой классовых сил в общественной жизни страны лежит не только на политических идеях русских либеральных медиевистов, но и на их методологических исканиях, обусловливая в последнем счете всю их историческую теорию.

Определенные прогрессивные тенденции, свойственные русской либеральной буржуазии в период еще незавершенного социального размежевания в стране, едва ли не наиболее яркое свое воплощение получили в расцвете либеральной историографии в последней четверти XIX — начале XX вв., объективным основанием которого являлась необходимость удовлетворения известных общественных потребностей в условиях назревания в стране буржуазно-демократической революции. Настоятельная необходимость буржуазных преобразований в самых различных сферах русской жизни выдвигала задачу их всестороннего идеологического обоснования, причем особенно большое значение приобретало изучение исторического опыта как самой России, так и, в особенности, тех стран, которые раньше ее вступили на путь капиталистического развития. История должна была доказать неотвратимость торжества буржуазных порядков в России, и вместе с тем идеологи русского либерализма отремились с ее помощью обосновать политическую дряблость своего класса, его неспособность и нежелание решительной борьбы с самодержавием. Тем самым обусловливались как определенные позитивные возможности либеральной историографии в общественном познании, так и неизбежная их ограниченность.

В числе отделов русской либеральной исторической науки, приобревших в последнюю четверть XIX — начале XX вв. особую общественную значимость, по праву важное место принадлежит медиевистике. История западноевропейского феодализма вызывала в это время в России не только научный интерес. В судьбах присущих феодальному строю экономических, социальных и политических институтов и отношений, искали ключ к пониманию многих явлений современной русской жизни, а главное — уроки ликвидации феодально-абсолютистских порядков на Западе приобретали исключительное значение для понимания перспектив исторического развития России.

Конечно, на протяжении тридцати лет круг вопросов, привлекавших внимание идеологов русского либерализма в истории западноевропейского средневековья, претерпел определенные изменения, но сами эти изменения являются достаточно показательными. По мере назревания буржуазной революции в России центр тяжести научных интересов многих представителей либеральной медиевистики все более сосредоточивался в области изучения проблемы перехода от феодального строя к капитализму. Уже не столько собственно феодальные отношения, сколько отношения, переходные к капиталистическим, привлекают преимущественное внимание либеральных медиевистов. В проблематике их научных исследований и лекционных курсов все более заметное место стали занимать сюжеты, относящиеся к различным разделам новой истории, в особенности к истории английской и французской буржуазных революций. Да и сами средневековые отношения, как мы могли в этом убедиться на примере созданной Петрушевским концепции восстания Уота Тайлера, подчас модернизировались, исследовались с помощью категорий капиталистического хозяйства.

Изучение истории средних веков и нового времени приводило идеологов русского либерализма к двум кардинальным выводам, оказавшим несомненное влияние на всю их практически-политическую линию в современной им общественной жизни. Во-первых, это было убеждение в неодолимости исторического прогресса (в обычной для либеральной буржуазной науки XIX в. интерпретации этого понятия), что в приложении к русской пореформенной действительности означало требование осуществления ряда буржуазных преобразований по западноевропейскому образцу, а во-вторых, — нескрываемый страх перед революционными методами решения социальных противоречий. Признавая при известных условиях неизбежность «критических моментов» в общественном процессе, они в то же время решительно осуждали революционное насилие, необходимо присутствующее при раз-

решении всякого действительно острого социального конфликта в классово-антагонистическом обществе. По мере приближения революционной бури в самой России этот эволюционизм становится все более последовательным и непримиримым, приобретая в отдельных случаях воинствующую антимарксистскую направленность, особенно ярко обнаружившуюся в полемике Савина с 24-й главой «Капитала» и, в особенности, — уже в годы революции — в «Политических письмах» Виноградова.

Характерной чертой русской либеральной медиевистики являлась органическая, лишенная сколько-нибудь значительных внутренних противоречий, связь ее политических и методологических идей. Выросшие на одной и той же почве, они естественно гармонировали друг с другом, взаимодополняя и обосновывая друг друга. Трудно, например, провести грань между реформизмом как политическим кредо русской либеральной медиевистики и эволюционизмом как ее важнейшим методологическим принципом. Реформистская тактика идеологов русского либерализма, их глубокое убеждение в том, что только путь реформ сверху, путь политического компромисса является нормальной колеей исторического развития, определенным образом питали их теоретические представления, способствуя упрочению эволюционистских взглядов на характер общественного процесса, в то время как эти последние составляли своеобразную историко-философскую основу политической линии русских либералов, оказывали несомненное влияние на их политические идеи.

Органическая целостность политических и методологических идей русской либеральной медиевистики обусловила характерные особенности всей ее теории общественного процесса, самого ее метода исторического познания. При всем своеобразии, различающем идейно-методологические взгляды отдельных русских либеральных медиевистов, существуют некоторые общие черты, присущие всей либеральной медиевистике в ее историческом мировоззрении и уходящие своими корнями в объективное положение либеральной буржуазии в русском обществе последней четверти XIX—начала XX вв.

В понимании истории русские либеральные медиевисты оставались по своим исходным позициям идеалистами. Они видели в развитии человеческого общества осуществление определенной суммы идей и прежде всего — идеи общественной солидарности. Усматривая в последней конечную цель и высшее воплощение исторического прогресса, они связывали ее торжество с совершенствованием абстрактной человеческой личности, ростом общественного взаимопонимания, распространением образования. Соответственно с этим и их трактовка движущих сил исторического развития получала

идеалистический характер. Современники глубоких классовых потрясений, русские либеральные медиевисты не закрывали глаза на социальные конфликты, имевшие место в прошлом. Однако подлинный смысл исторического развития они усматривали в мирном преодолении таких конфликтов. В их исторической концепции важное место занимало «общество» как некая всеобъемлющая категория, поглощающая в себе различные социальные классы, а антитеза между обществом и государством, обществом и личностью рассматривалась как ведущая сила исторического развития. Естественно, что такой угол зрения неизбежно вел к искажению подлинного характера общественного процесса. Целые исторические эпохи оказывались непонятыми в самом существе господствовавших там общественных отношений. Так, в частности, обстояло дело с западноевропейским феодализмом, который для ряда русских либеральных ученых рисовался обществом, основывавшемся на гармонии хозяйственных интересов составлявших его основных классов.

Однако исторический идеализм русских либеральных медиевистов не был последовательным. В отдельных существенных пунктах их историческое мировоззерцание не может быть сведено к идеалистическому пониманию истории, более или менее определенно выходит за его рамки. Их историческая теория включала в себя признание (у одних ученых в большей степени, у других — в меньшей) известной материальной обусловленности исторического развития. Концентрируя свои ученые занятия преимущественно в сфере изучения социально-экономических отношений, почти все крупные представители русской либеральной медиевистики исходили из убеждения в необходимости исследования материального фундамента общественного здания как обязательного условия понимания существенных процессов, совершавшихся в его более высоких сферах. В частности, достаточно последовательно в теоретических взглядах русских либеральных медиевистов и, в особенности, в их истриографической практике проводился тезис о функциональной зависимости социальной структуры общества от господствующего в нем типа хозяйственной организации.

На методологических идеях русской либеральной медиевистики плодотворно сказалось знакомство ее представителей с отдельными положениями материалистического понимания истории. Отнюдь не разделяя материалистической теории исторического процесса в целом, ведя против нее подчас весьма ожесточенную борьбу, русские либеральные медиевисты тем не менее в своем большинстве не только признавали выдающееся научное значение метода Маркса, но и в разной степени испытали его влияние на собственном подходе к изу-

чению истории. При этом важно еще раз подчеркнуть, что почти все они именно с марксизмом соединяли распространение в науке представления об экономической обусловленности общественного развития, хотя и понимали это положение, как правило, чрезвычайно упрощенно.

Политические и методологические идеи русской либеральной медиевистики на протяжении 70-х — начала 900-х годов не оставались неизменными. Представляется поучительным сам характер их эволюции, во многом показательный для понимания общих судеб буржуазной историографии эпохи империализма. В известном смысле можно утверждать, что в этой эволюции в конденсированном виде выразились главные тенденции, определявшие развитие буржуазной исторической науки во второй половине XIX — начале XX вв. Высший расцвет русской либеральной медиевистики и явственные признаки ее кризиса и упадка в полной мере обнаружились фактически на протяжении жизни одного поколения ученых, конечную причину чего опять-таки нельзя не видеть в российской пореформенной действительности, в исключительно быстрых темпах совершавшихся в стране социально-экономических и политических сдвигов. Начав с безоговорочного признания позитивизма как теоретической основы исторической науки, серьезное влияние методологии которого сохранялось на всем протяжении изучаемого периода, русская либеральная медиевистика, продолжая свои методологические искания, восприняла отдельные элементы материалистической интерпретации исторического процесса и, наконец, оказалась перед лицом глубокого безысходного кризиса всех своих исходных теоретико-познавательных принципов.

В этом смысле особенно показательны методологические искания младшего поколения русских либеральных медиевистов.

Их взгляды в целом ряде существенных моментов представляют собою высшее достижение русской либеральной теоретической мысли. Никто в русской либеральной историографии не сумел более четко, чем они, понять значение метода Маркса для развития исторической науки. Более того, мы видели в отдельных случаях попытки исходить как в своих теоретических воззрениях, так и в историографической практике из материалистического принципа интерпретации общественных явлений. В трудах младшего поколения русских либеральных медиевистов с особой силой прозвучало положение об общественной значимости исторической науки, о ее органической связи с современной ей социальной борьбой, о влиянии этой последней на изучение прошлого.

И в то же время, именно среди младшего поколения русских либеральных медиевистов уже накануне 1905 г. в наи-

большей степени получили распространение кризисные явления, объективно имевшие научно-реакционный смысл, ставившие под угрозу самое существование истории как науки, способной давать объективно-истинное знание о своем предмете исследования. Достигнув возможной в буржуазной науке вершины в осмыслении подлинного характера связей, реально существующих между различными сторонами исторического процесса, его представители одновременно оказались популяризаторами в русской историографии откровенно реакционных взглядов, ведших к отрицанию поступательного характера общественного развития. Причудливым образом в их теоретических представлениях происходило смешение самых передовых научных идей своего времени с взглядами, означавшими позавчерашний день науки, служившими показателем ее глубокого кризиса в эпоху империализма. Однако такое смешение по самой природе своей не могло быть устойчивым. Очень скоро оно закономерно сменилось отказом не только от некоторых элементов материалистического истолкования истории, но и от всего научно-прогрессивного в сфере методологии и общих исторических воззрений, созданного ранее самой буржуазной мыслью.

Правда, развернутый пересмотр историко-теоретических взглядов имел место в русской либеральной медиевистике лишь после революции 1905 г., к тому же он не коснулся в одинаковой степени всех ее представителей. Однако следует признать, что именно эволюция взглядов таких ученых, как Виппер и, в особенности, Петрушевский, в наибольшей мере воспринявших в своих теоретических представлениях реакционные идеи буржуазной историографии эпохи империализма, выражала главную тенденцию в идейном развитии русской либеральной медиевистики первых десятилетий XX в. Пусть у ряда ее представителей кризис идейно-методологических взглядов и не принял столь яркие формы, нельзя считать случайностью, что никто из них, включая Ковалевского и Виноградова, более других проявлявших стойкость в отношении всякого рода «модных» веяний с Запада, не создал после революции 1905—1907 годов ничего, равного по своей теоретической глубине их более ранним трудам.

Несомненное измельчание теоретического уровня русской либеральной медиевистики, имевшее место после 1905 г., находит свое выражение среди прочего и в определенном изменении самой проблематики ее научных исследований. Достаточно вспомнить, что Виноградов в это время сосредоточивает свою научную и, в особенности, преподавательскую деятельность в качестве профессора Оксфордского университета преимущественно в сфере исторического правоведения. Можно проследить своеобразное возрождение интереса к политиче-

ской истории средневековья, которая рассматривалась в большем или меньшем отрыве от истории социальной и экономической. При этом заслуживает быть отмеченным одно характерное явление, которое может рассматриваться как один из симптомов методологического кризиса русской либеральной медиевистики. Исследования, вышедшие в этот период, как правило, были лишены серьезной общественной значимости, т. е. той именно черты, которая являлась характерной для русской либеральной медиевистики середины 70-х — начала 900-х годов. Они приобретали несвойственный передовой русской науке налет сугубого академизма, отвлеченной учености. Это качество в особенно большей степени оказалось присуще работам, выходившим из-под пера молодых ученых, начинавших в 900-е годы свой путь в науке[1]).

Так, революцией 1905 г. завершается восходящая линия развития русской либеральной медиевистики, которая почти сразу же сменилась ее глубоким упадком. Кризис русской либеральной медиевистики, уходящий своими корнями в последнем счете к переходу русской либеральной буржуазии после 1905 г. на контрреволюционные позиции и тесно связанный с кризисом русского либерализма вообще, еще раз рельефно подчеркивает ограниченные возможности буржуазного историзма в теоретическом осмыслении общественного процесса. Крупнейшие завоевания буржуазной мысли в этом направлении, с которыми были связаны ее достижения в конкретно-историческом изучении прошлого, оказались в обстановке широкой политической и идейной реакции весьма непрочными, тем более они не могли предотвратить распространение в либеральной историографии научно-реакционных методологических построений, последовательная реализация которых в историографической практике вела, по существу, к ликвидации истории как науки, имеющей дело с объективно-истинным познанием мира общественных явлений в их поступательном развитии.

Несмотря на то, что в русской либеральной медиевистике, как и в буржуазной историографии вообще, методологический кризис нашел свое наиболее яркое выражение преимущественно в сфере гносеологической, приняв в значительной степени форму пересмотра познавательных возможностей исторической науки, по своей природе он прежде всего являлся кризисом общемировоззренческим. В обстановке резкого обострения социальных антагонизмов в эпоху империализма, когда возникла непосредственная угроза для классового гос-

---

[1]) См.: Д. Н. Егоров. Этюды о Карле Великом. — ЖМНП, 1902, № 11, 12; 1903, № 2, 5, 7; О. П. Юрьева. Очерки по истории феодализации монархии во Франции. — Там же, 1902, № 2.

подства буржуазии, идеологи последней совершают развернутый пересмотр воззрений на характер исторического развития, который при всем многообразии своих конкретных форм и выражений сводится, в сущности, к одному — отрицанию идей закономерного прогрессивного развития человеческого общества. Вследствие этого одним из существенных элементов кризиса становится ожесточенная, прямая или косвенная, борьба с материалистической концепцией исторического процесса, в которой эта идея получила наиболее полное и последовательное, подлинно научное обоснование.

По этому пути неизбежно должна была пойти и русская либеральная медиевистика. Ее опыт убедительно свидетельствует о том, что каким бы плодотворным ни являлось влияние марксистского метода на того или иного ученого или целое направление в буржуазной науке, оно не может препятствовать переходу этих ученых на реакционные позиции в области методологии истории, если в целом они остаются на почве буржуазного миропонимания. Более того, само это влияние, как правило, неизбежно оказывается мимолетным. В современных условиях только решительный разрыв с буржуазным мировоззрением может обеспечить действительные условия для теоретического прогресса исторической науки. И в этом состоит один из важных уроков эволюции идейно-методологических принципов русской либеральной медиевистики.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 3

Глава I Политические идеи русской либеральной медиевистики середины 70-х годов XIX в. — начала 900-х годов . 29

1. Либеральные медиевисты как идеологи русского пореформенного либерализма 33
2. Русская пореформенная действительность и изучение в либеральной медиевистике судеб общинного землевладения в Западной Европе 51
3. Государство и революция в исторической концепции русской либеральной медиевистики конца XIX—начала XX в 74

Глава II Русская либеральная медиевистика и европейская философская мысль второй половины XIX в. . . . 104

1. Позитивизм и русская либеральная медиевистика . 107
2. Отношение к марксизму в русской либеральной медиевистике в 70-е — начале 90-х годов 129
3. Отношение к марксизму в русской либеральной медиевистике в середине 90-х — начале 900-х годов . . 147

Глава III Теоретические основы концепции западноевропейского феодализма в русской либеральной историографии . 167

1. Русская либеральная медиевистика о природе и функциях исторической науки 171
2. Русская либеральная медиевистика о предмете исторической науки 197
3. Проблема исторического прогресса в освещении русской либеральной медиевистики 214

Глава IV Теоретические основы концепции западноевропейского феодализма в русской либеральной историографии (Окончание) 235

1. Метод русской либеральной медиевистики . . . 235
2. Кризисные явления в методологических идеях русской либеральной медиевистики конца XIX — начала XX вв. 294

Глава V Теоретические проблемы западноевропейского феодализма в освещении русской либеральной медиевистики 312

1. Русская либеральная медиевистика о природе западноевропейского феодализма и его происхождении . . 315
2. Община и вотчина в исторической концентрации русских либеральных медиевистов 350
3. Русская либеральная медиевистика о феодальном государстве 369
4. Классовая борьба в средневековом обществе в освещении русской либеральной медиевистики 379

Заключение 400

Борис Георгиевич Могильницкий.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ИДЕИ РУССКОЙ
ЛИБЕРАЛЬНОЙ
МЕДИЕВИСТИКИ

Середины 70-х годов XIX в, — начала 900-х годов

Томск, Изд. ТГУ, 1969, 410 с.

Редактор издательства **Л. Г. Мордовина**
Технический редактор **Э. Н. Страшкова**
Корректор **В. С. Сумарокова**

КЗ01231 Сдано в набор 12/II-68 г. Подписано к печати 3/IV-69 г.
Формат 60×92 1/16; печ. л. 25,6; усл. л. 25,6; уч.-изд. л. 25,6; бум. л. 14,8.
Тираж 700. Заказ 1356. Цена в переплете 2 руб. 20 коп.

Томск, 10, Издательство ТГУ, пр. Ленина, 36.
Областная типография Управления по печати, Томск, ул. Советская, 47.

1-183656

Томский государственный университет
Научная библиотека 00169317

Цена 2 руб. 20 коп.